



Виктор Будаков

ТЕЧЁТ РЕКА...

Книга коротких текстов

Воронеж
АО «Воронежская областная типография»
2023

УДК 821.161.1(088)
ББК 84(2=411.2)6я43
Б90

Будаков, Виктор

Б90 Течёт река... Книга коротких текстов / Виктор Будаков ; сост. В. В. Стручкова. — Воронеж : АО «Воронежская областная типография», 2023. — 444 с. — ISBN . — Текст : непосредственный.

В данном издании представлены короткие рассказы, эссе, заметки, блики воспоминаний, четверостишия... В них художественно, публицистически отображаются вехи отечественной жизни второй половины двадцатого века — начала двадцать первого, судьбы русского мира в контексте мировой истории.

Адресовано широкому читательскому кругу.

УДК 821.161.1(088)
ББК 84(2=411.2)6я43

ISBN

© Будаков В. В., 2023
© Стручкова В. В., составление, 2023
© АО «Воронежская областная типография», 2023

ВОЛНЫ

Повествование в кратких эссе

Три раза в неделю проплывал мимо нашего Нижнего Колодезя большой пассажирский пароход. То есть он, наверное, не был большим, — где развернуться на Дону большому судну? — но не в детстве ли всё укрупнено: и хата, и река, и слеза...

Ненадолго пароход бросал сходни на берег соседнего села, а мимо нашей малой пристани проплывал как недостижимое белое видение, всякий раз удивляя и волнуя нас зримую силой перемалывающих воду колёс.

Как только его корма равнялась с нашей купальной береговинной, мы с разбегу бросались в воду. И шла навстречу нам размашистая широкая волна. И бедовые наши головы — Петька, два Ивана, Колька да Толик, да я — качались на гребнях, взлетая и опускаясь с ними. Брызгались, смеялись, весело кричали бог знает о чём. И хотя было жутковато от глубины и неизвестности под нами, но мир выступал в солнечной его доброте, и эти часы были лучшие часы нашего скудного послевоенного детства.

Волны постепенно успокаивались. Чуть зеленоватые гребни их напоминали, быть может, иные волны: молодых хлебов в древних степях-полях, которыми шли мирные и немирные племена былинных столетий. И каким-то образом через эти волны мы чувствовали себя таинственно соприсчисленными многому на земле: прекрасной нашей реке, деревьям по её берегам, небу с отражёнными в воде облаками, близким нивам, далёкому морю, далеко-далёкому времени.

Петька, два Ивана, Колька да Толик, — где вы?

Но во сне иногда видишь, как донская бело-зелёная волна качает, стремительно несёт отчаянные детские головки.

Петька, два Ивана, да Колька, да Толик, да я...

Да ведь и сны — это те же волны.

Красный гостинец

Третья осень великой войны на Родине. За полгода в нашем краю война выжгла и вырубилa сады вокруг Нижнего — донского села. И яблоки, что извлекал из потёртого вещмешка Петькин отец, казались райски-сказочной невозможностью в крохотной хатёнке, полутёмной и холодной, как погреб. Тугие краснобокие яблоки! Дары казахстанского юга, откуда привёз их Петькин отец, захавший домой по пути из госпиталя на фронт.

— Давай-ка сначала угощай своих друзей, — сказал он.

По необхватному ладошками яблоку оказалось у нас.

— Маме... дедушке... бабушке... — подсказывал Петькин отец, подавая ему увесистые плоды, — тёте Оле, Ире, Даше...

— А мне останется? — не выдержал Петька.

— Всем хватит, — улыбнулся Петькин отец. — А после войны мы такие сады вырастим, что и южным землям не снились.

В центре села — три ряда ничейных яблонь. И случается так, что редкие яблоки держатся на ветках до мороза. Их здесь не срывают, яблок с избытком хватает в своих и колхозных садах. Поздней осенью, подчиняясь извечному закону всего живого, они срываются сами по себе — в сухой бурьян. Иные падают — резко, звучно.

На мемориальной плите у памятника погибшим односельчанам — фамилии Петькиного, Колькиного, Толькиного отцов и ещё двухсот человек, кого не пожелала вернуть война. Вырубилa, как те яблони!..

Двенадцатый день мира

Втроем — Колька, мой друг, его мать и я — шли мы в соседнюю слободу, до которой вёрст пятнадцать. Половину пути уже одолели, но усталости не чувствовали. Стоял майский день, было солнечно, но не жарко, всё вокруг цвело, прелесть обновлённой, стряхнувшей с себя шестимесячные снега природы открывалась новыми красками, звуками; может, оттого и не ощущалась усталость. В Кулаковской падинке царилa особенная благодать: цвели дикие терновники, барбарис, шиповник; склоны желтели, синели, краснели: горичцвет, бабки-серёжки, воронцы устилали их. И всё на фоне зелёной земли и синего неба, и над всем — жаворонок.

Навстречу нам двигалась, спускаясь в яр, подвода — везли почту. Лошадёнкой правил дед Егорий, щуплый старик в неизменном и в холод и в теплынь треухе, весь в морщинах, с мерклыми измученными глазами.

В начальные месяцы войны он роздал слободе столько серых, синих, жёлтых бумажек! Невзрачных, но зловещих, при одном взгляде на которые иные из женщин терялись в рассудке. (Вскоре похоронки стали приходиться на военкоматы, как будто ими переданная несчастью семье похоронка была менее тяжела.) Почтальонил дед Егорий с той поры, как два его сына ушли на фронт. Не раз говорил на людях, что на почте он ближе к ним, что ежели какая строчка от них — получит быстрее обычного, ещё в райцентре. Да какие вести в войну? Известные: на старшего вскоре пришла похоронка, а от младшего получил нескорое письмо и — как отрезало: пропал без вести. Но старик надеялся, хотя уже и война кончилась. У Колькиной матери надежда была вернее: на днях от мужа получила письмо; там была важная для моего друга приписка: отец обещался привезти сидор игрушек. Так и писал: «сидор игрушек», и нам теперь приходилось голову ломать, что за игрушки будут в том сказочном сидоре.

Подвода поравнялась с нами, остановилась. Поздоровались.

— Нам ничего нет? — глухо, слегка изменившимся голосом спросила женщина.

— Ничего, ничего! — поспешно ответил дед Егорий.

Перебросились ещё несколькими словами — и в разные стороны.

Проехав чуть, до подъёма в гору, старик вдруг остановил лошадь, позвал: «Наталья, подойди!» Колькина мать направилась к старику медленно и как-то неуверенно — так ходят люди по тонкому льду. А мы, дожидаясь, не стали терять времени даром: мой друг вынул из кармана шарик смолы на нитке, опустил его в круглую дырку на глинистом скосе у дороги и, опуская-приподымая шарик, стал дразнить паука; скоро тот, студенисто-жирный, зелёный, с чёрными крестовидными метками, завалась на спину, хватко и зло перебирал мохнатыми лапками у наших ног. За охотой мы не заметили, как вернулась мать. Она была на себя не похожа, вся уменьшилась, сгорбилась, и беззвучно катились слёзы по её лицу.

— Мама, ты что?! — кинулся к ней Колька.

— Да что ж, сынок... Да что ж, сынок... — Слёзы катились и катились, и вдруг она упала в придорожный прошлогодний бурьян и зашлась в рыданиях.

Подвода не двигалась, видно, старик не знал, как ему быть дальше. Не знал этого и я. Каким-то не своим зрением я видел, как поспешно скрылся в норе забытый нами паук с крестовидными метками, да ещё каким-то не своим слухом слышал, как ликующе заливался жаворонок, хмельной от собственных песен.

Радовался и горевал на земле двенадцатый день мира.

Крест и алое солнце

На рисунке — всего три цвета: чёрный, красный и белый. На тетрадном листке бомбардировщик, накрёная, пронзал солнце. Чёрный самолёт, бело-чёрный крест на его сигароподобном брюхе и три чёрные капли, тяжелеющие по мере того, как они приближались к земле. Крест, такой пронзительно-чёрный, что само солнце было бессильно здесь со своим алым полыханьем; сразу чувствовалось, что этот крест никогда не был и не станет красным милосердным крестом.

Наш дальний родственник, художник, безвыездно живший на Дальнем Востоке, нечаянно заглянувший в родные края, подошёл к окну, чтобы получше разглядеть этот скупой рисунок, последний в принесённой Толиком кипе. Художник долго рассматривал его, будто было в нём невесть что такое, наконец, проговорил: «Какое настроение! Резкость... экспрессия. И как верно: контраст непримиримых цветов!»

Нам, сверстникам-друзьям, гораздо больше нравились другие его рисунки, где было больше близкой нам жизни: овраг, заросший лозами, или белые хаты над синей рекой, или зимний лес, опушка, заяц у одинокой берёзы. Но художник рассудил иначе. «Если ты не против, — обратился он к Толику, — этот я прихватчу с собой. И эти...» Он взял ещё два листа, самые, пожалуй, странные. На одном — весенняя река, ледоход, на сизой льдине — яблоня, красная от яблок, на другом — посередине реки танцуют лисицы. «Не возражаешь? Будет выставка в городе, думаю, что твои рисунки понравятся».

Толик лишь пожал плечами, да так по-взрослому получилось, будто он на этих выставках бывал-перебывал! А сам стоял — тоненький, веснушчатый. Такой же, как мы. Да не такой! И этот его дар рисовать уже уводил его от нас...

Гранаты на земляничной поляне

Опушки недалёкого от слободы Черноклёна-леса зелено дымились сильными травами, первозданные, задичалые. На них густо разрослись земляничники, ягоды — пропасть. Но до земляники ли народу земледельческому, переживавшему лихолетные времена?! И, может быть, мы были первые здесь «лукошники» с той поры, как война началась, как закончилась. Наши матери — спорые руки — сразу же принялись собирать ягоду в корзинки, мы же ели-наедались, пригоршнями бросая её в рот: соковитая, пахучая. И чем больше мы рвали ягод, тем, казалось, больше становилось их: пятнистый красно-зелёный земляничник стлался до дальних берёз на опушке, да и там, наверное, не кончался. Земля, за месяцы войны измученная взрывами, чуждыми ей металлом, порохом и толлом, теперь с жадной удесятерённой силой исцелялась. И этот земляничник был первым вестником возрождённой жизни: лес в окраинах ещё не отошёл от фронтовой пагубы,

иные деревья были выкорчеваны, другие, опалённые, надломленные, тянули ввысь нагие ветви, а ягодный скос у леса будто молчаливо свидетельствовал, что война — тяжкая быль, тяжкий сон, навсегда ушедшее. И есть только алые ягоды в зелёном разливе травы.

Но приманчивой россыпью, приманчивей, чем земляничины, чуть взблеснули в траве бело-красные крыльчатые весёлые, как игрушки, гранаты.

На детские возгласы поспешили матери. Тревожным полукружьем постояли. «Надо сказать председателю, чтоб вызвал сапёров», — порешили они; а нас увели подальше от гибельных, в зазывной упаковке игрушек. Подальше... и никто не догадался, не почувствовал, что в Толиковой плетёнке, прикрытая травой и рубашкой, уже лежала притаённая радужно-красная смерть; Толик первым обнаружил гранаты в траве и спрятал одну из них. Нам он ничего не сказал.

Вечером в левадном кустарнике раздался взрыв. Несильный, будто хлопучечный, был он почти не слышен за мычаньем коров, возвращавшихся с пастбища.

И за сорок без малого лет эхо и прогорклый дымок того взрыва истаяли, бесследно растворились в мире.

Но сухими вечерами на вербяном комле у своего дома подолгу сидит молчаливый слепец и время от времени что-то вычерчивает ясеневым прутиком, что-то рисует на пыльной земле.

И думаешь: почему так? Почему случай, перст судьбы, рок выбрал именно его, самого одарённого из нас? Почему именно глаза поразил у него? Без ног — тоже не радость — он всё-таки смог бы рисовать.

Кто вытачивал, кто красил для него ту зловещую гостью? Может, тоже художник, призванный под завоевательный штандарт со свастикой?

О, земляничная поляна, прекрасная проклятая земляничная поляна, где на короткий миг и на всю жизнь — свет и тьма!

Не одна во поле дороженька...

Из глубины наплывает первое впечатление большой дороги. Раздольное, чуть волнистое срединнорусское поле — ни конца, ни края. Чистыми волнами взмывают поспевающие хлеба, редкие терновники тёмными каплями плавают в них. На горизонте в робком разбеге синеют улески, неподалёку от лога-лещинника, по непаханому склону которого мы с матерью пасём овец, белеет цепочка деревенских мазанок.

А через всё поле, через лога и увалы тянется старинный большак — прадедовская дорога. Неподалёку к ней примыкают четыре — в соседние деревни — просёлка, образуя что-то вроде длиннопалой ладони. Телеграфные столбы вдоль большака — как задумчивые стражи.

Уже несколько месяцев кряду большак — дорога возвращений. Бывает, промчится выдавшая виды полуторка, мелькнут солдатские пилотки; бывает, не торопясь проскрипит арба-подвода — на ней возница и солдат, а то и двое в гимнастёрках. Чаще, однако, пешие. Один пройдёт, ещё один, ещё...

В тот воскресный день их возвращалось так много, что могло представиться, да и представлялось моему благодарному ребячьему сознанию: все возвращаются в дома свои...

(Через четверть века в родном селе буду стоять у мемориальной плиты с именами погибших. Две роты погибших.)

Поле казалось бесконечным, и были другие дороги, и по ним текли человеческая беда и надежда.

Не одна, ой, да не одна во поле дорожка, не одна дороженька...

Ежи на реке

Дон здесь в дни Отечественной был не привычной рекой, но прошиваемой пулями и осколками ломаной фронтной полосой, разделявшей две противостоящие силы — немцев и наших. Кончилась война, но по затравелому, ржавому от осколков берегу и в воде чернели угрюмые ежи; скрещённые рельсы тянулись из воды, из земли, как железные руки замерших великанов, колючая проволока-угроза густо опутывала их и связывала в жёсткую, жестокую связь. Колючую проволоку вскоре поотцепили, и подростки, вскарабкиваясь на верх рельсов, прыгали, кто боясь, кто не боясь, кто ногами, кто головою вниз; и тогда виде ежей, до блеска захватанных ребячьими руками, при солнце и многолюдье был не страшен. Но в вечерние часы, при луне, в них вновь словно бы просыпалась угроза. Потом приехали военные и убрали ненужные заграды. Слобода избавилась от них.

У памяти, однако, своя боль, свои шипы и ежи. У памяти особое зрение, и она видит то, чего давно уже нет, она умирает и заново рождается в лучших из нас.

Победа или стыд

Вид изумрудного луга вызывает воспоминание о ранней жизни, не столь плывущее, дымчатое, а чёткое, как в тот солнечный день. Белая от солнца река и белая меловая круча, а меж кручей и рекой — пойменное раздолье, густотравный, будто никогда не косимый луг. На лугу — воскресно-вольная орава из Нижнего Колодезя, годами от семи до четырнадцати, травы — кому по пояс, а кому — и с головой. На лугу — неуничтожимое множество цветов: озорные поляны синего, жёлтого, белого. Но нам цветы ни к чему, мы рвём щавель и скороду, сминая цветы, не жалея травы, оставляя в ней, поломанной и потолочённой, траншейно-резкие следы.

Звучит впереди зазывный крик: «Николаевские!» И мы спешим к вперёд ушедшему, быстро, непроизвольно стягиваясь

в кулак, образуя стенку навстречу вытекающей из-за купы густейших вётел ватаге соседнеслободских подростков, с которыми старшие из нашей слободы не раз сходились для драки (без всякой видимой или невидимой причины) на зимней реке. Столько летнего солнца, столько радости на лугу! Но раздаётся чей-то крик: «Всыпем сполна!» — и мы угрожающе надвигаемся на николаевских, которых меньше и которые оттого в нерешительности. И вдруг они срываются с места и позорно, смешно, во всю мочь убегают. Шах, предводитель, зовёт их вернуться, но они не слышат. Будто вкопанный, он остаётся на месте, уязвлённый трусостью и предательством своих.

Юные и неразумно-безжалостные налетают на одного и кто чем бьёт: былками бурьяна, кулаками, ветками, кизьяками. Какие-то мгновения во мне идёт борьба, но затем, подавшись стадному чувству, я подбегаю к Шаху сбоку и замахиваюсь сумкой со щавелем. Сумка лёгкая, как пушинка, но всё равно замах ею — замах недруга. И вдруг Шах поворачивает ко мне лицо, и я вижу глаза его, удивлённые, недоумевающие — глаза не известного мне моего старшего товарища, друга, брата. Сумка нелепо повисает в воздухе. И, убежав в вётлы, я плачу, уткнувшись ничком в прелые листья. Наверное, у многих чувство «бей» было минутным, потому что когда я прихожу в себя, вижу Шаха уже вдалеке — он удаляется не торопясь, как победитель, а наши победители, как побитые щенки, неохотно, в глаза друг другу не глядя, разбредаются по лугу. В тот же день в первый и последний раз в жизни я до одурманенности накурился и долго не мог уйти от саднящего чувства, название которому — стыд!

Или всякая победа, особенно несправедная, оставляет даже не чувство потери, неизбежной в любой битве, но чувство стыда, однажды наступающего каждого. Только — каждого ли?

Не чужие

Река — подо льдом, и она не остановит две молодые толпы, жаждущие помериться силами. Человек пятьдесят лихих и крепких от одной слободы, чуть поменьше — от другой. Тугие январские снега отражают свет месяца, и оттого хорошо просматривается и близкое, и дальнее; право, хоть иголки собирай. Но не до иголок! Нам, малышне, с крутого берега видно, как сходятся две стены. Две рати... Так они сходились неделю назад, месяц назад, что-то есть в этом от старинных побоищ: медленно, потом всё быстрее, и вдруг крики, лязг, треск!

А после — кровь на снегу, рассечённые брови и губы, синяки под глазами; правда, дрались только на кулаки, в руках ничего железного, но иной и кулак тяжелее гири; таков был у нашего вожака Бодая, ударит — долго пострадавшему лежать на снегу.

Боязно нам, у каждого из нас, взирающих с крутобережья на ожидаемое ледовое побоище, сердце вот-вот выскочит из груди: сейчас они начнут резкое сближение, и кто кого? Кто победит?

И вдруг — не как прежде. Две стены перестают двигаться, доносятся голоса, то ли вопрошающие, то ли выясняющие, договаривающиеся, и по три человека отделяются от своих и встречаются на ничейном пространстве. Среди них Бодай и Шах, наш и тусторонний предводители. О чём-то долго толкуют и направляются к своим.

И тут же сходятся две толпы. И ни крика, ни ругани, ни треска; разворачиваясь, поднимаются вверх, мимо нас — и вот они уже в нашей слободе. Смех, оживлённые голоса. Потом в эти сильные голоса влетают девичьи... Да, право, из-за девчат ли эти драки? Вон их сколько — всем невест достанет!

Вспоминая тот зимний час замирения, думаю: что же всё-таки произошло тогда? Надоело им? Или жестокий угар, оставленный недавней войной, развеялся? Повзрослели? Поняли, что не чужие, что — братья?

Хрупкий лёд жизни

Лишь в первый день Лёшке пришлось утверждать своё право быть не чужим в слободе. Будучи постарше, его стал задирать Васька Чугунок; они сцепились, и никто не успел глазом моргнуть, как Васька оглушённой лягушкой распластался на снегу. Скоро мы уже знали, что Лёшка не только силен и ловок. Он умел рисовать масляными красками, вырезать из дерева и лепить из глины птиц и зверушек; а ещё — за считанные секунды пересекать на коньках ледяной Дон.

Взявшие его из детдома бездетные дядька Мирон и тётка Марья души в нём не чаяли; малорослая тётка Марья стала словно бы повыше и моложе, в глазах появился тот особенный свет, какой даётся сильной радостью. Лёшка и в школе, и дома всё успевал, всё делал без понуканья и принужденья. А в свободное время он пропадал на Дону — на коньках. Поначалу его уменье лихо кататься собирало целое торжище детвы, но вскоре все нагляделись; в тот день на берегу глазели лишь две девчонки-двойняшки. Они и примчались с реки с истошным криком: «Лёшка тонет! Кричит — верёвку!»

Когда взрослые прибежали на берег, верёвка уже не понадобилась. Даже круги сомкнулись на том месте, где он, видать, отчаянно барахтался: кромка повсюду была обломана; здесь таилась стремнина, тонок был лёд.

Жившая через дорогу от тётки Марьи злоязыкая Чугуника после похорон не удержалась: «Чуяла, что парень не своей смертью помрёт. Чего уж там, не родной!» — «Креста на тебе нет!» — в сердцах выдохнул дед Тихон; даже он, молчун, не выдержал.

Через месяц утонул старший сын Чугунихи. Он возвращался из левобережной слободы, в белую, лунную ночь, но полыньи не заметил. Расходясь после похорон, люди говорили: «Накликала Чугуниха смерть своему старшему».

Тогда нас, ребяташек, случившееся потрясло какой-то грозной тайной. словно бы подстерегающей всех карой.

Несчастное совпадение? Или, может, всевидящая судьба метит каждый наш неверный шаг, воздаёт за недоброе слово и лукавую мысль?

Неразряженный патрон

Редкие наши отцы (сколько тогда было выплавлено металла, чтобы губить их!), возвратясь с полей сражений, взялись за топоры и косы; и теперь уже довоевывали мы — два, три года спустя после войны.

Вокруг слободы, по кручам, оврагам и лесам, только копни на штык земли, а то и на поверхности, видимо глазу, россыпью и в обоямах осталось неисчислимое множество заряженных патронов, — здесь был таранный пролом вражеских укреплений, и немцы тогда спешно отступили, всё побросав.

всякий раз, выбрав место возле оврага, где можно было спрятаться, мы расставляли спиральными кругами пулёмётные ленты, увязывали проволокой собранные в грозди одиночные патроны — чтоб пулями вверх; затем из лёгкого сушняка разводили костёр, покрывавший горячим бело-синим, чуть багровым пламенем металлические останки войны.

На этот раз в чреве костра накалялось патронов гораздо больше обычного.

Мы ждали. Недвижно истекал майский полдень, по склону овражка густо гнездилась крапива, пробивался ландыш, а над нами было: ветви, птицы и небо.

Началось так, будто отстреливались отступающие, у кого патроны на исходе: вразнобой, беспорядочно, то реже, то чаще. А потом грохнуло! Может, патронная связка, может, патроны в обойме, разогретые именно в этот миг до нужного градуса, но и залп, и эхо его были трескуче-оглушающими.

А когда эхо смолкло, к нашим ногам, сухо чиркнув о ветки, шлёпнулась ворона. Колька, подошедший первым, взял её на руки. Головка её безжизненно свесилась, стекала по шее крохотная струйка крови. Вообще-то ворон мы недолюбливали. От их дурацкого кагального карка всегда становилось нехорошо на душе, так и жди: накаркают. Но здесь она молчаливая, одна...

И быть может, в этот миг каждый из нас увидел в ней вестницу простора, воли, неба и поразился тому, с какой лёгкостью пуля оборвала её лёт. Неужели так же — и с человеческой жизнью?

После того дня мы стали разряжать патроны в пещере неподалёку от леса, взрывая их там килограммами, будто надеясь

напрочь покончить с наследием войны, не оставить ни одного заряженного патрона.

Младший сын встречает меня на пороге, в руках его патрон, с наконечником-пулей, но разряженный: пулю ввинтил старший сын. И с того часу, как он ввинтил её, эта штука — лучшая игрушка у младшего. Он выстраивает два войска. В одном — убийцы, палачи, злой гном, Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Змей Горыныч, Карабас-Барабас и прочая земная и литературная нечисть, в другом — образы Добра. С ними и сын мой. Он, целясь, бросает патрон во враждебный стан, поднимает его и вновь бросает до той минуты, пока не свалит, не побьёт все фигуры; при этом оживлённо объясняет врагу, за что тот наказан.

Я гляжу и думаю. Ещё один маленький защитник Добра. Но неужели во веки веков на страже Добра быть этой смертоносной скорости, этому свисту меча, пули и осколка?

Неужели у Добра всегда неизготове должен быть заряженный патрон?

Железная дорога

За двумя увалами от слободы находилась тайна: там жила своей особенной загадочной жизнью железная дорога; в морозные вечера был слышен накатывающий обвальный шум состава (так леса шумят в бурю или громы погромыхивают), был слышен взывающий, словно бы раненый гудок паровоза, — от него замирало сердце и становилось необъяснимо грустно на душе.

...Повозка, на которой дядя Фёдор и я ехали в город, остановилась у закрытого переезда, возникшего из-за пригорка сразу, и я не увидел дороги, какую её представлял: сплошного железного полотна, давящего широкие поля; увидел же четыре блестящих бесконечных бруса, уложенных на тёмные брёвна, да чёрно-белые полосатые балясины, — всё это, оказалось, имело свои названия: рельсы, шпалы, шлагбаум; у переезда стоял низенький кирпичный домик, на столбах мигали, будто красные глаза, фонари, и откуда-то нёсся тревожный, как у ночной птицы, писк.

Стал отчётливо слышен посекундно нарастающий грохот, приближение чего-то такого, что, почудилось, сметёт и нас, и домик, и густые акации вокруг. И тут моим глазам предстало, как, возникнув будто из-под земли, увеличиваясь, со страшной скоростью надвигаются друг на друга два тёмных низвергающих дым и искры дракона с длинными хвостами. Они неслись навстречу друг другу — лоб в лоб, и я инстинктивно прижался к дяде. «Столкнутся», — с ужасом подумал и закрыл глаза. А когда открыл, увидел суматошное мелькание зелёного, тёмного, коричневого — погромыхивающих на стыках ваго-

нов с длинными рядами окон, платформ, гружённых лесом, огромных продолговатых бочек-цистерн. А через минуту будто ничего и не было. Встречные составы пронеслись, обдав нас грохотом, палой листвой, пылью, чем-то горячим, мазутным, и далеко-долго ещё доносились настуки вагонных колёс...

За эти миги я пережил бурю в душе! А дядя? Он был спокоен, в нём ничто не стонуло при виде железной дороги, скоростных поездов.

За четыре года войны он и не такое повидал... А железная дорога, что ж, для него это было изведенное, даже надоевшее: в августе сорок пятого его дивизию перебросили из Германии на Дальний Восток, дни и ночи на колёсах, не диво было возненавидеть стальные брусы, зашедшиеся в долгой тряске вагоны, мрачный паровоз, который после Великой войны увозил живых на новую войну, для многих погибельную.

А для меня железная дорога стала ещё заманчивее, недосягаемее.

Тонкая рябина

Не всякий раз, но часто, возвращаясь с работы домой, в окраинный городской квартал, составленный из многоэтажных, вразброс, железобетонных зданий, похожих, быть может, на серые отроги горного хребта, вспоминаю я далёкую деревеньку в полевом краю; это воспоминание рождает не сам железобетонный массив, а те тонкие рябины, что опоясывают его и растут перед окнами у каждого дома, хрупкие сами по себе и ещё более хрупкие на неприветном фоне тяжёлых холодно-зернистых стен; я замедляю шаг, признательный неизвестно кому и чему: может, домоуправу-поэту (как ещё назвать человека, который сумел высадить эти нежные деревца с шаровидными кронами?), может, обстоятельствам (ничего, кроме рябины, в каком-нибудь Зелентресте не оказалось), признательный и своей памяти.

...В деревушке той, впрочем, не было ни одной рябины. Стоял послевоенный весенний вечерний час, и — что ж? — смуглое деревце это странным образом возникло, затрепетало узорчатыми мерцающими листьями; был праздник Победы, и на подворье моей родственницы тётки Ольги — в хате не разместились — за праздничный стол собралась чуть не вся деревня, человек пятьдесят, и вот что бросилось в глаза: кроме нас с отцом, забредших из соседней слободы, не было здесь ни одного мужчины. Даже среди детей одни девочки.

Все женщины казались мне тогда немолодыми, на одно лицо «тётками», хотя иные из них, верно, были и молодые, и красивые, и, будь я несколькими годами старше, я бы это почувствовал вернее, а так... Вспоминай теперь, какою она была, с какими — серыми или карими — глазами, «тётка» Мария, чей голос, задушевно-пленительный, и повёл:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина?..

И женщины, сколько было их, подхватили песню, грустнее и краше которой я уже не слышал; они пели так, что сама загадочная песенная рябина словно бы обретала образ прекрасной женщины; я будто чувствовал её дыхание, и казалось, она сейчас откроется взору. В то же время и в каждой из певших словно бы соприступствовал и образ рябины...

Мне только позже стала понятной потрясающая проникновенность того пения. Ведь каждая пела о своей судьбе: в деревню, отдавшую фронту полсотни мужчин, не вернулся ни один.

Видно, сиротине
Век одной качаться...

Гораздо позже, думая о том, как много у нашего народа песен, столь чутко выражающих его душевную жизнь, что их никогда не устаёшь слушать (всё, что есть сильного и подлинного в нашем народе: доброта, открытость, ширь-размах, воля, долготерпение, покорность и непокорность, тоска, согревание, сострадание, радость, печаль, удаль — есть и в них), думал я неизменно и о судьбе песни-рябины.

Или тот, кто создал её, предчувствовал, что будет в срединной России деревенька, в которой после долгой, мужчин выкосившей войны останутся лишь молодые вдовинушки?

Когда я приезжал в последний раз в родные места, деревеньки-вдовы уже не увидел. Бугорки глин, рытвины, сотлевшие брёвна в бурьянах, яблоневые пни — вот и всё. Но часто, возвращаясь с работы домой и видя тонкие рябиновые деревца меж панельными глыбами, слышу, как давным-давно в вечерний час женщины-рябины поют свою чистую поминальную песнь.

Горькие колосья

«Хобот!» — отрывисто крикнул Колька. И он, два Ивана, Петька и я кинулись бежать врассыпную, но все в сторону Белого яра, глубокого яра, до которого простиралось ржаное поле. Иссущённая стерня остро колола, пот застил глаза, но лучше так, чем снова изведать короткий хлыст полевого сторожа; сколь он горяч и крут, испытал каждый из нас; Хобот за триста шагов, а уже чувствуешь его режущий короткий замах. Мы с Колькой, в невидяще-ошалелом беге вновь оказавшись вместе, скатились в глубоченный овраг, распарывая кто рубашку, кто одни-единственные штаны, больно ушибаясь, сдирая о камни и бурьяны кожу, но не плача от боли и обиды. Миг — и затаились на дне оврага в вымытой дождевыми и вешними водами выемке, над которой нависал густо росший шиповник.

Через короткое время над нами, казалось, над всем белым светом понеслась остервенелая разбойная ругань. Что мы могли противопоставить ему, сильному своей властью объездчику, бегавшему пешком быстрее конного, двужилному, с длинным носом, таким длинно-несуразным, что именно ему он был обязан своим чудным прозвищем — Хобот? Он был с детства однорук, но мускульно-жесткой рукой он мог всё, подчас то, чего не могли двурукие: косил траву, пилил и строгал, грёб веслом, возился на пасеке, расставлял силки, охотился на зайца и даже на волка; этой же рукой он и взгревал нас, когда мы попадались ему на колосках. И что были мы перед его необузданной силой, которой боялись даже взрослые? Самое обидное, что рожь на поле была скошена и убрана нашими матерями, а редкие оставшиеся колосья — что с них? — выпади один дождь, и они почернеют. А так — всё лишняя пригоршня хлеба в бесхлебном доме.

С четверть часа выстоял Хобот на кромке оврага, и ни на миг не утихал поток его брани и угроз. Наконец ушёл. Но мы ещё долго были не в силах подняться, придавленные к земле не столько страхом, сколько обидой и унижением. А когда взобрались наверх, Хобот вышагивал далеко на увале. «Гранатой бы его, гада!»

В наших холщовых сумках колосья не скрыли и донышка, но собирать их дальше мы уже не могли. Пусть не было на этот раз хлыста, но унижение оттого, что мы прятались... Почему? Что дурного совершили мы? Через многие годы при встрече мой друг сознается, что ему несколько раз снилось одно и то же — как он убегает от Хобота. И всякий раз он просыпался от страха и стыда.

Наверное, мы были бы сильнее, и добрее, и талантливее, если б не хлыст объездчика. И что за жребий: в каждом селе выискивался в ту пору свой Хобот, добровольный палач детства, злыдень малых и взрослых, «оберегавший» землю от тех, кто был рождён на ней и оставлял на ней пот и кровь.

Райский уголок

За слободой в придонской круче, мягко прерывая её меловой хребет, — барбарисовая падинка. Райский уголок. Зелень с весны по осень, да не бурьян, а пахучая трава, из травы — цветы и метровыми взмывами кусты барбариса; кисленькое, или кислый куст, называют у нас барбарис; и впрямь кислы его листья, мелкие, с зубчиками, кислы и плоды его, красные, мелкие, продолговато-овальные; красен по осени барбарисовый куст, будто усыпанный божьими коровками.

Здесь, в зелёной чаще, над которой опрокинуто парит голубая чаша, никогда не донимают ни ветер, ни солнце, столь яростные на круче; здесь всегда тихо, мягко, пахуче, и когда,

бывало, лежишь на спине и подолгу глядишь в небо, являлось детскими словами непередаваемое ощущение вечности.

Да, райский уголок, и не было такой недели, когда бы кто-нибудь из нас, подростков, вдвоём, втроём не приходил сюда, пока... Пока не был здесь найден убитый дед Шевчень, наш сосед, такой силач, что, казалось, никакая смерть его не одолеет: в шестьдесят лет он поднимал передок колёсного трактора. Он ушёл в Лиманный лес рано утром, обещал прийти к обеду, но не пришёл и к вечеру. Его искали всю ночь, а нашли утром следующего дня в барбарисовой падинке — с проломленным черепом, раздетого и разутого, снятые кирзы валялись у ног.

Так и не дознались, кто, за что...

И с той поры мы редко бывали здесь. Может, с той поры и явилось впервые на мысль: нет покоя-рая на земле, как бы она, пядь земли, ни выглядела благословенно.

Разорённые гнёзда

Лес был недалёкий от села, часто навещаемый человеком. Между тем птиц, особенно сорок, селилось в нём множество — от гомону хоть уши затыкай; непонятно почему они так привязчиво гнездились здесь, коль каждый раз по весне мы, густая ребячья ватага, разоряли гнёзда; правда, менее жестоко, чем в тот солнечный весенний день.

То был поход на уничтожение. Рассыпавшись цепью, мы, сущие каратели, прочёсывали лес, не оставляя без внимания ни одной кроны: как только замечали на вершинном скресте ветвей сорочье гнездо, взбирались наверх... Два, три, иногда даже пять нежных крапчатых яиц, ещё тёплых, лежали в гнёздах; чаще были свежие; пить их — одно удовольствие; попадались, однако, и «болтяки», их легко было различить на солнце. «Болтяки» мы обычно не трогали, только Васька Чугунок зорил подчистую: насиденные яйца швырял наземь, оставляя на молодой траве, на палых листьях жёлтые, коричневые густые пятнышки, каждое — явственно очерченный сорочонок, какому через три-четыре дня испустить бы первый писк...

Расцветший лес, травяное многоцветье — божий уголок, если б не заполошный стрекот сорок, потрясённых нашей жестокостью. Нас была чёртова дюжина, и у каждого к обеду набралось с полкартуза сорочьих яиц. Да сколько ещё расшвырял под деревьями Васька Чугунок. У него и в картузе было больше, чем у других. Но его разбойное богатство было недолгим. Когда мы возвращались из лесу, Чугунок споткнулся о палую ветвь, грохнулся оземь и придавил картуз грудью.

На какое-то время затихли наши голоса, и только тут до нас дошло, какая нехорошая тишина стоит в лесу. Утих сорочий гвалт, и все звуки будто сквозняком вымело. Будто вымер лес... Да он наполовину и вымер: в высоких гнёздах не было жизни.

С такой тишиной я повстречался в лесу ещё раз — уже взрослым. Тоже было много гнёзд, и тоже пустых. «Пацаны лютуют?» — спросил у лесника.

— Если бы, — усмехнулся тот. — Нет, пострашнее. Дуст... Химическая война против природы. Понятно, и против человека.

Стояла дивноцветная пора лета. Небольшой лес, полуубитый, молчал. А далёкий и оттого неслышный гул тоже бы не порадовал: в великих лесах у Амазонки, Лены и Печоры под железными зубьями звенящих, победно завывающих пил никли долу миллионы деревьев, которые не один век корнями тянулись в глущь земли, ветвями возносились в небо.

Приручённые галки

Под осень в воскресные дни подростки разгуливают по селу — у каждого галка на плече; время от времени какая-нибудь встрепенёт крыльями, чем-то встревоженная или увлечённая, тогда и раздаётся хрипловатое, ещё не окрепшее: «Карк!» Иметь птицу на плече — не просто иметь птицу, но нечто большее: это некий пропуск на иную, уже не детскую улицу, где и вечерние посиделки, и гармоника, и отрава запретного слова. Приручивший галицу, ещё не достигши юности, получал права-соблазны, какими живёт юность: он мог уже «парубковать». Легко сказать: приручить. Надо было спуститься по верёвке в глубоченный отвесный овраг, на глинистом вертикальном срезе, испещрённом дуплами, вытащить из гнезда галчонка, подняться наверх. И это было не самое трудное. Самое трудное — выходить птенца, который от испуга и без родного гнезда не ест, не пьёт и возиться с которым подолгу просто нет времени; пора послевоенная — ни хлеба, ни соли, ни огня в печке, всё раздобывается с великими трудами, и матери пустых забав не поощряют.

И всё же под осень у многих галки на плече; сидят, цепкими лапками ухватясь за холщовые рубашки, сидят такие домашние, покойные и... неинтересные. Во всяком случае, не чета тем, что в небе: у тех — стремительность крыла, высота, синяя недостижимость. А этим, приручённым, кажется, и нет никакого дела до неба, и будто тяготятся они крыльями...

Но и приручённые галки слетают однажды с плеча хозяина и взмывают ввысь.

Филинёнок

Филинёнок ещё ничего не умел в этом мире — ни летать, ни охотиться, ни защищаться, и, выдернутый из гнезда злодейской рукой Васьки Чугунка, как бы в оправдание своей фамилии и впрямь пребывавшего вечно в грязи и саже, ничего не мог понять: зачем ему связали ноги, зачем швырнули на дно оврага, зачем причинили жестокую боль — Васька первым

же, острым и увесистым камнем не промахнулся. Затем стал швырять камни один за другим. Колька и я — что мы могли поделаться? Чугунок на несколько лет старше, сильней, не раз уже мы бывали им биты. Самое опасное заключалось в том, что он не признавал никаких правил честной драки: не задумываясь, бил всем, что под руку попадалось, — палкой, камнем, болтом, куском железа.

Филинёнок — надо же! — оказался слишком горд, чтобы засуетиться и потеряться в страхе, но боль была болью, и в наивное устрашение своего мучителя он время от времени приподымал крылья, хлопал ими, сипло хоркал; но потом замолчал и грустными немигающими глазами глядел близоруко вверх; на голове, чуть запрокинутой, веером расходились опаловые пёрышки, и такая была беззащитность в этом светло-буром живом комке...

— Перестань! — крикнул Колька.

— Оставь, а то... — Но не успел я досказать, как огромный, с голову, ком высохше-твёрдой земли, поднятый Васькиными руками, обрушился на птицу.

Одновременно, не сговариваясь, мы кинулись на Ваську, обида, праведный гнев придали нам силы, и на этот раз схлопотал и он, но всё-таки больше досталось нам: скоро и Колька, и я смазывали с лица кровь, а Чугунок, вооружённый камнями, угрожающе обещал:

— Убирайтесь, а то и с вас чучел понаделаю!

Месяц спустя узнал: убитого филинёнка Чугунок употребил на чучело и выгодно сбыв в районе. На вырученные деньги он раздобыл ремень с увесистой бляхой, нож с выбрасывающимся жалом и всё лето задибался, ища ссоры со сверстниками, всякий раз восклицая: «Этого не хочешь?» — и делал вид, что растёгивает ремень.

Теперь, годы спустя, когда многое повидал на веку, видел, как умирает человек, как гибнут люди — утрата невосполнимая, — теперь, когда ко многому почти привык, нет-нет да и вспомню я того филинёнка с грустными непонимающими глазами.

Глубокое эхо колодца

Колодец стар, как твоя слобода; чёрен, замшел его сруб, иные венцы подгнили, давно бы пора заменить, да никто теперь уже не заменит: с того дня, как в нём погиб подросток Егорка Задумчивый, погиб и сам колодец: заброшен людьми. Лишь воробы как ни в чём не бывало гнездятся в щелях меж венцами, никакой кот им здесь не страшен.

Вода была: пить — не выпить и не напиться, даром из такой глубины её извлекали, что ворот крутишь-крутишь — устанешь: ведро вниз летело долгие секунды. Нет ни ворота, ни ведра, затравенело теряется некогда до глянца битая тропка, и лишь изредка ребята, играя в жмурки, наведаются сюда. Кто-

нибудь заглянет в тёмный зев колодца и не увидит прежнего блеска далёкой воды: перья и воробьиный помёт скрывают её от праздного взгляда. «Ау!» — крикнет кто-нибудь. И, угрюмо, больно ударяясь о венцы сруба, о меловые стены, пойдёт по колодцу эхо, пытаясь вырваться на волю. И не вырвется. Мрачно затихнет. Нет, не сродни колодезное эхо полевому, лесному, — в тех много солнца, соединных грусти-радости, широкости. Это же — как угроза!

И, слушая его, начинаешь по-детски верить бабушкиному слову, что то душа Егорки блуждает в колодезной полутьме, и некуда ей деться, и не вырваться ей оттуда.

Никто не знает, что случилось с ним, нечаянно ли оступился, или что-то замерцало ему там, в глубине, и сила сумасшедшая низринула его вниз, но считают, что так ему на роду написано было. Дед его увязнул в приловом озере, сплошь покрытом непреодолимой сетью из ряски и иной скользкой водоросли, отец погиб в войну на эсминце; старший брат, в накрытый метелью день возвращаясь из заречного села, не заметил у обрывного берега проруби. Вода словно вылилась в семейное бедствие, неотвратимое, приговорное злосчастье.

«Ау!» — потревожит кто-нибудь забытый колодец, и оживает неприкаянная душа, и угрюмо мечется, ударяясь о колодезные стены.

Шапка Мономаха

И дела-то: вычинить два кроличьих смушка; да долго ли умеючи сшить их по колоде, да положить прокладку — вот и вся недолга. Но дед Кожарь, единственный, кто на всю округу шил шапки, не торопился, может, и впрямь заказов у него было много, а может, не спешил для солидности (какое доброе дело наспех делается?); мы с мамой к нему раз пять наведывались, благо, жил он в соседней слободе, а каково было тем, кто приходил к нему из деревень дальних? Вредный старик изготовил заказ лишь к поздней осени. Но и на том спасибо! Шапка серая, с белыми пушинками, мне понравилась, хотя и была громоздкой и нелёгкой после пуховой шапчонки, которую я донашивал; отец, покрутив-повертев обнову, заметил: «Песку он за подкладку насыпал, что ли? Не менее фунта тянет, разве что Мономах потяжельше носил...»

Порасспросив отца про Мономаха, я с Сашкой-соседом тем же воскресным ноябрьским днём отправился в лес за кислицами. Сопутчик, двумя годами старше меня, давно набивался ко мне и моим сверстникам в друзья, но мы знали, что он не умел держать язык за зубами, и сторонились его. На этот раз никого из «наших»: ни Кольки, ни Петьки, ни Иванов — не было дома, и я не устоял: Сашка хвастался, что позавчера набрёл в лесу на дикую яблоню, кислицы на ней крупней садовых яблоч. Да ещё подмороженные! «Возьми и спички, разожжём

костёр в прожекторной пещере». Я колебался какой-то миг: отец и мать не разрешали брать спички; но всё-таки взял.

Через час мы уже были в лесу. Нарвали дичек, никаких не крупных и не вкусных, кислицы как кислицы, а затем принялись за огонь. Понабросали в наклонную с полуовальным сводом яму-пещеру (в войну здесь размещалась прожекторная установка) хворосту, щепы, бумаги, несколько крон-шаров перекасти-поля и разожгли костёр. Сразу вспыхнуло, загудело мощно, будто живые силы пытались вырваться из пещеры на простор. Мы добавили ещё игольчатых шаров, они вмиг занялись и летуче сгорели. Нас захватил азарт, на бегу стали собирать охапки валежника, листьев, сохлого бурьяна, наперегонки подбегали к яме и швыряли охапки в гудящую огненную пасть.

Подбежав в очередной раз, я споткнулся о толстую валежину и, подавшись вперёд, чуть не упал. Удержался, но случилось непоправимое: шапка, мягко соскользнув с головы, свалилась возле ямы и тут же, будто увлечённая вихрем, стремительно канула в пещеру, в багрово пылающую пасть. Я как зачарованный, а вернее сказать, как связанный, оцепенело, ни рук ни ног не чувствуя, глядел, как быстро, в секунды, сгорает она, так трудно доставшаяся. Растерялся и мой напарник. Мы стояли недвижно и молча, пока шапка не превратилась в прах и огонь не угас. Мне белый свет стал не мил. Столько всего: и взял без спросу спички, и без спросу подался в лес с Сашкой, хотя мать не раз говорила: «Держись от него подальше»; и вот венец невезений и несчастий — спалил новёхонькую шапку.

«Ничего, не горюй, — утешал сосед, — скажешь, потерял в Белом яру. Глубоченный — не найдёшь. А мы — никому ни слова. Могила!» Мне было так скверно, что я после недолгих его увещаний, после его божбы согласился на обман, от расстройств совсем позабыв, что Сашка вовсе не из тех, слову которых можно верить.

В тот же день, до самого позднего вечера, мы с мамой искали злополучную шапку в Белом яру, в бурьянах по ямистым скосам, и мне было гадко донельзя: мало того, что мать столько исходила в соседнюю слободу за шапкой, теперь вот и здесь бьёт ноги — надеется. Обман меня угнетал, и я не раз порывался рассказать, как всё было, но тут же вспоминал клятвенные слова: «Могила!»

Через месяц мы с Сашкой рассорились, и о недавнем он тут же рассказал моей маме, да так, что, мол, если бы не он, то от моих спичек выгорели бы все окрестные поля и леса.

Нечаянно остаться в живых

В то долгое лето мимо нашего села, мимо крутого нашего берега каждый день вверх по Дону проплывали грузовые суда; в основном — небольшие буксиры, влёткие за собой две или три баржи, гружённые щёбёнкой, ход их был неспешен, волна

невелика, и мы наловчились сопровождать буксиры: на плаву цепляться за кормовые лодки, а то и просто за швы барж, бывало, даже взбирались на палубы, и так, на палубе, или на лодке, или по грудь в воде, держась руками за лодочную цепь, доплывали до соседней слободы; там забредали в старый оставленный сад, наедались задичавших яблок, груш, вишен и вплавь, вниз по течению, возвращались домой.

Обычно в подобные затеи пускалась ватажка человек в семь, но на этот раз я оказался один. Занятие было привычное, ничто не помешало мне доплыть, удачно схватиться за выступающую поперечную рейку — опояску баржи, подтянуться.

На палубе, на щепе, в нескольких метрах от меня сидел по пояс обнажённый, загорелокрасный парень лет семнадцати, может, чуть старше. Увальнистый, щекастый, он лениво грыз яблоко. Не знаю, почему, — то ли я своим появлением помешал ему жевать, то ли сбил с какой приятной мысли, — но он, увидя меня, уставился враждебно. Моя улыбка — так я приветствовал его — оказалась явно не к месту и — почувствовал — стала неловко опадать. Он глядел молча и всё враждебнее. И вдруг с непонятной для увальня резкостью швырнул в меня огрызком. Я пригнул, вжал в плечи голову, но рук от верхней опояски не отнял. А когда поднял глаза, увидел его, наклонённого надо мною и замахивающегося. Острая боль на миг пронзила бедро. Но прислушиваться к ней некогда было; снова замах красной мясистой руки с увесистым камнем. «Убьёт!» — пронзило меня, и я резко ушёл под воду, под днище баржи. Там ожидало спасение от руки с камнем. Но там же таилась и опасность. Секунды решали судьбу, надо было плыть поперёк баржи, собрав все силы. Я грёб руками и ногами, грёб лихорадочно, в нараставшем страхе; взял слишком глубоко, пошёл вверх, торкнулся о днище. Прошло не знаю сколько секунд. И снова днище. Прежде я не раз проныривал под баржей поперёк, и всегда за считанные миги. Но на этот раз стал терять им счёт. Напряжение было предельным, казалось, сердце и лёгкие вот-вот разорвутся... Безумный страх, неестественно близкий равнодушию, охватил меня. Я понял: плыву под баржей вдоль, а это значит, что мне не выплыть.

И когда уже казалось: всё! — почувствовал, как вода стала желтеть, светлеть, увидел, как солнце пробивает её толщу. Я собрал последние силы и вытолкнул себя на поверхность. На волне-белогривке краснел огрызок. Баржа удалялась, сидевший на ней тупо жевал новое яблоко.

Я подплыл к близнему берегу, вышел из воды. Багрово-лиловый жгутец садняще-больно лёг по бедру. Но я другую чувствовал боль. Глядя, как удалялась баржа, я испытывал и недоумение, и горечь, и гнев, и бессилие наконец.

Может, так и остался бы во мне тот, на барже, как образ неискоренимого зла, может, и придал бы он моему зрению свойство

видеть в мире по преимуществу злое, грубое, недоброе, если б не случилось мне через неделю уже по собственной вине тонуть в бурю и не спас бы меня, собой рискуя, слободской бакенщик.

Убежать от молнии

Такое давнее. Со мной ли это было? Было ли?

Стоял под раскидистой вербой у самого берега реки, пережидал дождь и грозу. А они, казалось, никогда не кончатся, не утихнут. Деревня чуть виднелась в полуверсте, и добежать туда — считанные минуты, если б не этот обломный дождь: лил как из ведра. Впрочем, не дождь меня удерживал, — я уже весь промок и мне было всё одно: что стоять под открытым небом, что стоять под вербой, низвергающей струи воды с каждого своего листка, — а страх. Когда тебе нет и десяти, а вокруг такое светопреставление: грохоча, раскатываются, с треском лопаясь, огненные шары, вонзаются в землю исполинские бело-синие копыя, — что ж тут неожиданного, хитрого в страхе? В этом разбушевавшемся шабаше верба мнилась хоть каким-то да спасением, завесой, преградой небу, его грозной колеснице, — не знал я, что нельзя было придумать ничего опаснее, чем укрываться под кроной дерева у самой воды.

Дождь лил да лил, в чернильно-синем омуте не чувствовалось ни малого просвета, я подумал: «А вдруг не утихнут до ночи?» И только подумал, как дождь резко поубавился, а вскоре и перестал вовсе. Здесь и гроза стала остывать: реже, глуше слышались раскаты грома. Когда вовсе стихло, я со всех ног припустил в деревню.

И тут — будто обвалилось небо! Такой оглушающий треск раздался, что я как вкопанный остановился, невольно вжимаюсь в самого себя. И когда оглянулся — увидел: надломленная, медленно, нет, стремительно клонится к земле большая ветвь, кружатся оббитые листья. Пахло палёным, и чуть курился дымок. Верба, будто истерзанная многочасовой бурей, была на себя не похожа: наполовину нага, черна, с жалкой изломанной кроной. По-детски остро я представил, что было бы со мной, не оставь я убежище. И, представив на миг, я уже не побежал, а побрёл, плача и глотая слёзы, но страха не испытывая. Страх не было.

А заноза осталась на всю жизнь. И поныне становится не по себе, когда неожиданно загромыхает гроза; когда застает врасплох, всякий раз приходит на мысль, что у стихии свои — промахи или милости: «Тогда тебе дано было уйти». Давнее и недавнее тогда...

Телеграфные провода детства

Бабушкин рассказ про русалок, вечерний лес с жутковатыми вскриками молодых сов, кинутый германский грузовик, вверх колёсами лежавший на дне Вихьярного оврага...

Тайны, тайны, тайны. В иных, скажешь теперь, по взрослости, и тайны-то нет.

Вдоль шляха, широкой, тугой до сизого блеска дороги в рай-центр, куда мне выпадало ходить по многу раз на лето, один за другим нескончаемо тянулись столбы телеграфной линии; шлях лежал через необозримые, чуть волнистые поля, через серебряно-сизые, жёлтые хлеба; и было великой радостью, пройдя хутор Верхний Киевский — половину пути, сойти с набитого грунта на затравенелую обочину с травой чистой, как после дождя: тогда, после войны, машины на том шляху были за редкую редкость, поднимать пыль и обдавать ею было некому, от медлительных, нечастых повозок — какая пыль? Здесь заветный пригорок: с него видать далеко во все четыре стороны, на нём — густо-густо васильков вперемешку с одинокими залётными ржаными колосьями, белыми метёлками овсюга, ножевыми листьями пырея. Сядешь. Потом упадёшь на спину, раскинув руки, обратив глаза к небу, где в вышней синеве откуда-то и куда-то плывут, наплывают и уплывают облака, а прямо над тобой — телеграфная линия, самая великая из загадок детства.

На провода садились малые и большие птицы и сидели долго, молча и неподвижно, казалось, они и не хотели улетать, казалось, что они, через цепкие когти соединённые с проводами, знают, о чём те гудят, и внимают, внимают...

Откуда приходил и куда уходил тот гул? Что было в нём? Его можно было слушать часами — такой близкий, такой запредельный; он был словно голос иного мира, заоблачной выси. Смежишь глаза — нечёткими, смутными, не похожими на самих себя становятся белые чашечки изоляторов, крюки на столбе, провода, птицы; детали ускользают, теряются, остаётся лишь тёмный крест, медленно уплывающий в небо, да гул, несмолкаемо зовущий в неведомое.

Так о чём гудели те провода? О чём? По ним неслись вести о жизни и смерти, о чьих-то крушениях, поражениях и победах, о скорбном и радостном, о государственном и личном... Но я о том не знал.

Сейчас знаешь. Знаешь, что столбы, провода, белые чаши есть самый заурядный вид связи. Вон их сколько, этих мёртвых, без полевого гула проводов, протянутых мимо твоего многоэтажного дома! Но, случается, глядишь на них, и вдруг начинает, как на проявляемой фотобумаге, проступать тот шлях, поля в хлебах, хутор Верхний Киевский в вишенниках, телеграфная линия, уводящая в бесконечность.

И снова мир прекрасен и загадочен!

Пчёлка-мохнатка

Едва закончился урок родной речи, как я, давясь слезами, оставил класс, не зная, куда мне деться, сбежать, провалиться от великой несправедливости в мире. И что толку в школьном

сидении (впереди ещё было два урока), когда пчёлка-мохнатка уснула навеки? Белый свет мне стал не мил, оттого что она «уснула навеки». А ещё час назад ничто не предвещало беды, урок был как урок: после проверки домашних заданий учительница по заведённому правилу принялась читать новое. Звучал рассказ о пчёлке-мохнатке, о том, как она мирно собирала мёд для своей семьи, как хорошо ей жилось среди своих подруг на пасеке до той поры, пока не появился злой разрушитель захожий Мишка Топтыгин. Бесстрашно кинулась пчёлка-мохнатка на незваного гостя, вонзила в него своё жало, а дальше — я знал, что будет дальше, и всё же не ожидал, что концовка рассказа так меня потрясёт. Здесь всё, наверное, заключалось в этих жалостных словах: «Уснула навеки...»

Когда отец — учитель у старшеклассников — двумя часами спустя вернулся из школы, он застал меня всё ещё не отошедшим от горя.

— Что с тобой?

— Пчёлка-мохнатка, — заикаясь, пролепетал я, — уснула навеки, — и вновь залился слезами.

Отец стал меня утешать: «Не расстраивайся... не расстраивайся. Прогнали же Мишку-злодея? Прогнали. Вот что главное. Пчёлка погибла не зря, понимаешь? А в нашем мире где жизнь, там и смерть. Вон погляди, сколько их, неживых пчёлочек, у колодца...»

Это я знал. Видел, как много их плавало без признаков жизни в застойной воде в приколодезном корыте. Бывало, поят коня иль коров, с размаху опрокинут ведро в корыто, и закружились, как золотые точки, опрокинутые навзничь пчёлки, беспомощно ища опоры. Подашь прутик одной, другой, третьей — ухватятся; их тут же на сухое; обсохнут — и вновь за труды свои... Но это когда успеешь. Чаще, подойдёшь к колодцу, а их там — как на пчелином кладбище. Огорчался и тогда, но чтоб так...

И долго ещё у меня навёртывались слёзы, едва вспоминал я трогательную повесть о пчёлке-мохнатке.

По взрослости обретаешь жёсткость и в деле, и в слове. И, прочитав ныне что-нибудь наподобие «уснуть навеки», разве поморщишься от сентиментальности написанного.

...Но как же часто хочется в тот мир невозвратного детства, где слова исторгали чистые слёзы! Впрочем, любые слова можно написать и сказать по-разному. И если услышанное в твоём детстве слово трогало до слёз, какое счастье, что оно явилось и светило тебе на заре жизни!

Клён кудрявый

Учительница, подойдя к окну, которое застил высокий старый клён, словно и не для нас, но для нас, тихо произносит: «И у дерева своя судьба. Вот клён... Кто-то его сажал, кто-то

оставил на нём зарубки... Может, собирался срубить в холодную зиму? Или, может, знак какой? Клён, скажете, эка невидаль. Но у него всё своё — и корни, и ветки, и листва».

Старая учительница, мать пятерых сыновей, на миг умолкает, невидящими глазами обводит класс, будто — отвлекая стены — ищет далёкое: ни один из пятерых не вернулся с войны; затем продолжает: «Видите, какая тугая земля — меловая. Лопатой не укопать. А корни, как ножи, вспарывают грунт. Завтра у вас выходной. Вам задание: напишите о дереве. Хоть о клёне, хоть о берёзе или ясене в лесу...»

Весь воскресный день пробыл я в приречном леске, ватажась шумно со сверстниками среди светлокорых осин и крапчато-белоствольных берёз, влезал на вязы и липы, пугая сорок, в палой листве дубняка искал патроны. С утра до вечера видел листья, ветви, корни. Но о дереве так ничего и не написал.

На другой день учительница попросила показать написанное. Мне показывать было нечего. Она не стала меня корить, да лучше б отругала: было стыдно. Мысленно я пообещался исполнить наказ учительницы. Но начались летние каникулы. Не написал и осенью.

Прожив жизнь, понимаешь: дерево — загадка. И смуглый осокорь на приречном холме, и белая берёза, одинокой свечой мерцающая в тёмном ельнике, и нагая ольха у озера... И у каждого дерева — своя участь. Пробивают надгробия, гнездятся на крепостных стенах, годами мокнут в воде, стоят, исхлёстанные артогнём, обугленные молниями, возрастают на куполах забытых соборов, жаждущие и не могущие ни спуститься на землю, ни дотянуться до неба.

Слушаю песню про клён зелёный, клён кудрявый и у школьного окна вижу: его давно уже нет; однако он живёт вместе с памятью о первой учительнице, у которой воевали пять сыновей и ни один с войны не вернулся.

Погорельцы

Прозвенел звонок, наш класс шумно ринулся из школы, стоявшей на косогоре, на юру. Внизу, за оврагами, горела улица — несколько хат рядом вместе с сараями, копнами сена на подворьях; огонь бушевал широкой полосой и всё разрастаясь: на наших глазах он перекинулся ещё на одну хату. Не за горами было самое страшное: с Дона по яру, как по трубе, вечно тянуло сквозными ветрами в степь, а коль загорелось близ реки, ветер и погнал огонь на село, и спасения, казалось, не было.

Невелика помощь от десятилетних, но мы дружно кинулись на улицу Нисолоновку, где бушевало пламя. Крик и плач неслись, время от времени обрываемые треском и грохотом перегоревших и падающих балок, перекрытий, кровель. Немногие мужчины раздёргивали баграми стены, растаскивали

сине-красные брёвна, кое-кто кидался внутрь горящих хат, вытаскивая всякие тряпки, — занятие почти никчёмное, раз горело главное и его нельзя было спасти!

Миллионы бочек воды можно было бы взять из Дона, а тут приходилось обходиться одной — малой, рассохлой; пожарная повозка оборачивалась туда-назад в полчаса, и там, где ложилась немощная струя, огонь, казалось, взгорался ещё яростнее. Мы помогали подносить воду из колодца, но и эти выплески вёдер только ожесточали пламя, будто не воду, а керосин выплескивали в пылающую пучину. Да и колодца хватило ненадолго.

К вечеру выгорела дотла вся улица, успокаивать себя оставалось одним: хоть не вся слобода. Однако тех, кто сир и наг горевал на угольно-чёрных подворьях, это никак не могло утешить. Как им можно было помочь с одежкой, если слобода едва не сплошь одевалась в довоенные платанины, что называется, хламиды и рубища, да в беззаменное домодельное платье из брошенных оккупантами фронтовых сукон? И где было взять брёвна для сруба или хотя бы для пазовки хаты, если леса по округе вырубил на трёхнакатные блиндажи, просто на дрова, главное же — дабы пресечь всякую возможность партизанства? И чем можно было помочь, ежели вся слобода нуждалась в самом насущном: хлебе, соли, керосине?

К вечеру мать собрала узелок, в котором был ещё не ветхий пиджачишко, предназначавшийся — днём раньше шёл разговор — для обмена на соль; нашлась и соль, и разные иные вещи, без которых нельзя в хозяйстве. Среди погорельцев у нас не было родственников. Но то были люди, с которыми мы здоровались ежедневно. Скромный узелок стал узелком на мою будущую память.

И когда взрослому приходится слышать о нашем якобы исконно национальном невнимании и равнодушии друг к другу, всякий раз вспоминаю нехитрые семейные, в большой шерстяной платок увязанные пожитки, — а такие увязи в помощь погорельцам собрало полсела; и особенно вспоминаю, вижу перед глазами то единодушное, будто праздничное дело — постройку новых хат: их строили все, от мала до велика, и, конечно, не за рубли-копейки...

Но неужели нам всегда так: или вспоминать, или переживать вновь испытания, извечно суровые в нашей истории, чтобы лучшее вновь зримо проявлялось в нас?

Стихи в холодном классе

Когда человек, невесть откуда взявшись, на слободской улице вдруг начинает размахивать руками и разговаривать сам с собою, как тут любопытствующему простодушью не удивиться: все ли у него дома? Так и дома семейного не было;

в гражданскую войну пропали отец и мать, оставив семилетнему сыну первое знание — чуткую любовь к отечественной словесности да ещё умение играть на рояле. Тёмный рояль сгорел, как и вся крохотная усадебка, в которой и был он наряду с тремя шкафами книг главной ценностью.

Когда невесть откуда взявшийся человек открыл дверь нашего класса, мы обо всём этом, разумеется, не знали, но уже слышали про странности нового учителя, что среди зимы сменил замёрзшую в поле учительницу; вот чёрточка как для разгадки: у бедной нашей учительницы вечно зябли руки и она боялась большого снега, словно предчувствуя свою судьбу; Дмитрий Игоревич, напротив, не боялся «ни хлада, ни мраза» — в выстуженном классе расхаживал в одном свитере, явно не жарком. Был он высок, чуть сгорблен, глаза иконные: огромные, тёмные, но излучающие свет. Он у нас учительствовал с месяц, и странное и хорошее было его учительствование. Спрашивал он мало. Больше рассказывал. Подолгу не открывал классный журнал и вдруг за одно лишь внимание выставлял всем сплошь примерные оценки. Знал он, казалось нам, обо всём на свете и разговаривал с нами как равный с равными и, как малое дитя, огорчался тому, что мы так мало знаем. Десяток привычных имён, даже того меньше: Пушкин, Толстой, Некрасов...

«А Кольцов? Слышали о нём?» — спросил однажды учитель уже при самом конце урока родной речи. Ответом ему было наше молчание-припоминание, переросшее в незнание. «Ну что ж вы... — огорчился учитель. — Он наш земляк. Босыми ногами, как и вы, ходил по мокрой траве». Следующим и последним уроком было пение, но — какое там пение? — учитель, войдя в класс и выждав, пока мы уgomонились, вдруг начал: *«В края дальние пойдёт молодец: что вниз по Дону по набережью, хороши стоят там слободушки! Степь раздольная далеко вокруг...»*

Он читал задушевно и сильно, с каждым словом всё более проникаясь чтением, и что-то, наверное, в каждом из нас струнулось, даже озарилось сиянием того каждому из нас знакомого летнего дня, когда на приречный луг, брызжущий синим, красным, жёлтым, выходят с отточенными косами слободские косари. Отодвинулся, стал несуществующим класс с замороженными, сизыми от зернистого снега стенами, а «понадвинулась» степь, жаркая и пахучая, с травами выше нас...

Учитель прочитал стихи и вновь начал их — теперь уже петь. В пении голос его был глуше, но ещё задушевнее, и постепенно мы заслушались, и никто не заметил, как вошли завуч и с ним ещё двое, незнакомых. Увидев, Дмитрий Игоревич оборвал себя, и на лице его выразилось недоумение, что за непростенные гости?

— У нас урок пения? — не здороваясь, спросил завуч, сухой старик с жёлто-зелёными, никогда не улыбающимися глазами. — Почему ж тогда ваши ученики не поют?

— Рассказывал о Кольцове, а что за Кольцов без песни? — доброжелательно и просто ответил Дмитрий Игоревич.

— Кольцов? Откуда Кольцов? Что у вас сегодня по программе?

— По программе?.. — Какой-то миг Дмитрий Игоревич казался растерянным.

— Придётся вам отпустить их пораньше. Сейчас отпустите! — сказал тоном приказа вовсе не завуч, а один из незнакомых, тоже, как завуч, сухопарый, с тёмными волосами и глазами.

— Ну что ж, — учитель будто споткнулся на слове, но спокойствие уже вернулось к нему, — на время, ребята, мы с вами расстанемся. Вы только... будьте как трава: её скашивают, а она вырастает вновь... Не пропадите. И мы с вами ещё споём. В поле, на косовице!

И вот много лет спустя в притемнённом сияющем театральном зале идёт торжественное чествование памяти народного поэта-земляка, и слова «великий», «гениальный», «проникновенный» к делу и бездельно слетают с уст хвалящих. Кто-то называет число положенных на музыку кольцовских стихов.

Но знаю, средь множества других не зазвучит «неучтённая» песня моего учителя. Поёт хор, и медленно, необозримо меня уносит в недалёкий, увы, далёкий край, где благовонны степи и луга детства, где травы по пояс, где мы так и не побывали с учителем.

...И слышится голос его, из невозвратных глубин вызванный силой моей воли, любви и признательности.

Кролики в голубой клетке

Одно лето я провёл в гостях у дяди Платоши, дальнего родственника по матери. Было это пусть и не сразу после войны, но деревня жила ещё трудно и бесхлебно, хоть нашу слободу взять, хоть Осотовку, где пребывал мой родственник. Надо сразу же уточнить: трудно жила Осотовка, но вовсе не дядя Платоша, предпочитавший, впрочем, чтоб его называли Платон. Платон так Платон. Коренастый, круглоголовый, дядя мой был тоже в своём роде философ. И философия его заключалась в размышлении, как сытно прожить в несытное время. Не было у него в хозяйстве ни коровы, дающей молоко, ни кур, несущих яйца, ни плодоносящих яблонь — по тем временам это было невыгодно. Было же вот что: на задах подворья буйно рос терновник, а в глубине его, сокрытый от досужего глаза, голубел кроличий городок — десятка два клеток тянулось полудужьем на высоких подставах, словно

игрушечные домики. У моего отца в плетнёвом палисаднике тулилась крохотная, в три улья, пасека. Он время от времени красил ульи в жёлтый, синий и зелёный цвета, чтобы пчёлам было легче находить своё жилище. Там покраска — понятное дело, но здесь зачем? Наслышан я был, что дядя не такой человек, чтоб без нужды выбрасывать деньги на ветер. Но вот оказалось — без нужды. Уж больно дядя Платоша любил голубой цвет. Его прижимистая натура, как я вскоре узнал, могла устоять против любого соблазна, но только не против голубой краски. Я приехал как раз: краска едва просохла...

Всё-таки недостаточно знала мама своего дальнего братца, раз рассчитывала, что мне удастся хорошо у него отдохнуть. Обещала-рисовала: река, озеро. Какое там озеро! Если я и бывал возле него, то лишь затем, чтобы набить луговым молочаем мешок, отнести на кроличью ферму и вновь вернуться, дабы снова наполнить мешок. Кроликов была тьма-тьмущая, и поедали они не меньше, чем коровы. Молочай, лоза, яблоневые ветки, капустные листья — только успевай подавать. Какими милыми, славными мордажами казались мне они поначалу: и эти прядяющие уши, и красные глазенята, чуть-чуть любопытствующие. Но уже через полмесяца я возненавидел и их, вечно ненасытных, и, конечно, их владельца.

Сказал себе, что больше ноги не будет у дражайшего дяди. Но случилось так, что по осени в одно из воскресений пришлось нам с матерью вновь заехать к осотовскому философу. И тут на моих глазах картина была дорисована полностью. У дяди Платоши полным ходом пожинались плоды: шло «избиение младенцев», разделявались кроличьи тушки, на многочисленных пальцах распинались шкурки, всюду во дворе попадались мне на глаза то рогульки, то окровавленные ножи, то шила, то шурки. Готовилось на продажу, готовилось на обмен. И весь вид дяди Платоши как бы ликующе-молчаливо кричал: жить стало лучше, жить стало веселей.

Необъяснимо зачем я прошёл к ненавистным ещё с лета клеткам. Кроликов там осталось мало, да и те вели себя тихо-смирно, будто чувствуя, что творится во дворе, за оградой. Голубая краска на клетках повыцвела. Но когда я вернулся во двор, взгляд мой случайно выхватил горку нераспечатанных банок на открытой погребнице. То была голубая эмаль.

— А когда ж красить будете? — спросил я.

— Весной, теперь уже весной, — благодушно ответил дядя.

С той поры я никогда его больше не видел. Но сколько же я встречал увлечённых умельцев красить клетки в голубой цвет!

Рожь на снегу

Молодой и горячий конь быстро вынес наши розвальни на увал. За ним расстилалось долгое, белое, как скатерть, поле, открытое первыми декабрьскими снегами. Стоял солнечный

чистый день, от белоснежья глаза слезились. Вдали тянулась сизая полоска лесопосадки, а поближе к дороге навстречу нам подвигался человек, в каком бы я менее всего признал хорошего знакомого. Отец же узнал сразу: «Полевод выхаживает по бездорожью. Или мало за войну исходил зимних полей?»

Полевод Иван Евдокимович — наш сосед. Вот кто чудак: с войны привёз не что-либо ходовое, в доме нужное, а... мешок самых разных семян. На огороде, на задичалой леваде и даже на пустыре разбил грядки и давай их взрыхлять, удобрять, засеивать, поливать. А на грядах не только морковь, картошка, капуста, но и просо, рожь, ячмень. Казалось бы, рожь да и рожь, а у него на разных грядах разная: у одной тонкие, длинные колосья, у другой короче, но тяжёлые, литые. А ещё грядки с овощами и ягодами, каких сроду не водилось в нашей округе. И большую часть выращенного он раздавал прежде всего нам, детям, себе же оставлял скромную меру — «для разводу». А для чего ему ещё? Семьи он не заводил, над ним даже посмеивались, мол, не на этих ли грядах он жену вырастить надеется. Между тем о нём даже в областной газете писали, что он новые сорта ржи и ячменя выводит.

— Мало ты за войну исходил полями?

— То ж другие поля! — охотно откликнулся сосед.

— Не ошиблись мы, выбрав тебя полеводом. Зима, воскресенье, а твоим ногам покоя нет. Эти твои рожь да ячмень не на снегу ли станут расти?

Отец был несколькими годами старше соседа и любил подшучивать над ним, как над младшим братом.

— Тут бы на тёплой летней земле научиться выращивать так, как того зерно заслуживает.

— Гляди, чтобы рожь выше тебя не вымахнула, как тогда косить?

То ли всем троим увиделась рожь в двухметровый рост, каким природа наградила нашего соседа, то ли от радости солнечного дня... мы рассмеялись. И, помахав руками, разошлись-разъехались.

По-детски неясно я подумаю: война кончилась, и какое мирное, ровное поле, и ничто не угрожает ему — ни землетрясения, ни вулканические лавы, ни геологические разломы, как в других землях.

Вскоре у Седого оврага, где истаивала фигура полевода, раздался взрыв. Белый снег стал чёрно-серым. Галки взметнулись и закружились, как гонимые ветром кричащие листья, — на третьей зиме после войны.

А на моей донской родине и поныне возрастают хлеба, сорта которых на волнохолмистые поля выведены моим соседом.

Во саду цветущем

Глухой мокрой осенью, возвращаясь из соседней деревни, завернул я в старый усадебный сад, черневший недалеко от дороги, на пологом косогоре. Не знаю, почему я решился на этот крюк: сад дважды в войну был полем атак и контратак, столь ожесточённых, что уже и после войны смерть не хотела уходить отсюда, таясь в неразорвавшихся минах, гранатах, патронных обоймах; дважды здесь подрывались колхозные телята; и хотя потом сапёрная команда «пропахала» всё окрест, но старшие постоянно наказывали нас держаться от сада подальше.

И вот в первый раз медленно брёл я меж задичалых яблонь и груш, меж кустов терновника и сирени, по бурой палой листве, то и дело останавливаясь. На оселых бугорках от былых строений разорённой усадьбы, в бурьянах, в палой листве на каждом шагу цеплялись осколки, гильзы, ржавый искореженный металл. Иные стволы были будто срублены, лишь чёрные огрызки; из одного торчал, величиной с ладонь, осколок. Но не это меня поразило. В размытом водой овраге я резко увидел, будто ожёса: кости, много костей и чуть в стороне два человеческих черепа. Мне уже минуло двенадцать лет, иными словами, я уже был в той предотроческой поре, когда чувствуешь ещё острее, чем в раннем детстве, и спрашиваешь уже не только других, но и себя. Кто они были? Двое наших? Или пришельцев? Отступавших или наступавших? Или то были наш воин и чужой, схватившиеся в единоборстве? Эти кости вымыты весенними водами, но разве здесь им место?

Так случилось, что я вновь побывал в том саду лишь годы спустя. Было самое начало мая, и сад стоял в цвету. Боже мой, как же он бессмертно цвёл, какой белый звон гудел вокруг! Правда, пни — пасынки войны чернели в бурьянах, как несуразно толстые грифельные стержни, но что до них было этому воскресшему саду, цветшему так яростно?

В празднично гудящем сновании пчёл, опыляющих белые кроны, в торжественном гуле майских жуков и шмелей, в свадебных празднествах божьих коровок — во всём начиналось новое, рождалась жизнь новая!

Но те черепа... Обелиск на братской могиле был почти невидим в зарослях сирени, тоже зацветающей.

И как же не благодарить Божий мир, если сад воскресше цвёл, переборов тлен, отраву тола, жестокие осколочные порезы, не столь давнюю здесь человеческую ненависть?!

«Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы...»

Июнь

...И всё бы идти по густому медовому разнотравью, и дойти до ночного, где тихо вздрагивают мучимые бессонницей кони, и, упав на копну молодого терпкого сена, глядеть на зыбкие

очертания их, на неслышные прочерки звёзд, на глубинный месяц июнь. Только надо поспешить, чтобы увидеть июнь, ибо мгновенен он, юный дозорный лета, не летом единым живущий, взявший от весны доцветающие ландыши и черёмухи и предупреджающий об осени изжелта-серыми, близкими к смерти бурьянами. И начало зимы, когда падает первый снег, и начало весны, когда пробуждается дерево, замечаешь даже на городской площади, но июнь... Его видишь лишь вдали от геометрически уложенного камня, потому что только там, где горизонту ничто не препятствует быть горизонтом, кроме зазубрин леса, — только там он предстаёт во всем своём многоцветном откровении.

Итак, идти бы через июнь, по густому медовому разнотравью, в котором среди белого нашествия одуванчиков темнеют тонкие колокольчики, да стрекохот кузнечики, да птицы гнездятся; видеть, как нежнейшая семицветная радуга вполсвета, вполнеба полыхает после дождя, как земляника пунцовеет, как над сиреневыми сумерками стоит сиреневый запах, хотя самой цветущей сирени уже нет.

Идти бы... И хотя нет дороги в детство, но нахлынет из детства: тот черёмуховый, за Прораной луг, подводы в тени верб, ломаные цепи косарей, сильные голоса. «Поубавь, Илья Иванович: перепёлка поднялась!» Держали в руках серенькие комочки, потом бережно клали их в гнездо, окашивали его, оставляя кустистый островок. Таких островков к вечеру набиралось немало. В ночь оставались на лугу. И всю ночь — последние соловьиные песни. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...» Уже не потревожат: спят вечным сном в братских могилах войны, первые залпы которой раздалась в июне.

И потому, — и, наверное, ещё надолго, — при слове «июнь» в нас мгновенно словно бы вспыхивает, взрывается это число: *22 июня*. Самый длинный день. И самая короткая ночь. И самая тяжёлая война изо всех, Россию паливших.

У наших предков июнь назывался червень — красный месяц. С червлёными, красными стягами древнерусские дружины выходили на ворога.

И весь июнь сорок первого, и четыре долгих года умирали мы под красными знамёнами, чтобы продолжилась жизнь.

Чтобы можно было идти и идти по родимой, вскормившей тебя земле, и дойти до ночного. И там, упав на копну свежескошенного луга, глядеть в мироздание и ни о чём не думать, потому что само — думой и радостью — наплывёт: как прекрасен в зарницах июнь и как прекрасна земная жизнь!

Зелёная косовица

Белая меловая круча, синяя тетива Дона, а меж ними редкие вербы, заросли лоз и травы, травы — косить не перекосить... Вся слобода нынче здесь, многовёрстный луг цветёт, звенит, струится солнечно.

Вжик! Вжик! Идут в широком размахе мужики, ложатся ровные прокосы от кручи до самого Дона. Вжик! Вжик!

Много красок, но разливанней и притягательнее других — зелёная; здесь ещё не передаваемый запах: срезаемая трава пахнет так сладко, душисто, что пьянит; окрестный мир, знакомый не первый день, — как волшебный; он недвижим под горячим солнцем и в то же время зыбко движется и весь — как в изумрудном сказочном полусне... И всё дальше уходят косари, и покосы, как ленты, истаивают вдали.

Вжик! Вжик! Коси, коса, пока роса? Нет, коси, пока есть сила в руках косаря. Коси, отец, пока сын твой способен видеть мир, как в изумрудном сказочном полусне; пока воздух чист, Дон широк, луг не распахан!

Звёзды падают

Ещё не отрок и уже не ребёнок, лежишь в поздний-препоздний вечер на копне сена, сваленного во дворе, до поры не уложенного под навес. Слобода затихает, засыпает. Изредка лают собаки, со Стародонья доносится кваканье лягушек, но стихла последняя песня, пропетая двумя Марийками на выгоне у акаций. «Мисячно, зоряно...» Месяца нет, не родился, зато звёзд... Лежишь с открытыми глазами, вглядываясь в их неисчислимые множества, — и нет двух одинаковых. Искрятся, мерцают, сияют, шлют на землю странный свет, — этот свет, чувствуешь, не даёт уснуть. Звёзды тревожат, впервые, может быть, рождают чувство, более естественное во взрослом: как мал человек в беспредельности звёздного свода! Раннее постижение миробытия, душебытование во Вселенной?

Ещё ничего не знаешь ни о ядерных взрывах и бурях, сотрясающих, казалось бы, мирные звёзды, ни о философской максиме: «звёздный свод над нами, нравственный закон в нас». Ничего не знаешь, но тревожат, тревожат... Правда, уже знаешь: каждая зарница — не просто звезда, звёздочка, но чья-то человеческая судьба и душа. Падает звезда, значит, возносится чья-то душа; возносится в иной, конечно же, лучший мир, да человеку-то и в этом, не лучшем, мире ещё хочется пожить. Но падает звезда, чертит стремительный след, рассыпается на огненные брызги. И замирает сердце.

Понимаешь теперь: наивное, поэтическое суеверие. И всё же: сорвется звезда, и как в детстве — холодок по сердцу.

По мере того, как взрослеешь, мир, расширяясь, сужается, всё в нём теряет преувеличенность, чрезмерность, субъективность — свойство детского глаза видеть мир таковым. Только не звёздный свод. Он величествен, как и в детстве, как и во веки вечные...

«Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины, — и мы плывём, пылающею бездной со всех сторон окружены».

Августовский день

Я шёл... Впрочем, не с того начать.

Яблоками пахло северное полушарие в этот августовский день. И мальчик шёл по нему, жёлтому и красному, и в дороге его, не раз им исхоженной, знакомый мир возникал словно бы вновь: в предосенней щедрости, будто невидимый хлебо-сольный хозяин на полсвета расстелил скатерть-самобранку.

Дорога тянулась сначала улесьем — случайно забредшей в бесконечную степь прозористой дубравкой с совсем редкими вязами и ясенями, рябинками и дичками — пасынками бывлых садов, затем самой степью, жёлтой до неправдоподобия. Да и в улесье жёлтый цвет часто соседствовал с зелёным, равно, как и красный, сказочно светивший в гроздьях рябин. Хотя кроны и небо над ними остались, как и месяц назад, — зелёное сквозь синее да синее сквозь зелёное, но что-то в лесу сменилось, оборвалось. Птицы, правда, ещё пели, но в их пении чувствовалась притомлённость, как у людей, на стороннем глухом вокзале ждущих где-то попридержанный поезд. А вот лесной стол становился всё богаче: тьма-тьмущая грушевой дички да кислиц-зелёнышей, взять в рот — неделю с оскоминой не расстаться; на орешнике густую облепью, как дымчатые жуки, смуглели орехи.

За улесьем простирался долгий пологий скат — поле в стернях и с копнами соломы по краю да полоска бахчи с высоченным, как телевышка, сторожевым столбом. К бахчевнику деду Денису, дальнему родичу, сегодня никто ещё не заглядывал, и старик обрадовался мальчику, он скучал. Из горы арбузов, сложенных у куреня, сторож выбрал самый крупный и пятнистый.

Потом мальчик шёл пыльной дорогой в жёстком бурьянном яру, радуясь, что скоро будет деревенька Долгая, а там хата тётки Оксаны на берегу Дона, медовые яблоки в сенях, а ночью пахучий сеновал.

Дон открылся серо-свинцовым, мальчик подумал: «Как Урал, когда тонул Чапаев», — и ему стало грустно, потому что знал, что летом река глядится обычно синей, а раз серая, значит, скоро осень.

У оврага, невдалеке от тёткиной хаты, увидел он человека нездешнего, который живо колдовал кистью по большому холсту. Мальчик подошёл и увидел на картине многое из того, что было на донском берегу; даже старую под камышовой крышей хату тёткиной соседки; а вот тёткиной хаты, хотя она рубленая, со стеклянной верандой, куда лучше соседкиной, он на холсте не обнаружил, и это его немножко обидело.

— Как называется? — спросил он, поздоровавшись.

Человек оторвался от холста, распрямился — он оказался очень высоким — и, устремив на помешавшего ему творить мальчика свои синие любопытствующие глаза, спросил в свою очередь:

- А как бы ты назвал? Скажем, «Август на Дону» годится?
- А отчего вон того дома нет? — указал на тёткин.
- Твой, наверное? — заулыбался художник.
- Тётки моей... Вон у неё какие яблони! Нарисуете?

Солнечная дубрава, косогор с бахчой, полынные метёлки и травы-стланцы вдоль просёлка, сады на донском берегу; и степь, и река, и солнце — как прежде. Как прежде, казалось бы...

Только мальчик — в каком бесконечном далеке остался он!

Ветряная мельница

Она стояла за околицей слободы, на бугре. Высокая, из мощных почернелых брёвен, крылья накрест, она на алом темнеющем фоне вечернего неба вздымалась, как некий загадочный терем. Хотя — что загадочного? Мельница как мельница.

Днём идёшь на соседний хутор, заглянешь: полутемь, ломаная лестница ведёт вверх, где недвижно белеют солнечные зайчики да воркуют голуби. Запах мышиный. Запах дёгтя. На веки вечные благодатнейший мучной запах... всего лишь запах — мельница давно уже не мелет и стоит заброшенная, чудом уцелевшая. Даже вековую крепь слободской церкви разобрали, размолотили на кирпич для клуба, как же было уберечься дереву? Да и в войну могла бы до последнего венца сгореть. Но вот стоит, молчит. Лишь когда долгий упорный ветер задует из суховежных прикаспийских краёв, крылья вдруг вздрогнут, стонущие прокрутятся, ещё, ещё... И тогда невольно начинаешь чувствовать живую душу мельницы и в судьбе её видишь вдруг нечто родственное судьбе деревенской старухи, которая доживает свои дни, мучается тем, что уже не помощница, а до неё никому нет участия, вспомнят разве в день смерти.

Бывало, сгорит мельница — народное бедствие.

А тут — стоит без дела...

Четверть века спустя её уже не было. Четверть века спустя изъездил, исходил немало полевых дорог в надежде найти хоть какую ветряную мельницу. Не нашёл...

Но вскоре обрёл её на холсте: большой художник, ревнитель старинного уклада, подарил мне этюд «Деревенька Архиповка с мельницей», и я долго хранил его над своей кроватью, и старая мельница тихим кружением крыльев погружала меня в сон. Позже я отдал этюд предприимчивому дельцу, меценату и коллекционеру, в наивной надежде, что у него он пребудет в большей сохранности.

Иногда, когда выпадает свободный час, я перелистываю многотомное, начала прошлого века издание «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества», и, погружаясь в ушедший мир, наблюдаю и слушаю мерное гудение мельниц,

даже на своей малой родине густокрылых: «...по Дону находится слобода Старая Калитва, имеющая... 20 водяных и 44 ветряных мельницы...»

Юное её лицо

Она была на год старше меня, жила по соседству, через три дома, я её каждый день видел и, однако, не замечал. А тут в четырнадцать лет открылись мои глаза. Её улыбка да смех — нет, наверное, более волнующих на родной земле! А имя! Как я раньше не чувствовал округлой нежности её имени — Оля, Оль, Оленька, Ольга, Ольха... Как по-новому, протяжённо и тревожаще, звучало здесь это «о»!

Прежде по-соседски близкая и обыденная, она сразу стала недостижимой, сразу выросла меж нами незримая преграда, и я с недоумением думал, как ещё совсем недавно я мог запросто с нею о чём угодно многословить, мог взять её за руку, дурачась, разметать её волосы. Почувствовала ли она другого во мне? Не знаю. Во всяком случае, когда в одно воскресное утро её дальний заезжий родственник затеял на леваде, под старой вербой, фотографирование, она, снявшись с меньшими сёстрами, тут же, как ни в чём не бывало, подпорхнула ко мне и, улыбаясь, прощепетала: «Идём! С тобой никогда не фотографировалась». Она взяла меня за руки, и мы стали перед объективом. Родственник долго искал точку и наводил объектив, затем сказал повелительно: «Поближе головы! Не стойте телеграфными столбами!» Я коснулся её волос, земля поплыла под ногами, но тут фотограф нажал на спуск, лихо описал рукой дугу в воздухе.

Через три дня получил фотографию; как только взял её в руки, понял, что она отныне — главное моё богатство. Эка невидаль: две юные мордашки на снимке, пусть и милые, пусть и славные, что из того?

Казалось бы, какая фотография заменит Олю живую, а ведь живая — рядом. С фотографией я не расставался ни днём ни ночью; сто раз на день извлекал её из кармана, бережно уложенную в специально приобретённый блокнот, а ночью... Сколько бессонных ночей выпало мне в то лето! Я ночевал на сеннике, ложась, клал рядом фотографию и фонарь «Даймон», спешно выменянный мною за чету сизарей и перочинный нож. Включал фонарь и, то отдаляя, то приближая его к снимку, вглядывался в её лицо; она улыбалась, и свет фонаря, соприкасаясь со светом солнца, уловленным на снимке, странно освещал её черты — зыбкие, меняющиеся и оттого ещё более прекрасные.

Чтобы видеть только её, себя на фотографии я отрезал ножницами.

Но случилось так, что нас вскоре развела сама жизнь: осенью Оля уехала со своими родными в город, куда позвали их дальние родственники.

После её отъезда пытался я вернуть фотографии прежний вид, склеить снимок и тем самым вновь оказаться рядом с Олей. Кусочки не склеивались.

Той осенью кончилось моё отрочество.

Порой оно смотрит на меня лучистыми глазами юной школьницы с пожелтевшей фотографии. Но всё реже, всё реже...

На дне озера

Озеро называют Тахтарка, и легенда о нём красивая и грустная, как и подобает ей быть. Будто бы с неразделённой любви бросилась в глубокие воды и утонула дочь-красавица одного монгольского хана, воевавшего эти придонские земли, и, скорбя, знатный кочевник велел насыпать песчаный холм на могиле дочери.

Легенда или быль, кто знает, и пятьсот или семьсот лет спустя лежим мы на скосе древнего холма, усыпав его густо, как божьи коровки. Солнечный, без единого облачка день, и едва не весь пионерский отряд здесь. Воспитатели купаться разрешают нам малым числом, да и то недолго; чуть побрызгался, чуть отплыл от берега — уже зовут-разоряются; больше лежим прямо под солнцем или под скупыми кустами лоз. Жара, истома, ломкие голоса и крики в воде.

И вдруг близ меня раздаётся звучное горевание, не то что плач, но всхлипывание, и, поворачиваясь, я вижу: перед воспитателем стоит Лариса Таволгина, самая красивая девчонка из нашего отряда, и, заикаясь от всхлипываний, рассказывает, что с нею стряслось. В общем-то ничего страшного. Стирала платье, отплыла на глубину выполоскать его, а платье, выскользнув из рук, пошло на дно.

— Да я для тебя, Лорочка, со дна морского платье достану! — проворно встрепенулся Сашка Мошкин; был он шестнадцати лет, двумя годами старше остальных, и знал уже что-то такое, что нами лишь отдалённо чувствовалось, и слова он свои произнёс особенно.

— Глубоко! Не достанешь... — Лора тоже как-то по-особенному протягивает слова, в них игра, томность, обещание. Пострадавшая уже не плачет, ждёт.

— Пустяки, — роняет Сашка и с разбегу бросается в озеро.

Вслед за ним заплывает в глубину и наш воспитатель. Оба они долго ныряют. Выходят на берег передохнуть — и снова на глубину. И снова безуспешно. Находится ещё несколько охотников, но и им нет удачи. Мало надеясь, заплыл и я. Нырнул раз, ещё раз. На самом дне вода холодная, ключевая, и долго на глубине не выдержишь. Сказал себе: в последний раз! Набрал воздуха в лёгкие и резко нырнул. Едва стал шарить руками по дну, как тут же коснулся чего-то мягкого, словно тина, скользкого. Сразу понял: платье! Вынырнул и поплыл к берегу, загребая правой рукой, а левую, с платьем, выкинул

вперёд, как знамя. На берегу раздались радостные возгласы. Сашка поспешил мне навстречу, но я ему находку не отдал. Не торопясь вышел из воды и положил яркоцветастое платье у её ног. По правде говоря, я рассчитывал если не на восторг, то хотя бы на благодарность.

Она угрюмо, мне показалося, даже враждебно поглядела на меня и, не сказав спасибо, не сказав ни слова, схватила платье и направилась к берегу. Было такое ощущение, что ей хотелось избавиться от него, вновь зашвырнуть в озеро.

Во взрослой жизни часто вспоминается незначачее. Думаю, почему мне надо было найти то платье? И почему она ему не обрадовалась? Что происходило тогда с нею?

Что восходило со дна отроческой души, столь же непроницаемой, как дно озера?

Собирать жёлуди

В чистый сентябрьский день нас, старшекласников, переправили на пароме через Дон — в задонском старолесье собирать жёлуди: лесничества в ту пору затевали восполнить некогда крепчайшие многовековые приречные дубравы, порушенные войнами, лихолетьями, и жёлуди надо было собирать да собирать...

Вообще-то знакомое, даже привычное занятие. Несколькими годами назад многие из нас сумками набирали этого добра, только на другую нужду — на хлеб. Коричневый, быстро засыхающий, весь в трещинах, твёрдый и тяжёлый, что камень, желудёвый хлеб (о него зубы впору ломать!) хотя был и повкуснее лебедового, всё равно за те горемычные послевоенные месяцы надоел так, что на него глядеть было тошно и много спустя — казалось, горчит во рту.

Но теперь были иные времена: настоящего пшеничного хлеба стало вдосталь, и весёлые песни пели не только по радио. После обложений на двор, на огород, на живность, на всякую ветку и наседку, после больших и малых налогов, наконец-то отменённых, деревня поднялась. И теперь для нас, её сыновей, собиранье желудей было уже не повинностью, но удовольствием. Здесь немало значил ещё и возраст: восьмиклассники, сошедшиеся под крышу районной школы из разных сёл-деревень, лишь недавно перезнакомились; столько нового, влекущего: и улыбка сероглазой девчонки, о которой только и знаешь, что её зовут Вале́й, волну́ет по-новому, неизведанно. И правобережные кручи, древними возглавиями вздымающиеся в дымчато-синем небе, и сухой задонский лес, и осенняя распахнутость полян, и проруби света — солнечные столбы меж шатровыми кронами, — во всём чувствовалась былая долгая жизнь и некое обещание долгой жизни всем нам, разбредшимся под сводами старого леса ватагами, поодиночке, часто

по двое, как мы с Вале́й, голосисто окликающим друг друга, беззаботным, радостным, на себя похожим и непохожим.

И жёлудь — тугое семя в продолговатой коричнево-блеску-чей оболочке с рубчатым шлемом у черенка — обычный и привычный глазу, мнился уже как тайна... «А правда, что дубы живут тысячу лет?» — спрашивает Валя. Где-то я вычитал про запорожский дуб на Хортице, какому уже долгие века, и рассказываю ей об этом. «Давай и мы посадим...» Она хочет ещё о чём-то сказать, глядя на меня тревожными чистыми глазами, но умолкает. На её ладони длинный, как патрон, жёлудь. Жёлудь — жизнь, но почему-то мне приходит в голову это сравнение: как патрон.

И времени с той поры миновало невесть сколько, но кого-то из нас, тогдашних восьмиклассников, уже нет, и девочка с тревожными серыми глазами скончалась при родах, а самый лучший мой друг по восьмому классу погиб, не дожив до тридцати. Живых же расшвыряло от моря до моря, не собраться нам вместе.

Но растут, но шумят молодые дубовые леса. Чудно как: молодые!

И разве так уж скоротечна твоя и моя жизнь, если нам дано посадить дерево, живущее тысячу лет? Разве в его могучем корне, в его кроне, трепетании листьев не твои и не мои любовь, вера, мысль о бессмертии?

Волки

В восьмом классе учился я в дальнем райцентре, километров за двадцать пять от дому; на пути всего одна слобода и долгое поле, долгий лес. В субботний день по окончании уроков возвращался я домой, надеясь попасть часам к семи-восьми и если и прихватить темноты, то вечерней, нестрашной. Но когда миновал попутную слободу, почувствовал, что не поспею. Дорога, правда, была наезженная, лишь кое-где перехваченная намётами от февральской метели, и идти было не в тягость, но солнце катилось на запад куда быстрее, нежели я шагал, и когда я подошёл к мутно-сизой закраине леса, жутковато темневшего на семь долгих вёрст, оно скрылось вовсе. И сразу стало темнеть. Шаг мой замедлился, и не усталость была тому главной причиной: нахлынули, опережая друг друга, рассказы взрослых о том, как опасно оказаться одному в ночном поле, ещё опаснее в лесу, о том, что в пору февральских волчьих свадеб лучше не высовывать носа за околицу, а уж если при крайней нужде ехать, то лучше всего в две-три подводы; о том, что не раз в феврале находили у дорог клочья одежды — всё, что оставляла стая от неосторожного путника.

Впереди за придорожными копнами померещились движущиеся точки, смутные, но и в то же время с каждым мигом

приобретавшие явственные зловещие очертания; точки, то есть **они** (я их даже мысленно утратил назвать волками) колеблущейся цепочкой двигались к лесу, перерезая мне дорогу.

Через полчаса я уже стучался в дверь крайней хаты недавно пройденной мной слободы, просясь переночевать. Жильцов было двое: бородатый высокий старик и его дочь, высокая, красивая и молодая, не скажи она ему «отец», подумал бы, что она его внучка. Встретили меня радушно. Расспросили, кто я и откуда, усадили за гостеприимный стол, накормили рассыпчатой картошкой, напоили мятным чаем. Затем словоохотливый старик стал потчевать меня рассказами про своё былое учение в церковноприходской школе — был он, судя по рассказу, немалый проказник и умел доставлять хлопоты батюшке. Едва он умолк, непонятная сила заставила меня спросить его про волков — приходилось ли ему видеть их? «Чего-чего, а серых разбой-молодцев повидал...» — засмеялся старик и рассказал, как в первую германскую их рота зимовала в лесу, и волки были перед самыми окопами, «не боялись, сучьи дети, будто знали, что недостаёт патронов»; старик пустился в воспоминания о фронтовой зимовке, о боях с пруссаками, и в другой раз его рассказ был бы мне в великую радость: мёдом не корми — расскажи про войну, но тут я вновь «повернул» на волков. «Да уж не боишься ли ты их? — слегка удивлённо спросил старик. И успокоил: — Ты их не бойся! В жизни есть звери и пострашнее... Поживёшь — увидишь».

Постелили мне на печке, в тепле, и всё было хорошо: хата, нехитрой обстановкой похожая на родную, недавно ещё незнакомые и такие родные люди — спасибо им! — дремота, сон. А наутро попалась попутная подвода, и крепкие кони за два часа домчали до самого дома.

Но почему я тогда повернул назад? Чего испугался? Ведь был я из отчаянных, без страха кидался защищать слабого и нередко бывал бит, а за битого двух небитых дают.

Я никому не рассказал о незадачливой одиссее. Впоследствии, пока жил в деревне, всякий раз, проходя зимней полевой дорогой, ощущал лёгкий ознобный толчок в сердце, но уже не возвращался назад.

Позади — что? Впереди — что?

Лыжня

Середина зимы, яркий январский день. Околица слободы, простор отсюда открывается — до самого синего леса, а леса и не видать. У Тернового оврага, километрах в пяти, лыжня возвращается назад, сюда, где собралось полшколы: и участники, и болельщики.

Бойкая разногласица в ожидании старта, смех, лёгкий похруст снега. Стайки девчонок, но перед глазами одна...

новенькая, недавно приехавшая с Урала и уже всех нас с ума сводящая красавица-девятиклассница Альбина — девушка с синими, как вечерний снег, глазами. В красном приталенном пальто и красных сапожках она как струя упругого алого пламени. И вижу: она смотрит на меня, улыбаясь непонятной улыбкой, в которой то ли зыбкое обещание, то ли требование победы, словом, нечто неопределённое, порождающее незримую связь. Что ж, ради алой девушки я пройду хоть тройную дистанцию! За миг до старта оглядываю тех, с кем идти. Нет Вани Снежкова, фамилия его, что ли, выручает: он первый на всех зимних дистанциях; а раз его нет — мне и палки, и карты в руки. Правда, двое, что рядом и в классе, и здесь, на лыжне, медведистый Кирилл Грызин и высокий, упругий Юрка Молостин тоже сильны, но на моей стороне преимущество: она так поглядела на меня — выделила!

И вот бегу в веселящем напоре неизрасходованных сил, лыжи легко скользят, и обгоняю я одного, другого, третьего... Ликующе-молодо, жарко, бессмертно! «Медведя» Грызина я обошёл на третьем километре, а вот с упругим Молостиным пришлось потягаться. У Тернового оврага я уже было настиг его, уже крикнул: «Хоп, лыжня!», как он так рванул, словно второе дыхание в нём открылось; я отстал, да не на метр, не на секунду: догнал его лишь невдалеке от финиша. «Лыжню!» — крикнул. Молостин шёл устало, тяжело и будто не слышал. Я вновь крикнул, и вновь он не уступил. «Лыжню!» — резко потребовал я в третий раз, но Юрка «добивал» дистанцию как заведённый. Тогда я, собрав воедино все силы, волю, спортивную злость, сделал резкий рывок на обгон, сойдя с лыжни. И когда уже поравнялся с ним и, обходя, стал вновь держать на лыжню, мельком взглянул на него. И увидел, нет, ударился о глаза, почти полные ненависти. Не знал я, что Альбина-девушка улыбалась и ему непонятной улыбкой, и, быть может, показалось ему, что она выделила лишь его... В сотне метров от финиша он повернул в сторону и, словно освобождённый от чего-то его давившего, зашагал свободно, раскрепощённо и непонятно куда; быть вторым он не захотел.

Жестокость молодости: я пришёл первым, ни на миг не подумав, что нам можно было прийти одновременно. Пусть нельзя и всё-таки можно! Жаль, что понимание этого обретаешь слишком поздно.

Переплыви Дон

На этот раз они предложили мне на «американку» переплыть ночной Дон — туда и обратно без передышки. Отбивал минуты час, полный мрака и звёзд. Мы выбрали место за слободой, где Дон наиболее широк. Вода двигалась тёплая, стоял июнь, завтра нам предстояло быть на выпускном...

Переплыть реку туда-сюда не бог весть какая трудность для того, кто вырос у воды; разве оттого, что ночь, было немного непривычно, слегка не по себе. Отплыв, я лёг на спину. Девчонок, стоявших у подошвы горы, было не видать. Я думал о них. Люся и Лена... две соклассницы мои, две подружки. Я знал, что нравлюсь им, и они мне нравились. С ними, самыми весёлыми в классе выдумщицами, было легко. Любили они подурачиться: одна выворачивала наизнанку тулуп и, надев его, стучалась в окно моей комнатки-квартиры, притворяясь медведицей, умирающей от любви; другая слала пакет с акациевыми листьями и надписью: «Не вскрывать: присуха!» Всё сходило за розыгрыш, и то чувство, от которого не знаешь куда деть себя, было, как мне казалось, вдалеке и от меня, и от них. Симпатия, и только. Шутка, длящаяся долго. Шутка, в которой участвуют трое. Но вот эта «американка»... Девчонки словно давали понять, что я должен сделать выбор.

Я плыл на спине, думая об этом и глядя на звёзды, и когда лёг на грудь и вновь взял кролем, противлежащий берег был уже вот-вот. Я стал разворачиваться. И вдруг острая боль! Сначала я ничего не сообразил, а потом понял и похолодел: на излучке Дона рыбаки во множестве ставили на ночь перемёты, и тысячи крючков выжидающе таились в воде, и сколько их я ещё мог зацепить! Боль в ноге усиливалась, я плыл едва-едва, стараясь держаться на поверхности, и минуты, пока плыл назад, показались мне вечностью. Наконец коснулся ногами дна, но сразу выходить из воды не стал.

Находясь в безопасности, вдруг остро почувствовал, что я бы всё равно поплыл, даже если бы и вспомнил про перемёты, я бы и сейчас ещё раз поплыл, усомнись девчонки. Но слово «американка», вернее, призы спора в «американку» — когда выигравшему всё разрешается, были мне в этот миг ненавистны.

Девчонки спустились вниз. «Тебе дозволено поступить с нами, как пожелается», — несколько церемонно и выспренне сказала Люся. «Тебе дозволено одну из нас сделать своей рабыней», — в тон подруге добавила Лена. «Целовал бы вас дни и годы, — отшутился я. — Да завтра выпускной!» — «Не завтра, а сегодня: час ночи уже!» — с лёгким испугом, будто мы куда опоздали, встрепенулась Люся. И стало грустно, потому что выпускной вечер представлялся нам чертой, за которой простиралась иная, нешутейная и неизвестная жизнь. И нам, стоявшим в нескольких часах от этой черты, одно виделось явственно: расходятся пути. Мы шли молчаливыми улицами, изредка переговариваясь и, может, прощаясь друг с другом.

А в июньский полуночный час, презрев перемётные и иные заграды, переплывает Дон на излучке незнакомый нам парень. Потому что в молодости каждому даётся хмельная сила, и зрелое благоразумие отступает.

Азовского моря воды

Серая волна, куда ни глянь, серая волна. Передо мной и вокруг расстилалось первое в моей жизни море. Но не холодящий восторг, а ощущение его... домашности, что ли, рождалось во мне. Ну, во-первых, здесь есть и моя вода, донская. А во-вторых, илестый бурый след, часто возникающий за кормой... разве это морская глубина? Озеро моего детства поглубже будет! Но всё равно море, беспредельность и, главное, в первый раз. В первый раз плыл на морском пароходе, в первый раз в жизни в полупустом, насквозь полированном буфете распробовал вкус коньяка, и в первый раз в жизни мне, захмелевшему, молодая женщина казалась красивой, будучи некрасивой; сидя за столиком у раскрытого иллюминатора, она не торопясь пила сидро, а два хмельных морских офицера, оживлённо переговариваясь, бросали на неё цепкие взгляды, и я испытывал что-то вроде ревности. И неистраченные силы томились во мне, готовые взорваться. Для какого дела, спросить бы? А просто так... от избытка.

Из буфета-ресторана я поднялся на палубу, хмелея ещё и от осеннего воздуха, от неоглядного разлива воды, от жажды особенного, героического... Скажем, кренится, уходит на дно морское пароход, и я спасаю ту женщину; взгляд выхватывает отмель, коричнево-грязный след за кормою, и это чуть отрезвляет. Пароход идёт быстро, но мне хочется, чтоб ещё быстрее. Что там, за размытыми горизонтами? Море Чёрное, а дальше Средиземное, а дальше океан... «Всё пройдем!..» — думал я самонадеянно и не сомневаясь. Беспечно задавал тон восклицательный знак. Вопросительный — отсутствовал. Ещё не было в душе пушкинского, всегда верного, вечного: «Куда ж нам плыть?»

У дальней родственницы ночь

Да, я знаю этот прерывистый шёпот, стеснённое дыхание, иступлённый, глубокий, как бездна, хрип страсти; я узнал, услышал его ещё в ранней юности, но и доньше, лишь вспомню, набегают ощущение, будто меня погружают во что-то дёготное, бесконечно лишнее и, может быть, здесь вернее говорить о похоти, нежели страсти.

После окончания десятилетки нечаянным заездом я очутился в гостях у дальней родственницы, то ли троюродной, то ли ещё дальше тётки, с молодости осевшей в приморском городке. С сыном Серёжкой она уютилась в полуподвальной, перегородженной ширмой комнатке, стены которой покрывал сплошной ковёр из поздравительных открыток; словно вся родня до пятого колена тем лишь и занималась, что неустанно поздравляла мою родственницу.

В соседнем домике жила вдова с двумя дочерьми. Старшая — Галя, девушка моих лет — такая милая, с такими

огромными тёмными чистыми глазами! Мы познакомились и враз подружились втроем: она, я и Серёжка, десятилетний, хрупкий, редко улыбающийся мальчик, с искалеченной от рождения левой рукой и оттого, наверное, очень ранимым сердцем.

Всю неделю, с полудня мы втроем пропадали в приморском парке, — не разбирая тропинок, бродили и забредали в глухие уголки, отдыхали под сводами роскошных крон, катались на лодке. И час от часу меж Галей и мной крепло захватывавшее нас чувство. И Серёжка — он расцветал на наших глазах, улыбался всё чаще и радостней — был нашему чувству вовсе не помеха, но словно чистый и чуткий его поручитель, перед которым нам невозможно было солгать.

А однажды под вечер к родственнице заявился бывший её муж. Куражливый мухортник, он, едва подав мне руку, стал, словно бы перед ровесником, хвастаться передо мной, что он человек видный, что прежде он был советником у маршала Рокоссовского и многие победы одержаны именно благодаря его подсказу, что многие в городке счищают пыль с его ботинок, а женщины, «лярвы эти», почитают за честь знакомство с ним. Может, родственница его побаивалась и не умела ему возразить, а может, тянулась к нему как женщина; это я сейчас так думаю; тогда она в свои сорок с лишним представлялась мне едва не старухой. Не знаю, что там было, но она не только пригласила его за стол, но и выставила бутылку водки, да ещё кувшин бражки.

К ночи она постелила нам с Серёжкой постель за ширмой и, выключив свет, возвратилась к столу, где её ждал зело захмелевающий муж не муж. А мы вскоре уснули. Не знаю, долго ли я спал, но вдруг резко очнулся. И услышал этот прерывистый шёпот, тяжёлое, загнанное дыхание, полузадушенный, готовый прорваться хрип... И ещё я услышал, как под боком от жгучего стыда и отчаяния всхлипывал, давился слезами Серёжка. Бережно я стал гладить головку мальчика, его лицо, мокрое от слёз, и он благодарно обнял меня своей искривлённой ручонкой, может быть, жертвой подобной же пьяной ночи.

Утром я уехал. Не будь Серёжки, я бы, наверное, воспринял всё проще. В конце концов, жизнь не часто облечена в изящные благородные формы, и разве не читал я о том, какая бесстыдная сила похоти охватывала во время чумы средневековые города? Но Серёжка, ещё ничего не понимавший и всё понимавший... Не стал прощаться я и с Галей.

«Почему ты мне не послал весточку?» — спросила она меня через год в письме.

Я и тогда ей не ответил. И только сейчас, много лет спустя, отвечаю.

Уезжаю не навсегда

Грузовик по косогористому просёлку поднялся наверх. Ещё полсотни метров, и родное село скроется из глаз. «Останови!» — попросил я водителя. Поблизости — никого, и можно было не таиться своих чувств, разноречивых, печально-радостных, смятенных. Сколько — десять? пятнадцать? — поколений моих родственников-предков столетиями жили в этом далёком от знаменитых дорог яру, а если, случалось, уходили отсюда, то долее всего — на войны.

И вот я первый, кто оставлял моё малое село не вынужденно, не по приказу, но добровольно, — правясь на «завоевание» большого города. То, что там не будет ни поля, ни Дона с берегами, заросшими лозами и осоками, я не ощущал как потерю. Разве что долго не увижу отчий дом? Заветный колодец? Но уезжаю-то, успокаивал себя, не навсегда: пройдут годы, и вернусь, исполненный знаний и любви...

Вернёшься? Когда вернёшься, колодец уже иссякнет, а отчее подворье перейдёт к другим. Но тогда, стоя на прощальном холме, отъезжающий, весь летящий в лазурное будущее, я храбрился: «Да человек не выбрался бы из первобытной стоянки, сиди он сиднем дома!». Но был ещё голос укорный: «Кому же устраивать родину, как не её сыновьям?» Я вновь и вновь вглядывался в яр с редкими хатами в редких садах и чувствовал, что никому и ничему — ни женщинам на левадах, ни самим левадам — не было уже никакого дела до меня: отрезанный ломоть.

Машина взяла резкий разбег, помчалась... мчится и доньне!

2

Письма живых и погибших

Война. Фронт и тыл. Шли в города и деревни письма, и бывало тех писем на день — как солдат на войне. Эшелоны конвертов — разноугольных форм, сразу всё объясняющих. Если в три угла конверт — значит жив! Если в четыре, казённый — значит похоронка. Страшные четырёхугольники, острые, как бритвы, углы! Хотя, случалось, и они — в горькую радость: казённое письмо-извещение из госпиталя: приезжай, забирай калеку!

Почтальон-письмоносец был как Харон, как Гонец, как всеильный Вестник. А почтальонами-то, письмоносками были сплошь женщины, чаще девчушки, взрослевшие от двора ко двору, за один обход деревни, потому что в сумке была непомерная тяжесть скорби и укромная ноша надежды.

— Много ль беды несёшь, дочка? — спрашивал у молоденькой письмоноски старик; он потерял уже двоих, а война ещё не кончилась, и третий сын воевал, если только ещё воевал.

— Радость несуг, дедушка, радость!

И уже знала она каждую кочку и выбоину на дороге от почты в соседнем селе до деревни и знала как родную каждую хату, и в каждой хате — у кого какие глаза. Потому что часто не выходило разговаривать иначе как на языке глаз.

А сердце было молодое, а сумка тяжёлая...

А оттуда, с Колымы, письма не приходили вовсе: без права переписки.

Бандероль из Севастополя

Четверть века спустя после того, как он оборонял Севастополь, оттуда пришла крохотная, из фанерных дощечек посылка. И под крышкой увидел полуистлевшие документы своей молодости — комсомольский билет, воинскую книжку да рваный лист источённого сыростью письма, ничего не разобрать, кроме двух не окончательно выцветших слов «...тянется ночь...»

То была последняя ночь обороны, и он уже не мог отправить приготовленное письмо, он даже с жёсткой солдатской ясностью подумал, что последняя ночь обороны — его последняя ночь вообще, когда увидел в предутренней дымке застывшие на взгорье немецкие танки, первый миг настолько расплывчатые, что их можно было принять за копы сена. Но откуда здесь было взяты им? Танки, да не просто вразброс, но в строгом соответствии с геометрией обхватов, котлов и колец, железная дуга, концы которой едва не упирались в море. Но как удалось приблизиться им так тихо и так близко? И сколь безнаказанно и казняще стоят, будто зная, что у обороняющихся уже нет ни противотанковых ружей, ни гранат, а в полку остались считанные калеки, окружённые с земли, с неба и с моря. Самое противоестественное заключалось в том, что в танках ничем — ни единым звуком — не выдавалось присутствие наступающих, будто немцы, спеша заняться иными участками, покинули свои машины в уверенности, что те управятся и сами... Что-то психологически сламывающее было в этой молчаливой, недвижной железной дуге.

На миг ему остро, до крика захотелось оказаться далеко по ту сторону от железной дуги, очутиться в родном селе, с высокой кручи взглянуть на зелёный в жёлтых вспышках одуванчиков луг, увидеть семью, сына. Но тут же пришло и отрезвление, и спокойствие. Только было жаль, что сын никогда не узнает, как отец двести с лишним ночей и дней оборонял его и таких же, как он, малых, защищал Севастополь, отчее донское село, полевой край и, наконец, всю Россию здесь, на этих безрадостных, выжженных огнём и солнцем приморских холмах. Не узнает сын, раз эти танки... их железная дуга.

Но и у жизни своя дуга! И ещё выпало ему освободить Севастополь, и не только: он вернулся в сорок пятом в род-

ное село, и было у него медалей «За освобождение...» да «За взятие...» пять. Да пять орденов. А позже пришла и медаль «За оборону Севастополя». И сын узнал о том, как сражался Севастополь! Может, узнает и внук. Он ещё крохотный, но... У жизни своя дуга!

Странный офицер из Дрездена

В сорок втором немцы заняли придонскую слободу и разместились в ней ротой. Офицеру — теперь уже никогда не узнать его имени — понравилась хата тётки Верухи: просторно, чисто, горница пахнет чабрецом и любистком. С интересом человека, попавшего в непривычное, офицер разглядывал горницу. Вдруг он направился к дальнему углу, и тётке Верухе стало не по себе: она ещё неделю назад думала снять со стены портрет сына, сфотографированного в военной, офицерской форме, да забегалась-замоталась. Немец подошёл вплотную и всё глядел, глядел. А когда вышел, она кинулась снимать портрет и, волнуясь, никак не могла управиться: верёвка зацепилась за гвоздь. А немец неожиданно вернулся и сказал по-русски медленно-раздельно: «Не надо! Может, я его уже убил... Может, он меня убьёт».

Офицер был из тех, кто до войны много размышлял о судьбах германского и славянского мира под разломами всемирной истории. Его любимая книга была «Бесы» Достоевского, и он видел, как они разгулялись, перепархивая из одного лагеря в другой, словно бы из одной революции в другую, из одной войны в другую, цепко вселяясь в души ослеплённых ненавистью.

Под конец войны ему выпадет краткосрочный отпуск, и он погибнет на первых же минутах вражеской бомбёжки, по счастью, не увидев, в какое изруиненное кладбище превратят воздушные армады Америки и Соединённого королевства его прекрасный город Дрезден.

Глоток воды

Июльский день второго года войны. После сотен неудержанных городов и тысяч оставленных деревень велика ли потеря — небольшая слобода? Но для тех, кто живёт здесь и чьи корни простираются вглубь не на одно столетие, она — всё... И потому многие не уходят, не покидают свои дома, до последнего часу на что-то надеясь. А надеяться не на что. Измотанные боями наши оставляют слободу. Немецкие орудия бьют часто, в основном по переправе; на прибрежной улице догорает хата бакенщика, на бригадном дворе вполнеба полыхает стог сена. Бесперывно рвутся мины, доносится пулемётная стрельба.

В хате Ржевских стёкла в окнах выбиты ещё вчера и заделаны подушками, перинами: перо, слежалое, плотно сбитое, задерживает осколки и пули. В полутьме на полу, на ватном

одеале трое: старуха-мать, её дочь и сын дочери, трёхлетний Ванятка. Ему хочется пить, и он требовательно просит. Но в хате воды ни капли.

— Потерпи, сынок, — просит мать, глядя малыша по стриженной головке.

— Пить! Хочу пить! — хнычет Ванятка.

Мать хватает со скамьи порожнюю цибарку и бросается в сени.

— Надя, куда ж ты? Убьют! — кричит ей вдогон старуха, надеясь остановить, но дочь уже во дворе, открывает калитку, уже на улице. Она бежит через дорогу к колодцу и... вот сейчас, вот сейчас... но нет, она уже у сруба, не помня как достает воды... вот сейчас и рванёт, и Ванятка останется без матери... скорей в дом... да при таком пробеге сто раз убьёт!.. скорей через дорогу... Не знала, что улица такая широкая...

За спиной раздаётся взрыв, у колодца образуя воронку, поднимая на воздух тяжёлые комья. Но она уже дома. Обессиленными, будто не своими руками берёт с навесной полки глиняную кружку, черпает воды. Сын делает глоток. Один глоток. Больше он пить не хочет. Тогда она подносит кружку к своим губам и пьет запалённо, жадно, черпая ещё и ещё...

Через треть века ничто уже не напоминает о военном времени. Окопы и воронки сгладились, взамен посечённых арт-огнём осокорей выросли иные, и не хаты, а поглядные домины сплошь поднялись — дrevорубленные, кирпичные.

И у Ржевских хороший дом, разве чуть поменьше, чем соседские, да зачем одинокой женщине многокомнатные хоромы? Старухи-матери давно уже нет в живых, сама, почитай, старуха. Давно ли муж Иван приговаривал: «Надя, молоденькая ты моя!» Сам он был на семь лет старше. Взяла война и мужа, и молодость. Тогда и сына Ванятку тоже чуть не потеряла, но, слава Богу, обошлось. В люди вышел. В городе живёт. Её зовёт. Да куда ей от отчих крестов? Спасибо, сын навещает. Хоть и нечасто, но навещает. И нынче обещал проведать, как с юга будет возвращаться.

Одинокая женщина томится-мается на железной кровати в просторной душевной комнате, не в силах подняться. Уже третьи сутки ей неможется. Знобит, температурит, ломит кости. Вечером заглядывает соседка, помогает, но сейчас она в поле, на свёкле.

Жаркий июль. Пить хочется. Но ей неважно дотянуться даже до скамьи-лавицы, где стоит ведро с водой. Да и какая вода — застоялая, тёплая. А до колонки ей не дойти — та далеко от двора. А ещё дальше — чистая ключевая вода из криницы её детства, навсегда отошедшего в уже непамятную даль.

Голубая кровь

Война откатывалась, уже был освобождён Воронеж, и жизнь наполнялась ожиданием и верой даже у пожилых. А ей было всего восемнадцать, и была она так изящно хороша, стройна, с гордой головой на тонкой шее, с копной пышных пшеничных волос, — никак не верилось, что в её роду ходили за плугом и знали беспросветную нужду. «Я крестьянская дочь», — любила повторять она. Но людям свойственно слушать и думать обратное. Её подруги иронично усмехались: «Крестьянская?! А то не видно — голубая кровь...»

Родители в деревне жили впроголодь, и она, медсестра в городской больнице, те полкилограмма чёрного хлеба, что полагались по карточке, отвозила больному, израненному, списанному с войны отцу, а сама перебивалась двумястами граммами донорских, сдавая пятьсот пятьдесят и ещё пятьсот пятьдесят (дважды в месяц) кубиков крови. Круговорот густых красных течений, тугая наполненность сосудов, горячий ток, в котором радость, страсть, но вот вонзается в вену игла, текут минуты: пять, десять, пятнадцать... время — жизнь; и кровь — тоже жизнь. Кровь надо отдать тем, чьи сердца слабеют от ран.

Однажды ей сказали: «Спуститесь вниз, вас ждут». Она спустилась и увидела молодого, лет под тридцать подполковника в синем кителе с лёгкими эмблемами. Он улыбнулся ей доброй улыбкой уверенного в себе человека и, поздоровавшись, сказал: «Вы ещё моложе и красивее, чем я думал... Вы моя спасительница... ваша кровь... с вашей кровью я победил смерть». Она тоже улыбнулась отзывчиво, и они разговорились сердечно, непринуждённо, словно знающие друг друга давно. Перед уходом он преподнёс ей огромную коробку конфет — роскошь по тем временам невиданная. Когда она поднималась по лестнице, он вдруг негромко произнёс ей вслед: «А как вам написать?» Она назвала адрес. «Вы могли бы подождать до моего письма?» — ещё тише спросил. Она сразу же почувствовала тот единственный смысл слова «подождать», и у неё горячим пламенем занялась кровь, и у него тоже горячим пламенем занялась его — её кровь. Она кивнула обещающе. «Хотите, вы мне напишите... Полевая почта, Дмитрию Сергеевичу Калинин. А лучше я вам. Прежде я вам!»

Но он не написал. А может, и написал, да не успел отправить. Через три недели она случайно, из газеты, узнала, что лётчик Калинин погиб, приняв бой против звена «юнкеров».

Война оставила сирот и вдов, матерей скорбящих и неутешных. Остались и вечные невесты, невесты-вдовы. Ибо поколение двадцатых годов двадцатого века — как вырубленная роща.

И всё же редкие молодые (те, кому повезло вернуться с войны) звали замуж.

...У неё больное, измученное сердце: потери родных, близких, жилья, книг, всего, что составляет смысл и быт человеческий. Но в её жизнь однажды вошло то неизъяснимое, что зовут любовью, и она живёт с ощущением короткого навечного счастья.

Тополь на школьном дворе

Он родом был с Волги, она с Десны, и судьба свела их в донской слободе, куда оба получили направление после педучилища. Скоро они поженились, и в день свадьбы, в октябрьский тёплый и чистый день, посадили на школьном дворе — так, чтобы было видно из окон своей квартиры, — два тополя. Родились у них близнецы, дочь и сын, но их, крохотных, скосила дифтерия. И когда началась война, он в последний час перед отправкой на фронт долго стоял перед невынесенной детской кроваткой, ни о чём не говоря, затем также долго стоял перед окном с видом на школьный двор, обронив вдруг: «Береги их...», кивнув на тополя со вскинутыми вверх ветвями.

В испепеляюще-жаркий июльский день на втором году войны вошли фашисты, их мотоциклы быстро прошли улицы. Из окон её квартиры было видно как на ладони: она глядела, повторяя и повторяя: «Что ж теперь будет? Что ж теперь будет?»

Неподальёку возник, резко нарастая и подавляя другие шумы, сотрясающий грохот. Тёмный танк, выползши из-за бугра, разворачивался, поворачиваясь убойной частью к школе, будто собираясь протаранить её кирпичные стены. На какое-то мгновенье он замер и затем, тугой траекторией огибая школьное здание, ломая ограду, ринулся через школьный двор вниз, к корневине слободы. Она видела, как их беззащитное светлокорое дитя-деревце вмяла в землю железная машина.

Другой тополь на школьном дворе теперь не под силу сокрушить никакому танку: за десятки лет он вырос в великана. Живёт ещё и она, всё там же. Ей за шестьдесят. Она на пенсии, но учительствование не оставляет. О том времени, когда они учительствовали вместе, напоминают крохотная бурая фотография да тополь, за которым она ревниво приглядывает. Впрочем, что с ним станется? Лишь однажды она обнаружила «покушение»: сгребая листья у корня, заметила на стволе надпись: «Рая и Саша — любовь!» На миг ей стало нехорошо, будто ранили не тополёвую кору, а её саму. «Неужели надо кричать о своей любви? Разве любовь для площади, а не для двоих?» Постепенно, однако, успокоилась, даже прониклась сочувствием к тем двоим, даже стала гадать, кто бы это мог быть... И вдруг подумала: «Пошли им любовь, как и у нас, да судьбу не такую, как наша».

Каждую осень она сгребает под тополем листья. Их набирается ворох, из них она разводит костёр. И горькими родными воспоминаниями пахнет дым.

Генерал за рулём

Старик-генерал, почти ничего не видящий (весь мир для него — скопище размытых пятен), за рулём «Победы» едет по городским улицам. Рядом с ним — жена, ещё молодая, но от полупраздной жизни уже набирающая вес; она соводителю. Перед светофором роняет привычные слова. «Красный!» — и тогда машина резко, тычком, останавливается. «Зелёный!» — и машина срывается с места. «Что там впереди? Человек?» — «Нет, собака». Чуть притормаживает и едет дальше.

А когда выезжают на загороднее шоссе, мчится так, что только мелькают придорожные знаки, лесопосадки, деревни, — словно он хочет заново и как можно быстрее оставить позади те тысячи километров, которые его солдаты в годы войны медленно преодолевали по родной земле до самой границы.

В войну он был дельный генерал, умел беречь солдат, не посылал их без крайней нужды в огонь, обходил высоты, какие можно было обойти: не требовавшие лобовых атак, совсем не главные на стратегическом поле войны; умел видеть и предвидеть и побеждал не только по карте. А слабым зрением страдал ещё с детства, близорукий, носил очки.

Но сколько же было его знакомцев по генеральскому корпусу, обладавших великолепным, орлиным зрением, и однако полуслепых, не видевших дальше высоты, какую, согласно их приказу, надо было взять с ходу и несмотря ни на что: даже и весь полк поляжет, но знамя к указанному часу — водружённое!.. Непременный орден, начальническое повышение.

Высота географическая нередко давала высоту генеральскому имени.

Пятьсот боевых вылетов

В офицерском парке, в притемнённом заоконными ветвями малолюдном кафе, склонясь над треногим столиком, пошатываясь, стоит пятидесятилетний мужчина с лицом старика, с глубокими морщинами и землистой, исключая нос, бледностью. Три ряда орденских планок на груди. Пивной кружкой он вычерчивает по столу неверные круги. Иногда кружка по кривой, как тяжёлая птица, проносится над столом и кажется, что руке, какая дрожит густой дрожью, когда он наливает из бутылки, не справиться, и кружка грохнется об пол, разлетится вдребезги; но виражи заканчиваются благополучно.

Дежурный милиционер, молоденький парень с простодушным и по-девичьи нежным лицом, входит и обводит кафе глазами: нет ли беспорядка: задерживается синим взглядом на человеке с тремя рядами замызганных орденских планок. Если бы не орденские планки, можно бы и попросить восвояси. А так... Милиционер не знает, как ему поступить.

И вдруг тот сам его подзывает. Радужно приглашает:

— Выпейте со мной, пожалуйста!

— Я при исполнении служебных обязанностей. А вам советую больше не пить и уйти отсюда, — стараясь быть твёрдым, произносит участковый.

— А, при исполнении! Я тоже... я тоже... был при исполнении. Пятьсот боевых вылетов! Летал орёл да воробьём упал.

— Послушайте, вам лучше уйти отсюда!

Человек с тремя рядами орденских планок хмурится, на глазах мрачнеет и вдруг обозляется:

— Один вылет, всего один бы вылет! Откуда вам знать, как зенитки насквозь прошивают, как «мессеры» снуют, и летишь, будто в гроб-ящике. Но летишь! Если б кто из ваших... из этих молодых, умеющих руки выворачивать, хоть раз совершил тот вылет, я бы на колени перед ним стал, я бы сказал: «Ведите в вырезвитель, сделайте навсегда трезвым!»

Участковый — меньше месяца на службе, он ещё теряется, не знает, как обращаться с теми, кто без явного хулиганства напивается тихо и верно.

Через полгода он будет знать, как обращаться с такими. Напишет о задержанном: «сквернословил, угрожал нецензурными криками, использовал мат», а задержанный оказался глухонемой.

Агент-1947

«Агент приехал!», «Агент на нашей улице!» — от этой вести женщины готовы были сквозь землю провалиться, иные торопились спрятаться в погребе или на сеновале; но от агента не спрятаться: он вездесущ и всевидящ, он гроза и бич бедного послевоенного села, сборщик дани, неумолимый и неутомимый баскак. Это он взимает налоги, всё учитывает и просчитывает, описывает подворье, до малого цыплёнка и малой яблоньки. Это с ним гербовая бумага — словно удавка на бабы шею.

Свой разорный обход цепкий человечешко начинает с восхода солнца — в районе ценят исправную службу. Он на подворье вдовы Гурьяны, а у вдовы — трое детишек, гореслёзная жизнь, проклятая терпидоля: работай с утра до ночи, чтобы выплатить налог. Только и осталось богатства, что Бурёна да швейная машинка, приобретённая на пособие за героическую гибель кормильца в сражении на Курской дуге.

Агент — увещеватель и страцатель, у него одна забота: чтоб был собран налог, а там — хоть трава не расти, хоть дитё с сумой по миру иди. Женщины понимают, что от налога и займа не отвертеться, а всё равно тянут время, гонят слёзы, упорствуют; увещевать или страцать их приходится иногда весь день, иногда и более.

От вдовы Гурьяны агент уходит скоро, угрожая поговорить с нею в другом месте. Агент — не в форме, агент раздражён и зол оттого, что вчера вечером не ответила на его ухаживание местносельская красавица, незамужняя Клавдия, и в отместку

он был готов всё село обложить гербовыми бумагами, словно карающими силами.

На другой день вдову повесткой вызывают в сельсовет. Там уже три пыталеля, районному агенту подсударкивают местные агенты, помогают выкручивать вдове руки и душу. И некуда ей, бедной, пожаловаться: широка, открыта — аж до Кремля! — дорога в стране родной, да не для вдовы-горемыки. Через неделю у Гурьяны отбирают швейную машинку, приобретённую ею на государственное пособие за героическую гибель мужа в сражении на Курской дуге.

Агент, словно мор, настагает подворья, и тихий ропот несётся по обезмужиченному войною селу. И так во все века — полюдщик, баскак, опричник, помещик, комиссар продрозвёрстки, налоговый и прочий агент. И тень проклятого агента во все века — на моей бедной и щедрой земле, над моим бедным и щедрым народом.

А через годы и вдальеке загеройствует иной агент. Агент-007, и подростки больших и малых городов будут вскрикивать от восторга, впившись в экран, на котором бесстрашный агент с уникальными бицепсами сражается и побеждает, как и надлежит викториальному избраннику.

Не сработались

После войны, в сухом августе, отражает предрик уполномоченного в одно придонское село — «трудное», дерзкое и мятежное ещё со времён первой большевистской продрозвёрстки. Начальнически поучает: «Упрямы ещё те! Без любви к нашей власти живут. Так что будь с ними пожётче. Как на войне! Поднимать надо сельское хозяйство!» Уполномоченный прошёл войну разведчиком, а в разведке демагогов не любят. Знал он, что за птица предрик — бывший дивизионный интендант. «Сельское хозяйство, говоришь, поднимать? Тогда почему же ты привёз из Германии не какой-нибудь лемех, а чемоданы барахла? Отрезы не плужные, а шёлковые да шерстяные?»

Не сработались.

Секретный документ

Кто схлопотал предупреждение, кто — партийный выговор, кто — даже строгача. За что же? Один подзадержался уплатить членские взносы со случайного приработка, другому всё не удавалось закрыть последнюю в районе церковь, третий в официальной бумаге генерального секретаря назвал первым, а не генеральным... Пострадавшие! Вершители местной власти, пострадавшие от более высокой власти, — от Системы. Сидят в дружеском кругу у костерка, на нейтральной территории, на глухой «конспиративной» лесной окраине, выпивают, жалуются на мутное и к ним несправедливое время.

— Вам ли жаловаться на жизнь? На время! — воскликнул вдруг Иван Иванович, мужчина лет за шестьдесят, прежде молчавший. Налил в свой стакан водки, но пить не стал, а принялся рассказывать. — Было это в тридцатых — голодных, жестоких! Я в райкоме работал, ясно, что не голодал, но трудности были иного рода. Раз меня приглашает секретарь, передаёт секретный документ, с условием — к утру вернуть. Что за документ? Да никакого особенного секрета. Сводка о кулаках по зареченскому округу. Мне-то и надо было лишь переписать в свою тетрадь, чтоб знать и под рукой иметь, как понедельно или помесечно, сейчас не вспомню, движется дело с доискоренением кулацкого класса. По правде скажу, от этих сводок мне всякий раз становилось нехорошо, разве душа не видит — в чём-то стыдном и даже преступном участвую. В сводке тридцать три кулака по Николаевке, она-то и весь куст. Батюшки, да откуда их в Николаевке столько? Пусть не голоштанная слобода, но и с жиру не лоснится. Я же прожил в ней едва не четверть века, на моих глазах эти Марухины да Кузьменки пупки надрывали, чтоб лишняя коровёнка завелась. Но — тридцать три кулака!.. Переписал я их в свою тетрадь. Будто по подворьям прошёл да что украл. Переписал — «обработал документ», так это называлось, — и в сейф. Только туда я, как скоро выяснилось, другую бумажку положил. Не сводку. Перед уходом по привычке проверил сейф, там ли документ. Всё перерыл — сводки нет! Всё на столе перебрал — нет! Ночью не спал, ни свет ни заря примчался на работу, снова всё перетряхнул. Безрезультатно. Тут секретарь вызывает, требует документ. Сказал ему, что не успел проработать. Секретарь уезжал на совещание, дал срок до следующего утра. Весь день искал — как во сне, как в лихорадке. Перекладываю бумаги — уже не соображаю, какие. А вечером всё взвесил. Решил распрощаться с жизнью. И как-то сразу успокоился. Напоследок ещё раз стал перебирать бумаги, чтобы выбросить ненужное. Из-под чернильницы извлёк лист, под ним ещё лист... сводка! Треклятая потерянная сводка!

Сейчас смешно и грустно вспомнить... Но какое было время! Всего лишь бумажка. Страшная бумажка: тридцать три судьбы! Может, мне действительно надо было её потерять? Да всё равно бы сострипали другую, и числом кулаков побольше. Тридцать три судьбы! Куда их, какие их Соловки укрыли? Не вернулись они! Не вернуться им!

А нам не вернуть жизнь по совести.

Ветки белая и красная

Две деревни — рядышком. Одна называется Белая Ветка, другая — Красная Ветка. Почему Белая? Почему Красная? Никто не знает. Не знает и сухой старик, с которым беседует любопытствующий гость. Они сидят на бревне у самого берега

реки, разделяющей деревушки; те — как родные сёстры, как близнецы: лес — за околицами, вербы по-над берегами, а улицы — избы со ставнями, почти сплошь закрытыми.

— Почему Белая, говоришь, и почему Красная? — переспрашивает старик и разъясняет: — Лет двести назад я бы тебе, пожалуй, сказал. Лет двести нашим Веткам. Крепкий корень был. И народ крепкий, умелый: лукошки да всякую утварь изготовлял — на три губернии славились. В отходы хаживали, учили, учились разному ремеслу. Потом перестали ходить. Да и как? Легче в рай было попасть, чем паспорт выхлопотать. А на ниве жилы рвёшь внатяг, за труды же палочки на трудодень получаешь. Земля родная будто неродной округилась... А потом стали паспорта и нашим выдавать, и кинулись — кто поспетливее да помоложе — то ли за длинным рублём, то ли за длинным счастьем подальше от дому. Квартиры им в городе не больно дают, всё больше по общежитиям, оттого или ещё отчего детей мало рожают, а пьют много. Так что неперспективные, надо ж такое придумать, наши деревни не в город переселяются, а просто помирают. А кто ж хлеб убирать будет? Молодые куда-то подевались, ну, а мы скоро по Божьей дороге пойдём, на Суд Господний предстанем. Да вы и без нас разберётесь, чего-нибудь искусственное создадите...

Старик улыбается, и улыбка у него хорошая и грустная.

У самого берега куст лозы, схваченный багровой осенью, сизым морозцем, и вперемешку — ветка белая, ветка красная.

До будущей весны

У муромской дороженьки стояли три сосны,
Прощался со мной милый до будущей весны...

В вечерний час первого послевоенного июня во дворе нашего дома, под цветшими акациями собрались соседки, и пела девочка, может, пяти, может, семи лет, а её держал за руку пожилой солдат в пропалённой на рукавах гимнастёрке.

Лицо девочки, милое, нежное, с высоким лбом, было сплошь иссечено осколочными оспинами, осколками войны были погублены и глаза.

Чистый девочкин голос так неизъяснимо волновал, что женщины не могли удержаться от слёз, казалось бы, за войну повывлаканных до слезинки.

Её сверстник, я не мог тогда понять жуткого смысла всего этого: слепая девочка поёт такое, что петь впору взрослой девушке, уже испытавшей и любовь, и горечь измены. Что была её песня? Благодарность за наш приют-ночлег и скудные хлеб-соль? Или то была печаль ребёнка, в глазах которого никогда не отразится зелёное поле, синяя речка?

Наутро они ушли, две пораненные судьбы — потерявший свою семью солдат и спасённая им малышка.

...Но, уйдя долгой дорогой, они странным образом остались в памяти. В беззаботные дни, когда выпадает довольство, утешный час, вспомнится вдруг девочка, поющая взрослое, и тогда торопишься уйти с какой-нибудь весёлой вечеринки, будто само твоё присутствие среди беззаботных может принести боль далёкой девочке, которая, держась за руку неродного-родного отца, всё ещё в твоей памяти идёт по белу свету, белый свет не видя.

Четверть века я не был здесь. Шёл полем, с трудом узнавая когда-то исхоженные места; узнав же — радуясь, будто заново рождаясь.

Вот лог-лещинник и увал, за которым моё село двумя улицами упирается в донской берег. Не доходя версты три до него — деревушка... не мазанки, а крепкие домины. Но почему же не слышны человеческие голоса? Шёл по деревне, и становилось понятным — почему: закрытые окна и двери чернели, белели скрестьями приколоченных досок. Загадал желание — лишь бы встретила живая душа.

Когда я уже потерял надежду, калитка последнего дома открылась, и девушка в ситцевом платице скорым шагом направилась к колодцу — у самой околицы.

Подожёл. Поздоровался. Попросил напиток. Россыпь конопущек на нежном лице напомнила вдруг детство — слепую девочку, поющую «У муромской дороженьки...».

Огромные синие глаза юной незнакомки сияли — или вобрали в себя весь свет небесный?!

— Вы живёте здесь?

— Нет, отдыхаем с мамой.

Уже почти верил, что она — дочь той далёкой, из послевоенного детства девочки, словно влившей в огромные глаза дочери всю свою страстную жажду видеть.

Захотелось вдруг рассказать о том, как на детской дороге встретила мне когда-то девочка, как она была похожа на неё. Девочка, которую война жестоко хлестнула по лицу тяжёлой веткой взрыва. И сказал только:

— Спасибо. Счастливого отдыха!

— А вам счастливой дороги, — улыбнулась она. — Счастливой дороги! — прокричала она вдогон, наверное, радуясь редкому путнику, золотому солнцу, лазурному небу, зелёной траве у колодца.

Солёный сахар

Всю жизнь она проработала в поле, от палящей жары и пронизывающего холода на свёкле загубила руки.

Больная, она просит чаю. Дочь приносит из чулана алюминиевый усадистый чайник, по виду неказистый, но хранящий драгоценный сахар. Бережно сыплет в кружку с кипятком две

чайных ложки, затем, подумав, добавляет третью; сахар — на случай крайней, последней нужды, его по округе не найти, не занять, не купить: третий год после войны, глухоманная, в невылазном яру деревня, сорок вёрст от чугулки.

Зеленушка — так называет старуха зеленоглазую семилетнюю внучку — не без робости, тая дыхание, бросает легучие взгляды на бабушку, на маму: целую неделю она «окуналась» в чайник, а чтоб незаметно было, в сахар добавляла соли, какой в доме тоже невесть сколько, но побольше.

Отхлебнув, старуха морщится:

— Что польнью заваренный! Горчит, спасу нет!

— Это во рту у тебя горчит, от печени, — объясняет дочь и подсыпает в кружку ещё две ложки.

Старуха пьёт и сплёвывает:

— Яд, сущий яд!

Тридцать лет спустя... В продмаге тугие мешки с сахаром давят друг друга, да ещё полки заставлены пачками. Богатый завоз! Вечером Зеленушка, давно уже не Зеленушка, а взрослая, давно замужняя женщина — готовит варенье. Сахар расходует не чинясь, даже сверх положенного, чтобы меньше осталось мужу — на самогон.

Давно покоится на скромном погосте редковспоминаемая бабушка. Но когда ночами при бессоннице внучка вспоминает детство, когда перебирает не худую, не хорошую свою жизнь, ей почему-то является не бабушкино лицо, улыбочное или печальное, но бабушкины руки — узловатые, с большими жилами, похожими на корявые ветви; загубленные в домашних и колхозных безразгибных подённых трудах, и более всего на свёкле, родные, когда-то с такой оберегающей беззаветностью обнимавшие внучку тёплые руки бабушки.

Институтские экзамены

В студенческой группе было двадцать пять девчонок и один он. Неудобство заключалось в том, что его отсутствие на занятиях сразу бросалось преподавателям в глаза. Но девчонки, как могли, старались уберечь его от глаза профессорского, от меча деканатского. И лишь дважды в году, в зимнюю и летнюю сессии, между ними наступало отчуждение. Задолго до появления экзаменатора девчонки, разбившись на группки, выстаивали перед назначенной дверью, слегка шальные от многих знаний, продолжая пополнять их запас, нервно читая, перечитывая, припоминая, цитируя, зубря и никого не замечая своими воспалёнными глазами.

Тут приходил он, неунывный сокурсник, и начинал донимать их загадками, анекдотами, мифами, а более всего посвящениями — собственными романсами. «Рисуй, синеокая, стан свой! В тоске соловьиной устал от осанн я и стансов, но образ

любимой взывает к терцине...» — серьёзно и громко затевал он очередное посвящение, и девчонки в один голос гнали его прочь и опять лихорадочно погружались в учёные строки.

Так совпало, что большинство было из села. Их матери знали тяжкий труд: огороды вскапывали, мешки поднимали, косили, хлеба убирали, до самой зимы пропадали на свекольных делянках; больно было глядеть на огрубелые, простуженные руки. Послевоенное поколение девчонок переняло от матерей их труженическую истовость. И учились они всерьёз, не приемля шуточного бодрячества, относясь к учению, как к труду в поле.

Подходила его очередь являться перед очами экзаменатора, он умолкал, мрачнел, а девчонки окружали его заботливой стайкой, наперебой пытаясь снабдить скорыми знаниями. И — о чудо! — он отвечал, и нередко успешно, чувствуя поддержку двадцати пяти подруг-однокурсниц.

Выходил победителем и тут же сочинял очередной романс об экзаменах, угнетающих прекрасных усердных девушек. А они, его покровительницы, были великодушны: будущие учителя, они уже тогда умели прощать слабости своим ученикам.

На реке моей молодости

Был давний летний день юности на реке Воронеж. Праздно и лениво слоняясь по жёлтому пляжу, густо усеянному шоколадными телами красавиц, не совсем красавиц и даже совсем не красавиц, одинаково довольных избытком солнца, а главное, красавцев, не совсем красавцев и даже совсем не красавцев, предлагающих им ситро и пломбир, а заодно и если не руку, то уж как непременно: «Встретимся в девять в городском парке?», — столкнулся я нечаянно с девушкой в зелёном сарафане и с глазами — под цвет сарафана — зелёными и робкими, именно робкими — это сразу бросилось в глаза. В знак извинения, что так неловко получилось: столкнулись, она слегка кивнула головой, чуть зарделась и отвернулась, чтобы поднять с земли пляжную сумку: она уже собралась домой. Сделала шаг-другой и, наверное, почувствовав мой долгий взгляд, обернулась. Улыбнулась — опять-таки робко. Я, по правде говоря, не прочь был приударить за хорошенькой девушкой, но тут... может быть, родилось и что-то другое: не просто поволочиться. Была она не шоколадно-загорелой, без модной короткой, под мальчишку, стрижки, а с длинной косою, да и вообще была ли она красивой — не знаю...

Она шла... вернее, мы шли... только не рядом — я чуть сзади, чуть сбоку, и, верно, она чувствовала мои шаги и, в зависимости от моих, то убыстряла, то замедляла свои. Родинка на её щеке мерцала, как осенний крохотный листик. Мы шли долго по густотравному лугу, мимо старых верб, огибая заросли кустар-

ника; уже стихла пляжная многоголосица, никого уже, кроме нас, лишь белые кони, заслышав шаги, ненадолго подняли головы и вновь уронили их в пышный травостой. Она шла, не оборачиваясь, но я знал, что она обернётся (ведь незримая нить уже протянулась), я ждал, когда она обернётся. Было во мне хмельное желание не столько пленить, сколько самому быть пленённым, да всё едино...

Она повернулась. Резко. Нервно. И я растерянно, ещё ничего не понимая, увидел мученическую улыбку, подобие её. Девушка медленно, будто нехотя, подняла руки, приложила их к губам, затем к ушам и медленно, устало, будто прожив сто лет на земле, покачала головой, давая понять, что она глухонемая. Но я это уже почувствовал раньше, едва она подняла руки. И было в её зелёных глазах: «Иди ко мне!» и «Уйди прочь!» Потом осталось одно «Уйди прочь!», и между нами образовалась стена. Мы попятились назад, в разные стороны, она отвернулась, вслед я, и побрели растерянно, пусто, всё оглядываясь...

Кони вновь подняли головы и, ничего не сказав мне, вновь уронили их. Я упал в траву, чувствуя себя предателем, не желая, чтоб меня видели и никого не желая видеть.

Давно уже нет того пышноотравного луга, водохранилище сокрыло под своими водами и кустарники, и овражки, и мои, и её следы. Глядишь в солнечный день на широкую водную гладь, на жёлтую подкову пляжа — чайки летают, новые поколения красавиц вкупе с поклонниками жгут свои тела до шоколадного глянца, ласковая слабоцветная лазурь вод и небес. Глядишь, и покойно: мир солнечен, ты никому не должен, никому не строил козни, никого не ударил из-за угла. Лазурь, лазурь...

Но вспомнишь ту девушку с родинкой, как крохотный осенний листик, и защемит...

Помоги замерзающему

До отцовского дома оставалось часа полтора ходьбы при хорошей погоде, да погода была нехорошей: ветер ярился, мело всё сильнее. Подумал я о переметённой снежным свеем дороге, вспомнил, что в такую непогоду часто плутают и теряются в поле; а тут ещё ботинки, кепчонка — студенческое, лёгкое, городское... Решил перемяться ночь на станции. Где-то тут жили из нашего села, даже родственники, но попробуй найди их в вечерней тьме, утемнённой ещё и пургой! Будь деревня, я бы, наверное, постучался в первую же дверь, но на станции уклад особенный, засов тут задвигается построже, чем в деревне, и даже иные сердца закрыты на засов.

Станция была хоть и малая, но историческая: отсюда, сойдя с поезда, ехал на степной хутор, к другу и будущему своему душеприказчику создатель «Войны и мира». Внутри

станционного зала министерство зримо заявляло о своей собственности тяжёлыми скамьями с высокими спинками и вырезанными на них вензелями МПС. Полусонные люди ожидающе томились в углу, ближе к негреющему титану, но прибыли пассажирский московский, и они суматошно устремились на посадку. Наверное, поезд был до утра последний: закрыта касса, кругом ни души. В зале ожидания — холодно, не для моих форсистых ботинок. Так длилось с полчаса: никого.

Вдруг дверь резко распахнулась, и вбежал некто заросший, высокий, в фуфайке и ушанке, с воспалёнными глазами, наводящими на мысль, что незнакомец — не из мест ли отдалённых? Скорым шагом — ко мне.

— В сквере пьяный лежит, замерзнёт, поможем? Найдём тёплый угол!

Пьяный? Так ли? Какой-то миг я сомневался: больно подзрителен был вошедший, вернее, вбежавший. Не ловушка ли его слова?

В пристанционном скверике действительно лежал мертвецки пьяный, с размётанными руками. Словно крест поваленный. Вот кому вся земля — постель! Но лучше всё-таки поискать для него постель привычную, подкрышную. Ухватив под руки, мы поволокли его к ближайшему дому, не очень надеясь, что нам откроют и обрадуются такому «гостинцу». Отворила дверь молодая женщина, и когда мы объяснили ей, зачем пожаловали, позвала мужа.

— Давайте его в дом, — охотно согласился хозяин, — мой дед всегда наказывал: спаси птенца и зверька! А тут человек, кто знает, может, будущий министр! — но, когда мы ввалились в дом, он, взглянув при свете на пьяного, только и сказал: — Нет, этот министром уже не станет!

— Федька Колдырь! — изумилась хозяйка. — Да этого пьянчугу не далее как на прошлой неделе отхаживали у нас. Такие же доброты, как вы, спасали. Ну не напасть ли? Волоките его домой!

— Куда его теперь? — возразил муж. — Гляди, он как матрац. Сбегай к соседям, попроси водки. Видишь, обморожен страдалец.

Хозяйка пожелала пьяному море вылакать, но к соседям пошла.

Утром метель стихла, и мы со знакомцем, теперь уже почти друзья, отправились дальше: он жил в селе, соседнем с моим.

— Хорошая семья, дай им Бог солнца! — сказал мой попутчик, всё ещё находясь под впечатлением происшедшего. — А мы-то, мы-то! Пропей-брата бросились спасать, а хороший человек в тот час, может, в поле, на нашей дороге замёрз!

Я хотел возразить, что и «пропей-брат», возможно, хороший человек, но впереди, у недалёкой от дороги соломенной копны увидел такое, что заставило меня похолодеть: из-под снега

торчал чёрный рукав. Подойдя поближе, облегчённо вздохнул: рукав оказался торчмя воткнутым пучком тёмной соломы.

На развилке полузаметённых дорог мы дружески расстались. Обещались встретиться, заехать друг к другу. А через полгода происшедшее воспринималось что сон. И лица тех, с кем на ночь нечаянно свела судьба, воспринимались неясно, как вербы в тумане или как облака в давний день. Разве вспомнишь, как выглядели они?

Незнакомый брат

Здесь был уголок старого города: давно безколокольная колокольная, деревянные домишки с зелёными да красными крышами, голубые голубятни. Полузатравенелые улочки спустились к реке. А в одном месте делел вниз обрывисто-крутой спуск с лестницей, выложенной ступенями из надгробных плит. Обычно по этой лестнице, исполненной печального и вещего смысла, он и сходил к реке, всякий раз останавливаясь, вчитываясь в полустёртые многими подошвами буквы старого, а то и старославянского шрифта. Было ему поначалу не по себе, будто он попирал ногами не камни, а молчаливо-окаменелые тела тех... И будто что-то должно было случиться. Но его тянуло сюда, и он, работая неподалёку, наведывался в обеденные часы. Со временем он стал заглядывать сюда и по воскресеньям. Вечерняя тишина, невидимый в центре города месяц здесь царил, сквозь ветви акаций разбрызгивая чуткий свет на могильные плиты-ступени, стоя на которых, не ведая ни о ком, кроме себя самих, шептались и целовались влюблённые.

Но однажды, в поздний воскресный вечер придя сюда и уже собираясь спуститься вниз к реке, он вдруг услышал свист, услышал резкие возбуждённые голоса и увидел, что там, под ветвями, на середине спуска дерутся. Разнять! Разнять? Разнять! Но этот клубок... Сколько их там и кто за кого, кто прав, кто виноват? Всего десяток-два шагов, но он не сделал их. Он стал кричать, но там, в клубке, никого крик не образумил, а из недалних домиков никто не поспешил. Тогда он помчался в милицию. Милицейский наряд прибыл скоро. Молодой парень в белой рубашке лежал неподвижно, в неловкой позе, и когда засветили фонариком, стало видно, что кровь, не усыхая, темнела в желобках букв старинного шрифта.

Он не стал разыскивать его родных, расспрашивать их о нём. Он сам дал ему имя, сам создал в воображении своём его образ, сам назвал его братом. Он одно лишь узнал: в том клубке его брат был один против всех!

Дроглым осенним вечером он бродил берегом реки, думая здесь о нечаянном брате своём, томясь болью и стыдом, и, когда очнулся, была уже поздняя, близкая к полуночи пора. Вверх, в город, добираться троллейбусом, ходившим через три улицы

в стороне, он не стал, а повернул к ступеням-плитам. Он уже сделал несколько шагов, как посредине спуска увидел троих. Они не таились, потому что от реки направлялись ещё трое, спеша сомкнуть кольцо. Но он бы и без них не повернул назад, он это почувствовал. Пружинисто напрягшись и сжав кулаки, он сделал свой главный шаг. Вверх!

Свет скорой помощи

Он возвращался домой в летнюю полночь и был крепко навеселе: другу четверть века, отметили день рождения хоть и «не шумно, да многодумно»: полдюжины бутылок сухого усидели вдвоём, без жён — те отдыхали с малыми детьми на море. Друг проводил его до автобуса, но... зачем автобус, он лучше пешком, через микрорайон, так прямее. И вот шёл, блукая меж тёмными домами, ничем не отличимыми друг от друга, молчаливо ухмыляющимися растворёнными окнами и балконными открытыми дверьми. Сколько за этими дверьми народу, и ни одного голоса! Спят... Такая ночь, такие звёзды, а они, чудачки, спят. Ежели не спать, можно, в сущности, прожить две жизни, но нет, не понимают... не хотят прожить две жизни... спят. Он один по-настоящему живая душа здесь. Но едва он успел так подумать, как из-за поворота на отчаянной скорости, взвизгнув и чуть не зацепив тротуарную бровку, вынеслась машина, ослепила его, пронеслась, — но этот красный крест, как его не увидеть? Она выхватила густо сеющими свет фарами пространство, зажатое домами, подстриженный кустарник, тротуар и на нём двух молодых женщин, в коротких юбках, с сильными и крепкими бёдрами; да, это он обжигающе почувствовал: сильные и крепкие бёдра! Будто прикоснулся к ним...

Машина скрылась, и две ночные незнакомки, ликующая плоть упругих тел, притягательней каких, может, уже и не встретить, куда-то подевались; а он всё брёл через микрорайон, через весь город, через весь мир и думал о том, успела ли скорая помощь довести больного до операционного стола.

И, вызванный воображением образ старой женщины с изношенным сердцем, когда-то нарожавшей многих сыновей и в войну их всех потерявшей, несколько раз пересекался с летучим видением ночных незнакомок, сильных, молодых, скорей всего ещё и не рожавших, заставляя думать: жизнь, несмотря на все её великие тайны и сложности, проста, как... жизнь, в одной точке мира она умирает, в другой зарождается. Две непримиримых примиряющих точки.

Имя сыну

«Игорь! Игорь! Игорь!..» — стократ на день звучит в моём доме это имя, и я не могу представить, чтобы подросток с серыми «скандинавскими» глазами, мой сын, мог бы зваться иначе.

Между тем...

Много лет назад в крохотной комнатке загса, в самом углу, дабы не мешать никому, пребывал я в нерешительности, перебирая в руках листки с длинными столбцами имён. Их было столько, что достало бы на полбатальона. За долгими спорами, какое имя дать сыну и внуку, взрослые провели не один вечер, но так и не договорились. Чего кто не предлагал: имена старинные и послереволюционные, редкие и расхожие. «Савватий — это имя носил его прапрадед, сражался на Шипкинском перевале, почему бы не назвать Савватием?» — восклицал мой отец, дедушка моего ненаречённого сына. «И будут звать: Савка! Нет, уж лучше Сергей или Андрей. Без выкрутас. Да и моих братьев так зовут», — возражала бабушка. «Давайте назовём Романом, — говорила моя жена. — Или хотя бы Максимом, а?»

Когда уже стало видно, что нет имени, которое бы понравилось всем, дедушка с бабушкой, уезжая, сказали: «Называй, конечно, как хочешь, да и мы не чужие, может, прислушаешься...» — и положили на стол тетрадный лист, на нём — столбец крупно выписанных имён. Жена тоже вручила мне свой «ультимативный» список. Тогда, для удобства, написал и я нравящиеся имена, всё больше из древней, рюриковой Руси: Игорь, Олег, Владимир, Святослав, Глеб... В разговоре я в шутку называл и Свенельда, имя Игорева старшего дружинника, памятное ещё по школьному курсу; за него мне досталось особенно. Не без яда советовали: «Лучше уж тогда Свинельд», делая ударение на «и». Тут бы я, разумеется, и сам отказался: опробовал имена на древность, на благородство, на чистоту звука...

И вот я сидел в загсовском углу, поистине загнанный в угол, досадуя и на себя, столь нерешительного, и на весь белый свет, напридумавший столько имён. Перекладывал три злополучных листа, зачёркивал имена, опять восстанавливал их, зачёркивал другие и опять восстанавливал, медленно сужая круг. Четверть часа прошло. Полчаса. Сотрудница загса, молодая розоволицая и в розовом платье женщина, время от времени бросавшая на меня мимолётные удивлённые взгляды, не выдержала наконец, выпалив обычное и раздражённое насчёт того, что я не один и что я другим мешаю, хотя никого из «других» и не было. Я извинился и попросил подождать ещё. «Не знаю, как вы дальше будете, если имя сыну не в состоянии дать!» И я не знаю, дорогая, да ладно, это лучше не в слух. Невычеркнутых оставалось меж тем всего три — по одному имени от каждого списка. Тогда я написал их на клочках бумаги, скатал их, потряс в берете, вынул. Выпало: Игорь.

И вот уже четырнадцать лет: Игорь! Был сын поменьше, как же он донимал меня постоянными и однообразными вопросами: «Почему солнце называется солнце? Почему вода называется вода? Почему хлеб называется хлеб?» И я, закончивший

институт, где подробно всё это изучал, и знающий *почему*, тоже иногда спрашиваю: в самом деле, почему?..

«*Кто верным именем младенца назовёт?*»

Многому в мире есть название, и неужели многое так случайно, приблизительно, относительно? Как имя его, и моё, и твоё?

И всё же в имени — знак и отголосок судьбы. Не оттого ли над тайной его билась и религиозная, и светская мысль. А в православном именнике находим: «По имени и житие».

Новогодний праздник

Сын держал в руках целых три билета на новогодний праздник. Да ещё какие! В драмтеатр, в ТЮЗ и во Дворец культуры: там самые богато изукрашенные ёлки, самые щедрые подарки, там многолюдство и беспрерывная радость, потому что и Деда Морозы, и Снегурочки там профессионально испытанные, умеющие веселить, балагурить, играть голосом. Но сын подержал-покрутил билеты в руках и сказал: «Не хочу я туда... Все ёлки у вас одинаковые. И все Деда Морозы только притворяются Дедами Морозами... Скучные они».

Отец, мысленно соглашаясь и не соглашаясь с сыном, вспомнил свою школьную послевоенную ёлку, без игрушек, с несколькими цепочками убогих флажков да самодельной звездой, — впрочем, всё это тогда, при свете керосиновой лампы, казалось сказочным празднеством; вспомнил Деда Мороза, баснословца-ухаря, безоглядного вруна, который, горя глазами и потрясая ветхой разорванной одеждой, — а где было найти иную? — задористо излагал малышам:

«...Вот, ребята, еле убежал из лесу. Волки чуть не изодрали, их десять, а я один! Да только б волки! А то белые медведи гнались, носорог за рукав зацепил. А тигры, знаете, сколько их было? Семь! Нет, семнадцать! Да-да, семнадцать полосатых! И рыси — на каждом дереве... Брр!» Никто не спрашивал, где это такой лес, в котором бы жили и полярные, и тропические звери; малыши слушали, боясь слово проронить. И когда он возвращался с ёлки, радостный и под впечатлением жутковатой небывальщины — вдохновенной небылицы побаивающийся и крепко держащийся за руку матери, та возмущалась: «Дурень лохматый! Напугал детишек... Тоже мне Дед Мороз!»; вспомнил ещё, что тогда на ёлке давали всего по несколько леденцов и три пахучие нежно-розовые подушечки, — в общем-то ничто, дешёвизна, пустяк... Но как жданно и сладко было!

Новогодний праздник они устроили себе всей семьёй за городом в сосновом лесу. Радовались от души, лишь на миг отец, по дурацкой или несчастной склонности заглядывать в иные дни, подумал вдруг, что его сыну будет труднее: сосны

объявят заповедными или, что хуже, ведомственными, частными, или вовсе вырубят под корень...

Диван царицы Тамары

Семилетний сын за обедом, вдруг отложив вилку в сторону, принялся рассказывать:

— Значит, так. Жила-была женщина. Был у неё такой специальный диван. Большой, как лодка. Приходит человек в гости, а женщина и говорит: «Садитесь!» Кто сядет — так и проваливался в подвал, глубокий, дна нет. Вот однажды явилась милиция, а женщина и говорит: «Садитесь!» Один хотел сесть, а другой — как кинет на диван милицейскую фуражку! И фуражка провалилась...

— Во что превратилась легенда о царице Тамаре! — рассмеялся отец.

— Откуда ты знаешь, как её зовут? — спросил сын.

— Женщина видная. С ней многие встречались. Вырастешь — и ты встретишься.

— Не встречусь. Она теперь арестованная! — убеждённо возразил сын.

Он ещё ничего не знает о грузинской царице, жене русского князя, не видел развалин старинного замка в Дарьяльском ущелье, не читал лермонтовских строк о той, что была «прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла», и не подозревает ещё, что нет власти более властной, чем искусство; особенно если в истоках его зыбко проглядывает женщина.

Благослови их!

Школа находилась в сотне метров от дома, в котором он жил, и сквозь высокие растворённые окна всю ночь светился, полыхал, призрачно притемнялся и опять полыхал актальный зал, собрав под свои своды и люстры сразу три выпускных класса. Из открытых окон влекуще струилась непривычно-тихая, словно бессильная и обессиливающая музыка; устало бьёт ударник, вполсилы куда-то зовут, ничего не обещая, глухие трубы, — нескончаемые повторяющиеся звуки, томящая, словно тлеющая музыка. Там же, в зале, было много шумной многоголосицы и силы, так что музыка звучала, пожалуй, вразрез с общим праздничным настроением, сама по себе...

Прикрыв дверь дальней комнаты, где наконец уснули жена и младший сын, он стоял на балконе и глядел, слушал. И, слыша взволнованный смех, видя, как первые пары расходятся, он думал не о том, что их ждёт, кем они станут, — изобретателями, врачами, слесарями, поэтами, удачниками или неудачниками, благополучными или вовсе нет, — да, не о том, кем они станут, а кто они есть; они — счастливы: они не знают, что такое больное сердце, и если оно защемит — то лишь при расставании двух, боящихся расставаться...

Смеющиеся пары разбредались по городу, направляясь к окраине, на берег реки и, может быть, дальше, в поле, и, может быть, на край света. В юности это так недалеко — край света!

«...Вижу я, как сильного врага, как чужая юность брызжет новью на мои поляны и дуга», — вспомнил он вдруг и, улыбувшись, покачал головой несогласно. Потому что ни враждебного чувства к иной юности, ни зависти, ни горечи он в этот миг не испытывал. Среди тех, кто, растворясь в предутренней июньской поре, ушёл на край света, был и его сын.

Где друзья твои?

Григорьев шагал быстро и вдруг будто споткнулся. Он увидел, как впереди, в полусотне шагов по главной улице города, медленно, тяжело, опираясь на палку-полукостыль, волочил ноги Баженов, его друг ещё со студенческой скамьи. В те дальние годы они были неразлучно вместе, и многим это казалось странным: один — высокорослый плечистый красавец, без малого олимпиец, изысканно одевающийся баловень природы, а другой — калека в неизменном тёмном свитере, жалко глядеть: усохшая вздрагивающая рука, а ноги одно название — сплошная немощь. Недолгий, в полкилометра, путь от квартиры до института давался ему мучительно и долго. Но голова у него была светлая, а сердце открытое, незлобное. Он был выдумщик, умел веселиться, шутил. Его пародии на городских стихотворцев передавались из уст в уста. А потом, через год после завершения курса, он, рассорясь с директором, ушёл из школы и никак не мог устроиться на работу, вызывая при первом взгляде на него укоренённое негласное возражение: какой из калеки работник? Он шутил всё мрачнее и, бывая у друга, подолгу задерживаясь у него, сетовал на безжалостную и бессмысленную суету сует. Его сетования мало-помалу стали раздражать Григорьева, потому что последний жил уже в другом мире, где надо спешить, поспевать, опасаться быть оттеснённым другими кандидатами на счастье, кого-то приглашать в гости, к кому-то жаловать в гости, встречаться со многими, а студенческий друг нековременно его задерживал.

Теперь они встречались редко. И вот будто споткнулся Григорьев, увидя впереди знакомую фигуру, походку, его... Остановясь, он стал разглядывать подвернувшиеся витрины фотохроники. Там устремлялась по длинному транспортёру изобильная пшеница и ослепительно, не кончаясь, лился металл, а на роскошном берегу южного моря под тентами и без них, на гальке и в воде блаженственно нежились и лакомились отдыхающие, которым было так хорошо, что смех и гомон их, чудилось, звучали и здесь. Тупо разглядывая витрины, Григорьев искоса поглядывал вперёд, боясь, что друг обернётся. Но тот не обернулся. «В другой раз... Сейчас совещание... Ну перебросились бы мы несколькими словами... — мысленно

слал он вдогон, будто оправдываясь, — хотя, хотя... — подумал тут же, — ничего не случилось, не на веки же расстаются».

Вечером жена попросила его помочь сыну — тому задано было сочинение о дружбе. «Да ты не хуже меня знаешь...» Мозг привычно прокрутил пары: Гёте — Шиллер, Маркс — Энгельс, Чернышевский — Добролюбов... И он назвал ей эти фамилии. И добавил: «Нам в школе в мою бытность ещё рассказывали... два самых главных для страны друга — „два голубя сизых...“» За ужином он налил в стакан водки, выпил и налил снова...

Ходят по земле наши покинутые и наши невестреченные друзья.

После огня

Ему с детства грезился Севастополь. Там сражался его отец, от него он узнал впервые: Мекензиевы высоты, Малахов курган, Графская пристань. А ещё раньше — Крым белый, Крым красный и трагический исход белого воинства из Севастополя, а ещё раньше — город под английскими, французскими ядрами и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. Там, в бесчисленных могилах, слава и скорбь его народа: две обороны, какие могли выдержать, может быть, только русские. У моря — море огня... ядра, бомбы, снаряды, мины, трассирующие пули, миллионами огненными клювов истерзанная земля.

И вот он в Севастополе! Ему под сорок, он худощав и строен, глаза... глазницы, да, выжженные глазницы прикрыты тёмными очками. С ним пятнадцатилетняя дочь, она держит его под руку и рассказывает ему, как выглядит Севастополь мирный, солнечный, гибельным огнём не объятый. Он внимательно слушает и не думает о том, о чём станет думать поздним вечером, когда привычно пожалует бессонница, — о том, что многое он видел в жизни: и холодные, и тёплые страны, и чуждеальные берега, и океанские айсберги, видел мало что говорящую сердцу даль, а то, к чему стремилась душа, так и не успел поглядеть. И уже не увидит: в северном плавании загорелся и терпел крушение корабль, на котором он ходил к дальне-дальним чужеземным берегам; в лавине огня он тогда отчаянно, себя не жалея, спасал других. К молодой жене и трёхлетней дочери он вернулся с выжженными глазницами. В центре города ему выделили хорошую квартиру. Прошло несколько лет, и семейная жизнь разладилась.

Дочь, подросши, осталась с отцом. С отцом, который не смог быть её поводырём, когда она ступала хрупкими ножками по колючей земле, и кому она теперь — сама преданный поводырь...

Мать и дочь

Они встречались не первый месяц, его возлюбленная была красавица, похожая на польскую актрису Брыльскую, только ещё красивее, он не мыслил своей жизни без неё, и смеясь,

просил: «Ну познакомь меня с будущей тётцей!» Она отшучивалась, но всякий раз при упоминании о матери словно бы тень ложилась на её лицо, она мрачнела, что-то её тяготило.

Однажды, после вечеринки, она, чуть хмельная, сказала: «Ну что ж, идём, посмотришь, как мы живём. Наги как птенцы. Ни старинного хрустала, ни новёхонькой „Лады“. Так что, может, одумаешься, иную невесту поищешь?»

Перед тем, как зайти в дом, они не утерпели, стали целоваться у старой акации возле калитки. «Люся», — слышался тихий, отрешённый голос. Как они не заметили сразу? В нескольких шагах от них с прикалиточной скамейки женщина беспомощно пыталась встать. Свет из окна падал на её лицо; полное безволие выражали её глаза, мутные усталые глаза усталой женщины. Нет, она не была пьяна. Неверный, как бы ощупью голос: «Люся... детка». — «Мама! Я же тебя просила!» — отчаянно вскрикнула дочь, и он увидел, как она вмиг вся сникла, померкла, замкнулась. Она стояла недвижно, словно позабыв обо всём, но, мучительно припоминая, вдруг резко повернулась к нему и выдохнула с отчаянной, непонятной ненавистью:

— Уходи! Видишь, видишь, моя мать наркоманка. И я буду — как она. Уходи!

У неё начался приступ, близкий к истерике. Всё, что было в тот час в его душе, он отдал, чтобы её успокоить. Наконец она пришла в себя, успокоилась. Ночью она рассказала ему всё о своей матери и о своей муке. И никогда — ни раньше, ни после — не любил он её крепче и преданней, чем в ту ночь.

Поженившись, они проживут долгие годы в любви и согласии. Но однажды он вернётся из длительной командировки и словно бы обожжётся прошлым: увидит, как подымается, не в силах подняться с дивана, его жена, отрешённая, полное безволие в глазах, медленный, ступающий как бы ощупью голос:

— Ты так долго не приезжал. Почему ты так далеко?

Маки радости и беды

Утром, в день их свадьбы, пригласила к себе соседка и сказала: «Богатства у меня невесть какие, так пусть маки будут сегодня на вашем свадебном столе», — и повела их на огород, нежно цветший пунцовым, малиновым, алым. И они втроём, соседка, он и его невеста, городская девчонка, видевшая маки лишь на картинах, нарвали необхватные охапки; маки заполнили свадебный дом и двор, в вазах и банках полыхая на подоконниках, столах и скамейках. Тут ещё гости нанесли букетов и тоже маков, — в вёдрах их выставили на широкой скамье перед открытыми воротами. Словно бы алое вино, заготовленное для всех проходящих и проезжающих, кто бы пожелал молодым мира и согласия.

Что ж, они и вправду в мире и согласии прожили не краткий срок, за который много чего приобрелось, а больше — утратилось: разбрелись и позабылись гости и друзья, оставлен деревенский свадебный дом. Теперь в большом городе у них просторная квартира. Но редки в ней цветы. А маки далёкой свадебной радости превратились в маки близкой беды — с того часу, как в комнате единственной их дочери они наткнулись однажды на бинт, пропитанный липким маковым молочком. И всякий раз теперь, когда дочери долго нет, они не находят себе места, молча, привидениями, бродят из комнаты в комнату, приникают к окнам, за которыми ночь и неизвестность.

«Где она? С кем она? Что с нею будет завтра? Спаси её, Господи!»

Свадьба-развод

Старик, переживший великие войны, студёные лихолетья, непылюще наблюдает за свадьбой. Размашистая свадьба: вокально-инструментальный ансамбль, водки море разливанное, пропасть всяких закусок; и немалые деньги на подносе, и подарки дорогие: хрусталь, магнитофон, два ковра ручной выделки. Невеста и жених сидят рядом, как голубь сизый и голубица белокрылая.

Но поёт молодая красивая женщина странную, соединяющую в себе весёлость и печаль песню, и старик, глядя на жениха, внука своего, чувствует, что тому ничего не надо — никаких дорогих дарений, и денег, и слов, и даже... невесты. Потому что поёт эта молодая красивая и уже порочная женщина, с которой он скоро сойдётся жадно, нестерпимо.

Старик чувствует, что это случится, чувствует, что уже ничего не поделает, и с горечью наблюдает, как буйствует, как полыхает свадьба-развод. Явная свадьба и ещё невидимый развод.

Давно отснятые плёнки

Их была целая дюжина, и когда он снимал на них южное побережье Крыма, он был молод, не думал ни о жизни, ни о смерти, а жил беззаботно, на полный вздох, как живётся лишь в молодости.

Он собирался отпечатать их сразу по приезде, да закрутился дома; потом новые дороги, новые плёнки, а об этих, «крымских», забыл.

В душевной, тёмной фотолаборатории, подкрашенной смугло-багровыми отсветами лампы и слабым направленным светом увеличителя, он видел теперь: волны, камни, молодая женщина смеётся, и опять волны, камни, молодая женщина смеётся. На нескольких кадрах промелькнул и он, молодой, а то сплошь она... Она под тенью платана, магнолии, гранатового куста; она на фоне моря, гор, облаков; она по бедра, по

пояс, по грудь в воде. И в лице запрокинутом столько озорной и озарённой радости, что, взглянув, порадуешься и сам. Во мраке фотолаборатории, потеряв ощущение времени, он чуть было не кинулся писать ей письмо... Но... куда?... Себе на дом? Как редко она теперь смеётся: заботы и утраты из года в год наваливаются-накрывают, как забытые морские волны. Тогда у них ничего лишнего, даже порой необходимого, не было, наскребли случайных денег и беззаботно: «Давай на море!»

Есть на главной городской улице хорошая квартира и в ней — сотни хороших книг, в которых всегда можно прочитать о том, как найти счастье. Но что ж не выходит из головы эта незатейливая песенка: «Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать»?

И в тихой камерке-фотолаборатории ему чудился плеск ласкового утреннего моря.

Молчаливый рояль

В притемнённом зашторенном кафе в будние дни обычно бывало немного народу, и он там обедал. Кафе когда-то замышлялось молодёжным, и было: по стенам чеканка, резьба, в дальнем углу на эстраде стоял рояль; но молодым кафе почему-то не пришлось по душе, и пылились ударные инструменты, и молчал рояль.

Однажды ему выпала дальняя командировка, и он целый месяц не заглядывал сюда. Кажется, ничего здесь не изменилось.

Он привычно прошёл к своему столику, заказал обед, стал ждать. Из дальнего угла с эстрадки вдруг волшебным образом полились «Времена года» — чистые вневременные звуки, словно бы исповедь природы самой. Исполнение было... разве лишь перед смертью человек способен так самозабвенно раскрыться.

За роялем сидела женщина в чепце, в кружевном платье, поверх которого был накинут плед, словом, какая-то усадебная старушка, чудом оказавшаяся не в своем веке. Так она играла долго, и чувствовалось: исполнение её и то, что она исполняла, взволновало не одного его.

Затем рояль стих, совсем ненадолго. И зазвучал вальс — словно с маньчжурских сопок печальный отзвук поражений и восхождений. Слово негоданное дитя жестоких муз — далёких, войною задымленных сопок. И под сердцетомящие звуки жизнь его, тридцатилетнего, вдруг увиделась прожитой великие тысячи раз, и было в ней всё, даже чего не было; а сокровенная исполнительница — или ровесница вальса? Или муж её в сорок пятом погиб на тех непривычно звучащих холмах и высотах? Или брат? Через зашторенные окна словно надвинулась война. И словно сама музыка, поднимаясь из прошлого, из национально-исторического, чувствовала конечное поражение не страны, не отдельного народа, но человечества.

По счастью, никто исполнительнице не помешал. Но когда уходила, официантка сказала ей что-то такое, отчего она, маленькая, ещё более сжалась. Официантка, помятая, видать, невыспавшаяся женщина, ещё не старая, но давно уставшая от всех, проходя меж столиками, произнесла вслух, словно рассчитывая на общее сочувствие: «Повадилась... Нашла концертный зал...» — «Вас бы украсило молчание», — посоветовал он ей.

На следующий день пианистки в кафе не было. И через день — тоже. Больше здесь она не появилась.

А он приходил. И, в другом микрорайоне работая, приходил обедать сюда, надеясь. Ему казалось, ему кажется, что, не узнав её судьбы, он не узнает главного.

И поныне нет-нет да и заглядывает он в кафе. И ничего не может поделять с собой: первое, что ему бросается в глаза, — молчаливый, покойно пылящийся рояль.

А что может быть печальнее рояля, который молчит, словно немой осенний лес?

Долгий век

В вечерний час в окраинном городском парке, примостясь на полусломанной скамье у тропинки, перечитывал я с детства памятное сказание о запорожцах, могших ради веры и отчей земли не пощадить ни себя, ни сыновей своих.

Подошёл и поздоровался старик, лет за восемьдесят.

— Солнышко скрылось. Пора и книжку закрывать. Вашим глазам ещё многое надо увидеть, поберегите их.

— На мой век хватит, — пошутил я.

— Век-то долгий...

— Теперь века долгого не бывает.

— Кому что отмерено, — он внимательно поглядел на меня и словно бы доразъяснил сказанное: — Кому что отмерят судьба и Небо. Мы предполагаем, Бог располагает. Не спешите?

Я кивнул, приглашая присесть рядом. Какое-то время он молчал. Бурые его руки часто вздрагивали на его коленях.

— Мои сыновья, как только война началась, записались на фронт. Все трое — добровольцами. А я уже недужен был, раны от первой германской открылись, думал, смерть скоро возьмёт. Деревне нашей не повезло: эсэсовцы в ближнем чернолесье склад устроили. Наши дознались и с воздуха в клочья его разнесли. Тогда пришлые всех деревенских согнали в лог за последними избами и стали автоматами расстреливать. Меня ранило, сбросило в овражек. Ночью выкарабкался. А вскоре другая напасть явилась. В том чернолесье наткнулся я на дезертиров. Сколько местных ухнуло в полымя войны, а эти трое — всю войну в потёмках прятались. Кинулись меня убивать. Только люди добрые наведались в тот час в лес, не дали мне погибнуть. И вот живу...

— С сыновьями?

— Не вернулись. Все трое сгнули. Младший — в последний день войны.

Встал разбито, будто сказанное опустошило его враз. И медленно побрёл прочь. Странно и трогательно было: человек, потерявший свой род, печётся о глазах человека, которого встретил в первый раз и, может быть, больше никогда не встретит. Сколь же им надо быть и добровидящими, и помогающими слабым видеть доброе!

Не каждому говоришь «здравствуй!»

Трое неопределённого возраста мужчин в белых рубашках с расстёгнутыми воротниками сидели в летнем кафе, на открытой веранде, притемнённой высокими сиренями, и пили пиво. Один из них больше молчал, разглядывая без особого, впрочем, интереса молоденьких официанток, а также всех уходящих и приходящих. Двое других с удовольствием и согласием рассуждали о родственном чувстве землячества не только в узком, но и в широком, планетном смысле, о том, что надо радоваться всему миру, начинать свой день с приветствия и любви к каждому, как поступают йоги.

«Приветствовать каждого? Любить всех и каждого? — встрепенулся вдруг молчавший. — Ну, нет... я обжёгся ещё с детства!» — «Что ж, послушаем... выслушаем и исцелим!» — с улыбкой воскликнул самый многоговоривший. — «А чего слушать? История не бог вещь какая! Но если хотите, мне не жалко, пожалуйста!» Он начал сразу, без молчаливой протяжки, обычной в таких случаях.

«Мне было лет десять. Жил я в небольшой деревне, где каждый с каждым встречался по нескольку раз на день. Земляки дальше некуда: „Здравствуйте! Здравствуйте!“ Как-то мать, собираясь на подсолнух в поле, наказала: „Сегодня не уходи из дому, будешь за хозяина. Вернусь не скоро, деланка на дальнем поле“. Едва она за околицу, как подъезжает Николка Козырь, видать, за свою везучесть прозванный так. Он постарше меня был, лет пятнадцати. Зовёт: „Едем в лес! Лошадь, гляди, крепкая, кормленая, сколько угодно довезёт... А у вас, гляди, балясины сгнивают. Привезём тебе три лесины, знаешь, как мать твоя обрадуется!“ Словом, запел соловья краше. Неохота ему, наверно, в лес одному, без помощника ехать. Уговорил. Лес недалёкий. Нашли с десяток лесин, уложили на воз — и обратно. Подъезжаем к нашей избе, Козырь и предлагает: „Слезай, сбросим тебе не три лесины, а пять!“ Я с возу, а он как гикнет — лишь пыль поднялась!

Захожу в сени, глядь в угол — и сам не свой: здесь же мешок ржи и полмешка картошки должны стоять! Ни ржи, ни картошки. Позже узнал, что Николкины братья изловчились бесприглядное выкрасть. Возвращается мать, видит: „нахо-

зайничал“ хозяин! Сгоряча отхлестала ремнём, так ремнём отхлестать — самое лёгкое, а как жить дальше? Опустилась на кровать и плачет. И я хлюпаю. Заходит дед Мирон. Он к нам часто наведывался: его сын и мой отец в одном полку воевали, в один день на Висле погибли. Расспросил, что да как, вздохнул и вышел, не прощаясь. Вскоре вернулся, ведро картошки принёс, хлеба, яиц. „Да и у вас же самих завтра ничего не останется!“ — „Бери, бери, у тебя сын растёт. А мне одному много ль надо?“

И вот четверть века как нет деда Мирона, но для меня он живой. Живой! А Козырь... так и не поладил с ним. Встретимся — будто не замечаем друг друга. Какое уж тут „здравствуй“!»

Трое сидели молча, задумавшись, может быть, вспоминая каждый своё. То ли дурное, то ли хорошее, но одинаково прошедшее.

Щенки счастливые и несчастливые

Щенок проскулил откуда-то сверху, и Лена, запрокинув голову, увидела: на крыше четырёхэтажного дома тыкался мордочкой в прутки замыкавшей крышу ограды белый щенок с чёрным пятном на лбу, с большими жалобными глазами.

«Как же его снять оттуда?» — забеспокоилась девушка. Дворник, малый лет под тридцать, небритый и угрюмый, ел-пил в одиночестве в своей дворничкой на первом этаже. Выслушав, сказал: «С пяти утра на ногах, а ты — с пустяками!» — «Я заплачу!» — с готовностью воскликнула Лена и, вынув из крохотной сумочки кошелёк, протянула дворнику трёхрублёвую бумажку; она недавно получила стипендию. «Ладно», — буркнул дворник. Он нырнул в подъезд и вынырнул уже на крыше. Поманил «альпиниста», и тот робко, побаиваясь, стал приближаться.

Лена допоздна возилась со щенком Белыйшом, как она сразу же назвала его; в хозяйственном магазине купила мисочку, в продовольственном — молока и колбасы. Взять домой она его не могла: дом был в деревне, за полтораста километров, а здесь она жила у родственников, дружно не терпевших ни кошек, ни собак. В дальнем углу двора она соорудила конуру из брошенного ящика. Налив молока, положив ломтики колбасы, сказала: «Никуда не убегай, ладно? А я завтра приду».

Наутро Лена, едва раскрыв глаза, сразу же вспомнила о щенке. Наскоро одевшись, спустилась во двор. Прежде чем направиться к своему питомцу, хотела забежать в молочный магазин. И вдруг снова услышала поскуливание откуда-то сверху. Неприятно поражённая, она запрокинула голову, увидела: Белыйш на крыше, на вчерашнем месте.

Девушка снова разыскала дворника, снова протянула трёхрублёвую бумажку. Дворник прибавил ещё одну трёхрублёвую

и обе вернул назад. «Долг возвращаю. Спасибо. Но знай, с псиной вожусь в последний раз».

Через несколько часов Лена со щенком находилась дома, в дальней деревне. Ночью она спала счастливо и бестревожно. Счастливо и бестревожно спал и щенок: ему уже не грозили ни голод, ни холод, ни отлов и камень на шею, ни трамвайные или машинные колёса, как грозили они тысячам его четвероногих братьев, маявшимися и бедствовавшим в ту ночь, в тот час...

Метаморфозы не по Овидию

У него теперь была дача в пригородной роще, и гараж, и в гараже, естественно, машина. Не какой-нибудь горбатенький жук-«Запорожец», но престижная, великолепного вишневого цвета «Лада». С этой «Ладой» у него теперь совсем разладилась прежняя жизнь.

Он перешёл на службу, не дающую душевной радости, но дающую покой и возможность ездить на машине по хозяйственным делам, которых становилось тем больше, чем больше он ими занимался; он забросил радиоконструирование и собирание книг и пластинок, и даже, далеко не равнодушный к женщинам, поостыл к нравившимся ему ладам из-за этой своей «Лады», ненасытно требовавшей времени и денег; заводя новые связи с «парнями», причастными к автосервису, резине, бензину, он поневоле терял старые: на всех его не хватало. Он теперь совсем редко встречался с друзьями, разве нечаянно и наспех.

Нечаянно встретившись, двое, когда-то не разлей вода, заскочили в летнее кафе, намереваясь на бегу выпить по стакану сухого. Но засиделись.

— Ну, как? Рулишь? — спросил друг у владельца легковой. Тот, не почувствовав подвоха, сел на любимого конька:

— Рулю, да боязно. Не за себя, а за неё. — И засмеялся. — На трассе ещё ничего, а по городу ехать — одно страданье. Машины чуть не чиркают бок о бок. Едешь тише пешего: вдруг зацепят, стукнут, долбанут. Не казённая же, своя! Хочется взять её за налыгач и вести по городу, будто живую, будто какую-нибудь бурёнку.

И тогда друг «ударил»:

— Поговаривают, хочешь танк на даче установить? Будешь охранять и машину и заодно сельчан, мзду с них взимать.

Владелец легковой улыбнулся, но... растерянно, что-то хотел сказать, но промолчал.

И, глядя на него, замкнувшегося владельца колёс, друг видел давнее: большой парк с нагими декабрьскими клёнами, лёгкий снег, их двоих, молодых бессребреников, медленно бредущих в бело-синем полусумраке, беседующих о высоком, духовном — о том, как людям жить по Нагорной проповеди.

Ёлка на балконе

К новогоднему застолью жена раздобыла всякой всячины, даже тресковой печени, какая давно уже идёт за великую редкость. Я же смотался в ближайший райцентр и раздобыл две бутылки шампанского. Сказать бы не было птичьего молока, так и оно нашлось — коробка конфет «Птичье молоко» настывала в холодильнике, подальше от детских глаз. Всё было, однако главного не было — ёлки. Последний день обегал весь город, все микрорайоны, но, увы... В одном месте не подвозили, в другом уже раскупили. Я бегло взглядывал на окна — во многих виднелись обряженные вечнозелёные. Бросилась в глаза ёлка на балконе второго этажа соседнего с моим домом. До чего же она была хороша: густая, пушистая, высокая, строго восходящая в конус, слегка присыпанная снежком, будто на втором этаже и растущая. Я подумал, что хозяйева её нарочно не вносят в комнату, чтобы обряжать уже перед самым новогодним часом, чтобы за этим хлопотно-праздничным делом и войти в новый год. Наш новогодний праздник хмурился под неживой сенью нейлоновой ёлки. После второго бокала мы смирились, постепенно найдя прелесть даже в этой мёртвой поделке, жалкой и напыщенной. Конечно, с такой ёлкой, как на балконе, и уютнее, и веселее, но, как говорится, на нет и суда нет. В конце концов все их, даже самые распрекрасные, через неделю-две выбросят и сожгут, а наша, пошутил я, ещё послужит.

Балконная ёлка, вечнозелёное дерево краткой радости через три месяца сухо желтела своими смолистыми голызинами-ветвями, вся неживая: на балконе ёлки не растут...

Улицу называют Коммунальная

В одном среднерусском городе есть улица Коммунальная. По названию ничем не хуже, как и не лучше Кооперативной, Индустриальной и прочих безлико названных улиц, что, впрочем, всё же достойнее, чем когда они носят имена некие, имеющие к ним отношение преотдалённейшее; Коммунальная так Коммунальная.

Но жили на ней два человека, создавших бессмертное: один — вальс «На сопках Маньчжурии», другой — марш «Прощание славянки». И краеведам для вящей памяти хочется запечатлеть их фамилии в названии улицы. Но смешны и нерадостны их надежды. Потому что на этой улице Коммунальной размещаются коммунхоз и управление рынка, у коих свои печати и штампы, и адресные печатки со словом «коммунальная» — не менять же! У рынка — свои звуки, свои мелодии и драмы! А главное — свои, и немалые, силы и возможности.

И люди, музыка которых звучит по всей стране, не могут «прописаться» на родной улице, в городе, какой — частица их души — последний берег их жизни.

Краеведы невесело шутят, что, мол, когда подобно динозаврам или могикианам исчезнут последние такие дотошные чудачки, как они, не будет нужды в исторической памяти, в названиях городов, идущих из глубины столетий, и будут не города Тамбов, Орёл, Воронеж, а города номер шесть, номер шестьдесят шесть, а то и номер — число зверя.

«О дивный новый мир!»

В молодёжном городке

Гостиница на высоком холме, из окна открывается распахистая панорама молодого, молодёжного города: жилые кварталы — шеренги неотличимых друг от друга домов, да на окраине — частоклад труб огромного химкомбината, ради которого и выстроен город и к цехам которого молодые градозители прикованы незримыми цепями.

Двое молчаливых поселились в одном номере. Словно не зная, чем заняться, поочерёдно и подолгу выстаивают у окна. Один думает: «Как здорово! Давно ли здесь была тайга... Косная, бесформенная, себя не сознающая материя. А теперь здесь — и форма, и энергия, и деятельная жизнь. Тысяч семьдесят народу. И какого народу: молодого, крепкого!» Другой думает: «Ещё одно человеческое скопище в коробках из сырца-кирпича да бетона. Сколько молодых и крепких, кому бы землю пахать да хлеба растить, покинуло отчие избы, лишь бы втиснуться в бетонную скучень! Сколько деревень потеряли свои улицы и даже названия, названия окрестных полей, лугов, оврагов! Бедные Ивановки да Сергеевки, Вязноватки да Берёзовки — и затопляют, и сносят их, и пустеют они, как после мора! А здесь? Здесь всё на один припев: улица Энтузиастов, да Фантастов, да ещё какого-нибудь кристального и пламенного революционера, который выпорхнул в семнадцатом из подполья, дорвался до власти да пол-уезда изломал...»

В соседнем же номере двое весёлых, разговорчивых сверх меры инженеров, из тех, что вечно в командировках и знают, как и с кем найти в командировке утешный час, пили водку, рассуждали о кино и киноактрисах, и гостевали у них и тоже пили водку две хорошенькие и уже бывалые девчонки, покинувшие свои Вязноватки и Берёзовки хохотливые востроглазки, отдающие дни заводским станкам, а ночи — всеприемлющей гостинице.

Вагоны печали и радости

Они вошли в купе — двое, а будто двадцать: по-былиному высокорослые, широкоплечие, весёлые.

— Можно у вас перевести дух? Мы из соседнего вагона. От жён сбежали. Ни дома, ни в дороге от них покою нет. Трещат, как сороки, а не понимают, что мужьям выпить хочется, —

выпалил один, небритое, но приветливое лицо, а голос — баритон сильнозвучный, громовой, медь-труба военного оркестра.

— Нам три остановки. Тут недалеко Утиные плавни. Чирок ныне идёт, — добавил его друг-приятель, лицо, и голос — поостроже.

Теперь в купе было четверо: двое — со вчера едущих и молчащих, двое — только вошедших и сразу ожививших купе нехитрыми, неприхотливыми словами.

Напомнив, что за встречу не грех и выпить, охотники принялись вытряхивать из сумки новые охотничьи сапоги, которые оказались прямо-таки великанскими: невысокий человек утонул бы в них с головой. Вытряхнув, извлекли из резиновых утроб по большой бутылке вина. Смеясь: «Жёны пить не дают, а тут сами питьё несли до поезда». Двое молчаливых пить отказались, тогда силачи-охотники и без неотзывчивых приглашённых споро разделались с бутылками; оставались они трезвы, как стёклышки, хмель их не взял.

— Вашу бы находчивость, да на добрые дела! — сказал вдруг один из молчавших, мужчина лет пятидесяти, лицо губасто-брезгливое, меховая шапка на голове, в сентябрь-то!

— Это так, добрые дела всегда добрее недобрых, — то ли перемудрив, то ли чуть съёрничав, миролюбиво согласился голос — труба громоподобная.

— На добрые? — переспросил его друг. — Скоро будем проезжать Русановский мост. Так когда строили его, мы ледяной воды хлебнули поболее, чем за всю свою жизнь водки. Крепкий мост, выдержит вас, и добрых, и злых. Выдержит!

Они вскоре поднялись и на следующей остановке сошли с поезда.

— Хвастаются: мост строили, — снова, словно стремясь поквитаться вдогонку, заговорил пыжиковый товарищ. — Да они бы их куда больше построили, не будь этих бутылок! Работяги!

Но грустный его попутчик, лицо в себя погружённое, непроницаемое, разговора не поддержал. Двое ушедших лишь подтверждали родную ему мысль о нечаянности, случайности всего на земле. Эти двое могли появиться здесь, могли и не появиться. Могли пить, могли и не пить. Могли обниматься, могли и подраться. Могли ехать со свадьбы, могли ехать на похороны. Не в этом же суть. А в том, что народ теснится в вагонах, летит в поездах, и оторван он от родных порогов, как древнегреческий великан оторван от древней земли; миллионы спешащих, немислимая энергия, которая пропадает втуне, часто бессмысленно, бесследно; печаль и радость, о которой никто никогда не узнает. Вот железным крылом промелькнул пассажирский встречный. Может, в нём задыхается от тоски человек, который, встретиться они, стал бы ему самым преданным другом, или, давясь слезами одиночества, на верхней

полке уткнулась ничком в подушку обиженная кем-то женщина, могшая стать ему вернопреданной спутницей. Но мимо пронеслись их вагоны, их поезда. Мимо! Мимо! Мимо!

Иванова улица

У пятерых друзей, живших на дальней сельской улице, почти одновременно, весной, незадолго до войны родились сыновья, и всем им дали одинаковые имена: Иваны! Отцы ушли на фронт. И все пятеро не вернулись. Но пятеро Ваняток подрастали на одной улице, росли несмотря ни на что... какая тогда была жизнь: ни хлеба, ни одёжки, ни обуви... пять маленьких детских ртов хотят есть, просят есть, пять юных померкших вдов отчаянно бились с нуждою, с бедою-судьбою. И хаты их покосились, и сады вымерзли, а те яблони, что не одолел мороз, одолели топоры-налоги. А после измороженных месяцев по-сиротски и себе не радостной зимы — сухое, как гарь, лето; и снова — без хлеба, и снова — с нуждой, и казалось, лихолетью конца-края не будет.

Но настали иные дни, и заколосились щедрообильные хлеба, и выросли сильные яблони, а главное, выросли сыновья тех пятерых, что с войны не вернулись. Выросли, поженились и выстроили в ряд и лад небывало приглядные, просторные дома, со стеклоглазыми приглядницами-верандами, с оцинкованными, в перламутровых пятнышках крышами. И казалось, хорошо живут под этими крышами, всего там вдосталь, и не будет износу крепким домам, и никогда в них не изойдёт детский смех, детский шалостный крик. Но минули годы не годы, семь лет — как семь дней, и поразъехались кто куда. Один Иван с семьёй — на дальнюю станцию, где устроился на авторемонтный завод, другой — в северный зауральский городок, где прежде служил, третий — на Дальний Восток, а у четвёртого — так и вовсе распалась семья, пропил он её и пропил дом свой. Лишь Иван, прозванный в детстве Главный, остался в селе.

Обрюзгший, остарелый, стоит он у прикалиточного выхода со двора, словно не зная, куда себя деть. Трудно, немыслимо узнать в этом медведе того юркого, смешливого и смышлёного, что был в детстве ребячьим предводителем; куда подевалась его статья?

Перед ним в красных татарниках полыхает ящеричный пустырь. Там, где была дорога, непробудные бурьянные заросли, крапива и лебеда. Куда же подевалась рать сверстников, кто бы мог скосить, извести бурьяны и проторить тропинки к домам с оцинкованными крышами, там грубые перекрестья досок опечатали двери и окна? Но какая рать, ежели его единственная дочь уехала из села, надеясь в городе заполучить и деньги, и мужа, и счастье.

А брошенные дома — как памятники несбывшимся надеждам и незаметным, несчастным судьбам, унесённым и раз-

брованным по миру странными и страшными ветрами. Дети покинули родину, которую деды, отцы их до последнего вдоха пытались отстоять, уберечь.

Лебеда и крапива — как лесная дурночащоба. Да битый щербен в лебедь и крапиве, да ящерицы, да пауки. Кто-то скажет: что за печаль — эта умолкшая деревенская улица перед жребием всесветно славных древних городов, от которых что сохранилось, кроме предания?! Пусть так. Но зачем же тогда были неизмеримые страдания наших бабок и матерей, гибель наших дедов и отцов? Зачем? Чтобы на родине вымахал победный сорняк?

О сестры, сестры...

Старшая его сестра работала на неразгибной подёнщине в колхозе... обледеная свёкла — с утра допоздна очищай её в голое поле, на предзимнем, выметающем душу ветру, да зимняя слежалая солома — грузи её, неподъёмную, разгружай её, неподъёмную. А младшая — на допотопном кирпичном заводе с утра до полуночи, каждые четверть часа открывает, закрывает заслонки, а их — полсотни, раскалённых, тяжёлых! Душно, угарно, нечем дышать.

И было стыдно ему. Он уже привык к иной жизни, в которой руки женщин, обнимавших его, были утончены, выпестованы в служебно-кабинетных сиденьях, физическая работа заключалась уже в том, чтобы подымать перья, в том числе и пишущие, и писать стихи, писать эссе, рассуждая о духовном, проистекающем из сексуального, или сексуальном, проистекающем из духовного.

И за эти немногие минуты в угрюмом угарном цехе, где огнедышащая кольцевая печь с ядовитыми синевато-багровыми отсветами горелок и была тот самый всепожирающий Молох, при виде рано увядшей сестры он почувствовал, что так или иначе предал их, неразлучных когда-то сестрёнок; а если не предал, то потерял их. Ибо всматривался в них словно из другого мира и времени.

Ему вспомнился Кобзарь: «О сестры, сестры, горе вам, мои голубки дорогие...» И стало перед глазами: две тоненьких девчушки с ромашковыми венками на головах, взявшись за руки, переливчатым смехом волнуя окрестное, бегут через полноцветный сенокосный луг; и так они предотрочески хороши, что косари, с улыбкой глядя на них, останавливаются; и столько в них, весело щебечущих, радости и веры, что казалось тогда, что перед ними откроются все заветные двери и дороги.

Сигнал

Ночью Андрей Косарь, лучший водитель в слободе Нижняя, остановил машину не у своего дома, а у дома Якова Михайловича Сытникова, колхозного бухгалтера, и стал сигналить.

Сытниковский дом стоял чуть на отшибе, возле оврага, заросшего вишнями. Застеклённая веранда и крыша из оцинкованного железа мягко поблёскивали в свете луны, и покоем, томным усадным сном веяло из раскрытых окон. Умолк полуночный гимн, стихло вокруг. Лишь долгие с короткими перерывами гудки будили сытниковский дом, спящих в нём. То есть никого, кроме Якова Михайловича, в доме не было: его жена и дочь гостили в соседней слободе, Андрей знал. Хозяин выбежал — злобы на десятерых:

— Ты что дурью маешься? Чего под окнами трезвонишь?

— Да замыкает, прах побери. Реле плохо срабатывает, — невинно и даже как бы озабоченно объяснил водитель. — Ты не помог бы, а?

— Дня тебе нет? Езжай к своему дому и сигнал сколько угодно!

— О, вот и отладил! — воскликнул Андрей.

Яков Михайлович, по-утиному переваливаясь с ноги на ногу, зашагал к дому, с шумом хлопнул калиткой. Закрыл окна, проклиная Андрея и его близких.

Негусто их у водителя. Одна мать. Отец и брат Дмитрий погибли. Дмитрий — одноклассник Якову, их призывали вместе на фронт; да, велика пасака оказалась у сытниковского отца: схлопотал тот бронь для сына. «Чего ж этот сопляк цепляется? — так о тридцатилетнем Андрее. — Завидно, на мой дом глядя?» — ярится Яков Михайлович. Дом у Сытникова, пожалуй, и взаправду самый видный в слободе, и добра в нём — на многие семьи. Просторный, тёплый, вот только звук пропускает; легко засыпающий Яков Михайлович вновь взбешённо вскакивает: сигнал звучит громче прежнего, будто грузовик под самыми окнами. Хозяин вне себя, готов схватить молот, лом, топор и крушить. Но машина уезжает.

Вскоре Яков Михайлович снова засыпает, и уже ничто не мешает ему спать до утра: ему никогда не снятся ни цветные, ни даже обычные сны.

Конь живой и конь стальной

Из окна своего дома учитель увидел, как по сельской улице, скользкой от долгого дождя, молодой тракторист Сашка Манычев, бывший его ученик, вёл, точнее говоря, волок на буксире коня, обмотанного, подобно пленному, верёвками, концы которых соединялись на задней сцепке трактора. Конь, отчаянно упираясь (одна лошадиная сила против ста), припадал, падал и поднимался на ноги с каждым разом всё тяжелее. Поначалу Сашка притормаживал трактор, но скоро ему это надоело, и когда конь споткнулся и упал снова, трактор не остановился, лишь, почудилось учителю, чуть вздрогнул от побочной нагрузки. С пронзающей болью учитель почувствовал, как бутылочное стекло и острые дорожные камни

вонзаются и рассекают кожу коня, будто его собственную кожу. Бедного конягу тракторист «доставлял» на пункт профилактических прививок, дабы обеспечить коню счастливую, без болезней жизнь, так что короткие неудобства в счёт не шли: пусть вороной потерпит! Неизвестно, сколько бы ещё коняге-страдальцу пришлось терпеть, но тут преградили путь трактору две женщины. Учитель же от стыда и боли не мог пошевелиться. Ему-то Сашкин трактор следовало раньше предусмотреть, а теперь что ж — не догонишь, не остановишь.

Учителя, словно от неожиданной раны, перехватило болью, повинно-раскаянным: за суффиксами-префиксами и историей государства Урарту он мало учил своих питомцев милосердию, состраданию, любви к живому. Конечно, его ученики уже не тянулись к лошадям, как он, им не выпало бывать в ночном, делиться с вороным последними крохами хлеба, чувствовать в нём друга, помощника семье и слободе. И может, оттого, запоздало думал учитель, что им не выпало бывать в ночном и от многого ещё вся Сашкина жизнь как сплошная ночь: он вечно пьян, как вечно пьян и его отец.

И утешаться ли учителю тем, что многие ученики вышли в люди, если есть его питомец, которому ничего живого не жаль?

Лошадь и люди

Осенью в ночь загорелась конюшня. Случилось в праздник, и, пока кинулись тушить, всё сгорело: и конюшня, и кони. Одна лишь Лыска, строптивая молодая кобылица с белым кленовым листком меж глазами, чудом осталась в живых, да не жилица только: напрочь выпаленные хвост и грива, обгорелые, зияющие красно-чёрным бока, полопались и потухли в страшной жаре глаза. «Эх, Лыска, сердешная... лучше б и ты, чем мучиться так...» — сказал ветеринар. Но взялся выхаживать.

Весною, в ласковый день она оставила ясли с овсом, выбралась из загона и, никем не ведомая, разве запахом зацветающих трав, направилась на недалёкий луг. Её никто не стал загонять обратно. До осени она жила на лугу, найдя там свой хлеб и кров. Иногда дети приносили ей ржаные корки и сахар, она вздрагивала и тихонько ржала, тем выражая свою благодарность.

Издавека поглядеть — лошадь как лошадь. Привычно щиплет траву, медлительно переступая с ноги на ногу. Потом остановится, поднимет голову, будто к чему прислушиваясь, и стоит долго-долго. И вдруг заржёт, да так ранено, что мороз по коже проберёт. О чём она? Что видится ей? Её давняя детская жизнь, где она, жеребёнок, на заросшей лозами прибрежной пойме? На что обижается она своей последней незрячей обидой? Может, на ветеринара, который исцелил её для жизни, а она не видит её? В глазницах её дотлевают та красная ночь,

мерещится снова и мучает; и спрашивает недоумённо, как случилось, и не может понять.

Поджжённый долгие годы бригадирствовал на хуторе, грубо-управничал, держал в страхе многих, а когда почувствовал, что пришли иные времена и земля уплывает из-под ног, решил припугнуть, да пожёстче!

Но откуда лошади знать, что там у людей?

Отец доцента

К Дементию Михайловичу, ещё крепкому и неунывному старику, в свои семьдесят выстроившему флигель на подворье, заглянул сосед, дальний родственник. Дементий Михайлович, его жена, их сын Сергей, то есть, конечно же, Сергей Дементьевич, ибо он заметный человек — доцент лесного института, обрывали вишню.

— На минутку можно, Дементий? — спросил сосед, поздоровавшись.

— Да почему ж нельзя? — с готовностью ответил хозяин. Он слез с вишни, и они направились во двор.

— Ты ж недолго! — крикнула вслед жена.

— Сейчас вернусь! — пообещал муж. И тут же обратился к соседу: — Соскучился? Или дело какое?

— Да и соскучился, и дело есть, — уклончиво сказал сосед. — Что на солнцепёке стоим? Давай-ка зайдём в твой терем.

Они вошли во флигель, и сосед, оглядевшись, извлёк из нагрудного кармана широченного пиджака четвертинку «Особой русской» водки, молвил с чуть заметной завистью:

— Экий флигель отгрохал! Грех не обмыть. Пусть стоит да не валится.

Выпили. Потолковали про погоду, и про старого председателя, который долгие годы создавал колхозный достаток, и про нового председателя, который транжирит колхозный достаток.

— Так какое ж дело? — спросил Дементий Михайлович.

— Дело? Дело такое... дочь в институт надумала. В лесной. Я даже порадовался, что в лесной. Думаю, как-никак свой человек там в больших людях. Сергей Дементьевич небось поможет, а?

«У Сергея Дементьевича и спрашивай!» — хотел было отрезать хозяин, но удержался, сказал лишь «подожди» и вышел из флигеля. Вскоре он вернулся с четвертинкой такой же «Особой русской». Наполовину разделались и с нею.

— Знаешь, — не торопясь забасил хозяин, — зачем твоей Клавке лесной институт? Я не о том, что она ясеня от клёна не отличит. Посуди сам: каково женщине в лесу жить? Да ни один жених её красы не увидит, а диплом жениха не заменит... вот и будет она отца костерить на чём белый свет стоит.

— А если в сельскохозяйственный?

— А что сельскохозяйственный? Ну, станет одной агрономшей больше. Агрономов всё больше, а урожаяи всё меньше.

— Ну а ежели в другой какой — Сергей Дементьевич поможет?

— Не поможет. Серёга сам, без подпорок, поступал. Скажи и ты ей: давай без поводыря, девка...

Обиженный сосед ушёл. Дементий Михайлович заявился в сад, когда вишня уже была собрана.

— Чего так долго? — спросили в один голос.

— Да гость попался долгий. Не ходил бы сын в учёные, и жизнь была б поспокойнее. «Учёный»... — хмыкнул старик. — Ты бы оставил, Серёга, ту пустодельную блажь. Велика наука — валить деревья... Перебрался бы сюда, вон я какой флигель выстроил, получше вашей двухкомнатной клетухи. А дерева и здесь хватит, и дела хватит».

Прекрасно сознавая, что сын в слободу — ни во флигель, ни во дворец — уже не вернётся, отец взывал больше по привычке; он сетовал на свою судьбу, повернувшую всё так, что не на кого оставить дедовские могилы: сын — отрезанный ломоть, у него даже имени не осталось, всё доцент да доцент... Слово-то какое несуразное: деревянное, цокающее...

Архитектор в гостях

В кои дни Геннадий Евгеньевич, областной архитектор, ещё не старый, но уже именитый, ухватливый и жизнью побалованный, возжелал провести отпуск в родном селе. Приехал, огляделся вокруг. Пропылил экспортного образца «Ладой» по очужевшей улице детства. Хотел встретиться со школьным другом, но тот со вчерашней свадьбы племянника пребывал в глубочайшем хмелю и никого не узнавал. Хотел заглянуть в клуб, где в молодости с сельскими девчонками кружил вальсы, но клуб оказался на замке.

Уже на второй день Геннадий Евгеньевич заскучал, недоумевая и удивляясь, как он прожил здесь бездну времени; добре хоть институт спас от селянской тоски. «А они всю жизнь отдают этой тьмутаракани!» — думает он и холодновато-чужим *они* словно бы отстраняется от своего села и своего прошлого.

В полдень, скучая, забредает он на соседнее подворье, где под акацией престарая баба Настя крошит свекольные листья и толчёт их в ведёрном чугушке.

Архитектору от нечего делать поговорить со старухой, что ли?

— Как живётся, баба Настя?

— Да какая она жизнь? Одна маета. Во дворе, видишь, и куры, и утки, и козы, и всем — дай! Крутишься похлеще той белки, вот и вся жизнь.

— Или помирать захотелось?

— Как же помирать? Глянь-ка, стена в хате похилилась, картошка не выкопана, Гришка, внук, писем не пишет, внучка развелась с мужем, помогать надо.

— Небось, справятся и без тебя.
— Ой ли! В прошлый раз наведалься к Гришке в город, а у того — мыши из дому бегут, хлебной корки не сыщешь, пьёт...
— Гришка твой в коммунальном доме?
— Каком? Кому дальнем?
— Коммунальном, — рассмеялся гость. — Многоэтажном, высоком?
— Высокий. Случись, упанет — грохоту наделает. Пол-улицы придавит, полгорода напугает.
— Что ж ты думаешь, и те дома — как твоя хата? Нет, мы строим прочно, на века!
— Милый, да ить всё строенье от рук и глаз человеческих, а они ошибиться могут. Божье, согласна, на века.
Архитектор и лауреат нескольких премий слегка уязвлён:
— При чём здесь Бог? Мы, говорю, строим на века. И на тебя, и на твоего внука хватит.
— В наших Криничках церква три века стояла, а Женька, отец твой, с пришлыми нехристями в три дня порушил. Ежели и ты такой прыткий — построишь!
Архитектор раздосадован всерьёз и не находит ничего лучшего, как малодушно ужалить, уязвить соседку из детских лет:
— А ещё говорят, старые люди добрые.
Старуха на выпад не отвечает. Поднимает чугунок и с хватливостью, неожиданной для её лет, уносит в хлев. И закрывает дверь.
Чего ж ты обижаешься, дорогой архитектор, сын Женьки, местносельского энтузиаста-безбожника, что ломал церковь в родном селе с такой готовностью — будто зловраждебную крепость крушил!
А без церкви — души села — неуютно старухе, всю жизнь неуютно ей было; и не хочется ей лежать на погосте, с которого не виден церковный крест, не слышен звон колокольный.

Старухины страхи

Во всём селе не найти второй такой хаты — ветхозаветной, долу глядящей, под соломенной крышей, на которой пышно угнездилась лебеда. И слева, и справа по улице — многокомнатные, опоясанные верандами дома, а здесь будто иной век, будто нежилая хата. Но в хате живая душа есть. Максимовне восемьдесят восемь лет, она уже редко выходит на свет божий.

Сын соседа, приехав в отпуск к отцу, за обедом расспрашивает про село и среди прочего: «А как Максимовна? Как её жизнь?» — «Какая там жизнь! Не спит, не ест, всё думает: если будут воры лезть, то в какое окно выпрыгивать...» — «Ну, скажешь!» — засмеялся сын. А время спустя пошёл проведать Максимовну, не раз в детстве покрывавшую его шалости.

Было восемь часов вечера, по-ноябрьски темно, но свет в хате не горел. Он постучал. «Кто?» — сторожко и тяжело спросила старуха. Узнав, обрадованная, включила свет. Из крохотной передней он прошёл в крохотную горницу. Огляделся. Всё как год назад, когда он навещал её. Малышки-окошки, на подоконнике — ровно разложенные открытки, странно видеть их здесь: первый космический спутник, первый космонавт, ракета на старте. И на стене — открытки, всё больше цветы: сирень, флоксы, хризантемы; в простенке — зеркало в гирлянде из бумажных цветов; поверху плакат — портрет стройной, всеми надеждами юности овеваемой девушки. Образ в рушниках. На земляном полу — дорожки. Тёмный прабабушкин сундук. Какой здесь век? Хотя... радио, электричество. Да и эти «космические» открытки.

— Чего ж радио молчит? И что в потёмках сидите?

— Боюсь, Алёша. Боюсь, что не увижу и не услышу, ежели ко мне недобрые люди придут. Оттого и света не зажигаю. Думаю, станут заглядывать в окно, я их прежде увижу. А со светом они меня увидят раньше.

— Да кто ж придёт?

— Ой, Алёша, мало ли кто. Сейчас пью крепко. А выпивка денег требует. Я бы всё до копейки отдала, но как быть: бежать или не бежать? В какое окно выпрыгивать: от сада или от вашего дома? Моя знакомая в соседней деревне — так у той и ружьё есть на случай, если кто ночью полезет в окно. И охотничий билет есть.

Гость вынимает подарки: пряники, конфеты, книгу сказок.

— За сказки спасибо, Алёша. Ты знаешь, как я люблю читать. За прошлую зиму «Дубровского» прочитала, спасибо маме твоей — приносит из библиотеки.

— В очках читаете?

— Без очков. С очками хуже. А без них, как молодая, схватываю. Если б не боялась, читала б всю ночь, а так... Чуть стемнеет — ложусь, света не зажигаю, стерегу глазами окна. Горюю, что нескладно хата стоит: окна во двор, а не на улицу. То бы я видела, вдруг кто ко мне заворачивает, калитку открывает...

Ночь. По-девичьи зрячая старуха зорко всматривается, не появится ли кто в окне. Под девяносто лет. Вокруг её прожитой жизни — кладбище. Не только муж, братья и сёстры, но уже и младшее поколение — сыновья, дочери, племянники — покоятся в земле. Сколько пережито! Старший брат поднят на вилы в девятнадцатом; младший прятался в старом доме, не спрятался: тоже убили. Дом сгорел в войну. Муж измок в болотах. Сын разбился в самолёте, внук — на мотоцикле. Но не об этом думает старуха по ночам, зорко всматриваясь в ночь.

А утром: «Боже, где ж моя смерть?»

Сельский голова

Сарай глухо подрагивал: Михаил Михайлович, кряжистый сорокалетний мужчина, недавно избранный в председатели сельсовета, в обеденный от службы перерыв, за плотно прикрытой дверью рубил дровины: безнатужно надвое рассекал полено, подчас вгоняя топор в дровотню так, словно и её хотел раздвоить, да только дровотня из вербного комля за долгую жизнь притерпелась к ударам всякосильных молодцев с секирами и давалась разве на крохотный отщип.

Михаил Михайлович совершил путь восхождения и чинопродвижения от тракториста, каких полсотни в слободе, до председателя сельсовета, одного единственного на два села и три хутора. И не ему же теперь на глазах у местного народа заниматься рядовыми домашними делами? Ладно, на этот раз он дров наколет, но на будущее надо матери объяснить, кто он теперь; так примерно рассуждал председатель, своею волей заперший себя в полутёмный сарай.

Сосед, знавший за Мих Михайловичем грех и слабость вести себя по-начальнически и чураться дедовского обычая (ещё бригадиром — никогда не ел из общей миски), проходя мимо сарая с закрытой дверью, посмеялся: «Не отшиб бы в темноте сельский голова свою многоценную голову. Иль руку — чем тогда гербовую печать держать будет?»

Тем же днём председателю привезли машину отборного угля, донбасского «орешка», ссыпали у двора. Снова требовался сарай. Засветло, при летнем солнце, председатель, понятно, с углём не стал возиться, а взялся за лопату и ведро, когда стемнело: разберись в темноте, кто там лопатой орудует, — резонно рассудил он.

Лихо начал, но, отнеся в сарай с полсотни вёдер, упыхался и почувствовал, что справится не скоро. Тут явилась нечаянная помощь. Прихворнувшую его мать пришла проведать соседка Мефодьевна, известная в округе костоправка, старуха — не из последних сил; местные остряки шутили, что, мол, случись в лесу, не ровен час, медведю встретиться с Мефодьевной — не поздоровится ему, заламает она медведя.

Проведав председателю мать и поглядев, как сам председатель загнанно челночит со двора в сарай, соседка ушла и скоро вернулась с лопатой и вёдрами. В четыре руки принялись они насыпать и носить уголь и, наверное, за час с небольшим управились.

— Чего дотемна тянул? — спросила соседка, вытирая фартуком лицо.

— Да дела. Сельсоветские дела!

— Эх, Мишка, Мишка! Я вот костоправка, руки, ноги вправляю, а кто бы тебе мозги вправил? Людских глаз боишься, что ль? Чистоплюистый ты... будто и не сельский! — и ушла, рассерженная.

Михаил Михайлович, надумавший было щедро отблагодарить соседку, — литровой банкой мёда из бидончика, доставленного ему задарма, в благодарность за сельсоветскую справку, — теперь в обиде передумал и литровую банку уменьшил до поллитровой, «чтоб не стало ей чересчур сладко, колючке старой!»

А соседка, придя домой, долго не могла уснуть. Что ж это за председатель — честного труда стыдится? Верно, грубый труд, но деды же его не чурались! Ни лопаты, ни сохи не чурались. Почему же сосед-начальник от людей, от народа местного ловчит спрятаться, втёмную ловчит сыграть? Видать, не будет лада в их округе от такой власти. А если такая — и повыше?

Крик на леваде

И он, сильный, никогда ничего не боявшийся, с беспощадно трезвой ясностью почувствовал, что ему не выбраться. Отяжелевший, коченеющий, он барахтался в неглубоком, ему по пояс овражке, в болотисто вязкой грязи, и не было ничего несуразней, нелепей, потому что овражек отделял луг от огородов, сразу за которыми тянулись подворья и дома, среди других и его, недавно отстроенный, под оцинкованной крышей с горделивыми петухами по углам. Помереть в сотнях метров от дома?! Ни про что сгинуть! Его же две войны не сразили! В танке горел, в болоте мокнул и мёрз. После войны его в тракторе приподымало на воздух противотанковой миной. Друзья, смеясь, называли его заговорённым. И теперь это слово «заговорённый» металось в его подсознании, и метались редкие огни, возносясь и срываясь вниз при каждом его рыжке освободиться. Всё-таки он слишком много выпил и зря он затеял — через луг; подумав так, он напрягся в последнем отчаянном усилии. Но жадная грязь не отпустила его, и тогда он, никогда ничего не боявшийся, выдохнул долгий жутковатый крик, который услышала вышедшая на двор соседка-старуха и который почудился ей криком совы.

В избе — планета

Вечер. Темень. Дождь. И осень — словно всю жизнь.

В деревянной избе на краю донского села, в крохотной комнатке, мерцающей зелёными индикаторами, желтоватыми контрольными лампочками, сидят, приклонясь друг к другу, двое — отец и сын. Комнатка — как радиорубка или, лучше сказать, радиомастерская: старый приёмник «Родина», массивный «Фестиваль» с приставкой, транзисторы, детекторные приёмники; по стенам и в оконце тянутся провода направленных антенн. Отец и десятилетний его сын — в наушниках. Не выходя из комнатки, не выезжая из далёкого от железной дороги села, они путешествуют по белу свету, слушают весь мир. Они подают приветственные знаки смелым и одержимым,

какие всегда есть на синих морях и в жёлтых пустынях, на заснеженных горных кряжах, на обледенелых полюсах. Позывные, позывные, позывные...

За окнами — голос хмельного соседа: он отправляется на поиски очередного «огнетушителя», в воскресенье у кого-нибудь что-нибудь есть... да по грязи не поспешишь, и он чертыхается и на грязь, и на осень, и на весь белый свет.

Но отец и сын внимают иным голосам.

Дождь — к счастью

Отец с сыном пилили на дрова дубовые плахи. Дуб что железо, но не оттого отец пилил тяжело, всё время задерживая ход пилы, будто бы не желая пилить, — разбросанные вокруг поленья были словно обломки его жизни.

Когда-то он, молодой учитель, прибывший в старинное село по распределению, до полуночи простоял с пышнокозой кареглазой девчонкой у домика, ещё только сложенного из дубовых плах, ещё безоконного и чем-то таинственного. В ту ночь они признались друг другу в любви. Шёл дождь, и он говорил ей, счастливо и тихо повторяя: «Дождь — к счастью!» Позже домик отдали им, и они прожили в нём несколько лет, до начала войны.

А теперь, едва не полвека спустя, школа сооружала размашистую двухэтажную пристройку, домик мешал; и его разобрали на дрова для учителей-пенсионеров. Завезли и ему, не подозревая, чем был для него порушенный домик. Не подозревает об этом и сын, с которым они пелят, вдруг утратив привычную согласованность движений. Сыну надо поскорее в город, он торопится. Но отец притормаживает, задерживает бег пилы — задерживает воспоминания.

А поздней осенью глубоким довременным жаром исходит в печке дуб, мощный жар — энергия былой жизни и любви, ушедшей в воспоминанья и дым...

И идёт за окнами дождь, и кто-то кому-то признается счастливо и тихо: «Дождь, говорят, к счастью!»

Построить мост

Мой дедушка не умел водить ни машины, ни мотоцикла, он не играл ни в пинг-понг, ни в баскетбол, он нигде не бывал, кроме окрестных слобод да районного, некогда уездного, городка. А я уже многое умел и где ни бывал. Не раз и за границей. Я и в тот час тоже возвратился оттуда — к деревенскому, с синими ставнями дому на акациевой улице подскочила легковая машина, и во двор вошёл я, сияя, как новый пятиалтынный; в одной руке небрежно кинутый болоньевый плащ, в другой — чемодан в лакированных наклейках.

Дедушка у калитки, выведившей на огородные низы, тесал длинные жерди; горка гладко обструганных, густо пахнущих

смолой дощечек слёживалась у плетня. Радуюсь, поздоровавшись и обнявшись, я сказал: «Вечный ты труженик, дедушка!» Однако была во мне и жалость к этому незамысловатому занятию: там, откуда я вернулся, километры стекла и железа, поднятые на вертикаль, а здесь... жерди. «Что делаешь?» — «Да вот думаю поправить мосток на леваде. Давно бы пора починить: людям на Криницу далеко ходить в обход, а так... куда короче». Я знал, что сам дедушка на Кринице бывал раз в високосную пору, да и всей нашей семье в спрямлённой, укороченной дороге не было никакой нужды. Что ж, снисходительно думал, чем заниматься старику?

Но почему же сейчас я, умеющий многое, ещё больше, чем в юности, почему я вновь и вновь возвращаюсь в тот день, когда дедушка строил нехитрый мосток? И почему сейчас мне это представляется несхим, и я сожалею, что у меня такого моста нет и не будет?

Спасибо, мои родные!

В летний послеобеденный час сидят на завалинке, в тени, неспешно, тихо беседуют, вспоминают прожитое. Дедушка в холщовой рубашке, подпоясанной широким ремнём. Волосы на голове седые и борода седая, некогда синие глаза — выцветшие. А бабушка в белом с тёмными горошинами платочке, дробнёнькая, чистая, как на картинке. Поглядишь — хоть в красный угол их: беззащитное, милое, искреннее во всём их облике. Это единственный их час отдыха за долгий день. От зари до ночи бабушка в хлопотах: убирает в доме, рвёт траву-полынь и устилает ею пол в хате, подметает подворье, таскает воду, стряпает у летней печки, моет посуду, выпалывает бурьян на огороде, сушит вишни, — тысяча забот, некогда присесть. Не меньше их и у дедушки: вечно пилит, строгаёт, чинит грабли, тяпки, коромысла для «рядка» — всей улицы, рубит, косит, подновляет ветхий плетень, засыпает овраг, правит мосток на леваде.

Изо дня в день неизбывные крестьянские заботы, в каждодневной круговерти лишь этот малый час отдыха-неотдыха, когда не ложатся подремать, а вот так сидят, неспешно перебирают вчерашнее, сегодняшнее. Чаще же вспоминают.

Они поженились ещё в начале века, а стоит на дворе середина его! Сколько прожито вместе и как! Отец говорит, что они, сколько ни живут, ни разу не поссорились. Да бывает ли так? Даже в песне, даже в сказке люди ссорятся, а наяву — дня не проходит, чтоб сосед дед Демьян перед бабкой Ириной костылём не размахивал. Да чего там — какую хату ни возьми, даже самую согласную, нет-нет да и загорится брань, как солома в грубке, так и вспыхнет.

Наедине спрашиваю бабушку: «Правда, вы никогда не ссорились с дедушкой?» — «Ссорились, детка, — помолчав,

отвечает бабушка. — Два раза ой как ссорились! Перед самой германской дедушка твой на старосту накричал на сходе. Тот староста худой был человек. И властный, в силе. Я и упрекать: зачем с ним связываешься? На его стороне сила». — «А на моей правда, — спокойно возражает дедушка». — «Я баба, — говорю, — и то знаю, что от правды твоей жита-пшеницы в доме не прибавится». Дедушка и хлопнул дверью. А другой раз, на свадьбе племянницы, он, до водки не охочий, на радостях напился так, что два дня отхаживали. Его жаль, детей жаль, их у нас уже четверо было, самый меньший ещё в зыбке лежал. Еле отходили. Радоваться бы, а я его (ему и без того белый свет не мил) извожу, на детей показываю: «Ты же их сиротами по миру чуть не пустил, окаянная душа!»

«Окаянная душа» — единственное и самое страшное бабушкино ругательство. Летает коршун над огородами, высматривая цыплят, — «окаянная душа», коза забрела на капустные грядки — тоже «окаянная душа», мороз побил рассаду — «окаянная душа».

Сидят на завалинке, неспешно, тихо беседуют.

Два дома построили. Четверых кровных вырастили. Да четверых чужих в войну от голода выходили. Сколько раз сеяли и пожинали хлеба, да взращивали сады, да чистили колодцы!

Нигде не бывали, кроме отчего уезда, ничего не видели, кроме: село да поле, поле да село, но сколько же в них было такого, что надо было бы взять и мне, что сгодились бы во все дни. Их уход я ощутил как обрыв. Что-то невосполнимое обрывалось в моей связи не только с ними, но и с прошлыми веками моей родины.

В детстве, глядя на них, неспешно, тихо беседующих на завалинке, думал: вырасту и раздобуду билет в самый лучший санаторий, где дедушку и бабушку излечат от всех хворей и где будут они жить вечно (думал, что есть такой санаторий и всё дело лишь в билете).

Стою на подугорном склоне, и бурьянные стебли жёстко чиркают о ветхие скошенные кресты, о крепкие каменные пирамидки. И среди сухотравного печального уголья два бугорка в отцветших цветах, два склонённых куста шиповника.

Мир вам, мои родные!

Матерью собранный чемодан

Третий день лил дождь, и выбраться из слободы, лежащей в краесветном яру, казалось уже невыносимым. В дождь не легче, наверное, чем на Шипку, взбираться по раскисшей, вязкой дороге на этот кручёный косогор, местными шутниками, впрочем, и окрещённый Шипкой. Три грузовые машины скошенно мокли в кюветах, даже колёсный трактор не пробились на увал. Не проехать. Но мне спешить было некуда,

я был в отпуске, да если бы и не в отпуске, всё равно спешить было некуда — мне перевалило за сорок и я уже знал, что, как ни спешу, тот поезд, в котором возят жар-птиц, синих птиц и прочие диковинки, уехал, отбыл в неизвестном направлении, а может, его и не было вовсе.

Глядя в плачущее окно на погибельный для спешащих косогор, я видел такой же безнадежный осенний день, бывший двадцать лет назад; я видел, как отчаянно бежала моя мать к остановившемуся в крутоскатной впадинке вездеходу, как отчаянно, показывая руками на дом, просила водителя подождать, как легко, будто и не в дождь, возвращалась обнадеженная; подождут, сказала, и велела мне поспешить, взяв самое необходимое. Я побежал налегке, наскоро попрощавшись с нею. В спешке той (да кто ж знал?) и не было ровно никакой нужды: вездеход, поджидая какого-то местного уполномоченного, простоял ещё битый час. Чтобы не измокнуть в кузове, я лёг в уголке на охапку сена и с головой укрылся плащом, пролежав так не знаю сколько, но недолго. Что-то незначачее, вроде дождинок, всё-таки попадающих за ворот, заставило меня подняться. А когда поднялся, увидел, как тяжело, запалённо, на последнем вздохе, с неподъёмным чемоданом в руках подбегала к вездеходу моя мама. Беззвучно, немо, как рыба глотая воздух, я крикнул: «Не надо!» Бессильный запоздалый вскрик.

Глядя в плачущее окно, я через двадцать лет молчаливо кричу ей: «Не надо!» Она сидит рядом, постаревшая, близкая до такой боли, что не выдать бы чувства словами! Сидит за штопаньем детских свитерков, изредка что-либо молвит, и мир, и покой на её лице. Она не догадывается, о чём думаю я, — о том дне, о том неподъёмном чемодане. И зачем, зачем тащила она его тогда, такой неподъёмный? Будто надеялась, что туда вмещается нечто большее, чем те килограммы картошки, муки и масла в помощь моему студенческому карману, будто надеялась всё туда вместить. И куда отправляла меня? В какой дальний путь? И зачем? Вот я в гостях, вот я дома и, может быть, это лучшие часы в моей жизни: мама, штопающая свитерки своим внукам, эти редкие акации, мокнущие по косогору, этот дождь на родине...

Отчий дом

Какой там дом? Так себе... четыре угла, белая мазанка под соломенной крышей, хатёнка в две низенькие комнатки, да узенькие сенцы, да наугольная открытая верандочка.

Хата строилась в тот год, как фронт откатился от Дона, оставив после себя выжженные сёла, вырубленные леса: не было ни дерева, ни кирпича, ни гвоздя, и можно представить, каково досталось дедушке возвести этот кров! Здесь уж было не до удобств: тепло, да и ладно. Взрослые досадовали, мол, вернуться негде, а мне хата казалась просторной и своими окнами

открывавшей простор. Именно простор. В северное окно видать огород, долгий, изрезанный белыми оврагами выгон, на выгоне длинный овечий хлев, печально примечательный и памятный тем, что однажды ночью в него забрались волки и, выбив двери, гнали овец до самого леса; в южные окна — вид ещё более широкий и дальний: затравенелая, в калачиках и лебеде улица, сухие плетни, редкие хаты, ничем не хвелящиеся друг перед другом; за улицей — левады в густых терновниках, картофеле и кукурузе, а дальше — дорога, уводящая в ближние хутора, дальние сёла, в районный городок и вообще, может быть, во все концы света.

По этой дороге возвратился с войны мой отец, и я его воспринял не исподволь, как бывает в мирном и ничем не омрачённом младенчестве, но вдруг, внезапно, как ослепительный взрыв: он явился в звоне поблёскивающих орденов и медалей, внося в дом запах пшенично-дымных, выжженных пространств моей родины и дождливых польских равнин, и пороховую гарь поверженной чужой столицы. Возвратился, как былинный воитель, высокий, сильный — та самая знаменитая косая сажень в плечах: едва вошёл в дом, как тут и ощутил, что хата и впрямь мала, сразу стало тесно и как будто не хватало тех трёх и вправду крохотных окошек, впору бери топор да прорубай ещё одно. Хотя спасибо и крохотным за их распахнутость, за молчаливое приглашение в большой мир, за вечернюю звезду и месяц, ронявший на пол зыбкие кресты — тени от окон. Как хорошо и неясно думалось и мечталось в поздневечерние часы после отцовского рассказа или маминых сказок, когда светил в изголовье ласковый месяц: и успокаивал, и волновал.

Всё было в доме — и свет, и тьма, и праздники, и чаще будние и трудные дни, хлеб желудёвый, налоги, стылые зимние часы. И сволок — главная несущая балка — шёл по потолку через обе комнаты, и в нём оставался крюк, на котором в незапамятные дни колыхалась моя зыбка; подгоревший, но не сгоревший сволок дедушка перенёс из старого дома, и он словно являл собою продолжаемость и несгораемость жизни.

А по утрам время от времени появлялись, поднимаясь вверх, всё новые засечки на дверном косяке: я расту! Да ведь возрастало не только тело, возрастала душа, наполняясь радостью и болью при виде всего, что окружало меня: хаты, левады, река, а дальше... весь мир. Каждый день я уходил из дому и каждый день возвращался, благодарно засыпая на привычном месте, на деревянной, с резной спинкой кровати у окна. И думал, что так будет всегда. Не знал я, что родного дома скоро не станет, и не знал, что, утраченный, несуществующий, он станет для меня ещё живее и дороже.

И вдруг через тридцать лет, застигнутый именно на этом чувстве — ещё живее и дороже, услышал я напористое, чёткое, жёсткое: «Мой адрес — не дом и не улица...» И, как обычно

бывает с модой, на той же неделе я услышал боевитый ритм ещё несколько раз и не без досады думал, что, небось, расстукивает он уже и на моей детской улице.

Дом, село, город, страна, мир — широта земная и ширь человеческая. Но узок, безнадежно узок человек, если он в бегах по восходящей спирали, с одной ступени на другую, забудет о родном доме и не вернётся к нему, хотя бы даже сожжённому или разрушенному.

С высокого холма

Он стоял на высоком холме, а внизу расстилалась чистая и мягкая в лунном свете его родная слобода. Он полжизни не был здесь, и чувствовал, и понимал, что здесь всё уже давно иное, и ни в одном доме не встрепенутся сейчас оттого, что гость близко. Да и какой он гость, да и кто он здесь? Наверное, было бы ужасно одинокому (без никого на земле), в тёмной старости встретиться вот так: в полуночном лунном свете — с родным селом, забывшим тебя. Как смерть без смерти. Но он ещё не старик, и у него жена и дети, а значит, и будущее, хотя и неясное. И оттого, что он ещё не стар и у него растут дети, и оттого, что в лунную, соловьиную весеннюю ночь он вновь видел родную слободу, внутри у него всё встрепенулось и закричало радостно, беззвучно: «Я боялся не увидеть тебя, родина! Я объездил полмира и вот вернулся к тебе! Слышишь?..» Но сколько их было — тех, кто в лунном свете радостно, беззвучно кричал, приветствуя своё былое рождение, отчий край, земную жизнь? Где они? Даже крик их давно стих. Что об этом? Главное, он на родине, на земле детства, а раз так, ещё ничто не кончилось, напротив, словно обретаются второе дыхание, новый смысл, новый взгляд — отсюда, с родного холма.

3

Или круги на воде

Память в бессонную ночь, дума в бессонную ночь, нескончаемый коловорот... Это как волны прибойные, или круги на воде, или круженье шестерён, когда одна цепляет другую, и вот колесо кружится, часы тикают, и вот уже кружится весь мир, все века-столетья цивилизации, вехи и знаки древних: пирамиды, колесницы, папирусы, парфеноны и легионы, равно, как и вехи и знаки современности: небоскрёбы, автомобили, скорость на земле, сверхскорость в небе, метрополитены, ракетные штольни, прогресс, регресс, нынешнее, убегающее в прошлое, и прошлое, подстерегающее нынешнее, — всё, что было с тобой и не с тобой; а раз так, ты уже не только ты, но и *он*, и *они*, и *мы*. Весь мир в тебе, но как выразить его? Через слово, например? Мифы, притчи, сказки? Путевые

впечатления, летучие картинки летучей жизни? Блики, миги, импульсы? Волны, лучи, сполохи? Предчувствия, фантазии, фантазмагии, наконец? Система или химера? Гармония или хаос? Лад или распад, крушение всех форм во имя антиформ? Эпос или неэпос? Или, может, всё вместе, совокупно? Весь мир в тебе, единый круг добра и зла, плод бессонниц твоих и болей твоих, мир, восходящий и низвергающийся по спирали. Сколько на этой спирали крови, войн, насилий, недоброго, несправедного, что вдруг подумаешь: не есть ли эта спираль — вавилонская башня, бессмысленная, обречённая и конечная, как всякая вавилонская башня? Так подумаешь ночью. А ещё есть день. И всякому полюсу противостоит полюс: несправедному — праведный, недоброму — добрый.

А конец, что ж? Лучше вспомнить начало. Лучше вспомнить, как однажды счастливым ребёнком бежал ты по зелёному лугу, лучше попытаться сделать так, чтоб всегда счастливый ребёнок бежал по зелёному лугу.

Вершины и равнины

Гора столь высокая, что вершина её терялась в безоблачном небе, приснилась ему в детстве. Не Казбек, не Эльбрус, не Арарат. Некая внегеографическая величественная гора. Была она как пирамида с крутыми сине-каменистыми и словно бы отшлифованными гранями; великое множество народу взбиралось вверх и скатывалось вниз, и каждый был подобен камню Сизифа, и картина была — концесветная.

— Иди вверх! — суровый, повелительный голос раздался из ниоткуда.

— Сорвусь, — беспомощно пролепетал он.

— Иди же!

Будто можно было идти там, где другие ползли, карабкались, цеплялись руками и ногами! Перебарывая себя, он стал взбираться в гору, боясь оглянуться вниз, а вверху захватывающая глазами лишь столько, чтоб видеть и поостеречься, когда навсегда скатывались вниз другие. Охотники или невольники вершины.

Ему удалось взобраться выше других и, пока победителем оглядывал высь, ощутить не столько дыхание небесных сфер, сколько дыхание своей гордыни. Зато каким же бесконечным, обморочно страшным было падение! Не скатывание вниз, а именно падение: гора стала вдруг отвесной, в духозахватном низу — коричневая речка с остро-клыкастыми камнями; он обрывно летел вниз, и паденью не было конца: не мог проснуться.

Сон этот преследовал его долго. Казалось бы, на душе спокойно и ночь как ночь. И вдруг — обрыв, а внизу коричневая речка с остро-клыкастыми камнями. Может, оттого никогда его не тянуло в альпинисты, хотя в горах, больших и малых,

бывал не раз. Да и так: срываются и падают не только в горах, и мужество требуется не только там.

«Трудности гор позади, впереди трудности равнин...»

Где синяя высь

Заснять бы его, хищнокрылого, и прокручивать плёнку перед любителями искусства для искусства. Как независимо, царственно коршун парит в синей выси, как оранжево отликает его перо, какая упругость, до звона, в его развёрстых крылах!

Стрелы пронзительней устремляется к земле, метеоритная скорость, кажется, загорится перо. Взмывает от земли медленно, тяжело покачивая крыльями, как гружённый бомбардировщик: в когтях — неосторожный зайчонок, ухваченный на ковыльном пригорке. Нетороплив, уверен в себе красавец-хищник, хозяин воздуха, гроза полевых зверушек.

А тебе ещё нет и десяти, и в детской душе занимается страх от безнаказанности злой силы. Выхватываешь с обочины дороги глыбку чернозёма и, до боли отбрасывая руку назад, мечешь её вверх, где властвует коричневая, тёмная птица. Провожаешь её грозящим взглядом — куда девается страх! — обретаешь вдруг уверенность в себе и в победе над хищной птицей. Надо только подрасти.

Ты уже читал заманчивые, высокого слога стихи про сокола, который «видел небо» — щельному ужу не увидеть; ты уже слышал грустно запредельную песню предков, сетующие слова: «Чого ж мини, Боже, ты крылив ни дав, я б землю покынув, та в небо злитав...»

Но вот крылья, их упругость и размашистость, их немислимый крен...

«Не смеют крылья чёрные над Родиной летать!» А они во все века во всём мире летают. Их изгоняют, но прилетают новые, разоряют нивы и сиротят малых. И взрослые откладывают мирные дела и берутся за оружие. А летают ещё и чёрные крылья — невидимые.

И неужели это кончится лишь тогда, когда всё кончится?

Человеку — верх!

Человек самопутешествующий, пришлый и с местностью незнакомый, вздумал добираться до близкого по карте города берегом Волги. Но здесь берег был труднопроходим, вязок, зарос цепкой дикорослью, лозняковой, шиповниковой, ежевичной непролазью, и тогда путешественник решил взойти на верх приречной гряды, полагая пусть и более длинной, но битой дорогой попасть в город быстрее. Стал взбираться и на первом уступе приуныл: крутизна! Из-под ног шуршит осыпь, того и гляди потянет вниз; по сторонам, в падинках,

густейший орешник, там ещё хуже брать подъём. Но не возвращаться же назад!

Пароход проплывал, с парохода кричат, руками машут, что-то ему указывают, да разве услышишь, поймёшь, чего они кричат и машут?

И высота не столь великая, а ушло на подъём не менее часу. Взобравшись, такую чувствовал усталость, будто пароход тот в гору вслед за собой на канате тянул. Когда, наконец, перевёл дух и огляделся, увидел: рядом, метрах в тридцати, через падинную лаву орешника вздымалась деревянная, с перильцами лестница; по ней бы взбираться — без надрыва...

Может, тот человек — и я, и ты, и он?

Зимние родники

Старики рассказывают, что по лугу, отделяющему один слободской ряд от другого, когда-то били ключи и даже струилась речушка, но не на их памяти, а будто бы при первых поселенцах, тому более двух веков; сколько же они помнят, стлались здесь левяды с вербами и колодезными журавлями, а вода была не близко, нет...

И вдруг зимою, на самой её вершине, в январе, забили родники! Мороз двадцать градусов, а по лугу, на широком разливе ледяной скованной воды, всё новые и новые напльвы, взламывается, тревожно бугрится лёд под напором подземных ключей, повсюду — будто крохотные сопки и кратеры, откуда изливаются, медленно растекаясь и обращаясь в лёд, белые, жёлтые, оранжево-ржавые воды.

Гидрологи исследовали луг. Оказалась, целая подземная река, густо питаемая ключами. Может быть. Дивно другое: в крещенские морозы забили родники, да так, что на долгие вёрсты сплошь разлилось. Пробить зимнюю замороженную твердь — тут нужны силы нешутейные!

Не бывает ли и в человеке так? — тихо, замороженно, сонно: дремлют его творческие, созидательные силы. И вдруг они, уходя от дремоты, пробивают поверхностные дернины, рушат стено-плотины неволи и неправды, и уже далеко в болотном бездонье мокнут лукавые, охранные, редко где уместные восклидательные таблички: «Посторонним вход воспрещён!»

Пожар на погосте

Старик сгрёб сухие ветки, цветы и травяные стебли внутри оградки, где покоилась его родня, достал спички и поджёг легко вспыхнувший холмик. С далёких пустынь тянул горячий ветер. Старик картузом вытер вспотевший лоб, отошёл от костра. С косогора внизу как на ладони была видна вся деревня, большая лишь числом хат, но частью покинутая, частью повымершая. И его сверстники уже покоились здесь, и с тайной умиротворяющей мыслью он подумал, что скоро

и ему сюда, в вечный дом. Долго он так стоял, испытывая невнятные чувства и словно бы уже находясь в ином мире. Когда же очнулся и взглянул вокруг — на мгновение оцепенел. Огонь пожирал густые кладбищенские бурьяны, уже захватил кресты и пирамидки. Сбросив пиджак, старик кинулся сбивать пламя. Какое там! Пылало неудержимо. Надламываясь, с треском падали кресты, словно старинные стражи. Треск стоял, слышный, наверное, и в самой деревне, но редкие жители находились в поле, никто не мог поспешить на помощь. Час спустя голо чернело кладбище, лишь странная мёртвая стая углистых галок кружилась над выгорелым квадратом божьего уголья.

Две ночи старик не мог уснуть, на третью ему приснился сон.

Вскоре он закупил и привёз соснового кругляка, досок, нанял плотников. Он и сам прежде плотничал, теперь вспомнил прежнее ремесло.

Через месяц погост пахнул сосновым духом, и не был забыт ни один холмик, всюду желтели сосновые кресты, крестцы, пирамидки.

Последний крест старик вытесал для себя.

Он видел, как в лихолетья запустевают кладбища, как человеческие руки, машины и время рушат могильные памятники. Рушат — даже гранитные. Что же так истово устанавливал он деревянный погост — хрупкое, тленью подверженное, сосновое, перед временем бессильное? Зачем? Какой знак ему был? Сон, что приснился ему, он так никому и не рассказал, осенью унёс с собою в вечный дом.

Как зелёные волны

Природа там была нетронутая, первозданная: на сотни вёрст кругом — тайга вечная, леса набегают с холма на холм, как исполинские зелёные волны. Когда глядишь с высокой точки на величавый океан — дух захватывает.

Но уничтожали, пилили, рубили этот изумрудный, малахитовый океан, по сосенке да по лиственнице укладывая его в жестокие кубометры. И он, среди неисчислимых других спецпереселенцев, лишенцев, таких же горемык, как он, пилил, рубил, уничтожал. Невольный порубщик в приговорённых отрядах невольных порубщиков.

А возвратясь оттуда, стал высаживать деревья. Говорил: «Сколько погубил — столько и должен вырастить. А до того мне помирать нельзя!» И действительно, прожил восемьдесят лет, поднял целый лес на заречной пригорнице. И теперь там, где прежде надоедали глазам серые глинистые выносы да серые приовражные бурьяны, вздымаются молодые кроны и покачиваются при сильном ветре, как зелёные волны.

Перед смертью, глядя на труды рук своих, шутил не без горечи: «Я из тех, что сажают лишь деревья».

Возвратись оттуда все живыми и с таким же зарокотом — зелёные волны лесов воскрешающе прокатились бы по вырубленной Руси.

Камни суеты

В доме у них копилась коллекция камней. Собирали и он, и она. Не имевшие детей, но имевшие ничем не утеснённый досуг, они и время и страсть вкладывали в собирательство. Он — вечный турист, писатель-удачник, широко печатавшийся, хотя и не Булгаков, не Платонов, впрочем, именно потому и широко печатавшийся, собирал камни исторические, древнейших времён топоры и ножи, ископаемые знаменитых рудников. Специальная стенка с густыми, в ладонь, ячейками молчаливо зазывала взглянуть на камни египетских пирамид, древнегреческого Парфенона, римского Колизея; гранит и мрамор, кремень и известняк погибших и живых старинных городов хранились здесь. А жена, художница, собирала камни иные: драгоценные, полудрагоценные. На дне заветного кипарисового ларца смутно мерцали опалы и аметисты, хризопразы и аквамарины, ониксы и рубины, лазуриты и сердолики, — разбегались глаза при виде их.

Оба привычно хвастались своей коллекцией перед гостями, знакомыми. Редкие камни словно бы свидетельствовали о редкости самих владельцев, были амулетами их избранничества и превосходства над другими; в простоте душевного и профессионального лукавства обоим ничего не стоило заведомым розыгрышем унизить гостя, из стразовой коллекции подарив ему какой-нибудь авантюрин, поддельный камень, пластмассовый шоколадного цвета слиток, с обманчиво-золотистыми блёстками. Они были не из тех коллекционеров, что самозабвенно открывают душу камню; скорее у них самих души были сродни неодушевлённому камню и, может, каменели тем больше, чем больше они собирали, перекупали-перепродавали, обращая деньги в камни и камни в деньги.

Не было лишь могильного камня, под который в свой час укладывают всех: и приобретающих, и теряющих. И они ненасытно коллекционировали, словно не ведая, что такой камень есть!

Кони всего мира

Его были — белые, и он наступал. Победа казалась близкою, как вдруг чёрные кони в два прыжка перескочили с левого на правый фланг и без промедления разгулялись по шахматной доске — забитому войсками полю, всюду угрожая, атакуя, справляясь с самыми стойкими его ратниками. Это было ужасное зрелище, молчаливый рёв осатанелых; ещё миг назад близкие к поражению, они теперь не просто побеждали, они жестоко мстили; чёрная лава сметала белых, разъярённые

чёрные кони, вращая бешеными глазами, всё вытаптывали на своём пути.

И всю ночь ему снилась шахматная доска — странное поле всех когда-то бывших сражений. Кони превращались в неисчислимые конницы — потоки войск Аттилы, железные лавы крестоносцев, лошадиные орды Батыя; кони белые и чёрные, пегие и вороные; в железах, кожах, шелках; скачущие на сечи, покидающие поля брани.

Но ни на миг за изнуряюще долгую, многовековую ночь не приснились ему мирные кони из детства, из ночного, и он во сне об этом думал, всё недоумевал, почему они не снятся; он мучительно хотел, чтоб они приснились, но — никто не волен даже в снах своих.

Не приснятся. Потому что ушли они из нашей жизни, пропали в тумане-метели и на конебойнях, пали на колхозных дворах. И что из того, что воинственные монгольские лошади исчезли более чем семь столетий назад, а мирные кони из ночного — менее чем семь десятилетий назад? Главное и печальное: в невозвратных днях-далях они...

А те, что появятся вновь, приснятся уже другим. Если появятся... Если приснятся...

Наступление

Не отдыхающий, не турист, не лесник, он целыми днями пропадает в лесу. Удел и смысл всей оставшейся его жизни — ненавистный лес.

Медленно, сосредоточенно петляет он меж частыми соснами и редкими берёзами, вглядываясь под ноги и вокруг; с утра до вечера так. Увидя гриб, боясь, что вспугнутый убежит, он тихо подкрадывается. Прыжок! Он топчет гриб ботинками, с непонятным иступлением колотит суковатой палкой.

Пот струится по его смуглому, с горящими глазами лицу. Ещё бы: сегодня он провёл особенно трудную операцию. Трудную и успешную: в заданном квадрате враг уничтожен. Враг — не только мухоморы и поганки, но и подберёзовики, грузди, маслята, словом, всё, что носит ненавистное ему название — грибы. Сотни их, съедобных и несъедобных, пали сегодня под его ударами, десятки лукошек, каких уже никто не соберёт.

Военный, рано вышедший в запас, он подрабатывал прежде на автобазе. Но стряслось горе: в одну ночь насмерть отравилась грибами его семья — жена и две дочери. И главная его работа и борьба переместились в лес. Каждая порода грибов стала враждебной армией, всем им — коричневым, чёрным, зелёным, ярко-пятнистым, белым — он бросил вызов: на полное уничтожение! Жаль только, что грибники — плохие ему помощники: не видят притаившихся, оттого тылы наводнены врагами. Ну что ж, и один в лесу — воин. Он намечал квадрат и отдавал себе командирский приказ: «Окружить и уничтожить!»

А вечерами, перед сном, у него выстраивались планы — он вычерчивал карты будущих сражений, писал реляции и приказы. Нередко, уже погасив свет, уже в постели, он вдруг вскакивал и вновь усаживался за стол: осеняла возможность провести блистательный манёвр на северном участке, взять приовражные грибные армии в клещи, окружить и уничтожить. Блуждающий по неубранной комнате взор уже видел разгром, на лице колебалась диковинная улыбка. Да, он скоро довершит полный разгром вражеских группировок в подгорном лесу, затем перейдёт в приречный, затем...

Кругозор — запредельный

Университетские друзья долго, лет пятнадцать не виделись, дороги их разошлись резко, и два письма невпопад, были их единственной связью за эти годы. И вот встретились. За лёгкими ироничными уколами, расспросами — человеческий интерес: как ты? а как ты?

Выясняется: один сир и наг, не имеет ни угла своего, ни жены, ни постоянной, оплачиваемой службы; другой — всё это имеет, за работу, требующую немалого изящества языка и добротного, поставленного голоса, ему платят длинные рубли, на службе у него длинный кабинет, из тех, заходя в какие, человек по мере приближения к столовладельцу как бы уменьшается в росте, как бы самоуничтожается.

Тот, что сир и наг, рассказывает.

— Мне знак был. Однажды приснилось. Я в огромной зале, не докричаться с одного конца до другого. Дюраль, стекло от пола до потолка. Это мог быть, скажем, аэропорт... может, и был аэропорт, не знаю... людей тьма-тьмуца, Вавилон, столпотворение. А тут... сухой вихрь неожиданно врывается в зал, размётывает всех, вдавливая, как мошек, в стеклянные стены. А я — посреди залы. Понимаешь, мне — ничего. Но прыгает вдруг мне на плечи кошка с жёлтой и слегка подпалённой шерстью и вонзает мне в голову когти. Я чувствую: не только когти, но лапы целиком погружаются в мозг, и я теряю сознание, резко проваливаюсь. Лечу куда-то в бездонный, мрачный от горячего пара колодец. И вдруг снова простор, небо, и я оказываюсь на истоптанном холме, высоком-высоком! Видно с него всю землю и всё, что на ней творилось и творится... Понимаешь ли, там какое-то спрессованное пространство и спрессованное время. Не знаю, как долго это со мною длилось, но там я всё увидел... Там всё было — и Ганг, и Нил. Видел Александра Македонского в сражении, Цезаря, терзаемого падучей перед самым сражением; и как гибнут в каменоломнях рабы, и как Олег Киевский движется к Царьграду, и поле Куликово шестьсот лет назад... Да ведь об этом не расскажешь. Я был там, понимаешь? И видел так, как оно происходило в действительности. Не как — в энциклопедиях.

И умолкает.

Другой — тоже молчит. Пять лет учились вместе, мечтали о путешествиях, надеялись побывать в великих и древних столицах мира. И что ж? Он изъездил многие страны, побывал и в Афинах, и в Риме, и в Париже. Но это были служебные командировки, в них он мало что открыл и увидел, промелькнуло — как из вагонного окна. Он не был там, где дано было побывать его другу, чьи «путешествия» на этой земле — от одной винной стойки до другой в пригородном райцентре.

Электричка в подвале больницы

Больному седьмой палаты к вечеру стало худо.

Не было ни температуры, ни резкого перепада в давлении, ни боли в сердце, но он почувствовал такую вдруг безысходность... Он почувствовал, что он в западне, давно и искусно для него готовившейся, а сокоечники в больничных халатах, красные кнопки вызова и цветочки на стенах — для отвода глаз.

Он крадучись подошёл к двери, потрогал, надавил — оказалась открытой. И тогда он что было сил кинулся по коридору вниз, и лестничные пролёты замелькали перед ним, как сплошная решётка, пугая мыслью о клетке, из какой выхода нет. Но, к радости его, выход нашёлся. Он выбежал в тускло освещённый и длинный подвал — не зарешечённый, но весь заасфальтированный, похожий на вечерний вокзальный перрон.

Что-то сместилось в нём, и он с облегчением догадался, что стоит именно на перроне и осталось только найти нужную электричку.

Раздатчицы везли ужин в высоких каталках на резиновых колёсах.

— Где электричка на Краснолуки? — кинулся он к ним.

— Вон дверь! Быстрей, а то не успеешь, — не «растерялась» та, что постарше.

Он дёрнул дверь. Была какая-то кладовка, в углу теснились вёдра, мётлы, по стенам тянулись изогнутые трубы. Снова в нём что-то сместилось, и он с горечью понял, что с ним случилось. Устало опустив глаза, он поднялся в палату и так же, опустив глаза, ужинал. А ночью долго не мог уснуть. Его жгли, прожигали насквозь жестокие слова: «Вон дверь! Быстрей, а то не успеешь!»

Ему вспоминалась его прошлая жизнь, в которой он не убивал, не воровал, не лукавил. Но он не спрашивал: за что же его так? В той жизни, в детстве стоял воскресный солнечный день, и пытался через глинистый овраг перебраться искалеченный послевоенной миной и слегка помешанный Архипка, всё пытался выкарабкаться и никак не мог, а он и его сверстники наблюдали и весело, заразительно смеялись.

В конце колоннадной аллеи

И прекрасен, зовущ был створ-просвет в колоннадно-высокой аллее староусадебного парка, а в конце, как сквозь синее стекло, приманчивой лучезарностью блестела под солнцем река. Но я-то знал, что именно на этой полоске воды, видимой сквозь освещённый солнцем ветвяной туннель, и случилась беда. Три дня назад из детского корпуса подросток переплывал речку и почти переплыл, как вдруг, на глазах отдыхающих, камнем ушёл в воду. Будто кем-то утянутый. Подняли его со дна быстро, но искусственное дыхание не помогло: у подростка не выдержало больное сердце. Скоро приехала жившая в соседнем районе мать. «Верните мне его!» «Верните мне его!» На другой день уехала с сыном, но без сына, совсем одна-одинёшенька в этом мире: полтора годами раньше в черноморском круизе затонул теплоход, на который её муж и дочь раздобыли желанные путёвки.

Через три дня стали разъезжаться и отдыхающие. Истекал их санаторный срок. Вновь приезжающие восхищались староусадебным парком и особенно колоннадно-высокой его аллеей, в конце которой, как сквозь синее стекло, приманчивой лучезарностью блестела под солнцем река.

На каждой пяди земли, воды, неба — испытание и горе, глухие волны бед, их чувствуешь и, печальнее всего, — не можешь предотвратить, унять, остановить.

Слепые и зрячие

Чёрная, с отпеванием, процессия, как судьба, возникла на его пути. Он впервые был в старинном этом городке, и впервые видел и слушал отпевание — в тихий августовский день, на приречной улице с малой церковкой, чудом уцелевшей в насильственно атеистической стране. Он стоял и слушал — потрясённый.

Скорбный хор, десятка полтора ещё не совсем стариков и старух, пел: «Ты уже дома, а мы в гостях», — вечное, смиренное, во все времена повторяемое на всех языках. Он слушал, смотрел на идущих и не мог отвести глаз от двоих слепых, судя по всему жены и мужа; взявшись за руки, приклонив друг к другу лица, они пели с давней, видать, слаженностью и породнённостью; лица их были некрасивые, худые и тёмные, но была в них, запрокинутых чуть вверх, такая обращённость к горнему, вышнему, небогосподнему, что из пустых провальных глазниц словно бы исходил свет. Слепые были как зрячие. Зрячие! Но не в том, разумеется, смысле, какой обнаруживают во всех слепых сабатовские «Могилы и герои», — там слепые выступают как некая всесильная, всеслышащая, *всевидящая* ложа; нет, зрячие — пониманием и обладанием высшей благодати. Так думал он. Была в их лицах спокойная истина и вера, и он ещё подумал, что не будь их, слепые, быть может,

ссорились, мучились бы и мучили друг друга, сокращая одноцветный свой век.

А неподалёку через лог, на городском рынке, другие — зрячие — муж и жена и впрямь зашли в раздор-перебранке. Из дальнего села они привезли на «Москвиче» три мешка колхозных огурцов. Муж, условясь с приятелями о вечерней рыбалке, не прочь был продать побыстрее, не торгуясь. Но жена, окинув зорким, намётанным глазом скудные прилавки малоплодного года, сказала себе, что раскупят и втридорога. Только — не спешить. Но муж всё злее торопил, и она всё злее огрызалась. Обоим злость застила глаза.

Сиротский дом

Сиротский дом среди поля и за горизонтами — поле. Летний день, полдень, какой-то сиротский час: хоть и под солнцем, но мгlistый, малокрасочный, молчаливый. Всё вокруг жёлтое — и солнце, и поспевающая, уходящая до самой окоёмной закраины рожь, и высокая сетчатая ограда, и за оградой дети с молчаливыми равнодушными лицами, и двухэтажный, длинный, как жёлтый брус, дом.

Просёлочная дорога тянулась мимо ограды, и проезжий остановился. Зачем он только остановился? Он теперь, подойдя к ограде вплотную, мог видеть детей совсем близко, и он содрогнулся: дети были все на одно лицо... Неразличимость их заключалась вовсе не в одинаковой стрижке и одинаковой, восковой бледности кожи, но в чём-то невыразимо безнадежном: чувствовалось, что эти отсутствующие и не по годам старческие лица никогда не посещала и не посетит радость.

В заграде во множестве желтели детские машины, но никто не садился в них, будто понимая, что ехать некуда. Дом стоял — как приговор!

И вдруг он на глазах стал удлиняться, расти этажами, а за оградой новый дом и новая ограда, и ещё новый дом и новая ограда, и всё новые, уже по всему горизонту, обнесённые здания и даже небоскрёбы.

И он с ужасом думает, откуда же столько несчастных! Он вскакивает в машину, и мчится час-второй, день-второй, и всюду одно и то же: сиротские дома. Будто вся планета — огромный сиротский дом...

И всякий раз, когда он вспоминал это опустошающее видение, он чувствовал себя несчастным.

Круговорот

...И он, ещё не старик, но уже в том возрасте, когда старость оповещает своими надтреснутыми колокольцами, при виде алощёких вошедших ясно вдруг вспомнил, как по молодости он вместе с девчонкой, с какой дружил, навестил в больнице старого родственника, а больница оказалась как

пакгауз немощи: он шёл через длинный коридор и всюду видел недужно-измождённых, сгорбленных, землисто-серых, читая в их глазах то покорное равнодушие, то отчаянную мольбу о помощи, обращённую ко всему белому свету, и сколько он находился в больнице, его преследовал запах микстур, йода и хлороформа, и, выйдя оттуда, он тогда подумал о том, как всё это — недуги, болезни, старость — ещё далеко от него... И вот большая половина жизни пронеслась как один день, и на нём больничный халат, а вокруг недужно-измождённые, сгорбленные, землисто-серые люди, и всюду запах микстур, йода и хлороформа; и, как некогда он, теперь его пришли проведать племянник со своею невестой, и всё это ещё так далеко от них, алощёких: больница, пресно-травяной диетический стол, запах микстур, йода и хлороформа...

Контракт с Мефистофелем

Ему под пятьдесят. Он прожил жизнь — без жены и детей, в своё удовольствие. На работе не выкладывался. Лелеял здоровье. Занимался спортом. Занимался стихами. И, как наукой, занимался любовью, отмечая обыденное и редкостное у дочерей Евы в своём донжуанском дневничке. «Ты как будто и не стареешь, Евгений, — подивился друг молодости, однажды встретив его на финише лыжного кросса. — Всё так же гоняешь на лыжах!..» — «Нет, — хотел признаться Евгений, — не так... я устарел, лыжи мои устарели. Шёл сейчас — чуть не издох. Трасса длинная как жизнь, в первый раз по-настоящему о смерти подумал»; ему захотелось вдруг поплакаться хотя бы одной нечуждой или когда-то нечуждой ему душе. Впрочем... ещё подумает, что он «не состоялся», он, кто в студенческие годы ходил в гениях. И как в студенческие годы, полупрезрительно размыкая губы, процедил со снисходительной усмешкой: «Да, я не старею. Я вечный. Я не мелкий бес. Я пёстрый бес! У меня контракт с Мефистофелем».

Бояться чёрной кошки?

Он прочитал тьму научных и учёных книг, в которых мир был предсказуем: спрогнозирован и смоделирован, математически выверен и обусловлен, проще говоря, ясен; но что из того, если...

Если в нём жил цепкий страх суеверий, примет, догадок, из глубины веков идущих заблуждений и озарений? И этот смутный, иррационально-жутковатый, inferнально-потусторонний страх был не то что разлит в воздухе, но был сам воздух, каким он дышал. В дальней дороге ложился спать — не на восток ли ногами ему спать? Напишет письмо, где пообещает «встретимся», и тут же вычеркнет: не надо загадывать, человек лишь предполагает, но не располагает. Не дай боже услышать завывающую в ночи собаку, или в акациевой кроне

у дома падающий с недоброй вестью голос горлинки, или увидеть, как его путь переметает чёрная кошка! Рассыпать соль — к ссоре, разбить зеркало — к несчастью, потерять перчатку — к бесчестью.

Он вздрагивал, когда на балкон залетал голубь, и он ненавидел тогда эту птицу мира, несшую размирье его душе. Он избегал дарить острые предметы, убеждённый, что они приносят раздор. При вопросах о здоровье детей он немедленно переводил разговор на другое, потому что заметил: утром здоровые дети к вечеру заболевают, скажи он, что у них всё хорошо; словно заглазно кто глазит. Он верил, что к неприятности, а то и беде — видеть во сне цветы, возвращаться назад, выйдя из дому, ездить в автобусе с номером 13, иметь дело с числом 666, приниматься за серьёзное в пятницу на тринадцатое, — в такой день он обычно не выходил из дому, но и там без видимой причины вдруг ссорился с близкими. И день напоминал ночь. И он был убеждён, что во всём виноваты пятница и цифра тринадцать, и тамплиеры с их гордынными ходами-замыслами, и их сокрушители, и суды тогдашнего и новейшего времени.

Однажды он купил лыжи, покрытые чёрной, с белыми полосами краской, и, выйдя из магазина, спохватился: в контрасте цветов ему почудился зловец-погребальный, катафальный смысл, — в какую пропасть занесут такие лыжи? Он вернул их назад, но успокоения не получил: он уже брал их в руки.

Однажды он летел в самолёте, а соседкой по креслу оказалась женщина в чёрном платье и траурно-чёрной косынке, и она, несчастная, ко всему безучастная, сразу стала для него живой вестницей надвигающейся беды, и он ждал, ждал... Когда же самолёт совершил первую посадку, — а ему надо было лететь на нём ещё полторы тысячи километров, — он спустился по трапу и назад не поднялся: дальше решил поездом. В поезде же — своё: разговор о крушениях.

И так каждый его день, ещё не будучи мукой, с утра уже превращался в муку. А где-то, — да какое там где-то, на его же необъятной крохотной планете, — мучились в муках настоящих: рождённые дети умирали от боли и голода, взрослые гибли от осколка, ножа и пули, сгорали в пожарах, тонули в наводнениях, пропадали в землетрясениях, сходили с ума от тревожной, трагической мысли. Он же думал: какой бы дом с пробковыми стенами и пробковой крышей обрести ему?

Не обрести: слишком гремит на улице, на планете, во Вселенной!

Материнские руки

Давнее. Склонясь над прорубью, мать полощет бельё.

Берег обрывист, глубина — сразу у берега, да такая, что саженный шест не достаёт дна; лёд — метровый, январский,

странный по окраске: сизый не сизый, зелёный не зелёный. И — прорубь как глубокое вздрагивающее око! Или рана навывлет. Или тёмная бадья с тёмной водой; правда, вода в проруби лишь на погляд тёмная, а так — чиста до хрустального звона, прозрачными струями стекает с отжимаемых сорочек.

Руки у матери сизые, насквозь схваченные стужей. Кажется, их уже ничем не согреть, не выдернуть из студёной воды, из ледяной неволи: окунает и полощет, окунает и полощет. Но мальчик-сын даже и не думает, и не верит, что материнским рукам холодно: они всегда такие горячие, когда мать обнимает его перед сном!

Прорубь и страшит, и притягивает. Что там, под ледяным панцирем? Сонные рыбы? Несчастные утопленники? Неразорвавшиеся в войну снаряды? Осколки? Для русалок уже и места не остаётся. Не здесь искать подводное царство, в каком побывал Садко, древнерусский разбитной купец. Но почему же так притягивает?

Красные, замученные перенатугой материнские руки полощут, полощут. Это они его пальтецо, какое он измазал в чернила и грязь, полощут; его штанишки, сорочки, его маечки.

Жаль только, что боль и благодарное признание придут поздно, — когда он уже сам будет взрослым, будет иметь сына, и приснится ему сон...

Сын, солдат, несущий службу на южной границе, вернее, воюющий за границей, вне родины и не за родину, появляется вдруг дома — под ночь и на мгновение; сняв свою фотографию со стены, уходит, успевая сказать: «Позвони по телефону ноль три!» Когда отец набирает номер, раздаётся глухой леденящий подземный голос: «Да, слушает прорубь».

«К чему бы сон? — просыпаясь, в холодном страхе думает отец. — Вон что творится на южной границе. Зачем там сын?»

Южная граница. Северная граница. Западная граница. Восточная граница. И сколько ни стоит мир — гибнут сыновья и скорбью исходят отцы.

Живая вода

Меловая осыпь шуршащей струйкой устремляется вниз. Внизу то платиной, то бирюзой отсвечивает Дон, тянутся приречные леса, а дальше — поля и веси, веси и поля.

Здесь же — высота, ветер, привычное покачиванье крон молодых клёнов меж берёз. И старая — цветущая — вишня! Стоишь у заваленного входа в некогда знаменитые и чтимые Белогорские пещеры — протяжённые, многоярусные, в меловой горе выдолбленные грешными людьми во искупление своего и чужого греха. Когда-то на круче, над пещерами, белым кряжем вздымался монастырь благоверного князя Александра Невского, и шпиль его колокольни был самым высоким на сто вёрст кругом. Но от колокольни да и всего монастыря

не осталось и следа, кроме неистребимой сирени, глубинного колодца, затерянного в крапивной глу́хмени; взойдя наверх, не без труда отыщешь его.

Когда-то бродил белогорскими кручами и подолгу бывал здесь поэт, якобы вдохновясь древнеримской сатирой, бросил внежалостное слово Временщику, верно, не подозревая, сколько позже куда более злобных и ненавистных временщиков выпорхнет на его родине! Существовал ли в те дни колодец? Утолял ли здесь жажду поэт? Суетные вопросы... Не было тогда колодца, и не мог поэт напиться его воды, ну так что ж? Вспомни, как в одном старинном саксонском замке, словно великую достопримечательность и достославность, показывают и не столь глубокий колодец. Чем заслужил почитание? А тем, что веками из него утоляли жажду, — пусть безвестные, а может, и известные; в одном из писем, по рассказу экскурсовода, бессмертный Гёте обещал посетить эти места; посещал ли, прямых свидетельств нет, но...

Экскурсовод, таблички, охраняемый и оберегаемый колодец.

А у нас? Тихо на кручах. Только ветер, только древние травы да птицы. Никого — у колодца, ничто не тревожит его покой, разве меловая осыпь срывается вниз. В лес дров не возят, в колодец воды не льют, говорят в народе. Не льют, а из этого, глубинного, давно и не черпают; да и есть ли там что черпать? А колодец, из которого не пьют, всё равно что дом, в котором не живут.

И всё-то мы надеемся, всё ждём лучшую жизнь — через сто, через двести, а то и через триста лет! Сад вишнёвый рубим, а на райский — надеемся...

Но был же колодец с живой водой. И цвёл вишнёвый сад!

Брошенный в монастырский колодец камешек летит бесконечно долго. Глухо, словно сомиий квок, булькает.

Вечная — как она сама...

В дальнем микрорайоне, на пустыре, возле поликлиники, мощный корпус которой с воздуха напоминает гигантский, впечатанный в землю или поваленный крест, ютится ветхий, продуваемый всеми ветрами рынок; за невысокой дощатой оградой — серые лавки да лотки, открытые лишь в летние месяцы. Утренний мартовский час, озяблый, стылый. Народу мало, да и товару — не густо. Так, всякая всячина, по мелочи: сушёный боярышник, редька, мочёные яблоки, трава-зверобой.

Старик у входа торгует вениками. Как ни тепло одет, но промозглый ветер пробирает, и он не чаёт разделаться со своим добром, досадуя на свою или старухину жадность: привёз экий ворох!

— А они прочные? Не сломаются? — придирчиво спрашивает молодая миловидная женщина, перебрав с десяток веников.

— Так всё ж ломается: и человек, и дерево, — мягко, но чуть с укоризной объясняет старик. — Паровозы вон какие — и те ломаются.

Чуть поодаль от них стоит преклонных лет женщина, вся в смолисто-чёрном, и бесстрастным изжитым голосом роняет:

— Не ломается только тюрьма. Тюрьма — вечная!

Над пустырём, над рынком густо, как чёрная метель, кружатся вороны, и их косноязычный, тревожащий душу карк разносится далеко вокруг...

Метрополитен и могилы

Он любил столичный метрополитен, ему словно бы не доставало чего, когда он долго не спускался в его сверкающие, грохочущие недра. Огромный подземный город, схема станций — как цветная паутина; обвальный грохот поездов в туннельных стволах, шелест эскалаторов, на лентах которых — поток человеческих судеб, лица отсутствующие, озабоченные, у каждого — своё; не гротескный ли образ самой человеческой жизни — эта предписанно движущаяся лента эскалатора? Станции — как хладные подземные дворцы, где классика и эклектика, мрамор и бронза, мозаика державных сюжетов заставляют на миг позабыть о скудном существовании наверху.

Иногда в поздний вечерний час он без видимой причины и цели выходил на какой-нибудь станции, где была бы скамья у колонны. Кондиционеры беспрерывно гнали сквозной холод — словно бы дуло с моря, а лампы дневного света имитировали в подземелье несолнечный мягкий день; усталый, он закрывал глаза. Лёгким усилием воли проникал толщу земли и видел звёзды.

Но однажды, в совсем поздний час, когда уже редки были и люди, и метropоезда, по привычке отдыхая у одетой в мрамор колонны, он поднял глаза кверху — и его будто обожгло! Над ним высоко... в земле... тянулись чёрные острова кладбищ, их было больше, чем станций метро, и там были могилы его предков, ещё со времён Юрия Долгорукого, и могилы близких, знакомых и незнакомых, похороненных недавно.

И теперь он лишь при крайней нужде отдаёт себя во власть лучшего в мире метро, и ему всякий раз неуютно в сверкающих дворцах: всякий раз возникает и жжёт мысль, что он едет под могилами, даже сквозь могилы, и эта inferнальная езда — словно бы гордынная, кощунственная попытка живых увидеть скрытой камерой изнутри мир ушедших.

Коминтерновский сон

Коминтерновское кладбище удлиняется почти до площади Заставы, удлиняется на глазах, из окна автобуса видно мрачную решётчатую заграду, ей конца нет, за оградой — миллионы надгробий. И вдруг откуда-то на кладбище — толпы

живых, обезумевшие толпы, они выдёргивают кресты и обелиски со старых могил и водружают на только что выросшие холмики, иные — тащат кресты, обелиски, плиты на себе, заготавливают впрок, потому что в небе гигантскими буквами, красными на синем, горят слова: «Надгробия больше не производятся!» Пыль, через ограду летят кресты, обелиски, железные и бумажные венки, истлевшие ленты, прах, прах...

Он перебежал улицу, он вскочил в другой автобус, шедший за город. Уже вскочив, он суеверно испугался маршрута, предписанного автобусу: «Рынок — Новое кладбище», и хотел было сойти, но двери захлопнулись, и автобус помчался. Мчался он, не обращая внимания на красный свет и не останавливаясь на остановках. Люди сидели недвижно. Ему стало не по себе, когда автобус нырнул куда-то в туннель. Он кинулся к водительской кабине, но она была пустой. Свет в салоне загорелся, как только их поглотил туннель, и горел тускло, но он видел отчётливо: у неподвижных пассажиров закрыты глаза.

Здесь уже был глубокий подземный, потусторонний мир, и некий потусторонний голос стал называть остановки, и, странный поворот, автобус стал останавливаться. Улица Марксистская. Площадь Восстания. Улица Комиссарская. Переулок Безбожников. Большевицкий тупик...

На скрещённых туннельных трассах горело багровыми огнями: «Москва — Владивосток».

Крыло ангела смерти

Нам оставалась ещё половина пути, расстояние не столь и длинное, километров двести, и мы, не глядя на ночь, решили ехать дальше. Только отец сменил меня, сел за руль. Начался долгий затяжной подъём. Надвигалась ночь. Поток встречных машин как-то враз иссяк. Эта была, наверное, единственная за целых полчаса; с высокого спуска бегающе, будто ища цель, полыхнули фары дальнего света, и с каждой секундой всё резче, ярче, ближе. Зловещий, донага раздевающий свет! Мне даже не по себе стало, и я попросил отца держаться правее. Он и взял вправо, однако ослепляющие фары били прямо по нам. Слышно стало, как сотрясается земля. «Ещё правее!» — крикнул я, рядом чувствуя сокрушающий накат грома, но отец и без того сколько мог рванул вправо, «Жигули» влетели в кювет и скошенно остановились. И тут же по нашей стороне, чуть не смяв нас, грохочуще пронеслась «Колхида». Почудилось даже, что спичечно чиркнуло железо о железо. Ни слова не говоря друг другу, мы вышли из машины. Отец провёл руками по левой боковине, постучал ногой о задний баллон и тихо проговорил: «Пьян дьявол, наверное». Дьявол не дьявол, но ангел смерти зацепил нас своим крылом. Ночь, ни души... смял бы и... ищи удалого! «Да, я согласен, надо от неё избавиться», — сказал вдруг отец, так отвечая на моё

давнее приставание сдать машину в комиссионку; затеял я это приставание с того дня, как увидел однажды валявшуюся на пыльной обочине детскую бескозырку — единственное, что осталось целым и невредимым при столкновении двух легковых.

Ночь была тёмная, хотя, казалось, светили все звёзды, какие только есть на небосводе. Их было много, и ни одна не упала в тот миг. Видно, наша последняя земная минута тогда ещё не настала...

Дуб на Терновой Поляне

В далёкие дни здесь темнела суровая дубрава — в ней часто раздавались звериные рыки, редок был человеческий голос. Со временем, преградой кочевым набегам поднялась близости крепость; позже город вырос и раздался в своих границах, а дубрава от трудов порубежных поубавилась. Когда же город подступил к дубраве совсем в обхват, удержались лишь кустарники, гуще других терновник, а над мелколесицей владычески вздымался один-одинёшенек дуб, былинной мощи, не под силу ни топорам, ни молниям. В бывшей дубраве, градожилителями названной Терновая Поляна, образовалось кладбище, и скоро крестов на ней стало больше, чем когда-то дубов. Под кроной былинного дуба, в земле меж глухими корнями схоронили священника, который в мудрые свои лета помрачился в уме от великих сомнений. А уже в нашем многореволюционном веке на ветке древнего дуба повесился вечный студент, профессиональный революционер-подпольщик и профессиональный провокатор, запутавшийся в собственной интриге, предавший и чужих, и своих. С той поры, сказывают здешние старики, дуб стал усыхать. Но сухой, безлиственный, чудом уцелел в городской застройке, стоит он и донныне, и угрюма, темна его нагая крона, на которой, быть может, отдыхали птицы, в день сечи пролетавшие над полем Куликовым.

На мосту славянского города

Не бывало дня, чтобы он не бросал взгляд на нишу в домашней библиотеке, в которой развёрнуто стоял фотоальбом с видами древнего славянского города. Вот уже несколько лет альбом был раскрыт на развороте со снимком моста, самого древнего в городе. Разумеется, мост был и вновь укреплён, и внешне подновлён, но тёмная кладь его каменных быков и чуть согбенные фигуры святых вдоль парапетов дышали временами стародавними, и, казалось, стоило лишь ступить по нему, чтобы очутиться в ином, далёком веке. По мосту шли люди — разных поколений, с разным настроением. Одни явно торопились, другим торопиться было некуда.

Часто он брал альбом в руки и изучал снимок, пытаюсь разобраться в судьбах тех, кого он, благодаря неизвестному

фотографу, застал на мосту. О шедших к нему лицом он всё уже знал. Степенно шествующий старик в глубокой шляпе, самая заурядная жизнь, конторщик с вечными клеевыми пятнами на рукавах пиджака... Средних лет муж и жена, оба в плащах, возвращаются с работы к своему очагу... Трое парней со спортивными сумками — с этими тоже всё ясно... Колобок с чиновничьим портфелем, из породы тех, что и на тот свет стараются улизнуть с портфелем... Труднее было с теми, что шли от него, на дальний берег, — по спине трудно было что-либо понять. Две девушки с цветами... на свадьбу? Или, может, горе у их подруги? Загадкой был и мужчина, неверными шагами шедший по проезжей части. Но самое трудное было разобраться в судьбе женщины, выстаивавшей под фонарём над парашютом. Что заинтересовало её там, где тёмная вода, где глубь? Ничего нельзя было понять, даже сколько ей лет, и всякий раз невольно осмотр моста он начинал с неё...

Но однажды, кинув взгляд на фотоснимок, он не увидел её... недоумевая, он вновь, внимательно уже, стал вглядываться... Она, как и прежде, стояла под фонарём, склонясь и глядя в речную глубь. Но этот мгновенный провал... Он уже понял, отчего этот провал: её нет в живых.

И этот миг из жизни незнакомых ему людей, запечатлённый на простой чёрно-белой фотографии, наполнил его сердце болью. Её уже нет... и многих нет уже на этом свете, хотя они на древнем мосту — ещё отдыхают или идут, торопясь и не торопясь...

Он закрыл пропылённый разворот, но ещё долго разглядывал последние страницы, где в вечное небо, в запредельную горную высь возносились соборные главы и шпили, подобно тому, как, по издревлей вере, возносились туда человеческие души.

Затонувшие брёвна

Он стоял на берегу большой реки, на полноводной излучке, сразу за которой начинался пыльный пригород, и наблюдал, как со дна вылавливали брёвна, затонувшие при сплаве; по всему судя, покоилось их на дне тьма-тьмущая, и они уже являлись помехой судоходству.

Извлечённые из воды, они устилали берег внасыпь и вразброс, как огромные, по-хищному длинные рыбы, выброшенные бурей на сушу; чёрные, в иле и плесени, с налётами зелени, измокшие до последнего волокна, но ещё не морёные, они теперь мало для чего годились, во всяком случае для производства бумаги или шкафов, в которых можно было бы хранить бумаги, едва ли годились. Он подумал именно об этом, потому что на издательских летучках всякий раз заходил разговор о нехватке бумаги, а тут... Сколько бы из них — конца-краю не видать по берегу! — можно было бы получить бумаги, отпечатать на ней книгу.

Глядя на неживые, обрезанные и подогнанные под сплавные мерки брёвна, он вдруг увидел за ними многовековый лес — кладезь света, тепла и чистейшего воздуха. Ладно, в тайге медью отливающие сосны, слепяще-белые берёзы, вознесённые в подоблачы лиственницы не бог весть какое диво, но каким бы величавым деревом стала каждая из них где-нибудь в городском сквере!

И почему-то неудельные брёвна напомнили ему жребии людей-неудачников, талантливых по природе, но бесталанных по судьбе, гибнущих прежде времени, не сказавши слова, не сделавши дела.

Бессонница

Далеко за полночь, проклятый час Быка. Игорь Сергеевич просыпается, как просыпается уже многие годы в этот час, и какое-то время лежит не двигаясь; затем поднимается, зажигает свет. Да, перевалило за два... Он проходит на кухню, выпивает стакан воды, и те заботы, какие одолевают иных людей с утра, на него наваливаются с ночи: встретиться, забежать, сделать, переделать, разыскать, отослать, написать, просмотреть, прочитать, дочитать, принести, отнести, помочь, сказать решительное «да», сказать решительное «нет», ответить режиссёру, что он не согласен со столь вольным истолкованием своей пьесы, выступить на худсовете, побывать в издательстве; да ещё продумать письмо о создании музея поэту-земляку, да навестить больного племянника, да ещё заказать ключ, поправить входную дверь, да ещё, да ещё...

На лице у него, конечно, не написано, что он сам — пишущий человек, автор пьес, которые хвалят да редко ставят, драматург, поэт, публицист; но что он решительный человек — сие воистину на лице. Вообще-то решительность смешная: сорока-пятилетний, мослаковатый, худой, среди шкафов и посуды, отстранённо вперившийся в тёмный оконный квадрат, — на что он решается, что за подвиг Гераклов совершит он не далее как утром? Да когда он поутру наденет костюм и завяжет галстук — всё будет выглядеть иначе, и, скорей всего, не скажет он режиссёру решительное «нет», и примет редакторские замечания, и... закружит круговерть, в которой он, несчастливый, но часов не замечая, будет растрчивать себя с утра до вечера.

Он вновь ложится, хотя знает, что не уснёт. Часы-кувшка — наивный и мудрый отцовский подарок — тикают мерно и равнодушно. За окнами, как ночной колодец, чернеет декабрь. «Тик-так»... Неостановимое, неумолимое «тик-так» — сколько ему ещё отмерено этих капель всепоглощающего времени? Сердце болит, щемит в груди, бьёт со спины, временами, будто иглой, пронизывает так, что не вздохнуть. Вялость и слабость, а в голове — будто пламя полыхает: мысли, думы, пустые и непустые скорби сталкиваются, разбиваются

друг о друга, крутятся, кричат, приходят, уходят, вновь возвращаются; мучают его неуходящие судьи его — память, стыд, боль... Не так жил... Не с теми встречался... Не тем верил... Не на то жизнь растрачивал... И хотя понимает он, что сгущает краски, как эта ночь, но что ж поделать, если топка пылает, вот-вот взорвётся? И знает он: уже не уснуть ему спокойно ни сегодня, ни до самой смерти.

Устремив глаза в никуда, Игорь Сергеевич думает о том, что лучше бы он вместо всех своих «писес» написал о бессоннице, где были бы, скажем, такие главы: «Бессонница как болезнь», «Бессонница как здоровье», «Бессонница как спутница совести», «Бессонница как память человека и человечества». Ещё он думает, что не стоило ему приезжать сюда... Ещё он думает... Ещё он думает...

«Часов однообразный бой, томительная ночи повесть! Язык для всех равно чужой и внятный каждому, как совесть!»

Погибшие храмы — погибшие люди

Казалось бы, миновали времена, когда какому-нибудь Гошке-атеисту, сломавшему церковь, можно было рассчитывать стать председателем местного союза безбожников и, по совместительству, главным городским архитектором. Уже того сатанинского союза не было, уже и храмов по стране было — по пальцам перечесть, а всё равно никогда не последние безбожники изловчались доламывать сиротски редкие церкви.

Среднерусский, до революции славный уездный городок, некогда в колокольнях, как сиреневый куст в гроздьях, лишился храма уже в дни, когда Гагарин полетел в космос. Лишь одна церковь, в зелёном опоясье вязов с кронами, тёмными от грачиных гнёзд, похожая на церковь из весенней саврасовской картины, устояла среди городских разрушений и новостроек. А большое прицерковное кладбище разорили... Хоронили здесь воинов Полтавской баталии, гренадеров Отечественной войны 1812 года, ветеранов Первой мировой, а в Гражданскую войну успешно устроили концлагерь. И красный ревтрибунал, и чека, и три всевластных на тот час комиссара успешно расправились со своими противниками — белыми офицерами, священниками, гимназистскими преподавателями и гимназистками.

Сколько храмов разрушенных? Сколько душ униженных, убиенных?

Но опьянённым кровью и властью комиссарствующим молодчикам недосуг обременять себя этим страшным «сколько?». Так — во все революции. «Стреляй!.. Всё наше будет!»

Тьма кладбищ осквернённых, порушенных. Тьма кладбищ скоровыросших, нередко упрятанных в лесах, межболотьях, опольях, где от крови без вины виноватых густо выросли чёрные кустарники-скорбеносцы.

Близнецы

В гарнизонном парке, во мраке ночи, один-одинёшенек стоял младший брат. Он глядел на звёзды, которым не было никакого дела до него, и у которых текла своя жизнь: они рождались, бушевали, сгорали, они кружились, разлетались, соединялись в причудливые созвездия; где-то там, в непостижимой небесной сфере и Близнецы — всегда волнуящее его созвездие, кем, в какой глубине веков названное так?

Когда сверхзвуковой самолёт взмывал ввысь, захватывала отчаянная дерзость: долететь туда, куда никто не долетал, — в честь их, двух летающих братьев-близнецов; и та же мысль, он знал, являлась и его брату, рождённому часом раньше и бывшему за старшего в одном с ним звене. Но уже не увидит ему белого прочерка, оставляемого братовым истребителем, — как взмывал он к вечерней звезде, и чудилось, долетел бы, не будь с земли приказа возвращаться.

...Год назад разбился брат. После его гибели он думал перевестись в воинскую часть — отдалённую, приграничную: здесь оставаться было невыносимо — всё напоминало о брате. Но родные настояли вовсе уйти со службы. Они знали про поверье, что один близнец, погибая, тянет другого.

Утром он ехал в недавно приобретённой им чёрного цвета «Волге», он торопился в родной город, дав телеграммы невесте и матери, к ночи надеясь поспеть.

Из-за поворота, скрытого лесопосадкой, на тяжёлой сокрушающей скорости выхватилась «Колхида», подставив боковину фургона с ярко нарисованными то ли звёздами, то ли снежинками. Среди смятенных токов, озарений, промельков мысли он ещё успел подумать: «Эти звёзды... как созвездие Близнецов, но почему они здесь — на земле, на шоссе?»

Нерль, белая свеча

На одинаковом удалении от утра и вечера словно застыл зимний день. В его чистом воздухе, как в глыбе голубоватого льда, беззвучно парила церковь Покрова на Нерли. Возникнув в зыбком далеке, она медленно росла, прояснялась; и тому, кто спешил к ней пустынным лугом, по первому, ещё не топтанному снегу, она уже была видна до малых щербин на гранях строгих и тёплых стен.

Четверть века идёт он берегом Нерли. Отпуска, нечаянные командировки, непредвиденные кратковременные свободы от служебной и семейной суеты вложил он в эту дорогу к белому строению над рекой.

Четверть века он рисует Нерль — белое чудо. Он открывал её разное — весной и осенью, на заре и в закат, в снегах и дождях. Она ему казалась разной, и он искал и находил разные для неё и в ней краски, пока однажды не понял, что она постоянная и единственная. Словно белая свеча, негасимо горящая долгие века.

Как в прежние свои приезды, он обошёл вокруг неё много раз. Была она — та высшая простота, что всегда загадка, с какой стороны и точки не взглянуть — творение небывалое и неповторимое. Слитность её с окрестным миром — поймой, близкими старицами и дальними муромскими лесами — мнилась извечно; и сама она мнилась вечною, от дней творения, и нерушимой даже в самые чёрные дни человеческих заблуждений. Но знал он, как весело и бездумно молодые активисты разводили на берегу Нерли костёр из церковных икон и выплясывали вокруг, словно багрово-нечистые, и стены её пытались долбить, сбивая фрески, и сама она уцелела нечаянно... и не было уже в живых старушки-смотрительницы, в доверительный миг рассказавшей ему о том.

Неожиданно, вдруг затеялся снег. Одинокая ворона без привычного вороньего карка поднялась с ветлы. Снег шёл всё гуще — косыми белыми нитями. В смуглом завесе его Покрова на Нерли ранимо-сказочна.

Четверть века он рисует её, всякий раз поражаясь предельной чистоте и благородству форм, в которые предки вложили своё понимание прекрасного и высокого. Хрупкий росток, достигающий неба. Белая свеча в тревожном мире.

У Плещеева озера

Переславль-Залесский — у Плещеева озера. Городок — родной брат Москвы, и один у них основатель: князь Юрий Долгорукий. В белогребневом озере забрасывал свои сети другой князь, не менее славный — Александр Невский. По одну сторону реки Трубеж — монастырь Горицкий, изведавший стрел Батыевых, но стоящий и поднесь. По другую сторону — монастырь Никитский, некогда кремнёвый оплот ненавистных опричников, гнездо их, куда часто навевывался Иван Грозный. Вдалеке на берегу озера — одинокий петровский ботик — всё, что сохранило время от его потешной флотилии.

Вдруг услышишь красивый молодой женский голос, раздалое, словно хмельное:

Синий камень, синий камень,
Синий камень — семь пудов!
Синий камень так не тянет,
Как проклятая любовь...

Тоже осколок истории, Синий камень — большой серосиний плитняк — и доньше покоится близ Плещеева озера, на Ярилиной горе. В ещё языческие времена был он идолом мерянских племён. Притягивал он и славянских девушек. Считалось, верилось: если целомудренница отколет кусочек камня в ночь под Ивана Купалу, ждёт её счастливая любовь...

И крепко поубавился камень, да только прибавилось ли в мире любви?

Нечаянно увидишь, как твоя юная современница, дитя двадцатого века, приотстав от туристской группы, украдкой пытается отколоть кусочек заветного камня. На счастье!

Большая Волга

Величавое течение Волги было, конечно, не сродни спешащему бегу, даже лёту «Метеора», какой мчался вниз и среди других мчал и его, странного путешественника, всю жизнь путешествующего меж Доном и Волгой.

Открывались виды, какие открывались человеческому глазу и тысячу лет назад. Правый берег тянулся высокой грядой, был крут, порой обрывен, меж холмами — овраги-распадки, по склонам — чапыжник, языки рощиц, иногда — нагие крутолобья с красными глинами. Левый берег укрывали лозы. Иногда у реки образовывались словно бы два русла — две Волги, и обе они, огибая долгие острова, текли широко, сильно. Сидя в носовом салоне, он вспоминал донскую свою слободу, далёкие детские дни, когда так трудно и радостно было переплыть широкое Стародонье, — теперь оно сузилось, ослабело, заилилось. В застеклённом салоне было много света, казалось, он исходил и с побережных лесков, чуть тронутых желтизной, багрянцем. Осенняя умиротворённость! Гул мотора был негулок, убаюкивающ — так, лёгкое потарахтыванье. Путешественник только было прикрыл глаза, как вновь открыл их; впереди, в межкресельном проходе склонилась над сидящим пожилым мужчиной не первой молодости женщина, краснощёкая и в красной куртке. «Слышу, жалуетесь на желудок. Знаю, как лечиться. Сама намучилась. Запишите: две ложки алоэ, ложка мёду...»; мало-помалу она втянула весь салон в разговор о хворях, кому предлагая рецепты, у кого беря их, и от мельканья больничных слов стало в салоне, как в поликлинике.

А кругом выстаивалась красота предосенней природы, ещё зелёной, но уже отдающей листья на раскраску осени, и не мучилась природа тем, что ей скоро увядать, умирать, ибо её умирание — не такое, как у человека.

Но знал он, что и Волга уже больна: перегороженная плотинами, заиленная густыми стоками и сбросами, отравленная химическими и биологическими сливами; великая река, переделанная суетливым человеческим устройением, неумной, спешащей волей; великая река с погубленными нерестилищами и затопленными кладбищами.

И всё-таки она длилась и уходила из вечности в вечность.

Реки твои — 2010

Три великие реки славянские, три реки твои: сызмальства и на всю жизнь их волны тебя колышут, и воды тебя поят, их пароходы тебя зовут.

Но подумав «славянские», тут же осознаешь историческую и нравственную неточность сказанного. На просторах Триречья — могилы великих и малых племён и народов, курганы скифов и сарматов, города болгар и татар, вежи половцев, крепости хазар, грозная пыль аварских, гуннских, монгольских нашествий. И всё же самые долгие и созидательные века здесь — славянские.

Беря истоки в бесконечно далёком летосчислении, три реки мощно устремляются на юг, будто надеясь соединиться где-нибудь, когда-нибудь... Они — будто в молчаливом сговоре.

Да ведь тебе, сыну их, дано соединить их! Стоишь на высокой придонской круче, и простирается даль во все концы... И медленно открывается твоему взору былинных времён днепровское крещение, чистая лебедь — Покрова на Нерли, изначальный лесной Ярославль, в тучах пыли и стрел Куликово поле, казацкое «Азовское сидение», мятежные волжские, донские струги, петровские донские флотилии, Запорожская Сечь на днепровском острове Хортица, бечевники-бурлаки на Волге, пылающий воин-город в сорок втором, возвратная страшная переправа через Днепр в сорок третьем...

Три реки твои, покамест славянские, а извечно — всечеловеческие: уйдёт человечество — уйдут и они.

И не только они. В сполохах пожара и мутноплесках затопных волн увидевший, какими силами и грехами вызван недуг родины, сокровенный отечественный писатель горестно сокрушался в одном из писем: теряет саму себя Ангара, перехваченная железными, железобетонными удавками-плотинами гидростанций; в своём глубинном повествовании он с неповторимой трагичностью поведал об уходе целого мира Ангары, но и участь других великих рек на разных материках сродни реке сибирской.

Прицел — Диканька?

В детстве он жил в мире гоголевских чудес, он представлял себя среди парубков и девчат майскими вечерами в Диканьке, воображал себя героем весёлых и колдовских историй.

Всё здесь оказалось так, как он и ожидал увидеть: ровные чистые улицы, всюду роскошно цветшие сады, раскидистые вишнёвые кроны, долгий пруд в вербах, соловьи бьют, не утихая.

Близ Кочубеевой усадьбы — тоже цветенье и соловьиные песни любви. А чуть в лес — у широкой наезженной дороги — три дуба, три богатыря, каким, узнал он, по девятысот лет. По девять веков! Былинные, могучие, необхватные — в мае ещё нагие, словно три открытых тома молчаливой мудрости. Полтысячелетия, даже больше, жили они до генерального судьи, в «Полтаве» воспетого Пушкиным: «Богат и славен Кочубей...» Несокрушимые и не уходящие ввысь стволы, корявые ветви, словно не могущие пробить невидимую препятственную твердь. Словно злая колдующая сила все века

не желала, чтоб они уходили в небесную высь. А между тем вечность исходила от них.

И он подумал, что, быть может, на далёких локаторах есть такая цель «Диканька» (стратегическая авиаполоса Полтавы совсем близко) на прицеле у тех, кому нет никакого дела ни до Гоголя, ни до его Диканьки, ни до её тысячелетних дубов и для кого всё это — «враждебная территория». И на миг накрыло таким мраком, будто что-то неминуемо и сейчас случится. Невольно прикрыл глаза, а когда вновь открыл их, увидел зелёный лес и нагие три дуба, разве что ветер стал сильнее, торопя весенние облака в их вечном бесцельном заплыве.

Скорбные поля славы

И не однажды в молодости, по густым травам и большим снегам, в солнечные дни и лунные ночи, исходил ты два великих поля отечественной скорби и славы, словно надеясь кого-то увидеть, спасти, вернуть в сегодняшнюю жизнь.

Твои предки стояли

И ты,

И потомкам твоим стоять на поле Куликовом.

Даже им?

Родину не выбирают,

А созидают, украшают и — покамест — обороняют.

И не надо полям Родины ни стрел, ни осколков.

Но их было гуще, нежели ковыля...

Что ж поделатъ, если нам так во все века:

То рало, то меч.

Но кисть? Перо? Нотный лист?

Нет, то рало, то меч.

А между тем... Рублёв, Мусоргский, Достоевский,

Чьи краски, звуки, слова —

Куликово поле человечности,

Надежды и братства,

Но не вражды!

Ты долго искал

Тот родник на поле Бородинском,

Куда после убийственных атак и контратак

Русские позвали французов

Утолить запалённые души.

Отбросив оружие, они пили вместе.

Разойдясь же, вновь пошли в сражение.

Если у нас даже для недруга-завоевателя

Достало поделиться родниковой водой,

То с каким радушием

Во все века встречаем мы тех,

Кто приходит к нам с открытой душой,

Не пряча камня за пазухой.

Ты долго искал тот родник... Так неужели беспamięтно затерялись страшные жертвы двух полей-некрополей, и ничего не поняли мы и не поймут будущие поколения, и вражда никогда не покинет человеческую жизнь?!

Израженная земля — 1991

Погожее, ласковое лето — всё лето, которого он так ждал в надежде отдохнуть, оказалось кинутым в котлован: ушло на большой фундамент маленького дачно-садового домика. «Канцерогенный особняк» — сараюшко три на шесть, с шиферным верхом и шиферными, изнутри стекловатными стенами — мог бы долго и безутратно стоять на четырёх дубовых комлях, но он с чего-то вообразил, что нужен добротный фундамент.

Шагреновая кожа... время, время... Как случилось, что он кинул его в ров? Ему и прежде выпадала возможность приобрести дачный дом, но он отказывался, боясь, что дача станет пожирать его часы, дни. Он опасался всего, что бы могло отнимать его время, он думал написать ни больше ни меньше «Историю обманутого человечества», он и от машины отказался, за бесценок продал, когда увидел, что и она хлопот требует. А теперь — или поддался общему наваждению? Люди словно забыли евангельскую мудрость о сырых и нагих, о скромности, о том, что не гордыней и не золотыми богатствами богат человек, отказались от векового народного миростроя. И что им половица «Трудом праведным не наживёшь палат каменных», если так приманивает беструдное и стремительное богатенье!

Незатейливый этот шиферный курень, отнюдь не способствовавший здоровому долголетию, приобрёл он в спешке и единственно из-за того, чтоб не увязать в строительстве. Но именно — увяз. Сначала он с немалыми мытарствами завёз кирпич, песок и щебень, затем наспех, словно его кто подталкивал сзади, разметил границы фундамента под шиферный свой курень и взялся за лопату. Да с каким рвением! Словно надеялся, что таким образом когда-то крестьянский внук вновь возвращается к земле. Не раз слышав, что фундамент следует закладывать поглубже, чтоб тот не «плавал», он явно перестарался: выкопал ров в полроста человеческого и такой ширины, что можно было бы уложить все четыре кита. И столько туда ухнуло песка, щебня, битого кирпича, цемента, всяческого лома, что на таком фундаменте в пору было бы возводить мощный — под стать каменным средневековым европейцам — замок.

Пригородное поле, со всех сторон окружённое лесками, было веками спокойной, мало чем тревожимой пяденью. А тут — фундамент: одним звучанием вдавливают!

Под осень на высокий кирпичный цоколь взгромоздился дачный домик, несуразно тянувшийся вверх, как жираф на картине художника-авангардиста.

Дальше сложилось так, что долгие месяцы он был в отъезде, а когда вернулся и вновь попал на свой садовый участок, не узнал окрестного. Целый город вырос здесь. Робко, бедными дальними родственниками жались друг к другу и сараюшки наподобие им поставленного, но чаще вздымались двух-трёх-этажные домины, тяжёлые, как рыцари в латах. Вот тогда он и подумал, что ещё одна пядь земли перестала быть почвой и здоровой землёй. И он среди тех, кто сделал её такой. Право, для того, чтобы разбить сад, не требуется столько бетона.

Невольно ему вспомнилась концовка одной зарубежной повести: вырастали дома, больницы и тюрьмы, а их не хватало, и вырастали новые дома, больницы и тюрьмы, а их не хватало, и вырастали новые дома, больницы и тюрьмы...

Он знал, что подобных «садовых домиков» — многоэтажных домин, разворотивших верхнеслойные, чаще чернозёмные пласты, и ровно похваляющихся друг перед другом своей безвкусной сановитостью, — хоть пруд пруди и по берегам рек, и в пригородных степных балках и лесках. Что ж, время сметает время. Время убивается временем.

Тучи птиц кружили над израненной землёй, отданной человеку, машине и камню. Прислушаться — словно бы зывали: «Опомнитесь! Не о том заботитесь!»

Но откуда неразумной птице знать, почему человек строит часто не самое лучшее? Рухит часто не самое худшее? И во всём не ведаёт ни меры, ни уёму-удержу?

Даёт жизнь камню, убивая свою жизнь.

Нерождённые-2010

В центре миллионного города, в сквере — стена ярkobроской кинорекламы. Неподалёку на длинной скамье одиночеству средних лет женщина, глубоко в себя погружённая, ничего и никого не замечающая. Вдруг она вскидывает голову, и глаза её устремляются на пышное изображение актрисы, похожей на Мэрилин Монро, а может, и самой Мэрилин Монро. Женщина, гораздо красивее киношной, медленно встаёт и подходит ближе. Видит: талию кинодивы на белом пространстве полотна разрезают крупнбуквенные, развенчивающие суетность и пустоту рекламного зазыва, рукописные слова: «Женщины не хотят рожать — они наслаждаются. Они рождают сомнительные книго-полотна и несомненные грехи»; и далее, в отступе — более мелкими словами: «А те, что рожают детей, пребывают в нужде и бедности». Не могла не привлечь её внимание цифра с вереницей нулей... А ещё ниже — сведения об абортах — безлично-зловещий бланк нечеловечески жестокой отчётности безответных детоуничтожений. Тягостно было узнать, что в одной только её велико-несчастной стране в конце века «произведены» миллионы

абортов (никогда бы не произносить ненавистное многим женщинам страшное слово, по-латыни обозначающее гибель во чреве!).

...Ночью ей не спится, а чуть подступает забытье, настагает сон: убитые младенцы оживают. Ангельскими крылами сметают, попадают нечисть. Прерываются вое шакал и гиен, навсегда в каменные провалы земли убегают скорпионы, во всех уголках мира издыхает всепожирающая ненасыть-саранча. А дурных, одержимых порочными страстями людей, живущих в сверкающем комфортном мраке, ослепляет небесный свет. Взрастает околорайский сад, где и по зиме не перестают цвести яблони и где звучит пение, исходящее из небесного царства... Но понимает она даже во сне, что за границами околорайского сада — всё та же злая печаль с убиением младенцев, развращением отроков, горестным жизневлачением взрослых. И всё же, когда поднимается с постели, сильные чувства надежды вдруг просыпаются в ней. словно эти надежды ниспосланы ей из сновидческих пажитей небесных.

Вещунья

Прежде бывало: по весне мужик-землепашец шёл в лес, искал свиное гнездо, чтобы узнать, сколько в нём яиц. Если четыре (а ещё лучше — шесть) — поле изобильно заколосится ржами: много совы — много мыши, а много мыши — много хлеба. Но если в гнезде одно яйцо, землепашец знал: добра не жди!

Мудрость совы... Крестьяне хорошо знают об этом, хотя у них, понятный зачин, нет ни книг о совах, ни экслибрисов с изображением вещей птицы; более того, побаиваются на селе совы; есть такое поверье: когда кычет над чьим-либо домом — ждать беды. И когда кычет она, ранимо чуткие души предвидят неотвратимые набегания всё новых волн тоски и тревоги. Им видится, как одни ухищреньями мелкого зла рождают подлоги; другие, ведомые злокозненной волей интеллекта, дарят благодарному человечеству гильотину и водородную бомбу.

Растут цветы, бурьяны, уровень радиации, химические выбросы, неверие, растрление духа, озоновая дыра.

В концертном зале звучит прекрасная песня. А за углом улицы, в притемнённом сквере, убивают подростка. Песня о добре, любви, человеческом братстве, весь зал внимает ей, и никто не слышит короткого оборванного крика.

В гостиничном номере — двое за бутылкой вина. Молодой статный лётчик с породистым и порочно-красивым лицом — тоном превосходства — своему наземному приятелю:

— Что небо? Тот же воздух. Пустота. Только и стоящего — на высоте десять тысяч метров с бортпроводницей переспал.

— Родись ребёнок — ангелом стал бы: высь-то небесная.
— Велел красавице на аборт пойти. С детьми-ангелочками возни много. Свобода всего выше!

Столичный Дон Жуан в эту ночь мысленно спит с последней женой Юлия Цезаря. Скучны современные красавицы, древние — пряней, острее, заманчивей.

Воспалённый Герострат новейшего времени перед сном мысленно разрушает созданное человеческим гением, ненависть и сладострастие переполняют его. На очереди — Пизанская башня. «Падает, да никак не упадёт. Давно бы, старую дуру, развалить», — нервно нацеливается Герострат!

Парфенон он уже доломал, Лувр разрушил, Кремль снёс с московского холма.

«По осеннему кычет сова над раздольем дорожной рани...»

Что ответить сыну?

— Что печалишься, сын?

— Солнце погаснет, жизнь прекратится, — грустно отвечает третьеклассник, вычитавший в пионерском журнале, что через миллионы лет солнце перестанет светить и гореть, и землю намертво схватят великие холод и мрак.

Отец незадолго перед тем тоже прочитал слова безысходности, но из другого ряда: «В каком-нибудь отдалённом уголке вселенной... была когда-то звезда, на которой умные животные придумали познание. Это была самая высокомерная и лживая минута „всемирной истории“, но всё же лишь одна минута. Природа сделала несколько вздохов, звезда застыла, и умные животные должны были вымереть. Кто-нибудь мог бы придумать такую притчу, и всё-таки он недостаточно иллюстрировал бы ею, каким жалким, каким призрачным и мимолётным, каким бесцельным и произвольным исключением является в природе человеческий интеллект. Были целые вечности, в которых его не было; когда снова кончится его время, от него не останется и следа. Ибо у этого интеллекта нет какой-либо другой миссии, выходящей за пределы человеческой жизни».

Нерадостно и даже тягостно от этих слов-предвещаний человеку с его налаженной жизнью, милой женой, законченной диссертацией. Но тут надо отбросить свои скорби и ответить сыну. Что ответить? Что человечество, как рассуждают одни, отойдёт во тьму и без угасания солнца, — от атаки исполинских искусственных солнц, бунта электронного «мозга», непредвиденных гримас прогресса, космических, метеоритных нападений и межконтинентальных землетрясений? Но это ещё не скоро — беспечно отмахиваются дру-

гие и добавляют: а после нас хоть потоп. Третьим же и при ярком солнце жизнь — уже не в радость. Но не об этом же — сыну!

Сказать, что человечество к тому эсхатологическому сроку исполнит своё назначение на земле? Так и человек, сколько ни живёт на белом свете, не успевает сказать своего главного слова, что тогда — обо всём человечестве? И что же ответить сыну? Неужели в нём, ещё и не подростке, уже есть тревога за отдалённого потомка, который родится через миллионы лет, при самом конце земной жизни человечества? «Пусть, — думает отец, — много ли значила бы наша жизнь без сострадания к прошлому и будущему?»

И чтобы сейчас ни сказал отец, ответ сыну придётся искать позже. Самому! А в этот день они идут в парк и отдыхают там допоздна; а вечером сын устало и радостно засыпает, как засыпают счастливые дети.

Отец же долго не спит. Он думает о том, что бы сказать сыну: надёжное и истинное, чтобы сын мог сказать своему сыну, чтобы тот мог сказать своему сыну, чтобы тот...

Жить и верить

Новогодний автобус. Мороз крещенский, давно такого не бывало. Всё слякоть да слякоть, нулевая мокропогодица, а тут — стужа пробирает насквозь: мир оледенел, редкие пассажиры стоят оледенело, боясь присесть, потому что от дерматиновых сидений тянет жгучей стужей. Автобусные стёкла — в пышной морозной пыли. На одном стекле нацарапано: «С Новым годом!» А на другом — размашисто, с каким-то внутренним ликованием: «Скоро лето!»

Человек, разглядевший лето посередине зимы, кто он? Шутник? Влюблённый? Спешит жить и верить... И вера его не даёт одолеть стуже в новогоднем автобусе: люди при виде обещающих слов оттаивают, улыбаются...

Хлеба родины

В послевоенную сушь-голодуху, когда в среднерусской деревне перемогались хлебом желудёвым и травяным, из берестковых листьев и горьких корней, счастье было — на уже убранном поле найти лежалые или несрезанные колосья, выпечь из них настоящий, хлебом пахнущий хлеб. Только не велено было подбирать колосья на убранном поле. Скакал косогором — через детскую жизнь — объездчик, и не было для ребятшек фашиста ненавистней и злее.

Сколько времени прошло с того лета, как ты в последний раз на комбайне глотал горячую душную пыль и острые, колючие остья вонзались, как горячие осы? Но и живя в городе, где камень-бетон не напоминает о полевой родине, ты всё-таки вспоминаешь...

Ночью ни с того ни с сего вдруг проснёшься. Седьмые сутки идёт дождь, в окно порскает уныло, тягостно, и ты, уже давно не живущий в деревне, с тоской подумашь: «Зальёт поля. Беда, погибнет хлеб».

Опять засыпаешь, но что-то мешает тебе заснуть бестревожно, и это что-то есть тревога за гибнущий в ненастье хлеб. И зимой, когда малые снега и большие морозы, — опять-таки о хлебе... Думаешь: «Не помёрзли б озимые, дай Бог, чтоб устояли...»

И пока не забыл, как трудно растут и трудно добываются хлеба твоей родины, и пока о том помнят многие, что-то хорошее ещё можно взрастить на родной земле.

На лугах юности

Чтобы добраться из Нижнего в Криничное, я, как и прежде, избрал самый короткий путь через луга-луки. Дороги в обычном смысле не было (когда-то набитая тропинка почти сплошь заросла разнотравьем), и велосипед часто приходилось проталкивать через сплетённые травы, но усталости я не чувствовал; да и какая могла быть усталость: мне только что исполнилось семнадцать, я был полон сил и надежд! Перебравшись через речку, недалеко впадающую в Дон, вскоре крутил педали по луговой долине, которая тянулась на десятки вёрст и при которой располагалось родное село моей матери. Открылась недалёкая от родительского дома Поддубновка в три десятка хуторских хат. Она неожиданно заставила меня вспомнить едва не все хуторки, деревни, сёла, уездные городки моей малой родины и в который раз порадоваться поэтической звучности их: Лебедь-Сергеевка, Новотроицк, Богоносowo, Голубая Криница, Зелёный Яр, Высокая Дача, Славянка, Старая и Новая Калитва, Россошь, Ольховатка Семейки, Белогорье, Павловск, Острогoжск...

И вдруг, как будто кем бережно поддерживаемый, я со своим велосипедом мягко и плавно ушёл по грудь под воду — в незамеченное крохотное озерцо ласковой, тёплой воды. Само это погружение словно таило некий былой и будущий смыслы. В необъяснимом радостном порыве я снова и снова повторил погружение в необычную купель. Затем, отбросив велосипед, упал в травы.

Волнуемый неясными чувствами, подумал, что яма с водой могла быть воронкой от войны, гремевшей здесь пятнадцать лет назад; и лишь подумал об этом, как в моих ушах загрохотала она, постоянно памятная мне, хотя тогда мне и трёх лет не исполнилось. Я услышал взрыв. Непонимающе-напуганный, увидел удаляющийся чёрный самолёт, им расстрелянное пастбищное прилесье, убитого ребёнка, как на пронзительно-щемящей картине «Фашист пролетел».

Когда, долгие годы спустя, на избытке жизни, прожитой вдалеке от малой родины, я вновь оказался на лугах юности, то уже не увидел ни одной из хуторских хат, ни мельницы на взгорье, ни луговой долины в её былой первозданности. Не увидел, но чувствовал, что только воронка куда не подевалась: тёплая с детства, она в моём незабывающем подсознании давно приобрела образ зловещей ямы — ямы с ловушками, силками, капканами, ямы со змеями... Она — или природная, от изначального сотворения впадина, или разломная глубь от землетрясений, пожаров, потоков, или ложбина с лесками, спалёнными молниями, или же, словно отметина человеческой спешащей деятельности, карьер-котловина — она углублялась и расширялась.

И опять «вдруг»... Резко и необратимо, на луговой долине своей юности вдруг почувствовал дыхание бездны. И долго пробыл там, съединённый юноша и старик, прося у Неба пощадить будущего человека — убрать с его пути (с пути человечества) ямы, ямы, ямы, которые низвергают в inferнальный провал, в бездну, в ад; просил и умолял Создателя, Творца, Зиждителя, чтобы он отвёл будущего человека от ям — физических и духовных и чтобы долины и холмы, грады и веси излучали более всего тепло и свет.

Пути-дороги

Дорога в райцентр — долгий, как летний день, просёлок — легко стлала под ноги пёстрый ситец лета. Но как же трудно давался этот путь по стойкой зиме, в февральскую круговерть, когда белёсые метели-завирухи заметали всё вокруг — до крыш, до крон!

Сколько брал глаз — всюду без единой морщинки белая скатерть выстуженной степи, нет и намёка на дорогу. Тогда, в детстве, казалось: не выбраться из села, не проехать, не пройти ни пешему, ни конному; и лету никогда не набрести на родное село.

Но всегда кому-то позарез надо было ехать в район, и вот уже первый санный след по косогору — глубокий, манящий. В юности и самому выпадало первым начинать до поры до времени невидимый никому зимник.

Позже — каких дорог не выпадало в жизни! Искаживал немереные вёрсты пыльными большаками, лесными окольными тропинками, спешил горными серпантинами, асфальтовыми, бетонными автострадами.

Дорогами связывались пространства и времена. И живые души, живые сердца — тоже. Недаром у наших прадедов столько песен да раздумий о дорогах и раздорожьях.

Стезя. Дороженька. Путь-перепутье. Дорога для пешего хода. Или же столбовая — для колеса. Доступная всем ветровеям или же с защитной «просадью» — уходящими вдаль

рядами деревьев-«мужчин» — дубов, клёнов, тополей и деревьев-«женщин» — берёз, лип, верб...

Сколько их, забытых, быльём поросших! Сколько новых сверкающих трасс!

У Бога дорог много, говорится в народе, и нет незначительных (а ложные человек обычно сам себе избирает или же ему «подсказывают» греховные страсти).

Видишь современную дорогу — и день и ночь машинную многолюдницу, и вспоминаешь евангельски-древнюю полуденную — «ту, которая пуста».

Дано вывести человека на спасительную дорогу или непреодолимо заказать ему путь. В досаде и недоброте говорят: ска-тертью дорога! Но чаще, по счастью, слышишь: счастливого пути!

И пусть никогда не зарастает чертополохами, пусть будет у всех добрых на земле дорога! Открытая и корыстью не взятая дорога!

Плыл, ехал, летел по огромной стране. Взглянешь на карту — пять тысяч вёрст до тугого маленького кружка «Воронеж», а оттуда — ещё двести километров, где твоя малая родина.

Плыл, ехал, летел, куда ни забрасывала судьба. Пересекал границы, проезжал европейскими, азиатскими землями.

Со временем человечество станет единым домом. Но и тогда пребудет капелька малая — родина малая. И воспоминание о родине отчей, национальной не стает, не уйдёт.

Взглянешь на карту, где, подобно зрачку птицы, мерцает знакомый синий кружок, и будто увидишь с юности узнаваемый город, откуда всего двести километров до самого дорогого для тебя уголка придонской земли. И, уплывая, уезжая, улетающая всё дальше от малой родины, мысленно начинаешь обратное путешествие. И вот уже районный городок, весь в садах, с бело-голубой колокольней, затем сизый шлях через долгие немые поля, затем зелёный яр с тихими купами верб, дорога на подъём и... и с забытого увала — белые хаты, белые косогоры и река твоего детства. Дон. Он синий, он сизый, он серый. И ты купаешься, взмываешь на его беспечальной волне, а потом возвращаешься в отчий дом. Он давно уже прах. И всё же он есть. Темнеют зарубки на дверном косяке, и под сенью акаций дремлет окошко, в которое ты заглядывал на звёзды.

И ты всё меньше, всё беспомощней. Теряется, ускользает нить. И вот точка. И вот... тебя ещё нет в мире.

1965—1985

ТЕЧЁТ ВОДА...

Публицистическая повесть-мозаика

Ещё в молодости, запав в сердце, не отпускала меня эта строка: «Течёт вода, и утекает жизнь», которая тогда виделась лирико-философской и даже самим названием объясняющей возможную повесть в мозаичных, не связанных друг с другом картинах, сценах, эпизодах, промельках быта и бытия. Но, как и всемирная вода (то бурный водопад, то спокойное речное течение), жизнь не бывает размеренно-монотонной и всеобозреваемой; один лишь час из того, что происходит в мире, в городе и даже отдельном человеке, не поддаётся исчерпывающему описанию. С таким ощущением невозможности отобразить пусть бы и мало-мальскую толлику цельного бытия, хотя бы в приблизительных эпизодах и строках выразить сущее, я, естественно, не взялся тогда за вещь не совсем привычного жанра.

Правда, в восьмидесятые годы прошлого века на бумагу легли разрозненные заметки, как мне казалось, обозначившие мыслимую повесть-мозаику. Но скоро они затерялись меж прочих бумаг; и лишь в веке нынешнем, во втором его десятилетии, были найдены и к ним в композиционный строй повести добавлены новые страницы в попытке отобразить некоторые явления современной жизни, ставшей столь подменной и грозящей человечеству цивилизационными, социальными, расовыми, климатическими, генетическими, биологическими, физическими, нравственными, электронно-кибернетическими, информационными войнами, потрясениями, разломами, трагизм которых мало что из написанного пронизательно и полно объемлет. И тогда снова и снова во всей непостижимой выси открывается Новый Завет, Книга Благой Вести, Евангелие.

Пролог

И каждый день, на утренней заре и в полночь, раздаётся не всеми слышимый голос: «Потопные воды поднимутся выше самых высоких гор, пожары вселенские спалят всё живое. Или забываете, излукавленные люди, рабы суеты, о конечной точке своего земного бытия?»

Колесо кружится, на мировых холмах и стремнинах отсвечивают, вздымаются и угасают блики, травы и волны — Вселенная и жизнь удаляются и возвращаются вновь.

А ты, путник (в руках то посох, то ветка, то серп, то копьё, то автомат), идущий через века, через океаны и континенты, — лишь малая песчинка среди нескончаемого хаоса песчинок в огромном мире; из увиденного и пережитого тобою даже мозаики не составить, которая бы не осыпалась, а стала украшением храма, будь твоя жизнь праведной.

По обочине изорванного пути (с одной стороны густо, с другой стороны редко) бредут люди. Это твои предки и твои потомки, но почему же потомков всего только горстка? Или и твой род прерывается, уходит в иное бытие, как то случилось с миллионами других?

Тревоги детства

Посох ведёт тебя по пустыням и оазисам Ближнего Востока. Каким образом ты здесь, когда ещё час назад с прибрежного холма оглядывал Дон, устремлённый своими водами из вечности в вечность, и ты чувствовал величавое и необратимое течение бытия? Но вот... не молодая срединная Россия, а древняя далёкая Палестина.

Когда в сурово-дальние времена рождались дети, первые дети, положившие начало человечеству, их тоже обмывали в водах, — где тёплых, где похолоднее, — в водах, взятых из родников, рек, озёр, морей, океанов, водах Ганга, Нила, Иордана...

В мире тебя ещё нет

Семь (или сколько их?) тысячелетий цивилизации, где всё: и высочайшие взлёты человеческого духа, и глубочайшие его падения... а ты ещё ничего не видел и ничего не ведаешь, потому что есть беспредельный океан, наполненный довременными водами, огнём и мраком; там свои блики, зыби и волны, и ты ещё там...

И чтобы ты появился на Свет Божий, будущему отцу надо было приехать на учительство в славное криницами село, встретиться с радостными и тревожными глазами чернявой малороссиянки-старшеклассницы... Что ж, всё так и случилось.

Они поженятся, они уже три года вместе, есть у них дочь и сын, но тебя-то всё ещё нет... Вернее, ты уже в телесных

глубинах матери, в тёплых водах её лона, но ещё ничего не ощущаешь — не то что семь тысячелетий цивилизации, а даже малую свою родину — три полоски к Дону тянувшихся хат, левады в осоках да бугры в горичветах... Впрочем, небесный купол над землёю един, но ты и неба не видишь: в мире тебя ещё нет.

Глазами младенца

В белом, стерильно чистом роддоме раздался крик: родился человек! Белые простыни, белые линолеумные полы. И белые, слегка желтоватые, как молоко юной матери, стены. Белёсомутноватые глаза младенца ещё ничего не различают — ни цвета, ни пространства, ни стен. Со временем всякое многостенье окружит его — стены родного жилища, детсада, школы, университета; может, стены казармы и больницы; может быть, сияющие, увешанные оригинальными полотнами стены особняка, а может быть, и серые голые стены тюрьмы, ибо на веку — как на долгой ниве, и недаром молвится: не отказывайся ни от суммы, ни от тюрьмы.

Но стерильно чистому роддому нет и ста лет, а во все века было: рождается человек в пещере и хижине, в поле и лесном овраге, на горном перевале и на приморском песке; рождается на повозке и на сырой земле, нередко под грохот и брань, когда младенческое сердце уже чувствует гарью исходящие пожары войны и мира.

И помешать рождению человека может чаще всего сам человек.

Маленький сын и космос

Отец склоняется над крохотным сыном-младенцем в первой его кроватке. Белый комнатный потолок, которого как бы и нет: едва открывшимся глазёнкам всё равно что потолок, что небо. Непрояснённые глазёнки, равнодушно воспринимающие вся и всех. Растительная жизнь? Но в глубинах, более далёких, чем космос, что-то проникается, что-то видится, ещё или уже не видимое отцу.

...Маленький сын из распахнутого окна окраинной пятиэтажки долго вглядывается в небесный свод. «Папа, а звезда в ладошке уместится?» — «Нет!» — «А в нашем доме?» — «Нет!» — «А на всей земле?» — «И на всей земле не уместится». Сын недоверчиво молчит, затем восклицает: «Когда я вырасту — полечу к вон той звезде (указывает на самую яркую в ковше Большой Медведицы), она мне нравится. Как Света на детской площадке!»

...«Звезда падает!» — ребёнок восторженно зовёт родных, видя, как на небосводе устремляется к земле огненный хвост — рассыпчатый потухающий след.

Почём малышу знать, что упала, разбилась человеческая жизнь?! В тысяче километров от города, в чахлой песчаной степи догорал потерпевший крушение пассажирский самолёт, по трапу которого ещё час назад среди ста двадцати словно кем-то приговорённых поднимался и его отец.

...Пятилетний сын, проснувшись: «Папа, я всю ночь не спал. Мне надо идти к врачу Ночи». Он же, когда они с отцом миновали околицу, видя, как дорога выводит на вершину холма, звонко удивляется: «Папа, гляди, дорога поднимается в небо!» А когда возвращаются, размышляет, в свои слова ребёнка вмещая и взрослого: «Папа, а в небе, наверное, хорошо? Я бы там поспал в облаках. Только как туда дотянуть кровать из нашего дома?» И доспрашивает: «Папа, а я похож на цветок? Мне говорят, что я похож и на папу, и на маму, а мне ночью приснилось, что я похож на цветок одуванчик».

Нечаянно рождённый

Ему ещё долгие месяцы ждать до того, как родиться, да и вопрос: появится ли он на белый свет? Несколько раз родители заговаривают, как трудно будет прокормить пятерых малых, да и время — тревожное, предвоенное, а начнись война — не дай, конечно, Бог, — что вообще останется от дома, от семьи, от страны?!

Но в последний разговор дедушка-старовер, отец исходящего в сомнениях отца будущего ребёнка, отрезал сурово и непреклонно: «Дитя — создание Божие и принадлежит Богу. И меньше всего вам. Хорошо, если воспитаете его благонравным человеком. И Бог возрадуется, и сын спасибо скажет. Какая ни выпадет погода, дитё уже живое и должно жить!»

А он, трёхмесячный, родителям своим из материнского лона трубит ножками, умоляет и обещает: «Я буду послушным, добрым, исполнительным, благодарным, я не буду грешить!» — не совсем понимая смысл последнего слова.

Минуло полвека... Он не смог стать тем, кем обещал. Самое прискорбное — таскает за собою неснимаемый рюкзак грехов: там и обманы, и слабости, и грубости, и заросль гордыни, и семейная нечуткость.

А когда он, выбившийся на верхи, из столицы приезжает в село, где родился, прежде всего спешит на могилу к дедушке. Погост он и есть погост, но насколько было бы теплее, если бы он покоился в берёзовой роще или в придорожной полосе ржи, пусть и не постоянно навещаемый. Нет, этот погост — нагой, сухотравный, на глинистом косогоре — вроде бы и в селе, и вне села.

Никто не видит, как плачет пятидесятилетний, грехами наполненный человек, стократно и страстно шепчущий: «Прости меня, дедушка, прости меня, родной!..»

Никто и никогда не услышит его покающую скорбь.

В весёлом зимнем парке

В окраинном городском парке постоянно слышался детский смех. Парк и замышлялся, и строился ради детской радости.

И чего только не было в нём: самолёт, отданный под кино-театр, автодром, тир в пасти железного зверя, детская железная дорога, всяковские аттракционы. Главное же — городок сказок. Меж молодых берёзок возносились бревенчатые островерхие терема царевны Несмеяны, изба-печь простецкого парня Емели, за каменными отрогами полыхали огненно-красные языки, гнездились царство Кощея Бессмертного, чернела ведьмацкая прокопчённая труба, откуда Баба-Яга лихо вылетала на метле.

Этот воскресный день (может, лучший за всю зиму: слегка морозный, щедро солнечный, с молодым снегом и сказочным инеем) парк был заполнен большими и маленькими отдыхающими, повсюду разносились весёлые детские голоса.

И вдруг...

Они шли молча, как бы толчками, по утоптанной дорожке, тянущейся через весь парк. Высокий стройный отец и — гнутым деревцем — его сын, калека-отрок; одной искривлённой ручонкой сын судорожно хватал отца за локоть, а другую — искривлённую — резко выбрасывал вперёд, словно бы грозя неизвестно кому и чему; он теснил отца с дорожки в снег, и видно было, что требовались немалые усилия, чтобы удерживать подростка идти ровно.

У отца — покорное страдание в глазах, у сына — отсутствующее, жутковатое выражение на лице. Так они шли молча, а вокруг шумно резвилось веселье.

И только один стареющий, уставший жить мужчина, видя радостное и скорбное, молил, чтобы выздоровел этот несчастный отрок и выздоровели миллионы их, маленьких калек, иначе — зачем этот весёлый парк и великие творения человечества в слове, в краске, в звуке?!

Не о слезинке ребёнка думал он — о реках слёз человечества, которому во все века в испытание и наказание за грехи даны больные дети.

Детская коляска

В вечернем парке — редкие отдыхающие. На поляне — молодая семья. Отец и мать, сидя на скамье, придвинутой к медноствольной сосне, вспоминают фильм «Белое солнце пустыни», а маленькая девочка в красной курточке (медведь-капюшон) покачивает, толкает взад-вперёд красную коляску. В маленькой девочке — извечная мать, оттого она и покачивает, и раскачивает подвижную колыбельку. Сейчас её самой усадят в эту коляску и увезут спать.

Но сколько же на земле колясок, которые однажды окажутся пустыми, потерявшими теплоту детских телец!

Отчий край и земной шар

Первое чувство родины — восхождение с отцом на высокий меловой кряж, почти отвесно ниспадающий и словно бы врастающий в Стародонье — старинное русло Дона. Открывается такая даль, что видишь не только песчаное, сосновое заречье, и предстают глазам не только левобережные Николаевка, Казинка, правобережные Духовое, Семейки, но и невидимые за полевыми холмами, нивами и дубравками малые хуторки с чистозвучными названиями: Ясное, Солонцы, Вершина, Архангельское, Славянка...

Уже школьником, увлечённый далёкими географическими названиями, ты полюбил эти восхождения так, что недели, а то и дня не бывало, чтобы не поднялся на макушку гряды, заветный причерный венец, самый заметный по округе слан меловой толщи, с которого мог мысленно видеть, как Дон, пополнив своими токами моря: Азовское, Чёрное и Средиземное, смешивается с водами Атлантического океана, и капельки его воды достигают Африки, Северной и Южной Америк, причудливо, через иные моря и реки попадая во все мыслимые и немыслимые точки земного шара.

И — удивительные миги — видишь себя на океаническом острове Святой Елены, на безжизненном взгорье Огненной Земли, и там, где впадает Амазонка в океан, и там, где вздымаются сталагмиты нью-йоркских небоскрёбов, и у Мёртвого моря, и на одном из оснеженных холмов Аляски. Скорей всего, это был не ты, а целый собор родственно настроенных мальчишек, разных цветом кожи, разных возрастом, которым тоже открывалась своя малая родина и земной шар — большая родина человечества.

Тогда ты и подумать не мог, что у многих из нас отнимут нашу малую родину. А иные и просто в поисках лучшего покинут её и легко забудут.

* * *

Как мальчик был —
С селом дружил.
А юным стал —
Весь мир объял
И полюбил.
И думал я,
Что не из злата-серебра,
А из приветного добра —
Вся жизнь моя.
Жизнь — нивы стон,
А не салон,
Не бал,
Не праздное «Кружись!»,

Страда есть жизнь!
И во все дни свои —
Трудись!
И во все дни свои —
Молись!

Однажды в юности

Посох уводит тебя в юность человечества, в столицу древних Олимпийских игр, и неожиданно ты становишься юношей, метаящим копье, в которое обращается твой посох. Соревнуются дискоболы, бегуны, борцы. Но главное — состязания на колесницах-квадригах. Сколько погибших и искалеченных возниц и коней при заездах тех квадрил! Но зрелище уже неотразимое, азарт игры уже неодолим...

В юности ставятся мировые рекорды на олимпийских стадионах, бассейнах и площадках, в юности гибнут в море-океане отважные моряки, в юности отчаянно плывут навстречу своей гибельной или счастливой судьбе, захлёбываясь водой.

А кто-то в раскалённой пустыне версты не добредает до оазиса и, не имея спасительного глотка воды, обессиленно падает.

Два дерева на горизонте

В южной безводной степи — военный городок. На дальние километры вокруг — чуть волнистая безрадостная пустынная равнина, зимой — белая от снега и солнца, летом — жёлтая от солнца и песка. Большие многолюдные города далеки отсюда. Может, за тысячью горизонтов.

На первом видимом горизонте — два зыбких дерева, их, при желании, можно принять за хрестоматийные пальму и сосну, которые, наконец, встретились. Для проходящих здесь службу эти два дерева — как вестники о другом мире, где днём и ночью ни на миг не стихают их родные бессонные города.

На контрольно-пропускном пункте воинской части к столбу приколочен почтовый ящик. Синий ящик — как окно в родину. Уже опустив конверт и глядя на зыбкие деревья на горизонте, какие-то единственные слова беззвучно скажет часто приходящий сюда молодой парень в солдатской форме. Иногда ему кажется, что деревья медленно-медленно сближаются. Любимая, дождись!..

Письмо

Полуденный летний час. Из раскрытой двери почты выходит девушка. Глаза... впрочем, их не видать: они в письме. Медленно бредёт она через двор, вся погружённая в чтение. И улыбается, улыбается. На миг поднимает глаза — чистые, но и чуть затуманенные, большие — истинно прекрасные очи юности. И вновь читает. Забрела в цветник, уткнулась

в штакетник; на миг очнулась и, выйдя на тропку, опять — вся в письме, вся — где-то там... Её любимый, её желанный пишет длинные письма, наполненные радостным чувством грядущей встречи, воспоминаниями, как расцветало их чувство, и сколь прекрасны были встречи у берега реки или за околицей, где они бродили, самые счастливые на земле.

И покамест такие письма со штемпелем войсковой части — лучшие мгновения её жизни.

...А у её дочери — дочери от любимого, погибшего в приграничной перестрелке, сотовый телефон, и обменивается она со своим парнем не письмами, а эсэмэсками, вроде: «Не приходи завтра, еду в город в салон красоты. Не узнаешь: вся под Голливуд! Приходи послезавтра». Новые времена — новые песни...

В процедурном кабинете

— Оля, как отпустили тебя хлопцы из твоей деревни? Ты такая милая...

— Теперь повсюду одни милые, — отстранённо отвечает медсестра областной больницы, явно не желая продолжения разговора ни в процедурном кабинете, ни где бы то ни было.

Получив свою дозу пантокрин в известное место, больной, мужчина лет за сорок, большегубый, чуть лысеющий, тщится заигрывать с двадцатилетней медсестрой, а той противно, так противно, что хочется... хочется с размаху залепить в сальные губы, в тёмные глаза, нагло уже раздевающие её. Год назад наобещавший ей с три короба сановитый пациент, тоже большегубый, чуть лысеющий, сумел улестить её, и ей кажется, что это опять он, но уже под другой фамилией и с изменённым голосом.

Бритва для любимой

В послевоенном детстве он любил наблюдать, как бреется отец. Это было похоже на священнодействие. Превосходная немецкая складная бритва разворачивалась во всей приманчивости, из бортиков чёрно-блестящей пластмассовой оправы появлялось острое стальное лезвие, и отец принимался, не торопясь и уверенно, брить щетину — так хороший косарь в час косовицы уверенно, без огрехов, срезает рожь.

Ночью в больничной постели красивая, со следами душевной боли и усталости девушка вынула из-под подушки складную немецкую бритву «Золинген» — острое стальное лезвие в чёрно-блестящих пластмассовых створках.

После того как в гололёд она попала под трамвай и с искалеченными ногами оказалась в больнице, её жених, её любимый навещал её месяца полтора ежедневно; затем — через день; затем всё реже, реже...

Бритву он принёс после долгих, настойчивых её упрасиваний, якобы нужной ей как подарок для родственника-военного, коллекционировавшего бритвы и перочинные ножи.

Так разве ж он виноват? — пытался успокоить себя, когда в его благополучную жизнь с красавицей женой — длинные ноги и тугие бёдра — врезалась вдруг, словно бы сама бритва, мысль о бритве, когда-то безрассудно-жестoko переданной им близкому существу.

На могиле отца, кааясь за все свои скверные поступки на земле, он и рад бы да не может не вспоминать и про бритву, которую в ранней юности выпросил у человека, давшего ему жизнь, и которую обещал хранить как чудесную явь детства и никогда не выносить её из дома.

И больше её он не видел

Она была выпускницей десятого класса в придонском городке, куда он приехал на сборы в спортивный лагерь. Чуть моложе её, он, словно опережая свой возраст, стал «восклицательным знаком» не только лагеря, а и всего придонского городка: пробежал, прыгнул, метнул копье успешнее всех. Она залюбовалась им, и он был в том юношеском робко-дерзком возрасте, когда не мог не очароваться красотой девушки. Как-то само собой получилось: их словно потянуло друг к другу.

В поздний июньский час они бродили вдоль берега Дона, и там на них набросились четверо, которых он расшвырял, двоих загнал в воду. Но последний успел полоснуть его ножом.

Она требовательно попросила зайти в дом, промыла и обработала лёгкий порез на его шее, сказала, что не отпустит, не угостив своими целебными чаями. И они ночь отдали друг другу. Под утро он по-крестьянски основательно заговорил о будущей женитьбе, но она безрадостно усмехнулась: «Мой отец — первый секретарь райкома. Берут на повышение, в ЦК... Он завтра с мамой возвращается от родственников, на неделю поедет на Чёрное море, а там и — здравствуй, Москва, столица прогрессивного человечества. Так что... у нас с тобой случилась счастливая ночь, а долгого счастья не будет. Счастья вообще не бывает!» — «Да откуда ты такая философия?» — «Я пра-пра-пра... внучка Аристотеля».

До женитьбы он часто заглядывался на красивых молодых женщин, надеясь увидеть в одной из них её. Но все они, даже изукрашенно яркие, виделись ему бесцветней её. Он достиг вершин в спорте, стал олимпийским чемпионом по метанию копья, рекордсменом мира по самой длинной дистанции на лыжах. Знала ли она об этом? И как сложилась её судьба? В столичных верхах? Или, может, она живёт простой жизнью где-нибудь в сельской глухомани? Или её всю жизнь мучают бессонницы и болезни? Или её сразил нож, когда-то предназначенный ему?

Поистине, как у Чехова: «Мисюся, где ты?» Но только это паточное имя ни в какое сравнение не могло идти с высоким именем его первой возлюбленной, его первой тайны и драмы.

За Гомера оценка «отлично»

«Ахиллесом» обаятельного Константина Николаевича Старинцева, преподавателя античной литературы и истории Древнего мира, мы, университетские насмешники от студенчества, называли неспроста, а за его поистине героическую любовь к античной Элладе, среди великих имён которой им до восторга были любимы и до философских узрений осмыслены славнейшие из славных — Гомер и Геродот. При одном упоминании их, вместе или порознь, докторски остепенённый преподаватель воодушевлялся и мог часами свидетельствовать об их величии. Из его вдохновенно-воодушевляющих лекций выяснялось, что Геродот, сколь научно до конца ни выверен, сколь ни легендарен, подчас фантастичен, словно теряющийся в дымке древности, навсёгда своими историческими трудами дал тот образ мира, который на протяжении тысячелетий меняется лишь в событиях, именах, картинах, но не в существе своём. А Гомер — и вовсе неоспоримое: «Илиада», да и пусть и в меньшей степени «Одиссея» — это не эпос Древнего мира, но всего человечества на все века.

Экзамены по истории Древнего мира или античной литературе превращались в сплошной триумф древних греков — именно двух величайших из великих. Разумеется, вопросы были не только по Гомеру и Геродоту. Но стоило кому-нибудь из нас, отвечая, скажем, на вопрос о значении исторических трудов Фукидида, Гесиода или трагедий Эврипида, Софокла, сатир Аристофана произнести несколько общих фраз о них и походя отметить черты, сближающие их с двумя «первогреками», как лицо Константина Николаевича светлело, воодушевлялось, и он мягко просил: «Вы об этом подробнее... Можно так: прямое или не прямое воздействие Геродота на Фукидида». На экзамене по античной литературе иной студент, изо всей античной литературы и прочитавший разве что Гомера, взяв билет по Гесиоду, скорёхонько переходил на создателя «Илиады» и под одобрительное киванье «Ахиллеса» рассказывал запомнившееся из гомеровской темы. И в студенческой зачётке Константин Николаевич с явным удовольствием выводил оценку «отлично».

Четверть века прошло с той поры. Перебирая имена студенческих лет, чаще других вспоминаешь преподавателя античности, правоту его любви: обожаемые им Геродот и Гомер, при всей наивности и фантастичности многого в их сочинениях, дали развёрнутую картину мирового движения человечества. Разве не так? Разве «Илиада» не подтвердилась новыми «Илиадами»? Русские «Война и мир», позже «Тихий Дон» — разве не отечественные и всемирные «Илиады»?

А Геродот? Разве он (по преданию или в действительности побывавший в скифском Северном Причерноморье, Приазовье

и даже на Дону, то есть на юге грядущей Российской империи) не предугадывал пророчески трагический и героический русский путь?!

Ночное открытие

В ранней самонадеянной молодости выпала ему ночь — словно целая жизнь. Нет, здесь была не дьявольская воля и не наваждение, здесь, по свободному выбору, даруемому Провидением, он имел душевное сверхзрение и возможность духовно путешествовать по всему обитаемому земному миру, словно бы на машине времени и в мгновенном, световом преодолении пространств.

Он вышел из дома на берегу Дона и для начала решил посмотреть великие реки мира. И увидел их — разные (Волга, Днепр, Енисей, Нева, Эльба, Сена, Амазонка, Миссисипи, Нил, Ганг...), далёкие друг от друга, но будто ведущие согласные разговоры близких. Возле рек, да ещё впадающих в моря, в океаны, располагались большие города и малые деревни. Ему не терпелось, хотя бы как в движущемся кадре, обозреть большие музеи (московские, лондонские, парижские, мадридские, петербургские), и он действительно побывал в них. Долее всего в тихом духовном просветлении стоял в дрезденском Цвингере у рафаэлевой «Сикстинской мадонны» и в петербургском Русском музее у нестеровских инокинь.

Тут нагрянули великие войны и сечи человечества. Сколь мог, пережил наималую часть их, не сразу и тяжело приходя в себя от пережитого.

И оттого ли до ломоты сердечной захотел увидеть живую жизнь, прежде всего — молодые семьи. Во многих странах — отец, мать и двое, трое малышей; зрелище отдыхающей под густыми кронами молодой счастливой семьи с троицей (или сколько их) резвящихся деток — из самых благодатных на его житейском пути.

Вскоре почувствовал, что и ему на великих пространствах земли, среди множества народов и их юных дочерей, должно найти свою избранницу, свою Музу, Ладу, будущую мать своих сынов. И почему-то неодолимой силой Отечества потянуло его в родной губернский град, в родной университет, где на самом пике гудел студенческий вечер географического факультета и в углу актового зала — тоненькая, всецеломудренная, с огромными с прозеленью глазами и длинными ресницами, стояла она — его судьба!

Ночь была то светлая, то тёмная, как и жизнь человеческая.

И они вместе вышли в ту ночь, чтобы вместе встретить рассвет. И вместе сладить свою, тогда ещё сквозь дымки надежд и очарований, робко угадываемую будущую жизнь.

* * *

Я три юности прожил...
В ранней юности куролесил,
Был беспечен и весел,
Чьи-то судьбы тревожил.

В зрелой юности, зрелостью мал,
Шёл дорогой ли, бездорожьём,
Как всё сложится — знал и не знал.

В поздней юности, покружив,
Ощутил (словно бритва по коже),
Что за всё я в ответе, чем жив.

Юность — память и ныне, ибо
На её возвращённой волне
Стыдно, больно, радостно мне...
И за всё — через годы — спасибо!

Природа

И посох твой — взят у природы, и все посохи мира — от природы.

Ещё не осознавая этого, в раннем детстве, а затем и сознавая — до самой смерти чувствуешь, что природа — творение Божие. Иначе, иначе... Чудо природы — в человеке, в коне, в птице. Но разные бывают и человеки, и кони, и птицы. Есть хищники, и кому-то они нравятся. Как нравятся волки, лисицы, а мелкодушным и низкосердечным — даже гиены и шакалы.

А твой внук, трогательно чуткий и болезненный мальчик, носящий имя апостола Первозванного, с детства оберегает жучков и бабочек, любит и знает почти все деревья и травы среднерусской полосы и печалится, когда рубят дерево или обрубают ветки, или даже листья с ветки сбивают: «Они живые!» Невольно вспомнишь собственные, тревог исполненные ранние строки: «И человеку ли с руки / Рубить всемирный лес? / Прогресс, ведущий в тупики, / Опасней, чем регресс».

Небесный Ганг

И не вернуть те времена, когда Ганг — священная река индусов — протекал тремя потоками: на земле, под землёй и на Небе. Или вернее так сказать: потребностью человеческой, духовной было, чтобы Ганг протекал, струился тремя потоками: на земле, под землёй и на Небе... И на Небе!

Лейтенант и плотвичка

Ослепительно зажглась, заставив меня онеметь, летняя солнечная картина из детства. Стародонье, полуденный жаркий час, челнок, на котором сосед Веретень — молодой, сильный,

чуть хмельной. Неделя, как он вернулся с войны и гордится, хвастается, что он лейтенант, что у него пистолет, каких нет в селе, что на него не без восхищения заглядываются девчата и малые, в семь лет, мои дружки. Ватага стоит у самой воды, а Веретень правит, едва-едва подвигая чёлн. Вдруг он, кинув весло, вынимает пистолет и, подув на него, на наших глазах разряжает обойму в воде у челночного борта. Мы онемело глядим, как он минутой позже подбирает за бортом что-то белое, видать, малую рыбёху, как лениво вновь берёт весло. Небрежно и лихо вгоняет челнок в прибрежный ил и с возгласом: «Лови, сопляндия!» бросает рыбку в нашу сторону. Мы расступаемся, и плотвичка падает в круг. Мне приходилось видеть, как глушили рыбу толковыми шашками, и, соединённые общей бедой-участью восково-жёлтые, искалеченные и неживые, переваливаясь с боку на бок, разнорыбицы поднимались на поверхность воды. И всё же их было не так жалко, как эту единственную, с сизо-красноватыми беспомощными плавниками...

Через десять лет. «Веретень, помнишь несчастную плотвичку? Я приглашаю тебя не на ужение рыбы — я вызываю тебя на поединок!»

Родники и ручейки

В детстве, в его родном селе, с боковины приречного холма, похожего на гигантскую булаву, пробивали в разные стороны (один на восток, другой на запад) два родника; словно два брата, избравшие противоположные жизненные пути. Близ истоков они укрупнялись в ручейки. Один ручеёк метров через триста втекал в Дон, а другой — медленно струил по скосу придонского холма и у левад, у заросшего крапивами оврага внезапно уходил в почву.

Он любил эти родники, эти ручейки, и редко не бывало дня, чтобы не навещал их.

Приходил к «донскому», долго разглядывал, как из глубинно выбивается чистая, будто стекло, вода; нагладившись, шёл вдоль изворотов тоненького ручья, пока тот, тихо журча, несмелый, как первоклассник, не впадал в Дон.

Возвращался назад, переходил к роднику «степному», и всё повторялось: долго разглядывал, как на поверхность из глубинных недр освобождённо пробивалась чистая ключевая вода, а затем также шёл вдоль змеевидного ручейка, пока тот близ оврага не пропадал в земной глубине.

Снова возвращался, снова долго сидел в заветном уголке, теперь уже зачарованно разглядывая холмистые полевые окрестности родного села и задонское, в песках и соснах, заречье. Наполнял бутылку родниковой влагой и скоро оказывался на отчем подворье. Когда говорил маме: «Ходил за водой», она его поправляла малороссийской поговоркой: «Пойдёшь за водой — назад не вернёшься!»

Всё же через полвека вернулся. Ушли в мир иной его старшие родные, ушли учителя и сверстники-сослазники, село и природа вокруг изменились неузнаваемо. После встречи с нынешними учителями и школьниками он поспешил к заветному уголку детства. Но холм был мёртвый: о родниках ничто не напоминало.

Богато выглядевшие дома-терема по берегу Дона казались бессмысленными в селе, потерявшем главное богатство — родники. Почему они однажды отвернулись друг от друга и потекли один на запад, другой — на восток? Может, истекая из глубин сообща, а не поблизости друг от друга, будь они вместе, беды бы не случилось?!

Потеряна французская болонка

На людном проспекте, на бетонном троллейбусном столбе — объявление: «Потеряна собака породы французская болонка. Приметы: белая, курчавая, на спинке и на ушках кремовые пятна, кличка: Пуся. Нашедшие будут щедро вознаграждены!!!». И адрес.

Кто теряет отцовский дом, кто близких, кто жизнь свою, а тут... болонка. Ну, что ж, может, для потерявшего или потерявшей болонка — самое близкое, что у них есть; но прочитавший объявление меньше всего думал об этом, глядя, как мчатся скорые, скорые, скорые, а их, считая секунды, ждут матери, дети которых исходят сорокаградусным жаром болезни.

А собаки и собачки, украшающие, стерегущие, природо-единяющие нашу жизнь, разные они, как и люди?

Собаки, лучшие друзья дома, случается, загрызают малых деток, и их родители теряют радость жизни, запоздало почувствовав изглубинный, горячий, враждебный блеск хищных глаз.

Собаки-псы удовлетворяют жаркий плотский голод нетривиально себя утоляющих женщин, и что таковым мужчины, что им дети, что семья?!

Собаки собираются в страшные стаи, обживают мёртвые города, и горе тому, кто окажется поблизости.

Конь и воин

И когда, с детской поры, перед мысленным моим взором разворачиваются свитки истории, всюду и везде я вижу коня — на поле брани и на мирной ниве, на цирковой арене и на механически бесконечном кружале, впряжённого в военные и спортивные колесницы, в городские тарантасы и деревенские подводы; коня, вечно что-либо или кого-либо везущего, прекрасного и самого терпимого к человеку невольника, какому разве что стригунком выпадает проскакать на воле.

Я не мог не написать повесть о коне, разумеется, зная, что о нём написаны тысячи книг, зная, что и тысячам книг не

передать страдный трагический, героический, поэтический путь коня.

Один эпизод из неисчислимого их множества. Дон. Глухой, далёкий от станиц прибрежный, в вербах, затравелый поясок. У берега, почти у самой воды, раненый (Гражданская война) всадник, не приходя в себя, лежит день, второй, третий... И возле, чутко и преданно вперив в родного наездника крупные, как сливы, до блеска тёмные глаза, стоит конь — день, второй, третий...

Реликтовая роща

И в далёкой древности, и ныне могла бы роща радовать предков и современников раздольными холстами берёз и медью сосен, но никак не выростала на крейдяной почве, на почти отвесном малотравном спуске от верхней седловины кряжа до низинного луга.

Внизу, у берега знаменитой реки, росли большие осокори и вязы, а реликтовая рощица из кривоствольных, меньше роста человеческого берёз и сосен не задерживала взора местного народа, разве что в последние годы интересна стала для геологических студенческих экспедиций. Правда, сразу после войны никакие экспедиции сюда не добредали, но теперь кривые, неказистые, но пыль тысячелетий хранящие деревца для прибывающих со многих уголков мира — дороже любых могучих осокорей и вязов, секвой и эвкалиптов, размашисто укоренённых на близких и дальних землях.

Поживший и повидавший разные времена и страны, я кричу из раннего своего детства: «Это моя родина! Все пожалуйста, хоть изо всех стран снаряжайте экспедиции, только ничего не рубите, не крадите, не рвите с корнем!»

Рудник на вершине горы

Гора, затерянная на одном из островов Тихого океана, была прекрасна. Высоко она вздымалась: не ниже Монблана, Эльбруса и куда выше Фудзиямы. Вечно бесснежная и вечно-зелёная, с тысячами разнообразных древесных пород, никогда не мучимых короедами, жуками и червями, она была и геометрически совершенна — вся, как наряженная ёлка, уходящая в поднебесье.

А с недавних пор туда устремились полулюди-полуроботы. Медленно взбирались по крутизне самосвалы — ползли, как гигантские модифицированные навозные жуки, по нитям проводов тянулись вагонетки. С самой макушки, уменьшая рост горы, снимался грунт. Что там? Золото? Серебро? Алмазы? Чем хотят осчастливить живущих глобальные дельцы, всё дальше и выше поднимающие заграбастые длани? Человечеству, неужели ставшему обществом только потребления, что

там ещё должно потреблять, придуманное их учёными-клерками? Разумеется, палаты и офисы мировых владык располагались вдалеке отсюда и даже неизвестно где.

И оказался здесь на других не похожий горный инженер — тихо восторженный, сочувственный и благодарный миру Божьему. Пленённый величием-великолепием богоданной горы, сразу не принявший здешнего разрушительства-добывальчества, он сразу и почувствовал, что ему отсюда не выбраться.

В первую же ночь ему приснился поразительный сон, который он, вмиг проснувшись, мысленно назвал золотым сном современного человечества.

Во Вселенной рядом плывут два огромных ковчега. На одном — шакалы, гиены, гнус, саранча, клопы, клещи, жуки-древоточцы и прочие кровопьющие, кровососущие, пожирающие. Из ковчега их никуда не тянет, потому что внутри припасено им еды и крови до того дня, пока они не приспособятся питаться внеземной атмосферой.

В другом ковчеге — из чистого золота, размерами, быть может, с Нью-Йорк — крупнейшие финансисты и их обслуживающие (и вместе с тем кричащие о свободах) политики и политехнологи, социологи, певцы, стихотворцы, учёные, журналисты-публицисты, адвокаты, тоже — крупнейшие из крупнейших, виднейшие из виднейших. И все они с младых ногтей мечтали о злате-богатстве, о славе, о бессмертной жизни, и всё это отныне даровано им на необозримые времена. Вечный золотой ковчег — хранитель золотого человеческого миллиарда, венец нового дивного мира.

Далеко-далеко, за сотнями веков и пугающими цифрами километров, неуютно вращалась Земля с разрушенными кладбищами неисчислимо погибших хомо сапиенс.

А при той прекрасной горе, обвитой железным спрутом добывальчества, никакие сны не поощряются. И горный инженер наутро исчез бесследно.

Пустые дома в пустыне

Он на снимках — словно бы наяву — видел следы американской атомной бомбардировки в Хиросиме, но то, что открылось-приснилось ему теперь, было страшнее — жутче. По всей бесконечной и за четырьмя горизонтами пустыне были навтыканы дома-многоэтажки, они вздымались с пустыми глазницами окон; казалось, что однажды исполинская сатанинская сила собрала сюда миллиарды людей (заселение пустыни? весь мир — пустыня?), собрала всех вместе — и враз отравила ядовитыми газами, изготовленными для мировых войн. Отравила человечество — до последнего младенца.

Собачий вой, откуда взявшись, стал невыносим. Лаяли и выли тьмы, и тьмы, и тьмы огнепалых, разрушительных

глоток. Вдруг (сколько их? или они сбежались сюда со всех уголков убитой, когда-то зелёной земли?) в каждом окне (миллионы окон) показались по две собачьих морды. Почему-то — по две... Они на миг замерли — словно перед фотокамерой, словно жажда быть увековеченными в мириадах однообразных «портретов». Невесть сколько прошло часов или дней — и сокрушающий вой понёсся над планетой, заволакивая её жарким дымом и ужасом.

И он уже не смог проснуться.

Рудолазы в заповеднике

Это был один из лучших заповедников среднерусской полосы, основанный в тяжелейшие для страны времена, на третьем году советской власти, когда собственность становилась государственной, общенародной. И на протяжении десятков лет радовал он несравненными дубравами, озёрами, старицами казачьей реки, берёзовыми рощами, редкими травами, зверями и птицами.

Постепенно, правда, стали усыхать дубравы, перевелись зубры. И всё же заповедник жил, хранимый человеком и дававший окрестным сёлам и деревням полноту и сокровенность природного бытия.

Давно учёные-геологи обнаружили в заповеднике и близ золотоносные и никелевые жилы, и, как только по стране содеялось победное буржуазное шествие со всем подобающе-неподобающим (рынок, мародёрство, распилы государственного, народного добра, частнособственнический злой капитал), объявилась похватистая дюжина горнодобывающих компаний, и, как водится в бизнесе, право на добычу выиграла самая сильная, с наилучшими повсюдными связями и коррупционными щупальцами — куда там осьминоговым!

А из шурфов и раскопов тянет отравой — словно серой. Или потревоженная, изувеченная утроба земли таким образом напоминает и мстит «венцу природы»? Достойные люди не имеют ни властного рычага, ни поддержки местной слабоучастной общественности, чтобы противостоять малодостойному предприятию, и что тогда может предчувствующий свою гибель прежде многозвучный, птицепевчий заповедник?

Птица летящая

Она летела через жизнь дочеловеческую и человеческую. И горы, и реки, и поля, и города, и бедные деревушки — всё открывалось её зорким глазам. В этой птице сопрягались три птицы — орёл, жаворонок и воробей. Над всей землёй парил орёл, не особенно вглядываясь в суету человеческую. Жаворонок же сочувствовал косарям и жницам страдной поры, жаркой, безмашинной, пыльной. А воробей клевал по зёрнышку из вороха пшеницы и радовался ёжику, который

семенял неизвестно куда и был для воробья стократ лучше кошки, собаки, лисицы.

Ёжики

Многодетное семейство ёжиков обосновалось на выезде из деревни, под стогом сена за плетнями хаты. Скорей всего, это было не единственное ёжиково гнездо (не оттого ли и деревня носила забавное название «Иголочка»): игло-колючих зверят нередко встречали у донского берега, куда они спускались на своей водопой.

По утрам ёжики резво выбирались из покоящегося на скрещенных длинных и толстых вязах сухотравяного стога, их временного жилища-скрывала и резво и чуть переваливаясь, подобно утицам, торопились через дорожку, к оврагу, где струил крохотный родничок. Их было семеро — родители и пятеро деток. Семилетний мальчик послевоенного времени (а это был я) любил наблюдать за ними, пусть и игло-колкими, но такими беспомощными, мирными, добрыми, что хотелось за ними постоянно приглядывать, пасти их, как недельных цыпляток. Утреннего этого водопоя я никогда не пропускал, наказав маме будить меня в одно время, задолго до их трогательной перебежки через малоезжую дорожку.

...Тяжёлый трофейный мотоцикл, вздымая пыль, на грохочуще-бешеной скорости вылетел из-за поворота, вылетел, словно рулём управлял пьяный (то и был, как я тем же днём узнал, пьяный представитель районной власти); я инстинктивно зажмурил глаза, а когда открыл их, когда пыль рассеялась, увидел на дороге два раздавленных тельца — взрослые ежи осиротели двумя детками, а ёжики — двумя братиками.

Мы с мамой похоронили ежат в овраге, подальше от родника, но так, чтобы его родниковый источник верх открывался оттуда: мне тогда казалось, что они, погибшие, увидят своих родных, когда те снова появятся у родника.

С той поры... Нет, я не возненавидел мотоцикл, сам гонял на нём в молодости, принимал как само собой разумеющееся и иной колёсный парк. Но я возненавидел пьяных. С той поры и на всю жизнь я возненавидел пьющих и всех, чем-либо давших себя одурманить, всех остро-нервно-злых, в часы тёмного приступа выходящих или выезжающих на люди.

Божьи коровки

По весеннему, летнему, осеннему солнышку мальчик часами мог пребывать на полянке примыкающего к подворью семейного сада. Здесь ему в любой травинке, в любом жучке и паучке открывалась сокровенная жизнь природы. Особенно чем-то неизъяснимо родным, столь же тайным, сколь и открытым, притягивали взгляд муравьиный холмик-дом и едва обхватистый детскими руками спиленный вяз, деливший

густотравную, дикими цветами пестревшую полянку на две равные части. Муравьи, ещё больше пчёлы, представлялись мальчику самыми дружными и честными тружениками на земле, и он зачарованно наблюдал за муравьиным снованием, как и за пчёлами, жужжавшими в близкой вишнёвой белоцветной кроне или степенно собиравшими взятки из совсем близких одуванчиков.

А ещё непонятная кому и чему благодарность занималась в детском сердце, когда он подолгу разглядывал спил вяза, густо усеянный островками из красно-алых, с чёрными точками букашек — божьих коровок; те сонно-недвижно грелись на солнышке, в здешнем краю их и самих нередко называли «солнышками».

Мальчик всегда горевал, когда натыкался на косогоре за околицей села на кем-то разворошённый муравейник, когда видел раздавленных пчёл и божьих коровок. Но здесь, в родном саду, им ничто не грозило, и мальчик мечтал, чтобы всем муравьям, пчёлам и божьим коровкам жилось мирно и спокойно, как в его саду, а всем добрым людям было так же хорошо на душе, как ему на заветной полянке.

Через семьдесят лет. Он уже не мог горевать — знать и видеть, как на месте его родного сада появилось клубное плоскокрышее здание, а вокруг — сплошной асфальт с авангардистски вылепленной клумбой перед фасадом. Не мог, угасший, знать и другого: на избытке соседнего села в большом молодом саду задумчивый, очарованный мальчик, веснушками детства похожий на него, тогдашнего, часами просиживал в укромном травянистом уголке, вглядываясь в непонятную, неизъяснимо притягательную жизнь муравьёв, пчёл, божьих коровок... И мечтал тот мальчик, чтобы всем им жилось мирно и спокойно, а всем добрым людям на земле было так же хорошо на душе, как ему на заветной полянке.

Красная книга природы

Да, Красная книга природы, именно КРАСНАЯ... от крови раненых и убитых зверей, от погубленных оружиейными, химическими залпами птиц и отравленных пчёл, от истоптанных муравейников, от красноглинистых утроб земли, изувеченной добычами рудных и иных ископаемых, от раздавленных земляничных полян...

Кровь их на нас!..

Полуденное поле

Не море, не горы — эти величавые образы природы, своими глубями и высями всегда напоминающие о Божественном, а иногда и о потустороннем, не влекут и не волнуют меня так, как бесхитростное срединнорусское поле в полуденный июньский час. Чистыми волнами тихо взмывают поспевающие

хлеба — ячменные, пшеничные, ржаные; терновники тёмными каплями-островками плавают в них; большие и малые птицы, слово перистые стрелы, пронзают близкое далёкое небо...

Ничего особенного, сказать и так. Но для меня здесь и начала, и концы. Может, оттого, что я и увидел Свет Божий именно в поле, в ласковой необозримости простора, в предвоенном июне. Может, оттого мне и венециановские картины нравятся, хотя не всю полноту крестьянской полевой страды, не всю правду вижу в них, да что ж, нравятся! Особенно эта: жатвенный день, облака, поле в снопах, крестьянка на ниве, серп в руке.

И полвека не прошло, а как же изменилось моё срединнорусское, придонское поле, да и всеземное — тоже! Новостройки, машина и железобетон теснят и удавливают его, лишая раздольности, силы, божественной величавости и предназначённости.

И понимаешь старика, который отдал всю жизнь полю, изорвал на нём все жилы и, однако, горюет по уходящему или вовсе ушедшему полевому бытию, в котором солнце, дождь, глубокий снег, ржаной колос, косовица нивы освящали бытие местносельское. Старик-крестьянин и космос.

Казалось бы, великие поля сражений (до того — великие лесостепи или великие нивы) останутся навсегда трагически мемориальными. Так нет же! Я исходил их — поля Куликово и Приполтавское, поля Аустерлица, Бородинское, Прохоровское, поля сражений у Лейпцига, Кёнигсберга, Берлина... И многие эти уголки мира нынешнего — торговая суета.

Но прошлое не даёт себя подмять вконец, и наиболее чуткие умы и сердца мысленно видят трагически-героическое страдное прошлое — не только общие картины, где грохот, дым, стоны раненых и крики наступающих; они видят их неповторимые лица, полные отваги, тоски и надежды.

* * *

Ты, сын природы, победил природу —
Ты дерево священное срубил,
Ты не однажды птицу погубил,
Ты гнал коня через поля и годы.
И мир природы — словно весь в коросте,
А мир людской — что яростный вокзал.
Стоишь один на чёрном перекрёстке —
Своей гордыни чёрный пьедестал.

Семья

С детства семья казалась ему незабываемой, надёжно плывущей по жизни ладьёй, и разве что смерть кого из близких могла её качнуть. Для него дорогими была не только его

семья, но и соседские. Было чувство мира и локтя, а не разделительной межи, из-за которой ни за понюх табаку можно разойтись врагами.

А потом он стал видеть разведённые семьи и однажды прочитал дневниковую запись великого семьянина Снесарева (великого геополитика, мыслителя, учёного, педагога), с любимой женой Новый год (семнадцатый — для России роковой) встречавшего в монастыре. И даже их многолетием проверенное двуединство, их семья редкостной веры и верности, иногда — словно на разных берегах, на разных языках. И пронизательный знаток общественного мироустройства и человеческого сердца вынужден листу бумаги признаться в искусственности, условности и «неестественности» человеческого брака... Тем не менее брак, а строже и глубже говоря, — повенчанность жениха-мужа и невесты-жены — несомненная, свыше дарованная ценность, в конце концов, пусть и часто счастливая привычка; отсюда и страх разрушить даже крепкое, но всегда хрупкое здание — семейное гнездо.

Семья-Отечество в войне

С древности ты не хотел войны, но род твой, как и всё малое и большое Отечество твоё, вынужден был почти непрестанно воевать. Разумеется, трудно поверить, что ты и твой братья — участники битвы на Чудском озере, Куликовской сечи, обороны Троице-Сергиевой лавры, Бородинской битвы, несчастного сражения-поражения у Мазурских озёр. Но то, что ты своими глазами видел огненный пал последней, самой страшной войны, не только на государственном уровне, но и в народе по справедливости названной Великой Отечественной, никому не придёт в голову отрицать — взглянуть хотя бы на твою метрику.

Эта самая Великая Отечественная напряглась, остановив наше отступление на берегах Дона, у твоего родного села. Дон стал разделительной чертой воюющих на протяжении сотен вёрст; и сколь же выигрышны были позиции германских, итальянских, венгерских, румынских, хорватских, финских команд, которым с высоких правобережий открывались наши защитные линии на песках, видимые, как тёмные ветки на белых снегах.

Тогда маленький, ты, разумеется, винтовки в руках не держал. Но какими зоркими глазами углядел в те месяцы, годы, жестокий и... спасительный образ войны!

Лобовое и в основе справедливое деление на «наших» и «не наших» не всегда свидетельствовало о том, что «наш» — непременно образец всего лучшего, а «не наш» — носитель самого худшего.

Это немецкий врач спас тебе, малолетку, жизнь в лазарете, расположенном в здании земской школы, в которой до войны

училась твоя мать и учительствовал твой отец. Это немецкий комендант, может, уважая седины дедушки, вернул семье угнанную итальянцами корову-кормилицу. Это германский офицер не дал расправиться с моим троюродным братом-подрустком, когда тот у спящего сержанта стащил портсигар и обойму патронов.

Конечно, был, пусть и кратковременный, фашистский концлагерь, были высокомерие, надменность, жестокость чужепришельцев, у которых бедность деревенских хат вызывала презрительные усмешки.

А с другой стороны... для семьи обидное, заставившее погоревать: разведчик, советский солдат, не нашёл ничего более разумного, как, схватив снопы соломы, запалить их на крыше крепкого рубленого, чудом уцелевшего под обстрелами твоего родного дома, подавая таким образом знак, что неприятель отступил. Дом сгорел дотла.

Но всё искупалось одним великим: освобождение! И, уже освобождённые, мать, дедушка, бабушка пропадали в страде с утра до ночи: «Всё для фронта!»

И даже ты (тогда в печати популярным было повеление: «Убей немца!») подвигал отца вперёд вложенными в письма листками, в которых малевал наступающих русских и на одном из которых, ведомый маминой рукою, в младенческом невежестве повторял беспощадный призыв публицистов.

Каждая семья была тогда маленьким отечеством, и, как и большое Отечество, каждая семья рвала жилы и отдавала все силы для Победы.

Доживающие матери

Две больших семьи... Два века их предки жили в сёлах друг напротив друга, на противоположных берегах Дона, не забывая, откуда пришли их отцы и деды. Семьи были труженические, в тридцатые — раскулаченные, разбросанные по стране; война обе семьи не то что переполовинила, а вовсе отняла у отцов всех — семерых — сыновей. Словно дубы лишились главных корней. Из двух семей лишь двое сыновей оставили после себя ростки: у семьи на правом берегу — сын, у семьи на левом берегу — дочь.

Двадцать лет спустя не знавшие друг друга семьи нечаянно породнились. Счастливо породнились. Выпускники университета, Георгий и Вика, оба приглашаемые в аспирантуру, не остались в университете, а вернулись в родные места и в райцентре стали преподавать в педагогическом техникуме.

Шли годы. И многими хорошими воспитанниками могли бы гордиться они, также и своими четырьмя сыновьями, выросшими в красивых, честных, улыбчивых парней. С общей разницей в четыре года, они были крепким кровным братским союзом. Осенью пошли в горы (их почему-то с детства всех

тянуло в горы) и погибли при сходе лавины. Молодые, ещё неженатые. И не продолжились ими семейные ветви...

Две большие семьи истаяли тихо, малозаметно. Остались две матери — словно две былинки. Иногда добредут до берега донского. Поглядят на родные сёла — да их и сёл-то не осталось! Так, доживающие...

Сыновья и невестки

Когда-то красивая, увядшая женщина лет за семьдесят долго и бесперебивочно рассказывала своей родственнице, приехавшей с Дальнего Востока в среднерусский город своего детства.

— Помнишь забавный анекдот? Мать говорит о сыне и невестке. Мол, сын мой — счастье любой жене: трудяга, золотые руки, семьянин добрый, непьющий; а жена — досталась же такая неумёха! Ленивая, грубая, вздорная. Далее. Мать говорит о дочери и зяте. Мол, моя дочь — награда любому мужу: пробивная, добычливая, мужа держит в ежовых рукавицах. А муж — пустодельник: и выпивает, и денег мало зарабатывает.

Так вот, у меня... аж пять невесток. Спросишь: откуда столько на троих сыновей? Тяжёлый рассказ, да не тяжелей судьбы.

Юра дважды женился — по-хорошему люди разборчивые и порядочные таких в жёны не берут. Первая, обеспеченная, хотела верховодить во всём, а он, хоть и добрый, да её несправедливости, расчётливости и скаредности не потерпел. Разошлись при маленькой дочке. А вторая жена, уже гражданская, такая вся ласковая, обходительная, предупредительная... Наверное, на первых порах и любившая его. Вскоре, однако, сын и в ней обнаружил желаньице всё к себе пригорнуть... По наступившему рыночному времени торговелкой она оказалась, конечно, не первостатейной, но торговческая жилка оживилась. Сын (настал день) собрался уйти к другой, полюбившей его женщине; видать, забыл народную примету: всякая последующая жена редко бывает лучше предыдущей; но тут мы, отец и мать, восстали: «Детей не нажили, но годы-то прожили вместе. Пусть даже — вроде бы вместе». Что, спросишь, дальше? Когда гражданская его жена с моей, никчёмной для сына, помощью заполучила брачную печать, то скоро в невестке неожиданная к нам недоброта занялась! А когда Юра погиб, затеяла что-то вроде интриги из-за сыновнего, по большей части нашими трудами и средствами добытого наследства. Зачем, скажи, зачем?

А Серёжке судьба вроде бы и улыбнулась. Вера хорошей, заботливой женой стала, семейная, чуткая. Как молвится, жить бы поживать да деток наживать. Только рано угасла невестушка: свела в могилу страшная болезнь крови. Он долго

хранил ей верность-память, долго холостяковал. От тоски уехал на Крайний Север. Там-таки женился (тоже хорошая молодлица встретилась), дружно зажили, двое малышей родились, а они тяжело и постоянно болеют; понятно, Серёжа и Таня в Москву на лечение их возят, всё им отдают — и душу, и время. Даже не удаётся приехать навестить нас, старых. Может, думаем, и мы бы смогли им чем помочь.

А с Ниной, вдовой Гены (знаешь, на стройке он погиб), мы вместе мой век доживаем. Она ещё молодая. Говорю: «Выходи замуж». А она: «Мама (она зовёт меня мамой), поглядите, вон вяз на границе сада. Мы там впервые в любви признались. Вяз мне каждый день, каждый час напоминает о Гене — моём коротком счастье. Было счастье, а за вторым... вы же знаете, я не из охотниц менять прошлое счастье на новое. Да и дочь не простила бы...» Дочь Нины и Гены, внучка наша — слабая девчужка... И любила, и любит отца без памяти. Редкая по чуткости и отзывчивости. Сейчас таких мало.

И от Юры, уже говорила тебе, есть внучка — у неё по нынешним временам складно выстроенная жизнь. Не так давно уехала с мужем в какой-то «силиконовый» американский штат, пишут, что хорошо им там, лучше, чем на родине.

Чёрный куст

Тридцатитрёхлетний человек чувствовал себя счастливым. Уже семь лет как он в губернском городе преподавал в школе гуманитарные предметы и вырос до лучшего учителя города. Не только в литературе и в отечественной истории находил он образцы Божественной и человеческой любви, но и вся мировая жизнь (не рознь-вражда, а любовь), словно влитая в его щедрое, всеулыбчивое сердце, оведала старшекласников, которых он любил и которые его любили в безлюбые, неоязыческие дни конца века. Школа для него была словно вторая семья, а в самой своей семье он видел всё лучшее и искреннее, что ещё осталось на земле: высокой чести и верности жена и дочь, девочка-семиклассница, которая по её нежности, отзывчивости, по её открытому лицу с озарёнными глазами прекрасной матери виделась окружающим растущей для будущего счастливого семейного счастья с будущим мужем, непременно достойным и семьязаботным.

Но однажды днём в положенный час дочь не вернулась из близкой школы, а из почтового ящика отец извлёк письмо с печатными строками: «Завтра в семь вечера принеси свой учительский диплом к приовражной поляне парка, где мы в десятом классе бывали и спорили с тобой. Там, в чёрных „Жигулях“, ты заберёшь свою дочь. Не вздумай кем-нибудь подстраховаться, если хочешь увидеть её живой».

В назначенный срок отец подошёл к загородному парку, к условленной поляне, где действительно стояла легковая ма-

шина чёрного цвета, и в ней — его дочь. Подойдя, он успел прочитать на внешней боковине белый лист с печатными буквами: «Ты помнишь десятый класс, нас двоих готовили на золотые медали, но ты мне перешёл дорогу, незадачливый медалист».

(Да, они учились в одном классе, даже какие-то месяцы сидели за одной партой. Но после их пути разошлись, и он ничего не знал о судьбе своего соклассника, который за педофилические наклонности дважды попадал за решётку, побывал и в психиатрической больнице, отовсюду набираясь всё большей ненависти к человечеству, особенно к знакомым и даже родным.)

Отец рванул дверцу, раздался оглушительный взрыв, и на поляне стал вздыматься красно-чёрный куст, тут же сплошь чёрный, — столь большой, словно бы покушение готовилось на государственного деятеля, Наполеону равного или самого Наполеона.

Дочь погибла, а тяжело израненный отец прожил ещё полгода. За это время он постоянно перебирал в своих раздумьях главные вехи мировой истории, но последнее, о чём он подумал, были не мировые победы и катастрофы; последнее, о чём успел подумать отец, — какая была бы у его дочери славная свадьба — может, последняя честная свадьба на земле.

Отец и сын-отец

Отец возвращается в сына. Возвращается, когда наяву, да и в редких снах, вспоминает себя взрослеющим сыном, совершающим ошибки, а его отец — воин, учитель и строитель — пытается увести его от явно видимых ошибок. Отец просит, приказывает, умоляет. Сын не отвечает «нет», но не отвечает и «да».

А теперь он, сам давно отец, ранимо понимает, как сын повторил его же ошибочно-разломную жизнь. Как он, вопреки родительскому видению-остережению, доверчиво устремляется в житейский поток и, словно в ловушки, попадает в любовные и иные истории; как он уходит с традиционного места службы на новоданное, зарабатывает немало денег, и чем больше их зарабатывает, тем хуже ему становится; как изнашивается он физически в соотдыхах и встречах с недобрыми, «банными», «зельепьющими» друзьями, хитрящими и просто обкрадывающими его, огорчающими его сердце.

И в этом трагическом изломе сыновней судьбы он видит себя самого, пусть лишь частицу себя самого, — того нерадивого сына, из-за своевольства, упрямства и метаний которого, может, преждевременно появилась могила его отца на Аллее Славы главного городского кладбища.

Он, редкие дни пропуская, с утра бывает на отцовской могиле, затем едет на другое загородное кладбище, где похоронен

его сын. Словно продолжается жизнь троих, в которой он ходатай и подсудимый. Только он! Резко постаревший, он ждёт, когда трое соберутся вместе в иной жизни.

Все бури природные, все политические бури, все суетные страсти — позади, мировые и житейские вопросы куда-то подевались, как искусственные и ненужные, и лишь один вопрос — то с токами надежды, то без надежды, заставляя светлеть его лицо или погружая в скорбь, постоянен на душе и сердце: встретятся ли они там, на небесных пажитях? Только бы — на Небесных!

Ушедшие отец и дочь

У всех знакомых вызывала добрые чувства эта небольшая семья. Отец — директор одной из лучших городских школ, мать — воспитательница детского сада, достойная, добронравная женщина, а дочь их Ника — умница, душевная, глубокая натура, добрая, кроткая, сильная, красавица из красавиц; будь некий всемирный конкурс красавиц (беспристрастно-справедливый) — всходить бы ей на пьедестал первой из первых. Родителей своих она обожала, как нынче не обожают, — беззаветно, порывисто, бескорыстно; с отцом имела обыкновение побаловаться в его кровати, пока в десятилетнем возрасте не пришло время застеняться.

А потом ей стало шестнадцать. И однажды она (мать была в отъезде) среди ночи нырнула к отцу в постель. Тот похолодел, покрылся испариной. «Папа, я никого не смогу полюбить! — с отчаянной скороговоркой призналась она. — Я всю жизнь буду любить только тебя! Обними меня, как в детстве!»

Прошло три невыносимо-сладостных и греховных месяца отца. Через три месяца его — холодного — вынули из петли.

А через три года Нику нашли мёртвой в постели отца, всюду были разбросаны флаконы, таблетки со снотворными, обрывки блокнотных листов с незаконченными строками...

И только на прикроватной тумбочке чётко, бесповоротно, сильным девическим почерком, крупными буквами было написано:

«Я ухожу к тому, кто одарил меня жизнью земной и любовью».

Или вековые христианские токи (чувство греховного, вина перед родом своим, душевная боль, стыд, настигшая покаянная мука, утишающая плотское молитва) привели обоих к гибельному концу?

Не столь давнее. А что же теперь? Сламаявая эту нравственную границу, плотски-наслажденчески погружаются в тёмное сладострастие. Животные? Нет, — цивилизованные, освобождённые от архаичных табу всесторонние человеки!

В иных странах креативные юридические головы (вопреки общественной и религиозной морали) разрабатывают для гражданских, семейных кодексов новейшие статьи и параграфы, где упраздняются традиционные определения семьи и родины и где обосновываются «естественность» не только родственного кровосмешательства, но и иных смешеств, смещений, извращений.

Тут вспомнишь и Древний Египет, где дочь фараона возвращалась для дефлорационной первой ночи именно фараону, так что прекрасная Нефертити вынуждена была делить фараоново ложе со своей юной дочерью, ещё девочкой. Язычество мутирует в заразительное неоязычество?

Статистика

«Статистическая отчётность, форма № 92... Отчёт высылается лечебными учреждениями, производящими аборт, в райгорздравотделы второго числа следующего за отчётным кварталом месяца», — деловитые, равнодушные слова, мелким шрифтом напечатанные. Оказывается, есть и такие отчёты — спокойно об убийстве предмладенческих душ.

Мой первенец, мой нерождённый сын... в часы обессиливающих ночных бессонниц как мучаюсь, как тоскую по тебе и без тебя, мой первенец, мой нерождённый, мой...

Пятеро сыновей

У него пять сыновей. Двое — во чреве матери, его любимой и навечной жены, погибли. Трое, дожив до взрослости, медленно катятся по наклонной: пьют. А какие талантливые люди! Ещё в детстве он записывал их забавные мыслеслова. Выросли: один — художник, другой — строитель, третий — церковный зодчий. И все пьют... И все теряют документы, деньги, карточки, потеряли хороших и верных жён.

А отец думал не только о них — живых, погибельно ломавших свою жизнь. Бессонницы свои он разделял с сыновьями-младенцами, погибшими во чреве. Он разговаривал с ними, он просил прощения у них. Со стороннего взгляда они с женой не были повинны: она болела, и врачи считали опасными роды и настаивали на прекращении зачатой жизни. И всё же его гнетуще томила виноватость; и трудно было переносить эту виноватость: все родные и близкие ушли, и он чувствовал, что, как ушли родные и близкие, уходят и его город, и его родина, да и земная человеческая жизнь.

И где семья твоя?

Полстраны разметало по стране и земному шару.

Троих братьев моего дедушки изжевала Гражданская война. Ещё одного, священника местной церкви, сослали на Колыму, где ненаходимо затерялись его следы. Дядья разъехались

сразу после войны — изредка навевались в родные края с Дальнего Востока, Урала, Кавказа... Тётки повыходили замуж ещё до войны, и их мужья увезли своих ненаглядных в дали дальние. Дедушка по отцовской линии, великой мастеровитости труженик, и бабушка-страдница, прожили жизнь в беззлобии, сострадании и вечной помощи соседям и знакомым из близких деревень и дальше родного уезда никуда не выезжали.

Твой отец и мать — для тебя целые вселенные, земные начала и концы. И о них бы можно написать исполненную благодарности книгу жизни, но сын оказался не столь радывым, по-настоящему так ничего о них и не сказал.

Твои сыновья, талантливые и душевно открытые, которых ты не сумел воспитать в разумно-строгих правилах, не укоренились в сильных почвах, и ломало их так, что теперь за недовоспитание их тебе отведено разве что иссушать себя повинной исповедью каждую ночь, каждую ночь...

И вся твоя большая семья лежит под крестами и мраморными брусами на больших и малых кладбищах, далёких друг от друга. А тебе, давно уже нездоровому, и жене, угнетаемой ныне тяжкими хворями, а когда-то озарённой и одарённой всеми достоинствами юной девушки, ничего не остаётся, как дожидаться, когда навестят вас младший сын и милые внуки, нередко болеющие так, что тревога за них часто превращает ночь в сплошную бессонницу.

Семья? Родственники? Что за печаль? Только ли старокладники-архаисты видят стыдную поросль, да уже и заросль обновленчества, и только ли они до диктат-общества пытаются достучаться: к побережьям атлантическим и странам приатлантическим уже подступило время расстёгнутых авангардистов, неосатанистов, время, когда нет отца и матери, а есть родитель номер один, родитель номер два, да ещё оба мужского пола (а почему бы и не три, четыре, пять?), когда с детства насаждается мешанина полов, и само детство педофилически атакуется, когда под грифами свободы и права прорастает и разрастается ненасытимое извращенчество, когда ювенальная юстиция, гендерное воспитание, растлительная психология тянутся напроочь извести семью, чтобы живую ответственную жизнь сердечных, душевных волнений погрузить в немоту и мрак и тут же залить земные пространства плотоядным месивом из амёбной мысли, лгущих обещаний, пошлых либерте-новаций. Тотальное, глобальное наслаждение, бесконечное, ежечасное, ежеминутное всякопотребление, комфорт-удобство и облегчённость во всём!

А семья — зачем «свободным гуманистам» ещё и ответственность, и боль?!

* * *

Сирень на родине цвела,
Лучилась нива...
Ты столь же верною была,
Сколь и красивой.
Как с юного восстанешь сна
Улыбкой-вестью,
Помстится — на всю жизнь весна,
А осень — есть ли?
И кров семейный светел был
Под сенью сада.
Но муж беспечно уходил
В чужие грады.
И старший вырос сын. Да что ж? —
Скажи, куда ты?
Стереть глазами — не сотрёшь
Надгробной даты.
Незримо тянется стена
Потерь, падений.
Давно закончилась весна
Без удивлений.
И жизнь сложила два крыла,
Поникла нива.
...Такою верною была,
Такой красивой!
Жене моей, семье моей —
Молю, Спаситель,
Дай вечный свет Твоих полей —
Небообитель.

Родина

Посох родины, посох мира... Родина — в любой точке планеты, где ты ныне, в этот миг..

И всё же есть точка, пядень земли, которая объёмлет твоё сердце, всего тебя, твоих родных и близких. Донская родина, село Нижний Карабут, как только ни названное на страницах твоих книг! Отсюда — первые, всюду сущие виды: солнце, люди, деревья, травы, птицы. Белая волна реки. Кони на зелёном лугу. Первые нежные слова родного языка. Первые ощущения простора и бесконечности.

Что ждёт тебя, родина?

Впервые почувствованная младенческим сердцем и младенческими глазенками молодая мама... Родина; река Дон, которую ты с тихим детским восторгом впервые видишь с высокого

приречного холма... Родина; в большом логу и по косогорам три полоски разбросанных изб и хат... Родина; испытание войной, разорение, бедность, вера в завтрашний день... Родина; горлицы и воронцы-пионы на придонских холмах... Родина; крестьянски-колхозные косовицы ржаных, пшеничных, ячменных полей, помощь детей своим матерям и изреженным войною отцам... Родина. Школа в бывшей церкви, впервые прочитанные Пушкин, Лермонтов, Гоголь... Родина.

И более сложное, юношеское чувство Родины, когда открываются не только пространственные, но и временные дали, и в долгом историческом пути неразделимы вершины и трясины — высокое и низкое, благородное и низменное, славное и позорное, заветное и предательское... Великая, бедная, несчастная, прекрасная Родина, столько испытывавшая войн и глумлений, поражений и побед, ты действительно — как впервые почувствованная благодарным сердцем мама.

Что ждёт тебя, родимая, через десять, сто, тысячу лет?
Проницаем и боимся даже себе самим признаться.

Народ подвига и жертвы

После отката на запад прежде невиданной войны в нашем фронтовом краю на минах, снарядах, гранатах всё ещё подрывались дети, мои сверстники. И таким образом часть нации, вернее, надежда нации продолжала уничтожаться. Фронтовики, уцелевшие на полях и холмах сражений, спивались от тоски, от ран, через табачный злой самогон. А молодые женщины калечились, ещё во чреве, вынужденно или невынужденно, расставаясь со своими неувиденными младенцами. Старики, не дождавшись с войны воинов-сыночек, скорее звали свою смерть. И таким образом — нация доламывалась.

Где четыреста-пятьсот миллионов русского народа при естественном эволюционном развитии жизни? Где монастыри, церкви и усадьбы? Где морально-православный кодекс?..

И он, исторически великий народ, всё уменьшается, уменьшается, уменьшается... Народ, у которого лихолетья выбивают лучших, народ, который не умеет беречь себя, народ великих подвига и жертвы.

И самая тяжёлая война — война не только победы...

Воспитание архаичное и новоявленное

Всегда так было: любая травинка, любая изба, тропинка в лиственном лесу, васильковый просёлок, клин палевой нивы, каждый осокорь у донского берега, каждый стригунок на лугу, каждый мирно воркующий голубь образуют эмоционально и эстетически, научают и просвещают! Настоящий учитель всегда это понимал, зная, что он воспитывает целое поколение, будущий народ, что именно благодаря ему человеческое народное многолюдье в трудный или радостный

час обретает единство воли на военную и мирную страду, становясь непобедимым воином в защите Родины, а в победный час меняя грозные мечи на мирно-полевые орала. Мать, отец, бабушка и дедушка, школа, вечерние народные песни, косовица в поле, предания и страницы истории, светлой и тёмной, героической и трагической, вдумчивое прочтение великих русских от Пушкина и Тютчева до Толстого и Достоевского, иноязычных — от Гомера и Данте до Сервантеса и Гёте, — всё образовывало, научало, воспитывало!

И было после великой войны министерство просвещения — народное министерство. Откуда же на перетоке веков и тысячелетий вылупилась эта «ливановщина» — гнетущее, исходящее с верхнего бюрократического этажа поэтапное обездушивание и «перереформатирование» школы? Что это за «образовательные услуги» (примитивный бизнес-рынок) и как при таковых можно образовать и воспитать достойное поколение, помнящее совесть и честь? Образовательные услуги не дадут подготовить даже столь обруганных образованцев и образованщины, а выдвинут и выдвигают уже креативных, конкурентно способных карьеристов-хватов, поощряемо спешащих в сугубые очередные временщики, разве что разбавляемых одарёнными ЕГЭ, всё равно прорастут талантами: но, сознательно не воспитанные в чувствах родины, не уйдут ли они в заморские лаборатории и транснациональные компании?

В массе же — кого и как образуют и воспитывают (то есть напитывают подменами) всякородные временщики?

Спорят не только в телевизоре

— Ну и пьют ныне! Тихий океан осушили бы, окажись он из водки. Пьют без меры и не таясь. А вот перед войной, отец рассказывал, в сороковом, крадучись по одному, соберутся в какой избе, плотными одеялами занавесят окна, чтоб кто не подглядел, да не отослал письмишко куда следует, мол, запретное себе позволяют. А сейчас — хоть вся страна спейся, мало у кого сердце болит.

— Зато анонимок меньше пишут!

— Зато куда ни глянь — такую непотребщину шумноголосят, пишут и показывают, что глаза и уши вянут.

— На каждый роток не набросишь платок. Это, брат, свобода!

— Что она тебе, такая свобода! Верхушечным финансистам да кормящимся у административных корыт в самый раз свобода изобретать мошеннические, шельмовские ходы, чтоб воровать и наживаться.

— Да забыл ли ты молодость? Эко сладкое слово — свобода!

— Наверное, ранние большевики и поздние коммунисты — не одно и то же. Октябрьские большевички, племя безнародное,

огнём, мечом да сатирическим пером выжигали народный уклад (конечно же, реакционный!), все вековые обычаи, все сердечные обряды. Сельского учителя, опять же отец рассказывал, на свадьбе у племянницы по старинному обычаю расшитым полотенцем перевязали. Свадьба не закончилась, а на него уже анонимка в районе: «Разносчик реакционных обрядов...»

— Да и теперь всякое и разное. Где обряды, где парады. Кругом большой фейерверк...

Хмельным беседам несть конца. Спорят молодые и старые, деревенские и городские — всюду серьёзные испытания Отечества и чаще пустые бесконечные разговоры, монологи, диалоги; слова, слова, слова...

Генсековские мемориальные доски

Были времена — на Кутузовском проспекте Москвы две мемориальные доски с фамилиями Брежнева и Андропова невольно побуждали остановиться. Что за этими досками, за означенными на них фамилиями? Если бы некая высшая сила сделала краткую опись всего содеянного этими людьми — генеральными секретарями, от настроений, умозрений и решений которых в немалой мере зависела судьба нашей страны, нашего народа?! Откройте, мемориальные доски!

Настали иные времена — доски украли. А Кутузовский проспект — он с Поклонной горой, Бородинской панорамой, Триумфальной аркой навевал мысли о горящей Москве, о нашествии двенадцати языков Европы, о победах, которые никогда не бывают вечными и окончательными.

Пасынки офицерского корпуса

Ангар на военном аэродроме. Молодые лётчики и технари затажно, без особой охоты пьют малопотребное злое зелье. Отец одного из них увещевает пьющих:

— Вы же толковый, умный народ. Зачем пьёте, себя губите?

— А нас и без этого губят что в семье, что в стране, что в мире. Летишь, бывает, в вечерний час — истребитель, кажется, весь свод небесный пронзает, высота десять километров, и чувствуешь, Бог от нас отказался — и от нас, и от наших заклятых друзей-ворогов.

Тогда отец идёт на другой заход — с другой стороны.

— Но Отечество-то надо защищать. Кто его защитит, как не вы?

— Наше Отечество лишила силы и разворовала свора мародёров. Шайка внешних и внутренних ненавистников Отечества, — произносит старший. Произносит не без усталости и ощущения большой потери-катастрофы. Ему, видимо, хочется передать незнакомцу общее настроение офицеров полка, причём со словами, далёкими от почтительности и «толерантности». — Вот где перелом страны: люди становятся

нелюдьми. Из-за жажды власти, жажды наживы, жажды богатого комфорта. Эта перестройка-постперестройка у многих отняла образ человеческий. Проболтал и предательски сдал страну ставропольский неумёха, подкаблучник и трус... Страну, что лесную поляну, рыхлит с разлапистой «семьёй» прораб, кабаньё шёлко-глазки... К телу страны липко припали всякого рода кровососущие — сколько их у государственного корыта! Да что о них! А у нас керосина на полёты не хватает, да и лётчиков не хватает — лучшие уходят или их сокращают.

Он и сам — «из лучших», Герой Советского Союза, излетавший самые опасные трассы Отечества и мира. Он умолкает и уже не слышит других. Он думает о том, что если бы восстал русский офицерский корпус, ещё со времён Семилетней войны, участвовавший и погибавший во всех последующих войнах, если бы к нему присоединились лучшие («Честь и совесть имею!») из офицеров других армий и в едином порыве, решительном поединке навсегда расправились бы со всеми мировыми спрутами и акулами ненависти, со всеми лжегосударственными, враждебными своим народам лжеизбранцами-временщиками, со всеми пятыми и прочими себя шумнолюбующими и ничтожными по разуму и сердцу колоннами, тогда только, наверное, уместен был бы наивный романтический восклик: «Обнимитесь, миллионы!» Обнимитесь, миллионы мужественных, честных, страдающих, верящих...

Поверженные памятники

«Не надо памятники ставить, чтоб после оных не крушить», — родились строчки в юности, когда на входе в центральный городской парк ты увидел постамент, с которого была обрушена фигура Сталина. То был конец пятидесятих годов, время оттепильное и атеистическое. Многие надуваемые фигуры по всей стране карабкались на освобождённые памятники, откуда сдёргивались и большие бронзовые, каменные, бетонные фигуры и вполроста изваяния, и небольшие бюсты. Через треть века в России вновь освободили постаменты — теперь уже от фигур нескольких одиозных, «пламенных и кристальных», из раннебольшевистского стана.

Прошло несколько десятилетий, и снова — уже в разных земных полушариях — тотальное избиение монументов... На Украине крушат памятники, напоминающие про русское и про советское. В Северной Америке, вновь распалая себя до злости Гражданской войны, принимают федеральные и местные «законы», по которым надлежит снести тысячи конных и пеших фигур, стел, обелисков давно побеждённой стороны — Конфедерации южных штатов. Ату их! И только ты, несокрушимая Статуя (французский подарок из русской меди) на североатлантическом побережье, дальше и выше носи факел спецсвободы!

Самое удивительное — какие значительные (принимаемые нами или не принимаемые, не в том суть) фигуры — герои этих памятников! Генерал Роберт Ли, почтенные президенты Вашингтон, Джефферсон, Линкольн, да и менее известные староамериканцы — люди подлинного, не «майданного» достоинства. А их крушители даже не могут рассматриваться в категориях значительности или незначительности. Они — искажение образа человеческого, массовый гнус... Озлобленные, ожесточённые «белые», «чёрные», «цветные» исполнители (и это в «цивилизованном» двадцать первом веке!) осатанело пинают ногами головы бронзовые, да и живые; и наводчики, купившие и вспоившие их ненависть, тёмные, спекулятивные манипуляторы-грантодатели соросы и сороствующие, действительные современные рабовладельцы и работорговцы; они не то что незначительны, ничтожны, но — напрочь лишены чести, совести и чувства справедливости. Через полтора века предъявить обвинительные счета людям крупным — это свойство мелких особей: богатых и бедных, финансистов и люмпенов, породнённых в зависти и злобе к истинно значительному; они заново «побеждают» молчаливые фигуры тех, кто когда-то возглавлял гражданские противостояния, пытаясь найти путь к примирению, а не розни.

Разгул злобы, ненависти, грабительства приближает конец культуры. И человека. И человечества. Ненависть к евангельским истинам, к монархиям, империям, к царской власти, к советской власти, к какой бы то ни было власти, не им, соросам и им подобным, в данный миг принадлежащей, ранит и подминает силы любви. В начальные большевистские антицерковные, антинародные, антинациональные времена сбрасывали колокола — шумно, многолюдно, трубогласно. Но поверженные — разбитые, в почвах и реках утопленные колокола несли из-под земли единый прекрасноразвучный дух не розни, а мира, любви и красоты.

А памятники... Как бывало раньше, до всемирных и всякоцветных революций? Память о людях, принёсших благо «граду и миру», не взбиралась на большие и малые постаменты, а хранилась в сердцах человеческих. И улицы несли свою память — не цифирную, не именную, не временщически-преходящую, а корневую, изначальную. Сторожевая, Нагорная, Приречная, Казацкая, Кузнецкая... Есть, разумеется, задумчивые люди, рассуждающие и так: любые улицы, любые памятники канут, любые о них страсти и слова сойдут, как дым от первых орудий враждебных средневековых противостояний.

Сон об отечественном пути

Во сне на противоположной стене, где в строгом складне висели портреты Пушкина, Тютчева и Достоевского, вдруг экранно возникли на полстены чёрные, под крупным заго-

ловком «Во вред России» ясно видимые строки, которые он успел перечитать трижды, где соглашаясь, где не соглашаясь.

«Неуместная и нековременная Ливонская война; столь грубо и властно осуществлённый церковный раскол; казнь стрельцов и предельное напряжение сил народных при Петре Первом; польско-литовско-казацье-русская Великая смута; войны с персами и особенно войны с турками, которые возможно было по-умному завершить или вовсе не затевать; чреватое историческими бумерангами присоединение Польши; если и надо было звать в пределы империи — то бывшие западные русские княжества от Новгорода до Киева, звать, конечно же, русинов; отсутствие постоянного внимательного взгляда имперской и советской власти на Восток и разумных по отношению к нему действий; неумение избежать французского нашествия, разор столицы и страны; неумение избежать мировых войн — войн с Германией и её союзниками; февральский 1917 года переворот — из лукавейших, страну ввергших в хаос; послепереворотное внероссийское, внеародное ленинское жестоковластие троцких, свердловых, калининных, зиновьевых, каменевых, бухаринных, володарских, урицких, войковых, землячек, ягод; расказачивание, раскрестьянивание; годы сталинских плясунов и карателей, вроде хрущёвых и берий; буржуазно-перестроечная Смута конца двадцатого века, туповластие и жадновластие, ложь и предательство временщически-властной верхушки; глумление над русским миром, разбойный бал мародёров, „семибанкирщины“, тёмнобратии; шабаш пёстрой пятой или какой там колонны. Не хватило здравого смысла, единства порядочных и достойных, не хватило проницательности, чувства надвигающейся опасности. И русским, как воздух, требуется беречь единоличное и народное бытие, уходить от легковойной доверчивости, беспечности, шапкозакидательства, оборачивающихся жизнезакидательством; беречь каждый отпущенный миг, не пить, не пустословить, не соблазняться, не погружаться в бездеятельное томление, страдая от мировой тоски; а более всего — созидать доброе, высокое и молиться за ушедших, живущих и грядущих.

Были по всей Руси благословенные монастыри с библиотеками! Монастыри мира. А ежели надвигались на них враждебные силы — польские войска, то беспобедно месяцами топтались под стенами Троице-Сергиевой лавры, или если английские военные корабли приближались для победной осады Соловецкого монастыря, то скоро и удалялись восвояси, несолоно хлебавши».

Где соглашаясь, где не соглашаясь, он перечитал настенные строки, и словно все тягостные испытания разных столетий, выпавшие его народу и стране, осязаемо ударили и по

нему — он и во сне почувствовал явную тяжесть на сердце, тем большую, что давно уже знал, что не каждый эти испытания чувствует и понимает, знал, что в неисчислимом множестве выпархивают на свет театральные постановки, кинофильмы, интернетные «вести», книги, журналы и газеты, без стыда и совести лгущие о его народе и его родине.

* * *

Родина — спасительное лоно,
Родина — всерадость, всепечаль.
Родина — услышать волны Дона,
Родина — увидеть вечность-даль.

Родина — что лиственная крона
Над необозримостью полей.
Родина, склоняюсь я в поклоне
Пред судьбой единственной твоей.

Народы и страны

Посох уводит в страны, в которых выпало побывать, и годы спустя ты мысленно снова за пределами Отечества. В детстве ты знал все государства, какие были на тогдашнем глобусе, во многих надеялся побывать.

От Индии, Китая и Японии, от Палестины и Древнего Египта, от Персии, Греции и Древнего Рима, где за тысячелетия человек достиг вечносущих духовных и художественных вершин, до североамериканских и латиноамериканских стран, где тебе надо было поквитаться с европейскими погубителями индейских племён.

От азиатских до европейских стран, из которых для тебя необходимыми были из-за последней войны Германия, Италия, Румыния, а по историческим мотивам — ещё и Чехия, Моравия, Польша. В них и побывал, став взрослым.

Соседи

В детстве он так увлекался географией, что ни одна сколь-нибудь значительная, большая ли, малая ли тогдашняя зарубежная страна с её реками, горами и городами не была иссмотрена, изучена им, словно родная. Особенно притягивали страны, которые граничили с его страдающей родиной, веками вынужденной воевать. Он, тогда пятиклассник, из книг и разговоров знал, что граница наша на замке, что она не станет больше ни утесняться, ни расширяться.

Осмотр географической карты он обычно начинал с Дальнего Востока, и там всё было спокойно. Китай, Монголия, а дальше среднеазиатские республики, которые, казалось ему, уже никогда не разъединить с Россией. Иран сложнее — знал

про убитого посла-поэта Грибоедова. Турция ещё сложнее — тут выпали многие войны с досадным для турок исходом. А далее Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия — без особых, мнилось, затруднений. СССР выходил к границе через Украину и Белоруссию, и ему, соединившему в себе восточнославянские (да и не только) крови, казалось невыносимым, чтобы тут копились рознь и недоброжелательство. Не представлялись опасными и прибалтийские республики: Пётр Первый не только победил их шведского сюзерена Карла Двенадцатого и не только взял Балтийский край как победитель, но ещё и «купил» Прибалтику, из народных жил Отечества вытянув фантастические десять миллионов ефимков.

А вот Польша... «Кто устоит в неравном споре: кичливый лях или верный росс?» Столь же опасной представлялась и страна Суоми. Финны в годы Великой Отечественной достигли Дона, часто были жестокосердны, может, живя картинами осенне-зимней лесной, озёрной «той войны незначительной» на их родине.

Граница, рубеж, межа... В конце минувшего века его друг-врач заполучил от областной больницы земельный участок в глубине других, ровно размеченных разделительными линиями и опоясками — малыми межами. И вот соседка его друга, заведующая сердечным отделением, откуда иногда выносили укрытых простынями покойников, межевую черту потихоньку стала отодвигать (межи да грани — к ссоре да брани), несколько раз переставив разделительные метки; затем прорыла канаву, прихватив ею метра полтора чужого участка, чётко вбив по её желобку тяжёлые, как для битвы, колья.

Тогда друг поставил прямо по канаве железную сетку, решив этим покончить с аппетитами соседки. Не тут-то было! Ночью сетка подвинулась так, что получился значительный срез прямоугольного участка. В субботу друг дождался неуёмной дачницы и сказал: «Что мучаетесь, Гавриловна, эдакими маленькими шажками? Сколько вам надо? Утягивайте хоть пол-участка, мне легче будет обрабатывать остаток».

«Принцип Гавриловны» — вольно или невольно скаламбурил друг, соединив нашу героиню с Гаврилой Принципом, студентом-масоном, убийцей наследника австрийского престола.

Через полгода заведующая сердечным отделением скончалась от сердечного же приступа, а на её дачу зачистили молодые и молодящиеся родственники-шалопай, которым для загульного отдыха хватало двухкомнатного домика, а весь участок скоро зарос дурнотравьем.

Границы, границы. Все они прахом посыпятся, но сколько крови людской, которая пусть по большей части из воды состоит, но — не водица же!..

Зееловские высоты и «Сикстинская мадонна»

В Дрездене едва не полдня безотрывно простоял он у «Сикстинской мадонны», и всё связывалось: Богородица и Спаситель, картина гениального итальянского художника, наши солдаты, спасшие полотно, — полотно, которому нет цены.

Как и «Сикстинская мадонна», замурованная фашистами в каменном подземелье, могла не сохраниться, не будь русских, советских солдат, так и он мог ныне не восторгаться ею: едва ли выжил бы в войне без отцовского аттестата, который был высылаем с завидной пунктуальностью; отец в войне остался жив, хотя не раз бывал ранен — под Севастополем, под Одессой, под Минском, под Варшавой, наконец, под Берлином.

В Западной группе войск он видел офицеров уже иных, не совсем похожих на солдат войны; они балагурили об отдыхах, о рыбалке, о женщинах, они чувствовали себя победителями без намёка на страду и страдания, которыми сопровождается всякая значительная победа.

С такими неблагоприятными мыслями ехал он в поезде из Дрездена в Берлин, из Берлина в Лейпциг, а ещё побывал на Зееловских высотах, пытался увидеть, как на те высоты его отец поднимался в атаки, а ещё в Трептов-парке долго думал о том, чего нельзя точно определить ни красками, ни словами: как всё здесь и в мире разительно изменится даже во временах не далекобудущих, а скорогрядущих.

Лучафэр

Осенью 1942 года в вечерний час на высоком донском побережье стоял румынский офицер, хорошо знавший романтическую поэму рано угасшего поэта Эминеску, поскольку его отец, профессор Бухарестского университета, был специалистом по Эминеску. Вечерняя звезда горела ровно. Вчера он стрелял из пулемёта и, кажется, проредил тех, кто пытался перебраться на правый берег Дона: они были национальными и наверняка духовными потомками любимых им Пушкина и Лермонтова; может, и оттого душа томилась чем-то нерадующим. Но тут раздался тонкий писк неотвратимой пули, и последнее, что послышалось ему: «Мы квиты». Он упал навзничь, глазами вверх, и почувствовал эту звезду, название которой — «Лучафэр» — постоянно звучало в его доме в Бухаресте.

Лет пятнадцать спустя тебе, первокурснику, выдалась поездка в Румынию. И как тесен мир, как прихотлива судьба! — в Бухаресте ты встретился с девушкой, которая оказалась дочкой офицера, убитого на Дону, внучкой специалиста по «Лучафэру».

Полонез Огинского

Среди пластинок детства эта была — самая любимая. Полонез Огинского он прокручивал, случалось, несколько раз на

день. Правда, когда взрослым бывал в Польше — не слышал его, кроме...

Кроме того дня, когда они с женой и её матерью приехали на воинское кладбище, где был похоронен отец его жены на германской, Польше переданной земле. Неозримое солдатское кладбище, меньше — офицерское. И там, в глубине его, на дальней окраине, могила Михаила Калинина... Они каждый день бывали на кладбище, и каждый раз звучал тот самый полонез из раскрытого окна ветерана Войска Польского, который волей случая был в наступлении в тех же местах Польши и Германии, где наступал и его отец, и отец его жены. Разумеется, воспринимался полонез иначе, нежели в детстве, но, тем не менее, рождал много мыслей о славянском мире, его трагической разьединённости.

А потом они добирались до Варшавы в общем вагоне, и хмельные польские ребята-работяги хвалили русских девушек, а заодно и Россию, и звучал магнитофон — звучал Полонез Огинского. И казалось, никакой вражды нет в мире, коли есть эти весёлые ребята — зла не хранящие потомки Речи Посполитой, и кротко мелькают польские поля и спящие деревни, едва видимые в ночи, и, верилось, вмиг готовые проснуться и открыть двери помощи, случись на железной дороге всегда неожиданное крушение.

На моравской земле

На зелёном берегу Моравы (осенний день 1987 года) мысленным взором пытаешься отыскать цельный образ твердынного града Микульчице. Некогда великоморавский столичный град Микульчице давно затерялся в травах истории, да и сама Великая Моравия долго не продержалась: извечная славянская беда — разобщённость, междоусобица, когда ветви корня не помнят. И всё же весть из бывшего доносится и видится: она в мягком течении Моравы, в стольном названии села, в памятнике Кириллу и Мефодию, святым равноапостольным братьям Солунским; более тысячи лет назад, в веке девятом от Рождества Христова, здесь они духовно просветительствовали: создав славянскую азбуку — кириллицу, они со своими учениками дали славянским народам духовную грамоту через молитвы и переведённые ими на родной здешнему народу язык страницы священных книг.

Всякое истинное служение требует внутренней подготовки, жертвенности и веры. Четырёхлетнему подвижничеству братьев в Моравии предшествовали значимые вехи, как то: трудническое пребывание в монастырях на Мраморном море, Херсонес, хазарская миссия... А после поездки в Рим и кончины там Кирилла, по его предсмертному напутствию-завещанию, Мефодий вернулся в Моравию, став во главе местной архиепископии, и далее строил и освящал церкви, правил

службы на родном моравянам языке, обучал детишек славянской азбуке...

Богослужение на славянском языке охватит огромные территории. А на кириллице — славянским, русским письмом — будут написаны великие, пророческие книги.

Теперь моравская земля — Европейский Союз, в котором славяне больше чужие, нежели родные. Не свои? Да и кто ныне кому — свои, готовые жизнь свою положить за других, за честь, правду и справедливость?

Луна и утреннее солнце

Мягкая, дымчатая, холмистая Умбрия. Поздний час. Узкой улочкой автобус взбирается наверх (городок Орвието — на горе), останавливается у всеитальянски знаменитого собора. В автобусе — советская писательская группа — внуки тех, чьи деды-воины в мировом противоборстве в сорок втором-сорок третьем удерживали донские и волжские рубежи. Внутри огромного высокосводного собора — две молящиеся женщины, словно бы здесь навеки затерявшиеся; а перед входными воротами, на каменных ступенях, под немислимо огромной луной коротают поздний час местные парни. Едва ли их томит память о том, что в их возрасте итальянцы, может, будущие деды их, призванные под знамёна Альпийского корпуса, шли на Восток и, на свою беду, неразумно вышли на донской рубеж; молодым на паперти разве вспоминать самими не пережитое прошлое, когда гудит, напирает на них нынешнее? Они и не помнят — они внимают однотонной, жёсткоударной, явно не итальянской песне, изредка переговариваются, курят, пьют пиво, иногда раздаётся смех. И сколько они так просидят, неподвижно бегущие от прошлого, томящиеся настоящим, не без тревог ожидающие будущее?!

Утреннее осеннее солнце озаряет Орвието — былую резиденцию римских пап, озаряет Италию, и хочется думать, озаряет весь мир и подвигает его стремиться к лучшему.

Народы прозревают

Человек лет пятидесяти на пустынной лесной поляне (а ему вдруг помстилось: в огромном зале, заполненном тысячами внимающих), устремлёнными руками воздымая вверх Евангелие, словно бы и не жилец начальных годин третьего тысячелетия от Рождества Христова, а древний пророк-обличитель, произносил слова то быстро, пламенно, то чуть тише, медленнее, раздельнее:

«Видать, по дьявольскому наущению-сценарию дано было им, хищным мира сего, ещё в ранние человеческие века при-

думать хитроумные способы обмана, накинуть удавки, ярма, незримые сети на племена и народы, изобрести орудия пыток, расправ и убийств, подавления человеческих воли и психики, умертвления живой человеческой жизни.

И как ты их ни назови (может, более всего подходит «кровососущие»), они, подкупая или запугивая власть, или вовсе захватывая власть, во все века провоцируют раздоры, бедствия, революции, войны, лишь бы человечество не могло объединиться в стремлении к добру и справедливости и не „раздавить гадин“. Вечная мировая война — миллионы погибших отцов, матерей, детей — миллионы погибших семей.

Закулисно, а теперь уже и не таясь, они щедро проращивают самые низменные начала в „двуногих венцах природы“, уводом в соблазны или бедность-нищету разрушают семьи, узаконивают содомские вожделения, шельмуют высокое просветительство и одаривают грантами ползучее растлительство. Ложью, клеветой, злобной силой утверждают они либертэ вседозволенности. Они отгородились от народов прикормленными эскадронами смерти, пушками и ракетами, финансовыми и информационными манипуляциями, научными смертоносными новинками. Они ненавидят весь мир, поскольку он не весь у их ног. Они, ныне называющие себя элитами, похотливые временщики, даже и не задумываются, что есть, „есть Божий Суд, наперсники разврата“.

(В Москве, в раннебольшевистские времена, замышлялся грандиозный, пятисотметровой высоты памятник Ленину, который видно было бы из Рязани; ещё желанней для интернациональных авангардистов — из Лондона и Цюриха... Для реврадикального глаза требовалась малость: снести весь Кремль и Красную площадь с их соборами и памятниками.)

По-прежнему возводится Вавилонская башня — в иных, подчас незримых формах, и далеко не все живущие знают, зачем и кому понадобилась она.

И всё же — народы прозревают!..»

* * *

А если б не было враждебных пограничий
И люди жили без тревожащих отличий?
И не в обмане, вроде лозунга о братстве,
Свободе, равенстве и прочем «преприятстве»,
А в понимании, откуда корни тайных
Богатств, и обществ, и фигур случайных
На всех олимпах, этажах и сценах —
Фигур лукавых, злобных и внеценных

Клакёров, адвокатов, сутенёров,
Премьеров, депутатов, режиссёров
И прочая, и прочая, и прочая...
И человек мог увидеть воочию,
Что стало вечным правом, а не вестью:
Жить человечеству по совести и чести!

Последней войны не бывает

*Посох горит... Горят славянские грады и веси, горят небо-
зримые нивы, горят эшелоны с матерями и детьми... горит
Россия, из века в век опаляемая, испепеляемая пожарами
враждебных нашествий, но никогда не полыхавшая так,
как в первые годы Отечественной — Великой... И никакими
водами невозможно было залить эти пожарища, хотя, видя
небывалые пожары и полыхания человеческих злобы-ненави-
сти, Днепр, Дон, Волга пытались выплеснуться, вырваться
из неволи своих берегов и устремиться по русской земле, чтоб
загасить концеветные языки-сполохи огня. Неразделимо
сливались в яростном поединке огни и воды, но пожары не
унимались.*

Ложный брат

Осенним днём первого года последней (последней ли?)
Отечественной войны он лежал на смоленской земле, в малом
овражке, и видел, как по проутюженному полю навычной
цепью приближались они, небоящиеся. После нескольких
их атак во взводе, кроме него, в живых никого не осталось.
Приближалось не менее полусотни. Но видел он, весь напряг-
шись, только одного. Потому что прямо на него шёл... его брат.
Младший брат, воевавший на дальнем Севере. Тот же высокий
рост, то же припадание на правую ногу, те же серые глаза.
Хотя глаз не рассмотреть, а весь он с головы до пят серый. Но
метрах в тридцати он всё-таки успел разглядеть глаза насту-
павшего — уверенные, давно не щадящие глаза вермахтовца.

Он ждал, сжимая в руках гранату, словно дитё пустое,
словно женщину, словно... Лишь на миг его охватила пустота
оттого, что ни дитяти, ни женщины ему уже никогда не обнять,
в объятиях не сжать. Ложный брат уже делал последний шаг...

Цветут осколки

Апрель сорок третьего года. Апрель года сорок четвёртого,
сорок пятого, сорок шестого, сорок седьмого... Придонские
бугры у впадения Чёрной Калитвы в Дон, едва освободясь от
снега, словно невиданными разноцветными подснежниками,
зацветают коричнево-ржавым, красным, оранжевым, зелено-
ватым... Это гильзы от патронов и снарядов, осколки от гранат,
снарядов и мин. Детям, ежегодно подбирававшим их, мнилось,
что именно эти осколки поубили их отцов; хотя в письмах

с фронта и похоронках (страшное, войной рождённое слово, к которому нельзя было привыкнуть) указывались совсем другие места, часто далёкие от придонских находимий.

И никто не мог бы сказать, чего было больше: тех зацветавших по весне осколков на придонских холмах или же в окрестных сёлах бумажных вестниц гибели — похоронок, похоронок, похоронок...

Швейная машинка

Рассказывал очевидец. Кончилась война, и из поверженной германской столицы покатали мы в родные края на поездах, украшенных лозунгами, плакатами победы и зелёными ветками радости.

И наш, воронежский, тресвятский, всю войну провоевавший без единой царапинки, ехал в весельем и силой переполненном вагоне, с такими же, как он, в себе уверенными, подвыпившими. И уже недалеко была станция, где ему надо было выходить. Вдруг поезд резко затормозил, и трофейная швейная машинка сорвалась с верхней полки, заваленной всякой на завоёванной земле ухваченной всячиной, и нового владельца, нашего, тресвятского — острой боковиной футляра — по голове. И вмиг насмерть. Самое обидное крылось в том, что парень он был не захапистый, ничего не вёз отобранного, отнятого у несчастных побеждённых, а машинку ему всучили друзья для его младшей сестры, которая в войну срукодельничала носовых платочков и кисетов на весь братнин взвод.

Тарзан и дядька Стожар

О великолепный Тарзан! Бегает резвее резвых, плавает быстрее крокодила, прыгает в воду, может, с самого высокого в мире моста. О всегда побеждающий Тарзан!

Трофейный многосерийный кинобоевик повально завоевал ребячьи сердца. Состав тогда жюри из слободских ребят послевоенной поры, они бы этой лихой киношной саге присудили не то что золотую пальмовую ветвь — целую пальмовую рощу, в уверенности, что лучшего фильма никогда уже не увидеть. Иные изловчились трижды, четырежды побывать на этом приключенческом крючке, бегая за ним по соседним слободам.

Кино смотрели и взрослые. Прореженные недавней войной мужики, ещё в гимнастёрках с медалями «За оборону Севастополя», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», прошедшие и долгие вёрсты, и хляби долгие, глядели не без интереса на все эти экзотические штучки, словно и для них, привыкших ничему не удивляться, припасено было здесь диво дивное.

Дядька Стожар, невысокого роста добродушный крепыш, сидел рядом с подростками и явно переживал, поглощённый придуманными опасностями: весь подавался вперёд... Что дальше?

Да ничего серьёзного дальше, всё будет о'кей, как в золотоносном кино. Но ведь тогда-то едва не каждый из нас иначе думал и за фильмодействие переживал как за всамделишнее.

Много позже слободские узнают, что дядька Стожар, тихий, беззлобный, простодушный, на войне выказал немало отваги, стойкости и чести: близ Севастополя был потоплен на катере и всю ночь продержался на воде (Дон помог, в детстве подолгу качая на своих волнах); а на Курской дуге на батарее был проутюжен «Тигром» и чудом жив остался; а в германской столице — из пламени, обгорев лицом, вынес немецких троих детишек — для жизни.

А сразу после войны спас упавшую с речного мостка девочку — дочь местного однорукого председателя колхоза, хваткорукого похотливца, который на поле и в постели изувечил здоровье своей и его жены, и нескольких солдаток, сломленных неженской страдой, угрозами и голодом детишек.

Дядька Стожар, этот сердечно открытый всем знакомым и незнакомым, тихий, незлобивый слободской Тушин, от души болел за актёра-супермена: что там приключится с Тарзаном дальше? Зато Стожар, как водится у крестьян, не придавал особенного значения пережитому и совершённому им самим: все четыре года войны он рисковал ежедневно, ежечасно, неоплатно, да и о какой плате могла идти речь, когда решалась судьба Родины?

Дон и Висла

Тридцать лет он носил в кармане фотографию своего друга из соседнего донского села. Два года бок о бок воевали они в пехоте, и ни одной царапинки на двоих. Погиб друг в сорок пятом, близ Вислы — не в атаке и не когда кинулся в яростно полыхающий огнём дом, внутри которого находились две малышки; местные жители, уже обожжённые, стояли недвижно, словно кто-то околдовал их; скоро боец выбежал, весь красно-чёрный, с невидящими глазами, и когда будущих польских красавиц передал матери и направился к своим, раздалась долгая автоматная очередь.

Фотография износилась так, что надписи уже было не разобрать. И однажды, сидя на меловом камне на берегу Дона, он медленно, словно тяжесть, метнул её в воду. И тут же почувствовал на душе осадок. Будто вместе с нею выбрасывалась и память о друге, хотя в оправдание можно было сказать, что фотография вниз по течению уплывала к родному селу однополчанина.

У самого берега родного Дона он долго вспоминал сорок пятый на Висле. Затем вынул из бокового кармана медаль «За освобождение Варшавы» и изо всей стариковской силы бросил и её далеко в Дон, как совместную с давно погибшим другом благодарность за солнечные детские дни, проведённые на речной волне.

Ему стало легче, словно он избавился сам и избавил редующие полки фронтовиков от тягостно обуревавших дум о жертвах, гибельных атаках на Дону и Волге, Дунае и Висле, от наивных послевоенных надежд, что в сорок пятом освобождённая ими Европа будет на века вечные благодарна им. (Освобождённая, но не оставленная, — он об этом не думал.)

И зримо, как в последний час, явились ему солнечные дни детства, донская волна, девичий смех; и он, человек невоцерковлённый, словно бы почувствовал дыхание и милость Божественной Благодати, и тихие слова благодарности долго изливались из его сердца за всё им прожитое.

Дети войны

Он издал семь книг, и все — о войне, вернее, о детях войны.

После затихшей передовой он, ребёнок, увидел свою родину разорённой, своё село — наполовину сожжённым, так что при первом ветерке галки горелого праха кружились чаще, нежели обычные галки, то есть галки-птицы.

Он видел воинов, обезрученных, обезноженных, с войны возвращавшихся. Видел ушедшую и неуходящую войну своими глазами: его сверстники и дружки ранились и погибали на минах, снарядах, гранатах.

Он чувствовал неискупимый долг перед ними, написал семь книг. Но ни семь, ни семьдесят, пусть самых честных и благодарственных, не могли облегчить чувства потери.

* * *

И сказал старик-ветеран
(войнами двадцатого века искалеченный):
«Ничего хорошего не дожидаться от человечества:
Даже если среди людей — миллионы хороших,
Не упредят они человеческих ран,

Не упредят тёмных зол, предательства, лжи,
Потому что содомитские силы
Не устанут вонзать в человечество свои ножи,
Свои чернильные хищные перья,
Золотые подкупные, ржавь недоверья.

А война? Когда изойдёт канонадой последней?
Когда всегрешных настигнет последняя кара? —
Мир тогда не успеет со своей поминальной медью,
И на землю хлынут потопы и пожары».

Ненастье и несчастье

Посох ведёт по глубокому беспогодью: дождь, перемежаемый то снежинками, то градинами, непролазная слякоть, сплошная серая завеса. Долгий тяжёлый дождь льёт как из

ведра, льёт так, будто все океаны земли оказались вдруг на небе и оттуда низверглись — разверзлись хляби небесные. Когда чуть-чуть стихает, видно косые нити дождя, прерывистые, будто пробелы меж строчными словами на серой бумаге; миллионы шуршащих строк, которые не прочтает никто: едва коснувшись земли, они исчезают, своей совокупной гибелью образуя потопно грозящие потоки. И смываются все шаги человеческие и дела рук человеческих, скрываются, исчезают все следы — и чистые, и грязные.

Косые строчки дождя

В дождливый день бросилось в глаза...

Три машины, доверху гружённые пшеницей, медленно, надрывно пробивались к селу, и несколько водителей и грузчиков, подкладывая ветви под колёса, помогали продвинуться то одному грузовику, то другому, то третьему. Промокшие до нитки, люди тяжались с непогодьем так, словно на их родине всё ещё длилась война и им надо было привезти как можно быстрее хлеб для голодного детского дома.

А на водохранилище всю поливают... водохранилище. Гремящий, с широченными трубами агрегат непрерывно втягивает в себя потоки воды и тут же их далеко выбрасывает — хрустальный изогнутый столб, белая радуга? Что это, зачем? Летнее обогащение воды кислородом, дабы рыбу уберечь от замора? Но рыбы уже нет, потому что замор случился на исходе зимы, когда агрегата и в помине не было. Так отчего же он грохочет? Может, его команда зело хмельна и никому не подняться, чтобы выключить ненужно гремящий левиафан? Может, и не с руки выключать, оттого что задан ему жёсткий план?

Вдобавок на близком лугу всю стараются поливальные установки, заливая водами без того залитый луг. На вопрос любопытствовавшего путника: «Зачем? Ведь дождь?..» последовал ответ: «Нам за дождь деньги не платят. Видишь счётчики на установках? Сколько насчитают, столько нам и заплатят».

Богатырская застава

Дождик моросит. На главной улице большого села — никого. На цветочной клумбе перед колхозным правлением с колоннами под античность лежит, разметав руки, саженого роста малый, видать, чуток перебравший. После затяжной лёжки ворочается, выминая полклумбы, поднимается, оглядывается, что-то пытается сообразить и снова валится замертво.

Швыряемые из стороны в сторону убойным зелием, подбредают к клумбе двое. Остановились перед собратом, но поднимать не стали, а, постояв, направились к угловой колонне и стали упираться в неё руками, будто пытаясь сдвинуть

с места или завалить вовсе. Сдвинуть не удалось. Тогда возвращаются к собрату, тужатся его поднять. Запутавшись в цветочных стеблях, валяются рядом и умиротворённо затаихают.

Приезжий молодой экономист, глядя из правленческого окна, с шуткой и не без горечи говорит самому себе: «Васнецова бы сюда! Пора новую картину рисовать: вот что случилось с ними, нашими старорусскими богатырями... Экая застава богатырская!»

Люди и звери

Белая Ладья — красивая и незаменимая для летнего отдыха уральская деревня в глубине лесов, два века славная своими добрыми людьми. На выходные дни сюда приезжали на отдых, иные добирались от ближнего городка на такси.

Сын лесничего из Белой Ладьи, малый с нагловатыми глазами, носитель хорошего имени Борис, по окончании школы устремился завоёвывать приуральский университет. Не поступил, а вскоре сам легко оказался завоёванным: попал в зловещую компашку, где любая людская душа ценилась не дороже червонца. Были у них и ножи, и наганы, и кастеты, и заточки, и тонкие нейлоновые шнуры... Деньги от чёрного промысла появлялись и тут же испарялись, как грязные лужицы в летний солнечно-плавкий день.

«Едем к моим предкам, там много чего раздобудем!» — пообещал Борис двоим друзьям. В райгородке взяли частника — небезденежного. На развилке лесной дороги, недалеко от Зелёного болота водителя ударили кастетом, наспех обыскали всего — добычей стали золотой браслет и тяжёлая золотая цепь с неясным знаком зодиака и несколько десятков червонцев; потащили к Зелёному болоту, чтобы скрыть следы убийства преступного.

«У меня тут неподалёку под кедром кое-что есть, я враз!» — Борис торопливо зашагал в огиб болотца, а его содельники потянули безжизненное тело в низину. На беду свою этот уголок леса осматривал лесничий. Завидев убийц, он направил на них ружьё и заставил стать у самого края болота.

А сын подкрался к своему отцу сзади и тремя выстрелами сразил его.

«Теперь поторопимся!» Но торопиться не пришлось. Проезжала милицейская машина, остановилась у брошенной легковушки. Тут и раздалась три выстрела. Бывалые стражи порядка сориентировались быстро.

Через несколько дней после похорон выплаканная до последней слезы жена убитого лесничего в недоумении — сама с собой разговаривала: «На какой страшной войне был!.. Награды — полстола займут. Никого и ничего не боялся. Мог один против четверых выйти, если по-честному схватиться!..»

А в лесу тем днём раздался рык медведя, как гонг призывающий, и целые стаи волков, лисиц, рысей, лосей, диких кабанов устремились на Судную Поляну.

По праву Старейшего слово взял медведь.

— Мы придумали казни и пытки? Может, мы придумали пытаться огнём, водой? Или, может, мы додумались вгонять иглы под ногти и в мозг, заливать глотки расплавленным свинцом и парафином? А кого осенило — сажать человека на кол? Мы придумали помещать человека в мешки с крысами или голым привязывать к дереву в комариную ночь? И гильотину, электрический стул, газовую камеру мы изобрели? А убийственные яды? Нет, это человеки-гуманисты, учёнейшие придумщики, изобретатели гибели — всеобщей, всеземной. Пусть они и называют зверьми худших из своих, но им до зверей — как нам до Млечного шляха.

— Человек не гуманист и не творение Божие, его надо свести с земли, — решительно заявил волк. — Давайте все падём, и от смерти нашей потянутся заразные болезни по всей земле и исчезнет это самое злое создание под лунной ли, под солнцем.

— Нет, — сказал окончательное медведь. — Нет, не надо природе подобной жертвы. Человек при таком бесчеловечном его «поступательном историческом движении», как это именуют их философы, сам даже внешне потеряет свой облик, и глазки его станут мелкими, как щёлки, а подбородок лягушечье-отвислым, а руки всезагребуще длинными. Предоставим роду людскому самому покончить с собой.

Ночной лес был полон шорохов и жил своей вековой жизнью.

В автобусах, в автобусах...

Битком набитый автобус в жаркий июльский день мчался в большой город. Так душно, что тяжело было даже парой фраз обменяться. Но вот две женщины, обеим лет за сорок, с четверть часа зло переругивались: одна зацепила зонтиком другую, и та взвилась: «Ты бы его ещё раскрыла, как на ночь исподнее платье... Какой тебя дождь мочит?» — «А тебя какой овод кусает?» Слово за слово — и уже враги злейшие.

Старушка в белом платочке на переднем сиденье стала медленно клониться и вдруг резко дёрнулась и, припав к стеклу, больше не шевелилась. Занялось громкое сочувствие и крики о помощи. Водитель остановил проезжавшую машину скорой помощи. Как тут же выяснилось, она не понадобилась: старушка скончалась сразу.

Игорь Андреевич онемело стоял и думал: что эту, по всему виду, деревенскую пожилую женщину направляло в город?

В гости? На помощь кому-то? Нянчить внука? Городские закупки? Жила бы себе тихо в своей избе, возилась на подворье

и огороде, а по неизбежному часу всё было бы пристойно — её же погодки, уже освобождённые от зависти и всего суетно-земного, благословили бы в вечный спасительный путь. А здесь — этот духотный автобус, грохот, крики, чад автострады. И самое тягостное: что видела она перед смертью, что запомнила, чтобы унести туда? Визги двух раскрашенных склочниц, безвкусно увешанных массивными драгоценностями?

Он молча направился в передние двери, как опять ударился слухом о перебранку, возобновлённую, будто ничего и не произошло.

— Вас бы с этой сварой на час-другой в холодный бункер. Глядишь, поостыли б языки...

— Фашист! — сразу же взвилась одна.

— Именно фашист! — кинулась в поддержку другая. — Тебя самого бы в бункер, да на долгие годки!

Он сошёл с автобусных подножек, невольно думая, что перед опасностью подлые всегда объединяются, будь они даже во вражде. Да, объединяются — таково свойство мелких душ: ненавидеть весь белый свет, если белый свет не темнеет.

А ещё с невыносимой тоской подумал, сколько автобусов в этот день потерпит крушение, на горной дороге низринется в пропасть, столкнётся с тяжелогрузными машинами, сорвётся с мостов. И сколько там погибнет, и всё больше — дети, дети, дети... оборванное будущее человечества.

Судебная ошибка

Произошла судебная ошибка, и он, честный, прямодушный человек, пять лет отсидел в тюрьме. (Его дед по материнской ветви, семижильный крестьянин, своими трудами выстроивший дом для жены и семи детей своих, надломился и умер от разрыва сердца, что не остановило местных и заезжих активистов раскулачить труженический род, отобрать дом и пустить детей по миру.) И всё же он не питал зла на власть, может, от непривычного крестьянскому роду убеждения, что человек мал, ведом разнородными силами и редко когда попадает в точку справедливости. За эти пять лет он получил единственное письмо от матери, сельской учительницы, — она, не пережив неправды и мутного пятна на семье, тихо и скоро угасла. В десятистраничном письме мать подробно описывала страданическую жизнь своего отца, не жаловалась на раннюю потерю близких и словно завещала сыну верить в хорошее, которое тоже, как и худое, рано или поздно находит человека нередко обездоленного.

Вечности свеча

Как раньше было: нахлынут стихотворные строки — бери обрывок листа, огрызок карандаша и успевай записывать: строки набегают, как волны, как ветры, как огни.

Ещё в школе, потом на службе он так был захвачен стихами, что ему мнилось: вот для него самое существенное.

Между тем, одарённый, чем только он не занимался в жизни: по службе летал над Крайним Севером, Западной Сибирью, Дальним Востоком, Кавказом и Памиром, а в отпускные месяцы вплавь преодолевал большие реки, восходил на горные вершины, строил часовни, разбивал парки, прочищал забитые родники; любил биатлон, рыбалку, а ещё математические головоломки; да и нередко жизненные головоломки задавал себе; изнашивал своё сердце надрывными трудами, семейными неурядицами, бессонницами горько выпивающей среды.

Со временем перестал придавать значение стихам, видел в них тщетное, лукавый соблазн, мутную гордыню. За истинное почитал разве Пушкина, ещё — Боратынского, Тютчева, Достоевского.

А последний год своей короткой земной жизни он отдал молитве — в монастырских церквях и часовенках русского Севера, в землях примосковских, владимирских, суздальских — везде теплил свечки. И просил у Бога прощения — за то, что, любя отца-мать, выросши, мало в чём слушался их, за то, что, случалось, занимался вещами, чуждыми, подчас противными его природе и сердцу, нередко избирал ломаные, а не прямые пути.

Часами молился он в церкви Покрова на Нерли, а прощаясь с нею, сказал: «Моя последняя земная встреча с Небом».

Поле, река, облака... И однажды воздвигнутая вечная Церковь Покрова...

Всё пройдёт — и скорби родных, и шумные автострады, и великославные города с их многовековыми библиотеками, театрами и музеями. И только незримая свеча благодарности Богу, затопленная концесветными водами, не перестанет светить негасимым светом помина и веры.

Семейное переселение

Они несколько лет ждали переселения в другой микрорайон большого города. Там действительно было большое удобство: школа, детсад, магазины рядом, а главное — замечательный крытый хоккейный дворец. Старший сын Колокольцевых увлекался хоккеем и мечтал поскорее перебраться в Северный район, где, кстати, жили родители его товарища, с которым они и подружились на хоккее. И вот настал счастливый миг. И квартира выпала хорошая, в кирпичном доме, куда отец вложил много средств и сил.

В первый же вечер четверо наркоманов, отцы которых тоже приобрели квартиры в новом доме, соблазнившись спортивной курткой Колокольцева и надеясь на деньги для своих неотложных наркотических доз, до полусмерти его избили.

С повреждённым позвоночником он около года провалялся в больницах. А затем...

В спортивный дворец приезжал сначала на коляске, а позже приходил, опираясь на трость, и наблюдал, как с ураганной скоростью носятся по хоккейной площадке его сверстники.

А семье его товарища пришлось перебираться в пригородный район, в некий современный барачный городок с квартирами-малометражками, потому что решительно не хватало денег оплачивать хорошую многокомнатную квартиру: коммунхоз, отданный рыночно-либеральным правительством во внесударственное управление, увеличивал, всё дороже и дороже, плату за реальное и виртуальное, за то, что работало и бездействовало, за вечное — воду, воздух, огонь.

Чёрные маньяки

Маньяки — чёрные, холодно просчитывающие, безжалостные! Маньяки власти. Маньяки золота. Маньяки террора. Маньяки — губители всего живого. Маньяки-сладолюбивые. Маньяки — мучители отроковиц. Маньяки — убийцы птиц. Маньяки — графоманы. Маньяки научные и псевдонаучные. Маньяки голотелого театра. Маньяки протестных резолюций и цветных революций. Маньяки чёрного рейдерства. Маньяки риелторства. Маньяки-коллекторы в городах, лесах, полях...

И всюду — так или иначе — они убивают. Чёрными делами, словами, перьями, клавишами... Свобода! Чёрные маньяки, террористы, лукавые политики — ныне главные (с мировыми финансистами) извратители богоданной жизни на земле. Обычно они остаются непоиманными, пока не насытятся, а они не насыщаются никогда. И не существует для них ни нравственного закона, ни юридического, ни суда чести и чести, ни государственного, ни общества. Есть только их прошлые и будущие жертвы.

Зовущие смерть

Нет, это не те малыши, отроки, подростки, которые в годы войны гибли под бомбами и снарядами, в городах и на хуторах, в полях и на дорогах, в пылающих эшелонах, пытавшихся чужонными несчётными колёсами убежать от войны.

Это подростки начала двадцать первого века — дети компьютерного прогресса, Интернета. И вот наше будущее, зреющее в юных сердцах, технологи детской смерти то примитивным, то изощрённым образом подталкивают к гибели. За два тысячелетия от Рождества Христова ничего подобного даже в дурном сне не снилось человечеству. А ныне?

Какой-нибудь «продвинутый» пятнадцатилетний дурачок или такая же особь из благонедовершённых девиц — ранних

блудниц на свои сайты, под свои «новации», песенки-зазывы, превращающиеся в приказы, могут скликать сотни, тысячи, миллионы сверстников, а приказы (за видимыми — невидимые, с чёрными перьями и загребущими лапами сатанинства) ведут к массовому детскому самоубийству. И что-то, увы, не слышно всемирной сирены всемирной беды!

Идут в смерть и подростки из семей сверхбогатых, и подростки из семей сверхбедных. Богатым баловням судьбы, потропившимся жить во всеизлишестве, уже скучны грядущие дни, месяцы, годы, в которых, как им кажется, всё повторится. А подростки из бедных семей видят и чувствуют ненадёжность своего будущего жизненного пути в мире, где ухмылисто правит денежный мешок, где государство отдаёт свою законную силу и власть нуворишам в банках, на чиновничьих этажах, на когда-то великих предприятиях; богоданные народам природные ресурсы раздаривает частным хватальцам, делает порядочных людей беззащитными и всебеднеющими, конечно же, не только через буржуазный рыночно-либеральный коммунхоз — очевидное преступное порождение передового капиталистического всеустройства...

Около двух столетий назад, в 1830 году, болезненный, выхоженный беззаветными заботами бабушки, гениальный поэт-подросток пророчески предупреждал: «Настанет год, России чёрный год, / Когда с царей корона упадёт; / Забудет чернь к ним прежнюю любовь, / И пища многих будет смерть и кровь; / Когда детей, когда невинных жён / Низвергнутый не защитит закон...»

Гуляют ныне по миру вседозволенность, преступность, золотые пилюли подмен. Так что у мелкодушного и мелкоумного (не мелкохитрого) мирового правящего класса — честь, совесть, достоинство в поругании и презрении.

И что же? Не столь далеки воспрянувшие Содом и Гоморра?

* * *

Миг, чтоб сменилось солнце на ненастье,
Миг отделяет счастье от несчастья...

Погибла дочь, и неутешно плачет
Ещё вчера улыбчивая мать.

Взмыл самолёт, восторг небесной выси,
Но скоро он низринется к земле.

Была страна в надежде лучшей жизни,
Но на неё обрушилась война.

Пусты они, земные пьедесталы,
Был славный мир, и мира вмиг не стало.

Вечные женщины

Посох ведёт к женщинам разных времён, разных народов, и ты обращаешься в юношу, готового поклоняться всем девушкам, жёнам, старухам. И сколько же поведают они драм! Помимо полевой страды, изнурительного труда — обиды, нанесённые близкими, предательства их наречённых, супружеские измены, толстокожесть мужчин, болезни и гибель родных.

Откуда ни возьмись — прекрасная синяя река, огромен луг, а на нём хороводы девушек, а девушки — как луговые цветки. Но хороши и пожилые женщины, и старухи.

А в стороне — замкнутый полукруг молодых женщин, модно одетых, с холёными руками и открытыми нежно-загорелыми заплечьями. Стоят подалее от «простушек», красивые ледяной красотой, непонятно чем гордящиеся, свободные.

Не тот дом

Поднялся по крутой лестнице на пятый этаж. Постучал. Открылась дверь. Незнакомое вопрошающее лицо молодой женщины. Приветливое, красивое, но чужое. Оказалось, не в тот дом попал — из трёх, внешне одинаковых, на городской окраине.

Не так ли, часто и твоя, и его, и моя жизнь? Мчимся по избранной дороге (мелькают окрестные городки и веси, туннели и мосты), но в конце совсем не то, что ожидалось. А иной раз — и тупик.

Подснежниковый лес

Лиственный лес по склону лощины был ласков и заманчив, как, наверное, ласковы и заманчивы все срединнорусские рощицы, дубравки, смешанные зелёные пологи. И тревожно было увидеть в глазах попутчицы, пятидесятилетней красивой женщины, не умиrotворение и благодарность лесу, а страх, промельк ужаса в зябких глазах.

Боязнь леса — она вздрагивала при одном его упоминании — навсегда ужала её душу и тело с той поры, как при самом конце великой войны ей, семнадцатилетней, преградили весеннюю лесную тропу двое дезертиров.

С той поры она не смотрит фильмы «про любовь». Кроме церковных, не читает никаких книг, в которых признаются в нежных чувствах, избегает разговоров о молодости. Она никогда не держит в квартире цветы и меняется в лице, когда видит подснежники. Те двое тоже почему-то были с подснежниками в руках, словно нарвали их для любимых.

...Насильник взвыл и как мешок отвалился от молодого женского тела. Острая горячая игла вонзилась в его крайнюю плоть. Такие иглы оказались в детородной глубли каждой

женщины на земле. Игла, как живая, устремлялась, когда насильник уже готов был войти в женские ложесна.

И с того не столь давнего дня, как Вседержитель-Творец смилостивился, не случилось на земле ни одного насилия над чистыми девушками, над верными женами, над порядочными, да и над всякими женщинами.

А до спасительной иглы — как помочь им, тысячам и миллионам жертв былых столетий и тысячелетий?

Он лежал, отходя от сна, который сам вызвал бесконечными мыслями о судьбах поруганных женщин: он был племянником когда-то семнадцатилетней прекрасной девушки, которой на исходе войны дезертиры в подснежниковом лесу перегородили дорогу и жизнь.

Снайперская пуля

Молодой офицер (где это было — на Кавказе или Украине?) шёл по непростреливаемому вот уже несколько дней полю и, забыв об опасности, напевал недавно сочинённое: «От девочек, от девушек, от женщин / Исходит запах моря и полей, / Лесов, садов и яблонь бело-вешних, / И высоко летящих журавлей». Далее пошло прозаическое и более серьёзное: «От женщин — песни, от женщин — родники. От женщин добро и зло, и если зло — всему миру страданье. Миллионы, миллиарды женщин, и, искупая их страсть, над ними, святыми и грешными, восходит Богородица, Всеискупительная Дева, и её Покров осеняет всех».

Она, двадцатидвухлетняя славянка-смуглянка, что могла стать женой русскому офицеру, целилась в него, назначенного врага, с которым никогда не встречалась, как в наиглавную мишень. И... раздался выстрел — без промаха!

Молодые землячки

Под старый Новый год молодые женщины, приехавшие из города в гости к своим матерям, бродят со смехом и шутками по заснеженной сельской улице, забредают в избу родственников, дарят подарки-безделушки. В модных сапожках, поверх красиво сшитых платьев на груди — модные крестики. Старика, старшему брату их отца, хочется спросить: «Крестики-то зачем? Да ещё напоказ! Вы же в Бога не верите, сколько помню, никогда не молились?» Но что спрашивать, он уже знает: модно нынче носить крестики.

Под крестами — неисходимые кладбища мира, и об этом старику хочется сказать приглядным молодухам, однако не решается, остро чувствуя, что временная разница между ними и им — не пятьдесят лет и не пятьсот, а вечность; бездна, незримая бесконечная стена, разделяющая, может быть, всех.

Мать и сын — прощающие

Молодая беременная женщина (да какая женщина в девятнадцать лет — девчонка!) медленно шла через прозванный воронежцами Парк живых и мёртвых: на порушенном кладбище под зелёным пологом двухвековых деревьев раскидисто и давно уже копилась живая жизнь: прогулочные дорожки с молодыми и пожилыми парами, детские площадки, торговые точки.

Был вечер, но не поздний. Молодая беременная женщина возвращалась от близких знакомых. Заняв у них денег на кооперативную квартиру, она безмерно радовалась, и словно радовался и пятимесячный малыш в её лоне, часто трубя ножками.

Как из-под земли выросла совсем молоденькая, уже потрепанная, уже бывалая, с ножом в гибких руках, с натерелым матом на губах: «Снимай серьги, пузыня! И сумочку — быстро, живо!» А в сумочке — квартира, то есть необходимые для её покупки деньги. Беременная хотела было позвать на помощь, но взглянула по сторонам — лишь разбойные рожи, как отпечатанные.

Обессиленная, опустилась на скамью и плачет — за всю жизнь так не плакала. И малыш замолчал. Ножками уже не трубит. Почувствовал материнское горе, почувствовал, что есть на земле дурные люди. К его маме подходят прохожие, расспрашивают, сочувствуют, иные кинулись в глубь парка, обнаружить хваткоруких, да тех и след простыл.

А сын, когда ему исполнится девятнадцать лет, вытащит из канавы замерзавшую там пьяную женщину, которая когда-то заставила его перестать трубить ножками в материнском лоне. Он не узнает, кто она. Но если бы и знал наперёд — вытащил: он унаследовал черты матери — доброй, сострадательной, зла на других не держащей.

Близкая жена и далёкая десятиклассница

Было это едва не тысячу лет назад, может, чуть меньше; говоря не ностальгически, а исторически — вскоре после Великой войны. Отечественной.

Из-за семейного переезда десятый класс он завершал в придонской районной школе; класс как класс, а вот параллельный десятый — единственный, может, на весь великий Союз: почти сплошь состоял из девчонок — девушек удивительных: одна другой краше, одна другой скромнее, одна другой улыбчивей и веселее; разумеется, также и умниц, в скором — сплошь золотых и серебряных медалисток. Но и среди них выделялась она, обладательница чистого певучего голоса, пшеничной локонообразной причёски, синих-пресиних глаз — прямо-таки очей, и обворожительной улыбки, неуловимо ироничной. Она, как и он, увлекалась языками. Сойдясь поближе, они понимали

друг друга на немецком и французском, но в разговорах о серьёзном переходили, разумеется, на русский. Им обоим казалось, что у них просто беседы, диалоги, споры. За полтора весенних месяца она ни разу не потянулась к нему, он ни разу не попытался её обнять. На общешкольном выпускном вечере она первая подошла к нему и призналась: «Утром моя семья уезжает, так что больше мы не встретимся. Я отдаюсь тебе, не отдаваясь. Мне хочется, чтобы и ты — так!» Всё-таки улыбка её была больше грустная, нежели привычно ироничная.

Из его воспоминаний она ушла достойно, казалось, невозвратно после того, как он встретил девушку, которая стала его музой, его возлюбленной, его женой. Все лучшие словоопределения, эпитетные восхваления, которые имелись в «великом и могучем», в других языках, — все посвятил ей. Какие роскошные эпитеты — сокровенная, прекрасная, навечная!..

В ней действительно было всё, о чём только может мечтать мужчина, для которого любовь, верность, семья — не пустые слова.

Но однажды ночью он встал и закурил: ему вдруг явилась десятиклассница, зацветшая молодая яблоневого ветка, ещё нетроганная красавица, умница, спорщица, и ему вспомнились её слова, сказанные на выпускном вечере с улыбкой, чуть ироничной: «...Мы уже не встретимся. Я отдаюсь тебе, не отдаваясь. Мне хочется, чтобы и ты — так!»

Она стала появляться едва не каждую ночь, чаще ничего не говоря, а улыбаясь, улыбаясь; они беседовали о жизни проходящей — то на русском, то на других языках. Постепенно он почувствовал, что эти ночные встречи с нею — диалоги и споры на разных языках — обессиливают его. Он не без юмора пожаловался знакомому психологу, дескать, некая волшебная десятиклассница не даёт ему спать. Тот выслушал и сказал, что психологически это объясняется просто. «В твоей жене есть всё, что отвечает твоей природе. Есть всё, скажем так, на девяносто девять процентов. Но в одном проценте — эта твоя десятиклассница. Было бы тебе проще — за далёким её отсутствием — влюбиться в похожую на неё. А потом всё бы выровнялось. Но ты же не хочешь влюбиться: твоя единственная возлюбленная — твоя жена. Так что терпи десятиклассницу: скоро она устанет от неисполнимого. От несбывшегося».

Тройной грех редактора собственной жизни

Такое с ним, редактором межобластного книжного издательства, случилось впервые. В когда-то губернском городе Т. не оказалось места в гостинице, и его пригласила к себе жена, вернее, вдова его хорошего товарища, хорошего писателя краеведческой темы, год назад погибшего в автомобильном столкновении.

Он пошёл безоглядно, бездумно, не видя дальнейшего. А когда дома она выставила бутылку сухого красного вина и даже сама, ещё не испытанная соблазнами и грехами, чуть несмело играя, рассказала какой-то анекдот про женских угодников, оба посмеялись.

Трудно сказать, как бы сложилась ночь, если б они выпили чего более крепкого, как случается, когда двое заведомо знают, что им хочется ночь провести в объятиях. Но они вовсе не стали пить, и вдруг столкнулись глазами и увидели в глазах друг друга надвигающуюся вину. И, не хмельные, протрезвели так холодно, как если бы в преклонных годах на ледяном острове.

Мучаясь душевно и физически, он так и не сомкнул глаз. Он чувствовал, что не спящая в соседней комнате молодая красивая женщина тоже терзается между желанием и странным страхом близкого присутствия чужого мужчины и одновременно словно бы присутствия погибшего мужа, которого любила, верилось ей, на всю жизнь.

Он понимал, что совершает тройной грех: перед памятью товарища, который вопрошал: зачем он здесь, в квартире его жены; перед этой уже истосковавшейся по мужчине женщиной, за которой, верно бы, готовы были потянуться самые пресыщенные сладострастники; и, разумеется, перед женой своей, которую он любил и которая словно наблюдала за ним, но и сам он и она знали, что ничего предательски-душного не должно случиться.

Расстались ранним утром. За редкословным завтраком хозяйка улыбалась сложной улыбкой, в которой чувствовались и тихий гнев женской оскорблённости, и спасительная радость оттого, что ничего не произошло.

После он нередко бывал в областном городе Т., но лишь однажды встретился с ней — на каком-то поэтическом вечере. Она поглядела отсутствующе мимо него, мимо всех и скоро ушла. А ему всякий вспоминающий раз становилось не по себе, и он осязаемо носил в душе эту постыдную занозу, чувствуя, что от неё не избавиться.

Их, разного рода мелких и крупных заноз, набрались — грозди, они угнетали сердце и душу, и в старости он, словно редактируя свою жизнь, пытался вынуть, выдернуть их из былого, из памяти, но они возвращались и вонзались снова — до самого его земного конца.

На полотнах Мейссонье нет женщин

Однажды подростком, уже чувствующим в себе приближение мужчины, он увидел на городском рынке четырёх пьяных молодых женщин, как оказалось, только что из тюрьмы. Зрелище потрясло его: столько злобной словесной скверны, столько мата он ещё никогда не слышал даже от запойных

мужиков; столько срамных, совокупительных телодвижений, столько грубых, откровенных зазывов-обращений к мимо проходящим... На него увиденное подействовало так, как если бы мир природной и человеческой красоты на глазах низринулся в пропасть.

И тогда он сказал себе, что, кроме родных, в его жизни никогда не будет побочных женщин. И добавил, трижды повторив: «Как на полотнах Мейссонье!» — это знание он приобрёл из недавно прочитанной книги о Наполеоне.

Выросши в сильного, умного и полного разнообразных дарований юношу, он не имел отбоя от разного возраста красавиц, но мужественно никем не соблазнился в ожидании наречённой — будущей возлюбленной, будущей жены, будущей матери его детей.

К целомудренной и пришёл целомудренным: верил, что семья — наиглавная общественная нравственная пристань, душевная, эмоциональная, телесная радость, дарованная Создателем.

Часто командировками, представительскими поездками жизнь усылала его в разные страны, где уже на другой день он начинал скучать по семье. И так длилось годы и годы.

Но однажды в итальянском городке дневная его беседа с молодой, воспитанной и красивой итальянкой-писательницей, занимавшейся, как и он, противостоянием во Второй мировой войне русских и итальянцев на Дону, научным и художественным отображением взаимной трагедии, перетекла в вечернюю... А затем пала ночь.

И с той ночи его стало преследовать тяжёлое ощущение, что, дабы понять сущность мирового человеческого общежития, избыточно переполненного злыми страстями, враждой и ненавистью, ему должно узнать — через познание национальных женщин — что же мешают человечеству стать единой, справедливо милосердной семьёй, и именно через них, познанных женщин, добыть рецепт спасения человечества. Да, рецепт спасения человечества, о чём он наивно мечтал ещё в юности. Ни больше ни меньше.

Никогда он не был похотливцем, но женщины густо появились в его жизни, так что пожелай он вести буквенную запись лирических и физических общений с ними — разве что многостраничная тетрадь вместила бы такую запись.

Но однажды с великой горечью он почувствовал, что угодил в дьявольский розыгрыш и что не ему, современному человеку, тщиться спасать человечество, ещё в евангельские времена обретшее пути к спасению, указанные Спасителем, — Единственным.

Нет-нет да и вспомнится ему раннее видение своей будущей (теперь уже прошедшей) жизни. Без побочных женщин. Без женщин — как на полотнах Мейссонье.

Эстрада и страда

На своём веку он немало повидал их, чистящих пёрышки всякого рода певиц, актрис, примадонн и даже, досадно вспомнить, после щедрого коньячного вечера испытавшего ночь с одной из них.

Он чувствовал их насквозь всех — от властной госпожи Помпадур до завлекательной Мэрилин Монро, от древних владычиц престолов до приятственной первой леди последнего партийного генсекретаря, до всякого рода «звёзд», «светских львиц», некоей Луизы Чикконе, сатанистски присвоивший себе имя Мадонна. И решительно в них ничего не нашёл, кроме нагловатой напористости, шальных голосовых связок и уверенности, что их жизнеповедению завидуют многие. А почему бы им и не поддаться этому пустому гордынному обольщению, видя перед собой море вскинутых рук и диких визгов разновозрастных поклонниц и поклонников?

И он вспомнил женщин в поле под палящим солнцем, истинно красивых, вспомнил сокласниц — хохотушек и смиренниц, неотразимых в своём естестве природной красоты.

А однажды он пережил потрясение в Русском музее, когда увидел на горизонтально удлинённом холсте инокинь кисти Нестерова.

И всё это вдруг смешалось, и он подумал, что Богородица, высшее воплощение Девы, молится за всех — и за инокинь, и за светских гордячек, и за падших подзаборных женщин, и даже за тех, кто предаётся изысканно-извращённому блюду в золочёных альковах новых и старых веков.

Любовницы знаменитых

Нет бы снились девушки, женщины его молодости (весьма, строго-придирчиво вспоминая, красивые), которым он не только цветы, но и ночи лунные и безлунные отдавал. Так нет же! С какой-то дьявольской повторяемостью в его сны впархивают... не жар-птицы, а фаворитки и любовницы чем-нибудь да знаменитых, великих представителей рода мужского. И норовят нырнуть к нему в постель, словно мало им было душевных ласк Цезаря, Макиавелли, Байрона...

Будь он юношей осьмнадцати лет, его бы, верно, это и волновало, и поднимало младую гордость; ещё бы: красавицы всех времён и народов, бурно прошумевшие в истории! Но он был многоповидавший и многоиспытанный человек, и хотя женщину, наряду с птицей, считал созданием прекрасным, тем не менее нередко повторял слова из романа русского классика: «Сколько женщин! Никуда от них не деться. Нигде от них не спрятаться».

Правда, иногда с давнобылыми, античными и средневековыми законодательницами мод, подчас и вершительницами судеб полумира, он вступал в шуточные объяснения, дескать,

поглядели бы они на нынешних фавориток и любовниц всякоблудных временщиков — нынешних светских львиц и тигриц, примадонн и лжемадонн, бизнес-леди и прочая и разнопрочая, они бы подивились, как измелечал мужской мир, довольствующийся в своих альковах таковыми безвкусными пассиями.

Утром он выходил из многоэтажного дома, в зелёном дворе на детской площадке шумно резвились детишки, неподалёку переговаривались молодые мамы, и были они просты, скромны и хороши той красотой, которую дарует счастливое, выстраданное материнство.

Целомудренные невесты

Раньше были, да ещё и остаются, невесты Христовы — непорочные, целомудренные, в монастырях им заготовлен совет даже не как утишить свою плоть, а как нравственно и духовно предуготовить себя к жизни вечной.

А теперь появились клубы девственниц, красивых, милых девушек и по возрасту женщин — от пятнадцати до тридцати пяти лет, причём как бедных, так и богатых, которым противна постель и только лишь постель, чреда лож, в какие укладывают или зашвыривают их «успешных» сверстниц в нуворишевских особняках.

И требуется что-то более сильное, высокое, резкое. И очеловеченное.

Но доходит до того, что создаются спецназы именно девственниц, которые обороняют вверенное им дело (или высоких государственных лиц) не хуже мужчин. Пусть и так — не хуже... Но в человеческом общежитии женщина веками воспринималась как держащая дитя, а не держащая оружие, и воинственная защитница французского отечества Жанна д'Арк — из редких и высоких исключений, счастливых или несчастных. За какое-нибудь столетие всё так разительно изменилось?!

Цветочный тост на свадьбе

Свадьба собралась в ресторане в центре города. Уже часа два, как шумно праздновалась она. Объявили передышку. И тут вдруг зашёл неприглашённый. Когда-то влиятельный и безбедный и сам покончивший с этим «везеньем», он был отверженным родственником соединявшихся в браке ухватливо богатых. Свадьба словно насторожилась. Гость держал три полевых цветка и, видя молчание, с ходу произнёс страннный «цветочный» тост:

«По всем народам гуляет шутливо-грустное, свадебно-прибауточное.

— Молодые, что такие весёлые, радостные?

— Жениться хотим!

Через год.

— Молодые, что такие мрачные, насупленные?

— Да поженились.

Так пусть вам после женитьбы будет хорошо и через год, и через пятьдесят лет.

На свадьбах всегда желают любви и счастья. Но что такое счастье? Кто-то вышагивает кривопутками приобретательства, по лестнице административного статуса и имиджа, но однажды очутится у разбитого корыта. А другой, не забыв честь и совесть, скромно строит своё гнездо, которое окажется не каравеллой, но хорошей ладьёй.

На нынешней свадьбе, гляжу, много цветов. Они сорваны в оранжереях и сворованы с клумб, есть лесные, полевые, луговые; они хороши, но им уже не жить, а свадьба — для жизни, и я хочу рассказать вам о живых цветах.

Вита, когда ты была малышкой, годовой малышкой, я увозил тебя в алой коляске всматриваться в мир, в недалёкий от дома ботанический массив, где ещё не погуляла пила местного олигархата. Вокруг твоей коляски колыхалось море жёлтых, синих, белых цветов. И все они мне казались детками, потому что ты любила прижимать эти цветики к щеке и обнимать их, а ещё — то были девяностые годы прошлого века — годы расправы с Россией, и дети у России почти не рождались.

И в такие часы, при том море цветов, я думал о других — из послевоенного лета моего детства. Тогда по Дону ещё ходили пароходы, и вот на пристани у луга, также, словно праздничная скатерть, покрытого цветами, сошла семья. Герой Советского Союза, видать, лётчик, а, может, и нет: лётчики долго не живут; отец молодой, мать молодая и с ними четверо разновозрастных деток. Они оказались из нашего края. „Да куда же вы, тут разорение и бедность!“ — „Мы возвращаемся на родину!“ — со спокойной радостью воскликнул мужественный и счастливый отец.

Желаю вам прожить счастливо, среди живых цветов и живых людей и лучше бы всего — на трудной нашей Родине!»

* * *

Гита. Зеленоглазка.
Нежность сама и ласка,
Память сама и боль.
Миру диктуют маски.
Странны добрые сказки.
Где твой отец-король?
В Англии даль-туманной
Пал он на сече бранной.
Гита-душа, держись.
Знает и Русь туманы,

Знает и Русь обманы.
Чем утешает жизнь?

Муж твой, державно имя,
Князь Мономах Владимир —
Гроза половецких степей.
Гита, милая Гита,
Сколь расцвела в любви ты,
Мира судьбе твоей!

...Элла. Зеленоглазка.
Стали не нужны сказки.
Сколько веков прошло!
Но, как у верной Гиты,
В битве отец погиб твой —
Правит и ныне Зло!

Милые зеленоглазки,
Верьте в добрые сказки,
Верьте в Свет и Любовь.
Пусть вас сумрак не мучит:
Солнце уходит в тучи
И возвращается вновь!

Литературные среды

Посох ведёт в литературное царство-государство. Пришлось миновать красивое озеро и зловонное болото. То и другое — вода природная.

В литературном мире вода совсем иная. Как не без яда писал едва ли теперь кому известный эпиграммист о романе Тургенева: «При чтеньи этих „Вешних вод“ / И их окончивши, невольно / Читатель скажет в свой черёд: / „Воды, действительно, довольно“. Миллионы водянистых строк, миллионы водянистых страниц, и на дне какого озера, скорей всего, болота искать их смыслы?»

«Друзья» великих

Двое в кафе — уже крепко хмельные.

— Шукшин — настоящий! Шукшин был мой друг, а у меня друзей худых нет. Он предлагал мне сыграть Хлопушу в его «Степане Разине». Говорил, что кроме тебя, Саньч, никому этот образ не передать.

— Но при чём Хлопуша? Он сто лет спустя после Разина жил, он к Емельяну Пугачёву заявился.

— Степан, Емельян — какая разница? Оба хотели воли. Да Шукшин и про Хлопушу сделал бы фильм... Слушай, скоро пластинка с записью моих песен выйдет. Всё это, конечно, пустяки. Мелкая эстрада, крупная разве бывает? Моя миссия — роман. Шолохов, представляешь, при встрече прямо

заявил: «Если ты такой книги, про какую мне рассказал, не напишешь, — я ему изложил замысел, а он в ядрёный казачий восторг пришёл, — если не напишешь, говорит, мне покоя не будет. Должен же быть у меня продолжатель...»

Кто там ещё из великих «знакомцев» окажется у них на языках? До закрытия кафе — полтора часа, а после весь мир — кафе, разве что разойдутся исполнять свои миссии; один — несыгранную роль, другой — обещанный роман.

Помнить бы предостережение Будды

Глядя на трёхтомное собрание своих сочинений, три года назад изданное, он вспомнил, что никому не подписывал первого тома, суеверно побаиваясь, что не доживёт до последнего. Дожил, дождался! Опасался, что выйдет не всё складно: или серая бумага, или бледно пропечатанные иллюстрации, или ошибки от корректорского недогляда, а то и обнаружатся вдруг загоны строк.

Нет, всё обошлось наилучшим образом, собрание сочинений — из добротных, уже последовал высокий госкомиздатский звонок — благосклонный и вдохновляющий. Радость уже — держать тома в руках, перелистывать страницы. Отменный матерчатый переплёт, молочно-белая первосортная бумага, отличная печать.

«Собрание сочинений» — какое торжественное обозначение, где буква «Р» — словно бронза!

Но постепенно радость стала сменяться чем-то тревожащим — сознанием того, что не всё здесь без сучка, без задоринки, что-то не так. Но что? Сам текст. Состав? Основу собрания составили рассказы и повести, едва ли кто сказал бы о них худое. Одна повесть стала чуть не классикой, остальные... остальные были по своему дню важны, читались и шумно обсуждались, но то было лет двадцать назад, людей теперь волновало иное. Существовал же ещё роман, он-то и был причиной возникшей неуверенности. Писатель даже заглянул в содержание, словно надеясь на чудо — не увидать его в трёхтомнике. Роман этот часто напоминал о себе, а писателю — о нём самом, седовласом и признанном, являясь как бы тайным свидетелем его слабости. Роман был написан в пору славы его повестей, скорёхонько, в полгода, без необходимого внутреннего убеждения и непонятно зачем: для поддержания набранной скорости, выверенного ритма, для освоения нового жанра? Ложилось на бумагу без боли и страсти, и получился сундук затейливых сцен, историй, не без мастерства, конечно, исполненных. Славы «сундук» этот, понятно, не добавил, в серьёзной периодике даже не стали обращаться к нему, вроде бы его и не было вовсе. В сочинения писатель не думал его включать, но... не то что соблазнился тремя томами (роман потянул на том), но и не устоял.

Он, может, и не знал изречение Будды, предостерегающее во все века всех пишущих: «Ненаписанное лучше плохо написанного, ибо плохо написанное мучит».

Раздался телефонный звонок. Звонил друг, давний друг-однополчанин, с которым они вместе выбирались из окружения под Смоленском, с которым три года воевали бок о бок. Как всегда крепкий, чуть насмешливый голос: «Знаю, что другу-классику мешаю. Не работать мешаю, а упиваться плодами весьма зрелыми!» Писатель принял шуточный тон: «Увы, один плод — так зеленой зелёного. Убрать бы его с глаз долой!» — Друга он посвящал в свои сомнения насчёт романа. «Ты опять за своё? Да неужто думаешь, подписчику есть дело до твоего романа? Ему подай собрание сочинений. И чем ни больше томов, тем лучше. Видал очереди за подпиской? А на книжном развале ты, трёхтомный, в два номинала! А убери роман — что бы осталось? Два тома? Да разве на них возведёшь пьедестал? А три — это уже и пьедестал, и капитал...» — друг рассмеялся. Он балагурил ещё долго, охотно, не вкладывая в свои шутки никакого жёлчного смысла. Но писатель обнаруживал именно жёлчный смысл; слова о пьедестале и двойном номинале укалывали, и он думал о том, что какое это счастье — не заниматься писательством. Потому что один раз поступишь собой, случись одна неверная нота, лёгкий фальшивый звук — и всё! Нигде — ни за письменным столом, ни в дороге, ни на праздничном застолье, ни во сне — нет тебе покоя. Слово ты обманул тех, кто тебе поверил.

Ибо плохо написанное — как ложно назначенный рецепт.

Пережитое и кабинетно-рассудочное

Один говорит: «Зачем я пережил десять веков родной истории? Пережил русскую раздробленность, монгольский аркан, поле Куликово, Малюту Скуратова и Бирона, Бородино, декабрьский день на Сенатской площади, наше великое отступление, зачем? Писателю искреннему это одно мученье... Понимаешь несоизмеримость, ненужность... Три строки напишешь и уже видишь: ложь! Во всяком случае — словно не по твоей воле оттянутое от правды и истины».

А другой — «ни дня без строчки», и что ему до истории, да и до сегодняшнего дня, до кричащих его диссонансов, если есть возможность, не особенно волнуясь, не утруждая себя и не мучаясь, пописывать, пописывать, пописывать. И издаваться, издаваться, издаваться...

У одного повесть до последней строки родилась из пережитого им (за исключениями редчайшими он никогда не записывал увиденного, тем более услышанного, чтобы не пользоваться чужим). Когда писал повесть, позже никем не «надуваемую», но благодарно принятую читателями, он страдал: заново переживал прожитое, так что сердце болело

и старело быстрее обычного. Он знал, что можно иначе: через пылкое воображение или спокойное бытописание. Но так не мог. И первая та повесть стала и последней.

А у его знакомого — членский писательский билет, спокойная гуманитарная кафедра, вальяжно-спокойный характер, сверхтолерантный взгляд на жизнь обоих земных полушарий. И гладкое, уже после первых страниц мало кем читаемое писание — вяло-спокойное, теплохладное, холодно-рыбье.

Прожитая жизнь на потерянном диске

Прожитая и даже на диске потерянная жизнь?

Он, давно знаемый и уважаемый в литературных кругах, издавался крайне редко, да и от напечатанных книг не испытывал особенной радости; зато ему радость и печаль доставляло шедшее с детства, с отрочества описание своих дней и впечатлений от поездок и хождений по родной земле, встреч со знакомыми и незнакомыми людьми, переживаний от происходивших событий, не только его тревожащих, но и его город, родину и мир.

(Он надеялся, что внуки-правнуки не дадут пропасть его обширной памятной рукописной книге из нескольких дюжин записных книжек и даже опубликуют — растиражируют: как знать, быть может, его записи былого окажутся негромким искренним предостережением будущему, пусть даже одному человеку, от ошибок, которые он совершил. *Verba volant, scripta manent* — слова улетают, написанное остаётся; дневник-ежедневник, щоденник, *Tagebuch, el diario...* и прочая, и прочая... да разве подобные фиксаторы дают полноту хотя бы одной, отдельной человеческой жизни, тем более — времени и пространства трагического бытия человечества?! И всё же...) Однажды свои записи он перепечатал и перенёс на диск — хранитель объёмной информации. Рукописи же прожитого изорвал и выбросил, может, не желая видеть, как с годами всё слабее, всё согбеннее становился его почерк — явный свидетель угасающих сил.

А потом... Он повёз диск на перезапись в областной архив. Всюду тянулись пробки, битый час пришлось ехать в автобусе; после бессонной ночи он впал в забытие, и ему явилось, что он опоздал на поезд и пытается догнать его, бежит через долгие поля; с нарастающим чувством бега он торопливо сошёл на остановке, позавыл на сиденье чёрную папку с диском. Хватился скоро. Но найти забытое не удалось.

Дома, ночами, он часто лежал в бессоннице, видел в полумраке сотни для него дорогих книг, иных — читанных-перечитанных, множество вещей, которые для него стали почти одушевлёнными, и думал гнетущими, упреждающими, футурологическими думами, что однажды дом может погибнуть от плохой выстройки, от газового взрыва, или его покинут будущие родственники, в спехе и, может, равнодушии оставив

едва не все вещи, — издания его собственных произведений; книги, подписанные ему великими людьми Отечества; картины и этюды, подаренные хорошими художниками; а также приобретённые в разных городах народно-промысловые поделки — они были словно частицы его души.

И он никак не мог избавиться ни от тяжёлых снов, ни от тяжёлых дум-бессонниц. Ему ознобно думалось, что с изорванными дневниковыми листками и потерянным диском словно бы куда подевалась его жизнь и, куда печальней, жизнь его поколения...

И всё же не уходила надежда, что мысли, тревоги, упования его и его поколения сохранятся на других дисках, в других домах и даже — других странах.

Трагический рефрен

Боже, верни нам советскую власть! — воскликнул искренний, доверчивого сердца поэт, долгие годы проживший при советской власти и хорошо прочувствовавший под её тяжёлой дланью поступательный путь народа — трагический и героический, жестокий и чаявший милосердной справедливости.

(Просить у Бога вернуть безбожную власть?! Он, конечно же, знал про лихолетные годы этой власти, скорее партийно-большевистской, нежели советской: раскрестьянивание, налоги на родной сад-огород, на кормилицу Зорьку, или — отсидка матери в тюрьме за горсть зерна... А карательные походы правящей верхушки против церкви, духовенства, казачества, против сначала белого, после и красного офицерства, против всякобывших... Иное видел сам, иное — пережитое родными. Узнал и более отдалённое от дедовского плетня — столичное правление жестокого, вненационального, внеотечественного ордена ненавидящих Россию и её народ. (Какой бы то ни было «русской партии» в русскими выстроенной и пострадавшей тысячелетней стране верхоруководящие не могли допустить, и честные носители народного начала были уничтожены бериевскими опричниками.)

И в то же время поэт видел эмоциональные тяготения страны к справедливости, и, как ни безмерно велики были потери народа и родины, тяжелейшие жертвы в великих социальных переломах и войнах, неслыханно преступным оказался всемирный, внешний и внутренний, злобный вал на единственное в мире государство, в котором не убивалась, а, наоборот, лелеялась мысль и надежда общественной справедливости.

Поэт видел, как нововластное *буржуазное хайло* (в определении Шмелёва, из письма Бунину) разрушает, ломает, уничтожает всё хорошее, материальное и духовное, чего добились народная страда при прежней власти, вопит на все Лондоны-Парижи или в соответственном московском салоне («применительно к подлости»), дескать, сколь теперь слав-

но — быть свободным, то есть свободно обворовывать, лгать, клеветать; ловчить, ненавидеть и презирать не ухвативших, вернее, решительно не ставших хватать мародёрского злата. И он, скоро ушедший из жизни, в последней своей журнальной публикации, обречённо-отчаянно надеясь, несколько раз, рефреном повторил эту наивную мысль-надежду: *Боже, верни нам советскую власть!*

Где ты, где книга твоя?

Ты верил в свою звезду — ты писал о птицах небесных. Сотни птиц — и ты их чувствовал и знал гораздо вернее, чем тех знакомых, которых было не миновать в жизни. Для нас, сорокалетних, ты, восторженный, исполненный искренности и веры, ты, поэт, историк, интуитивист именно птичьего бытия, описывал их вовсе не так, как сугубые учёные-наблюдатели. У тебя сопрягались мир птичий и мир человеческий. Птицы у тебя были похожи на исторические лица и внешне, и повадками; скажем, хищный, жестокий, нагло кричащий проявлялся копией одного из раннебольшевистских вождей с воздетыми в мировую даль руками; впрочем, ты и всю историю истолковал так: человек — птица, а птица — человек. Ты написал книгу об этом, куски из которой зачитывал друзьям, и страницы эти были удивительно необычны и удивительно хороши.

И вдруг следы твои, нашего Гены с птичьей фамилией, потерялись. Ты как в воду канул. А какова судьба твоей книги? Разве не бывало так, что малоизвестные рукописи всплывали, печатались под чужими фамилиями каких-нибудь фигуркиных?

Господи, не дай кривой, запутанной судьбы Гениной рукописи, и пусть она когда-то да появится с подлинно авторской фамилией!

Притяжение морских глубин

1

Он, сыздетства мечтавший о море, однажды где-то вычитал, что великий континентальный поэт сочинял стихи о море, не побывав на нём. И он понимал поэта: море — оно в человеке от рождения, как прастихия.

В молодости сам встретился с морем. И было оно духозахватное. Тысячью красок играло и ласкало оно, и тысячи слов ничего бы не могли сказать о красоте этих красок. Лазурное, синее, зелёное, фиолетовое, облачно-серое, тёмное, светлое. Позже побывал он и на северных морях — янтарном Балтийском, свинцовом Белом и на южных — Чёрном, Азовском, Каспийском. На Чёрное стал приезжать ежегодно.

Однажды поехал на море с женой и дочерью. Через день дочери не стало: заплыв на глубину, она камнем ушла на дно, слабое сердце не выдержало резкой смены погоды.

Им навсегда овладела боязнь воды. Он вздрагивал, когда произносилось слово «вода» в любых ипостасях — море, озеро, океан, река, болото. Он больше не ездил на море, но оно в часы ночных бессонниц колыхалось перед ним всей своей современной грозой. Лазурное! И за этой лазурной поверхностью виделось страшное дно, на котором, почему-то одетые в особые, непосильные морскому давлению скафандры, тысячи погибших, среди них и узнанная им дочь, вели ни на миг не затихавшие разговоры, смысла которых он разобрать не мог.

2

Молодой прозаик и художник, на редкость чуткий, томимый незримыми мировыми волнами, решил отдохнуть на море. Надеясь от всего отвлечься, уходил на пустынный пляж. Хороший пловец, заплывал далеко-далеко в море и поначалу сине-зелёным, с белыми гребнями волнам радовался, как на далёкой и великой реке детства. Но через три дня он вдруг почувствовал внутреннее беспокойство моря: волны были неласковые, тяжёлые, грозящие. Однако не волны испугали его и даже не дух мрачных глубин. Он или увидел неисчислимые тьмы погибших в море в дни войны и мира. Он с трудом доплыл до берега и понял, что уже не напишет задуманную и начатую повесть. Может, даже и ничего больше не напишет.

Он словно стал частицей моря. Он почувствовал, что тьмы и тьмы могучих воинов, прекрасных девушек, женщин, детей и стариков, поглощённых морем, никогда не дадут ему живописать что бы то ни было.

Он уехал, а через месяц вернулся. И в день приезда, точно злая всесильная сила поджидала как очевидца именно его: на его глазах рухнул в море большой пассажирский лайнер; и пока он стремительно низвергался с заоблачной высоты, пока не уткнулся в морские волны, прозаик и художник выбрал в сердце всех взрослых и маленьких пленников обречённого самолёта, и невыносимая боль пронзила его, так что, добравшись до номера, он, не вставая, пролежал в постели до вечера. Лежал с открытыми глазами, видя, как небесная высь и морская бездна трагически соединяются огнегорящим лайнером — никогда и нигде не угадываемым жертвоприношением великому развитию.

А вечером прибывший поутру человек вышел к морю, долго стоял на морском берегу, а затем поплыл за горизонт — словно в дальние приморские страны. Больше никто его не видел.

Мировое кострище из книг

Великие книги сжигали, выбрасывали на свалку, вывозили на переработку, и из заново изготовленной из тех книг бумаги наводняли все прилавки, почтовые ящики, офисы и конференции агитационными листовками, брошюрами, буклетами неви-

данной рекламной пошлости, оккультными, сексуальными, информационными бумагами-зазывами, биографиями суперменов и поп-звёзд. И так это нечитаемое чтиво заполняло мир, что чутким людям казалось, что даже бугорки на кладбищах могил приподымались — возмущался прах ушедших поколений. И горестно-возмущённо шумели кронными пологами древние леса, которым во успешное продвижение и хваление нового должно было погибнуть.

Да, сжигали книги, на костёр шёл Достоевский, в огненных сполохах горели Пушкин и Гоголь, Данте и Шекспир, Сервантес и Гёте — великое наследие, ненужное мировому проекту, этому конгломерату глобалистов, финансистов, аферистов, и они хотели, чтоб не сохранилась ни одна христианская, православная книга, ни одно из русских, прежде всего русских, да и немецких, французских, испанских, итальянских и даже английских сочинений, правду говорящих или вызывающих к справедливости.

* * *

Кто поставит последнюю точку — не знает никто.
Как не скажет никто, кто сложил изначальную песню,
Может, сказку иль повесть, каких не бывает чудесней.

И Гомеру и Данте, Шекспиру и Пушкину вслед
Мы спешим, понимая, что нам не постигнуть великих,
Рассыпается цельное, словно в осколочных бликах.

И дано нам увидеть, познать разве малую малость,
И над нами, как прахи, кружат суета и... усталость.
А последнюю точку поставит — Создатель, Творец!

Надуваемые и надутые

Посох привёл тебя на бал преуспевающих, всепрезирающих, всенизвергающих. Чтобы взглянуть и уйти. «Взгляни — и мимо!» — как бронзово припечатал великий флорентиец тех, на кого слова бессмысленно тратить. Бал так бал! Что там шабаш на горе Броккен, что там гульбище Вооланда! Бал глобальный, бал вселенский... — И кипучий радикал: — / Со своею толерантностью всех бы лихо искромсал... / Всех и всяких, кто не с ним, пусть сойдут как персть и дым, / А подобные ему — ровня солнцу самому!

Они, сибаритствующие в экоспецбассейнах, в ваннах из шампанского и молока, лани мужеска и женска пола, а подчас и неопределённого, всегда наклонные лгать, эпатировать, поднимать гвалт на всю вселенную, они, обычно мелкие, низкие дарования, исторгают из себя экстрему, фанфаронство, шумовень, свойство вольготно, беззаботно и безбедно обретаться при всех режимах, разбрасывать саги по всем

направлениям, именам, ставить свечку и Богу, и Мамоне, они — от праотеческих времён неизменно такие, вплоть до последнего их легиона, который разве не исхитрится оказать среди наипоследних уходящих; как прежде — среди наипервых: к вечному взаимохвалению, к старому золоту, к новой революции.

Пляшущая Саломея

Христос обращается к взрослым: «Будьте как дети». Все дети — чистоты залог? Но вот Мориак, не только великий писатель, член Академии бессмертных, нобелевский лауреат, но и великой души человек, великий христианин, в «Жизни Иисуса» даёт поразительную сцену. На пиру у царя Ирода пляшет Саломея, дочь Иродиады (почти невысказанные в устах Мориака слова: «маленькая гадина»), и когда после похотливо-влекущей пляски Ирод обещает исполнить любое её желание, та обращается к матери: «Что просить?», а мать отвечает: «Головы Иоанна Крестителя!», «маленькая Саломея ничуть не удивилась и не смутилась».

Нынешние режиссёры-авангардисты, художественные пропагандисты, либералы-театралы вскидывают, как знамя, столько больших и маленьких саломей, каинов, дебор, месалин, калигул и прочая, и прочая... Легионы нечестивцев извлекают из прошлого силы похоти, ненависти и злобы.

В большой приуральский город запорхнул театральный режиссёр-сверхноватор, чьё новаторство, давно не новое, истёртое на многих зарубежных подмостках, заключалось: выпустить на сцену ликующую вульгарность, развязность, эффектные тело-извороты и густое матословие нередко свободных от одежд (в чём мать родила) и лишённых эстетического стыда театральных пассионариев; его распирало чувство, выражаемое в часто повторяемых им словах: «Побольше провокативного! Провокация — роза культурного прогресса».

Или эти режиссёры — существа, набитые избыточными претензиями и всякой псевдохудожественной пошлостью? Пляски, пляски на теле израненного мира...

Рекламы жёлтый смог

Старый, давно запенсионный человек, треть века отдавший советскому областному телевидению и бывший не последним в художественной и новостной редакциях, имел обыкновение прослушивать вести, — как они подаются ныне.

После утренних новостей, где сообщалось о крушении автобуса с подростками и гибели семилетней девочки, пьяным недорослем сбитой на пешеходной дорожке, неожиданно наступила рекламная пауза, которую мгновенно заполнил горланый голос известного давней наглостью певца; послед-

ний обещал какое-то музыкальное, с мировыми звёздами шоу, равного которого ещё не бывало на обоих берегах Атлантики.

Опытный, душевно чуткий телевизионщик, он всегда знал, что подобная мешанина трагического и «весёленького» ранимо действует на психику молодых; на этот раз и в нём самом всколыхнулось возмущение; и он решил весь день не выключать телевизор, чтобы составить не пристрастное, но полное, справедливое представление о том, что и как рекламируется.

Реклама настигала частая и неуместная, грубо прерывая культурные программы, фильмы, политические передачи, спортивные первенства, последние известия... Кокетливо и сверх меры улыбающаяся с телеэкрана девушка притягательно потряхивала женскими трусиками; молодая пара подпрыгивала на спальном кровати, удостоверения, сколь та прочна; спортивного вида парень целовал отвороты спортивной куртки, словно бы локоны любимой; бальзаковского возраста неотразимая шатенка нахваливала губную помаду, готовая, казалось, искрасить ею и губы, и руки, и ноги, и прочее-прочее; бодрый старичок втирал в себя какую-то нацелительную мазь.

Рекламировалось всё, что ни появлялось у ненасытного молоха потребления: бюстгальтеры, памперсы, унитазы, шляпы, туфли, консервы, чипсы, пивозаменители, пилы, ножи, электрические и половые предохранители, мужские сексусилители... Одного зазывалы-рекламиста то ли не доставало, и какой-нибудь узнаваемый актёр ступал и так и эдак, руки то закладывал в карманы, то вскидывал вверх: богатеиший банк рекламировал — желанную и, видать, лучшую свою роль играл? А иные — так со товарищи или со своими бывшими и будущими жёнами, племянницами, дочерьми, внучками... и они — похлеще любой клоунады — истошными голосами зывали, напирали, повизгивали, хохотали, обещали, требовали, упрашивали, да ещё звали на помощь кошек, собачек, больших псин, гадюк, попугаев.

Но вот... это уже не реклама-пустышка: это великий исход, нескончаемый поток, великая толпа-лава возникает из-за горизонта и разрастается до неисчислимой тьмы, и взоры всех шествующих тянутся вверх: неужели воссиял Фаворский свет, просиял лик Богородицы?! Да нет, там, вверху, по поднебесью, зазывно плывут... сникерсы.

Давно намереваясь избавиться от телевизора и решив его передать вдовствующей соседке с её старосоветским «Атлантом», он на этот раз, не мешкая, осуществил задуманное.

Спустился вниз, на дворовую площадку. Там дебелиый молодец возглашал: «Распродажа! „Сникерсы“ и „Алёнки“! Шоколадная распродажа! Распродажа российская и заграничная! Сладость российская и мировая!»

Злые бега повапленного

На перетоке тысячелетий тьма-тьмуца выпорхнула их — дважды-трижды дипломированных напёрсточников от «искусства успешной жизни», сочиняющих современные кривые образы, корректирующих образы и события исторические, охотников подглядывать в замочные скважины, чёрное делать белым, а белое чёрным, то есть сполна счастливых отсутствием ответственного разума, совести и чести!

Один из них... обожал похороны. Будь то приятели или, радостней всего, неприятели! Узнавая о смерти людей публичных, с которыми, не приглашаемый, а проскальзываемый на общественные встречи, однажды сфотографировался, он с лёгкостью хлестаковской мчался на кладбище, десятки раз с разных точек снимал погребальный ритуал и себя, в разных позах отмечающегося у отверстой могилы, и в разных ракурсах десятикратно повторенный гроб размещал на своём сайте, а коль удавалось — и в журналах. «Вьюноша» с годами за шестьдесят, он имел угадываемо порочное, холодное лицо, глазки-буравчики, которые на похоронах зорко всматривались в стоящих у могилы, отыскивая ненавистных ему, пришедших отдать последний поклон; их он наловчился пятнать выбрасываемыми в Интернет двумя-тремя, а то и одной фразой, вроде: Г. принёс всего две гвоздики, на четыре пожалел денег; К. стоял как телеграфный столб, я не обнаружил в глазах скорби; Л. пришёл с пустыми руками и ненадёжными, о чём думающими глазами, надо поскорее скроить обвинительное досье и для сведения отправить в российское правительство, а лучше, просигнализировать в американский Конгресс.

Обычно он появлялся на похоронах в клетчатой, словно раскрашенной, куртке, и кто-то из его знакомых с удивлением сказал другому: «Смотри, он-то и сам как... повапленный... экий жабий раскрас».

Желание напакастить всем, кто справедливо, пусть даже и вскользь, отзывался о нём как о человеке мелком, завистливо-зломном, настырном, особенно развилось в нём после того, как он сменил свою родовую фамилию Пролазин на почтенно-весомую Фигурин, которую тут же знакомые подправили — Фигуркин. Прошедший болотные огни и воды, он неутомимо рыскал по столице, всякими отписочными, ничего не значащими рекомендациями и подлогами добываясь аудиенций и фавора у известных лиц; с заднего входа сумел пролезть в вожделенный для него писательский союз, уже с первых своих строк в жёлтых изданиях и на всяческих сайтах истекая клеветой на литературных собратий, явно его «недооценивших», без устали компилируя у них идеи, рубрики, жанры, исторические лица, интонации и даже целые абзацы.

В конце века, когда страна, государство, народ осатанело грабились, и растасканные богатства золотыми миллионами

уплотнились в частных сейфах новых русских, сочинитель, он же и адвокат, помогая им, сколотил такое состояние, что мог бы издать многотомное и толстотомное собрание; но жадность не унималась и позже, когда им он стал решительно не нужен, и один из них при встрече вышвырнул его из своего офиса с презрительным «Пшёл вон!» И тогда он стал увеличивать гонорары, за свои услуги вынуждая бюджетников и пенсионеров отдавать последние деньги.

Редкий юридический казус: обвешанный претензиями агрессивный защитник, всепролазник свободной профессии, исходил злобой к защищаемым — ко всем порядочным, честным, небогатым, и он же мгновенно становился угодлив и лакеист перед хищными или сильными мира сего; угодничая и грозя поношениями на всяческих сайтах, он понудил «дружить» с ним уступчивых редакторов, журналистов, литкритиков, историков, кропотливо выправлявших, отбеливавших его опусы до уровня хотя бы первично приемлемых и помещавших его псевдонимную фамилию в различных изданиях, вплоть до энциклопедических.

И таковых «дружков», похвалялся он, подобралось у него в городе аж шестьдесят шесть! Им, буде Великий Всесвободный Суд, ни больше, ни меньше, обещал он выступить не только защитником, то есть стеной-стороной защиты Каина, Калигулы, Мессалины, но и прокурором тех мировых фамилий, какие в архаичном культурном мире почитаются за носителей теперь решительно ненужных понятий — ответственного разума, совести и чести.

Пришедший век — на взгляд уходящего

«Всё переменялось. И воды, и пожары, и люди, и их желанья, и их страсти, и мысли. Век, в котором воцарились сила и ложь. Жалкое и злое поведение „толерантных“ власть имущих — европейских и американских. Полная покупаемость средств массовой информации. Злобная нацеленность владельцев интернет-сетей. Микроклимат лжи и ненависти живущих в сетях, чаще всего — одураченных и креативных, — ненависти к родине, к матери, к достоинству, к чести, к совести. Беснованье антикультуры. Везде и всюду, особенно в культуре, — квотовое распределение благ и должностей, грантов и премий, фестивальных и театральных „золотых масок“. Тысячи и тысячи НКО, за деньги на всё готовых. Мешанина полов. Даже на кладбище — перезахоронить так, чтоб мужчины-любовники через сотни лет были уложены рядом. В этом, только в этом смысле интересны и древний Платон, и неотдалённый по времени Уайльд. Рембо и Верлен. Безграничье бесстыдства. Пустотная внедуховная жизнь. Украденное прошлое. Украденное расчеловеченное будущее. У новопришедшего века — новопришедшие кумиры, и они, имея при себе

все мировые рупоры, барабаны, экраны, сети, приветствуют (словами, красками, звуками, клавишами) новый дивный мир. Выпархивают даже прогрессивные пророки! Пророки? Про обман не пророчествуют».

Он, фаталист и пессимист, не уложился в те тридцать строк (предполагались только названия понятий, а не их обоснование), которые ему были отведены на дискуссионном сайте: «Уходящие и приходящие».

Его друг, давний и хороший пользователь компьютерной среды, сказал: «Эта дискуссия — лукавая трата времени. На каждое твоё слово ринется миллион неведомо кем изрыгнутых слов, где агрессивно заявляется именно это: ненависть к родине, культ силы, пошлость, наркотики, мешанина полов, самоубийство, мировая подмена всего и вся. В тебе самом — дюжина противоречивых, разнообразящих. С ними и дискутируй!»

Классик и новаторы в его городе

Бунин, судя по всему, испытывал явное отвращение ко всякого рода литературным, театральным, художественным авангардистам и прогрессистам, тщившимся своими кривыми тенями затмить классическую традицию, «новаторам», чьи способности чаще всего «низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жаждой успехов, скандалов...»

Авангардисты, галеристы, их фестивали, выставки — под либеральной сенью только ли местной власти? В 1970 году, выступая на Международной бунинской конференции в Орле, я ли, другой ли уже предвидели этот курбет и не только ратовали за казавшийся тогда столь далёким памятник Бунину, не только вспоминали сокровенное: «Антоновские яблоки», «Суходол», «Лапти», «Несрочная весна», «Жизнь Арсеньева», «Чистый понедельник», «Холодная осень», но и предсказывали скорые толпы толкователей и лжетолкователей бунинского слова (в кино, на сцене, на странице), как то в немалой степени случилось со словом платоновским.

Щедрые меценаты

Крутились приводные ремни заводов, когда-то ухваченных ими в перестроечно-постперестроечном то ли угарном, то ли управляемом хаосе.

(«Послушайте вы, богатые... плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет...» — предупреждает Евангелие.) Так вот свалившиеся в их торбы-сейфы «зелёные» ворохи условно-ценных бумажек дали им возможность меценатствовать, финансировать, спонсировать заезжих и местных режиссёров-актёров и прочая, и прочая...

В конце века выпорхнула тьма-тьмуца их, художествовавших и лицедействовавших, державшихся тех, в ком

чувствовали непотопляемых. Приотставших не подбирали. Теперь они чинно переоделись, участвуют в благотворительных балах-дарениях, прикупают себе бесценные камнесокровища исторической недвижимости, поднимают бокалы за своё будущее.

И лишь редкие вспоминают — опять-таки евангельское: «Не собирайте себе сокровищ на земле...»

Губернские леди

Но вот в область заявилась ново назначенная губернская власть в лице губернатора и (всюду впереди его) первой леди — с виду «моли бесцветной», но зело, весьма крупной либералки-латифундистки, переполненной новациями, авангардистскими сладострастиями, которые тут же кинулась, сверх всякой меры усердствуя, удовлетворять местная креативная культуротворящая рать.

Ей, первой областной леди, подруге сестры наипервого олигарха страны, подруге жены известного мародёр-реформатора страны, подруге свояченицы на всех экранах мелькающего культуртрегера страны, славно удалось потоптаться на ниве местной культуры и печати и поднять местных «своих» на небывалые даже в античном мире котурны.

И вскоре побывала у неё в гостях первая губернская леди с Приуралья, муж которой, редкостный по наглости и низости губернатор, успешно обирал богатое Прикамье-Приуралье, и, как полагается, скупал роскошные виллы на берегах французского Средиземноморья, надеясь там до мафусаиловых веков длить своё удачливое и безнаказанное житьё. До известной поры перезванивалась она и с первой губернской леди, муж которой был начальником далёкого острова, копил для вверенной ему территории бесчисленные проблемы, а для себя, во благо губернаторскому престижу — бесчисленные золотые, платиновые, серебряные часы с бриллиантами и без оных...

Сколько их было, есть и будет этих первых леди, этих бесцветных и пёстроцветных «молей», которые верховенствуют над своими мужьями — губернаторами, сенаторами, комбинаторами, их мыслями и чувствами!

Упавший огромный метеорит сдвинет землю с оси, солнце припогаснет, а они выживут, как шутят сельски-простодушные остряки-футурологи, в передвижениях к «своим» предпочитая ночные «ковры-самолёты» всем наикомфортным новинкам транспортного прогресса.

...Минули годы и годы с той поры, как пришлая чета (мир ей и здоровью!) появилась в когда-то богатой области. Как и век назад, область жива каждодневными трудами, младенческим плачем, детским смехом, взрослыми улыбками добра и веры, которые никогда не покидают народ.

О Достоевском и бесах

Кто они, рождённые матерями, право же, с надеждой на добро, милосердие, сострадание к бедствующим, несчастным, большим, бедным, отверженным?

Есть слова — «общечеловеки», «избранные», «революционеры», «радикал-демократы», но слова давно уже утратили изначальные смыслы, и ими играют, как теннисными мячиками.

Они могут писать детские книги, не имея и не желая иметь детей. Они могут писать книги о православной церкви, ненавидя православие. Они, будучи внутренне нетерпимыми якобинцами, будут обвинять в якобинстве других. Они могут лгать, провоцировать, поступать бесчестно, бессовестно, обвиняя в этом других. Они, ратники всесвободы и вседозволенности, подменяют подлинное мнимостями, и видеть их можно на трибуне и во власти, в думе и общественной палате, на публичных выступлениях и в салонах. Они могут писать книги о Достоевском, ненавидя Достоевского.

Имя им легион, имя им фаланга... им, судящим, именующим себя элитой и пользующимся милостью власти, пишущим поэмы нетерпимости, картины распада и растрепанности, музыку антигармонии и хаоса.

Турист по трагическим зонам

Один благополучнейший и вечно кликушествующий дал себе задание — проехать по бывшим лагерям заключённых. И проехал, и даже стихостроки об этом сочинил. Другой из действительно пострадавших наткнулся на те строки и откликнулся своими:

Шумный ехал по тем местам,
Где когда-то гудел Сиблаг.
Дерзко ехал по кость-мостам
Пёстрый, словно свободы флаг.

Он, вселенец, вздумал объять,
Что вселенцам объять не дано.
Вознамерился пострадать —
Так страдают в дурном кино.

Злобный с малых лет и поднесь,
Наловчась трубить про любовь,
Шумный ехал... Экая честь —
Размалёванная лжеболь!

Трагически прав истинный страдалец и истинный поэт Варлам Шаламов: «Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растрепанность для всех — для начальников и заключённых, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики».

Зрители... прохожие... читатели беллетристики...

Музейная затейница

Случается ли так ныне или так — во все времена? До скончания века? Многие современные мужи и дамы постоянно упражняются в поношении всего и вся, неутомимо предают бумаге и экрану бранные размышления, критические особые мнения, грозящие обвинения, анонимные письма в инстанции — нечто похожее на косвенные или прямые доносы. Как в тридцать седьмом?

В областном историко-краеведческом музее из сорока сотрудниц-женщин она ничем не выделялась: мелкорослая, смуглая, с робким намёком на смазливость, словом, бесцветная малышка-мышка; ненавидящая едва не всех коллег-сотрудниц, но несоизмерно тщеславная, надеявшаяся при поддержке весомых знакомств через влиятельных родственников стать директрисой.

После провального месяца в своём экскурсионно-просветительском отделе и последовавшего затем жёсткого, хотя и увещательного, в надежде помочь, разговора нового директора с нею, она, наглотававшаяся «перестроечных пилюль» развала в душе и на службе, вдруг почувствовала в себе жгучее желание восстать против «тирании», попрания прав человека и стала писать во все концы, в разные советы, палаты, в Европарламент и Гаагский трибунал (мелькали имена «гигантов отечественной демократии», якобы готовых защитить «пострадавшую»); дескать, директор заставляет её перерабатывать сверх положенного, не поощряет её предприимчивость и активность и вообще удерживает осколок империи в центре обновляемого города. Мало того, после её увольнения за вызывающе-намеренные прогулы и третирование должностными инструкциями она подала заявление в суд, в котором иск об увольнении сопрягался с пространном рассказом о том, как директор домогался её, вернее, намередвался домогаться, вернее, в её сне пытался её домогаться.

После первого суда её восстановили. Но неугомонная, она затеяла второй, третий, седьмой, после чего музей вынужден был выставить встречный иск.

От лжи и клеветы, прежде невиданных, директор стал страдать бессонницами и однажды, измученный ими, в ночь перед главным судом так крепко уснул, что не мог проснуться даже от кошмарного долгого сновидения, которое явилось как некий «мышинный апокалипсис»: сначала в весенний разлив Дона голодные их полчища бесконечной серой скатертью устлали реку и серым валом катились дальше, как саранча, всё на своём пути опустошая; затем у здания суда появились мыши музейные — с внушительными папками, в которых прошнурованные листы-записи ни больше, ни меньше обвиняли прошлое, настоящее и будущее всего человечества; затем с барабанным боем, красочно разодетые, подступились мыши театральные;

наконец, с воинственным писком припожаловали несколько дюжин мышей — защитниц прав свободного мышиноного слова и пламенно-кристальной дружбы мышей и людей.

Наутро музейную затейницу интриг и острых ощущений уволили. Не помогла и большая скамейка поддержки: шести-степенных режиссёров, креативных журналистов, адвокатов, модных галеристов, всякого рода специалистов по правам человека, любителей разогрева общественного климата. В завершение судебного разбирательства председатель суда, женщина пронизательная и независимая, взяв безукоризненно-деловой тон, обратилась к уже бывшей музейной сотруднице: «При таком запасе решимости на всякое с вами едва ли кто станет работать. А впрочем...»

Ещё в музее претендентка на первую роль похвалялась знанием творчества Костомарова, Кони, да вприхват и Витте; вскоре после её увольнения на разных сайтах появилось оглашение о ней как об уникальном специалисте по русской истории, литературе, музейно-экспозиционным устройствам. Только, видать, по новому времечку мало что светит ей: везде требуются или длинноногие молодые, или же всяковозрастные женщины — знатоки конкретного дела.

...А в детстве она была славной девчушкой, родители выставляли её напоказ гостям, она могла подолгу и по-детски трогательно петь и танцевать.

Концерт для малой аудитории

Молодая певица с прекрасным, словно иконный образ, лицом, явно смущающаяся, пела для полусотни человек, пришедших на её концерт. Она пела божественно и о Божественном. Слушали тая дыхание.

Между тем за дальними километрами, в столице, ревел стадион, тысячи вскинутых юных рук — наше будущее, обворованное, оглуплённое, опрIMITивленное; исступлённо дёргалась полыхающая вульгарностью певица; а севернее, ещё в одной столице, опять же на стадионе, выгибался певец, похожий одновременно и на жениха, и на невесту. И далее — спортивные, зрелищные, заседательские залы, отданные певцам, разительно одинаковым, нередко безголосым, и сколько их в стране, и сколько их в мире — для того и надутых, чтобы утвердить ценности свободного рыночного общезнания, свободу вседозволенности. Легионы ора, а не орала!..

Пела молодая певица — божественно и о Божественном, и когда до пояса поклонилась, пятьдесят слушателей и слушательниц встали в долгой молчаливой благодарности, и, казалось, крылья ангельские осеняли скромный зал, который увеличивался, расширялся, словно вбирая миллионы юных и пожилых сердец, бывших где-то далеко, и всё же незримо присутствовавших и внимавших здесь.

Нужная записная книжка

Даже друзей он старался не знакомить с местно-сильными мира сего, дабы его журналистское и писательское восхождение через дефицитные подарки, книги, цветы, конфеты, духи, бусы янтарные... не вгоняло в соблазн отношений «Я — тебе, ты — мне» других пишущих его собратий.

Обкомовские и едва не все райкомовские секретари, начальники сельскохозяйственных и строительных управлений, спорта, культуры, творческих союзов, ректоры вузов, директора Зелентреста, Ботанического сада, горпищеторга, гормолзавода были с ним, бессменным представителем корпункта центральной припартийной газеты, в наиприятельских или почтенных отношениях. Он добился этого, с прицелом на будущие «отдачи» давая в газете (весь ответсекретариат был у него в друзьях) то зарисовки нужных лиц, то интервью с ними, а то и несколько строк, казалось бы, пустяшных, но весьма желательных для героя заметки. Как надувные шары, раздувались в весьма приподнимаемом значении и пишущие, и пишущий.

Его под стать объёмному фолианту записная книжка была на две третьих заполнена и у знатока или исследователя местной элиты вызвала бы несомненный интерес. Но никаким знатокам он не давал её даже на пролист. Его же архив из всякого рода наград, благодарственных писем, почётных грамот и адресов разросся так, что занимал половину книжного шкафа.

Но однажды и враз всё поменялось. Пришли новый режим, новая власть, новые временщики. Ушли его покровители, уволен был и он из редакции; унылый шкаф с наградными листами и металлическими знаками почёта словно утратил свою весомость и отпрянул подальше в угол.

А записная книжка теперь бесцельно хранила нетребуемые адреса и телефоны знатных в области имён. Сколько цветов, духов, конфетных коробок прошло через их руки!.. Подарки, отдарки...

Почему-то ему именно при тяжёлой болезни вспомнилось давно вычитанное духовно-меланхолическое изречение Тихона Задонского: «Пройдет дурное, пройдет и хорошее. Все пройдет».

Объединитель человечества

Так стало, что в его роду многим пришлось воевать. Его прадедам, дедам, его отцу и двоюродным, троюродным старшим дано было терпеть поражения, чаще — побеждать; они делились с побеждёнными не только ломтем хлеба, но душевным пониманием и сердечным состраданием к побеждённым. И он, потомок их, словно вобрал все победы и поражения своих предков, всё их добросердечие, даже во дни злобы и ненависти, все их надежды на вечный мир и согласие между народами

и странами. И ему стало мниться, что однажды это наступит, и в своей студенческой тетради он набросал строки об этом.

«По Милости Вышней родился такой человек, который соединил в себе великие созидательные таланты и силы.

Поэт-полиглот, подобного которому мир не знал, он написал стихи и песни на разных языках, и многие стали словно бы народными — столь любимыми песнями, а иные стали и гимнами развивающихся стран. Гимнами объединительными!

Художник с созидательно-гармоническим взглядом на мир, он изъездил и запечатлел все главные страны мира, и одна картина перетекала в другую, и образовалось полотно всепланетное, всемирная галерея, и каждый народ воспринимал запечатлённые виды своего Отечества как часть всемирной, вселенской картины.

Он же явил такие недосыгаемые рекорды в спорте — в беге на длинные дистанции, прыжках с трамплина и особенно в футболе, где словно купно повторил лучшие мячи Стрельцова, Пеле, Марадоны; таким образом, он стал гордостью той преобладающей части человечества, которую объединяет любовь к спорту.

Наконец, он написал столь психологически убедительный трактат „Народ и власть“, что, прочитав трактат, все страны воткнули в землю копьё вражды и войны. Исполнилось заветное — *народы, распри позабыв...* в единое всечеловеческое семейство соединились».

И, словно во искупление ложно чаемого, самонадеянно, гордынно написанного, автор обратился к Евангелию, и как открыл его, так и не закрывал до последней страницы; и тьма лжехристов, ложных исторических оценок, соблазнов и извращений, звёзд, зверей, чисел и всадников Апокалипсиса пронеслась перед его страдающими очами. А с мирового, всегда открытого экрана, изливались последние известия — празднества и парады, террористы и авангардисты, всеприемлющие соцсети и порочные блогеры, раненые и убитые, угрозы людям и странам, малые войны, грозящие перерасти в большие.

В середине земного пути

С посохом — до середины земного пути? Только где она, эта грань? В середине естественного века человеческой жизни? Или и в резком обрыве личного века, и тогда — Андре Шенье, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов?

Один — в сорок лет благодатно и сполна завершает свою земную миссию, а другой и в восемьдесят жалует, что ему не хватает ещё четверти века, чтобы завершить земные дела. Тут, право, вспоминаются разъяснения Отцов церкви о том, что человеку дано прожить именно столько, сколько требуется, чтобы исполнить главные дела на земле. Но... не кажутся ли многим суетные их дела главными?

Георгины в ночной комнате

Ему было за сорок, возраст из тех, когда уже далеко до молодости, но далеко ещё и до старости. И с чего бы это: неожиданно, вдруг вспомнил он о некоей последней преклонной любви, какая наступила Гёте, Тютчева, Верди... здесь именитым фамилиям конца не увидеть. Как бы продолжая этот творческий ряд, его друзья пошутили, что, мол, и Клеопатра в свои пятьдесят лет была столь неотразима, что Антоний ради обладания ею готов был отказаться от обладания Римской империей.

Но ему было не до древнеисторических любовных погружений: его мучили бессонницы, никаким боком не касавшиеся египетской царицы.

В загородном, объётом ночной тишиной и мраком доме, в большой спальней комнате он лежал и слышал, как что-то шуршало так, словно бесчисленные мотыльки тревожили ночной воздух. Он долго не хотел подниматься, но всё-таки встал, зажёл ночник. В вазе на прикроватной тумбочке три крупных мохнатых чёрно-красных георгина сбрасывали свои кровавые лепестки. Сыпались шумнее, чем если бы самый сильный снег. И уже поверх стеблей на месте мохнатых красных головок нагими копыцами теснились тычинки, а у подножия — кровавые капли, как неслышимый георгинный крик.

В родном селе в далёкой юности мать и в палисаднике, и на огороде щедро разводила георгины, и он дарил их тонкой, будто и не сельской девушке со странным для тех мест именем Элина. Их взаимная улыбчивая нежность переросла, как и растущие цветы, в любовь. Иногда им было грустно от неясных предчувствий тяжёлой и разлучной жизни, хотя и не однажды он балагурил: «Пусть будут у Элины три вдохновенных сына, как эти георгины...»

И вот в свои за сорок он думал, почему тогда ему не попался на глаза опадающий георгин; может, сподобил бы жить строже, разумней, покорней в понимании того, что всё на земле увядает, осыпается, проходит.

Но, наверное, каждому имени и возрасту — свой невидимый закатный час. И тогда его георгин, наверное, не мог ронять лепестки отжитого, да он бы, юный, и не услышал шорох лепестков опадающих...

Осыпаются нервные клетки

В каком-то научном журнале он вычитал, что после тридцати лет у человека ежедневно отмирает более тридцати тысяч нервных клеток. И чем ни тяжелее день, тем больше отмирает. Поутру обидел жену — отмирают. Не проведал больного, расстроился из-за этого — отмирают. Разругался со своим непосредственным начальником — отмирают. Промолчал на собрании, когда бы надо возвысить голос, — отмирают.

Он живёт и чувствует, как от суеты, стыда, боли, раскаяний отмирают его нервные клетки, осыпаются, будто листья с осеннего дерева под жестокими порывами предзимних ветров.

И года осыпаются... Где они, его двадцать, тридцать, сорок лет? И что он скажет за свои прожитые пятьдесят?

Часы без стрелок

Часы без стрелок — несуразица, бессмыслица. Видеть их то ли грустно, то ли суеверно неприятно. А какой дивный механизм! Серебряный футляр, верхняя крышка закрывает стекло циферблата. Может, они единственные такие, над ними долго и ревностно колдовали тонко чувствующие руки мастера, потомственного часовщика-швейцарца. Часы воплотили в себе научную мысль, понимание красоты и целесообразности. Но при отсутствии стрелок это чудо мастерства с изящными колёсиками, приводами и прочими продуманными вещицами становится ненужным, бесполезным предметом. Превосходный механизм вращается впустую, так как без стрелок не может указывать время, то есть не выполняет своего назначения.

Таков и праздный человек. Вся его жизнь является суетой, не приносящей блага ни ему, ни людям. Он, с дорогой золотой цепью на шее, может пребывать целый день на ногах, но только в поисках того, что считает удовольствием, отрадой сытному, приапическому, телесному. Суета сует есть вращение механизма, не имеющего стрелки.

Праздность — беда многих. Слово «праздный» — однокорневое со словом «праздник». Но нельзя всю жизнь пребывать в празднике. Верные слова: «Праздный человек — что часы без стрелок».

Или близко от старости?

Ему далеко за сорок. По ночам он мучается бессонницами, головными болями, которые не в силах погасить ни таблетки, ни даже любящая женская рука. В молодости ему хотелось в беспричинном ликовании обнять весь мир — от полноты благодарности земному и небесному, от избытка телесной упругости, биологически здорового, юношеского.

Теперь всё куда-то подевалось, теперь... равнодушие, холодок гнетущего чувства: каждый умирает в одиночку. А до поры патриаршей мудрости, когда суета сует осыпается, как шелуха, когда приходит чувство гармонии духовной, он, знает, не доживёт.

Ему дали путёвку в Гагру, но, узнав, что страдает плохим сном, предупредили: «Хороший Дом отдыха, только мимо проходит железная дорога. Погромыхивает». До отъезда оставался месяц, и весь месяц, в ночные часы, в его голове, гро-

хоча, проносились электрички и дальние экспрессы. И, даже спящий, он ожидал: вот-вот загрохочет!

Когда подошёл срок путёвки — так и не поехал.

Из темени густого лесопарка через просветы стволов и ветвей зыбко и отчётливо видно, как на освещённой танц-площадке пионерского лагеря танцуют подростки — отроки и отроковицы, как прежде изъяснялись. Там увлечённость и робость, страсть и нежность, неумелость и первое телесное знание, там сияние карих, синих, зелёных глаз. Это недалеко, в нескольких десятках метров от него, сорокалетнего, и всё же — он словно вглядывается из другой жизни, другого времени, из другой, далёкой планеты. И скрашенное благодарной печалью наиболее сильное чувство в нём: отжито, прожито, бессмысленно... И был ли он?

Он не стал наряжать ёлку, в полузабытьи вообразив вдруг, что та, которую любил, придёт, и они всё сделают вместе, как прежде. Он прождал её всю ночь в своей одинокой квартире, и когда стихли шумы за стенами и на улице, когда город отпраздновал, оттанцевал, уgomонился, обессиленный винами, любовью и надеждами, когда стало рассветать за окнами, принялся наряжать ёлку теми немногими игрушками, какие любила она.

Она не пришла, потому что не могла прийти оттуда, где дверь открывается лишь в одну сторону, а тёмную или светлую — по земной жизни человека.

Стыдясь неожиданного чувства

Странное неожиданное чувство, где свет и тёмная страсть, смятенно соединяясь, словно бы возносили его вверх на невидимом лифте, может, ковре-самолёте, и захватывало дух от высоты и ветра. От неожиданности. Было радостно от этого чувства, которое он, пятидесятилетний, вдруг ощутил к милой, улыбчивой, с карими раскосыми глазами девушке — невесте своего племянника, разумеется, не подозревавшей, что почувствовал пятидесятилетний. С предраскайнной горечью он подумал: почему же с женой, куда более красивой в молодости и рано отцветшей, он не пережил этого обвального чувства, где свет и тёмная страсть, смятенно соединяясь, словно бы возносят вверх на невидимом лифте, может, на ковре-самолёте, и захватывает дух от высоты и ветра? А теперь, что ж, стыдно и никому не расскажешь. Обрыв креплений, ковёр-самолёт сбросил его с семикилометровой высоты над уровнем моря, и пропасть разверзлась...

Он увидел себя семилетним мальчиком, стоящим на песчаном берегу Дона, и волны щекотно окатывают его ножки, и хочется ему, семилетнему, нет, уже семнадцатилетнему,

обнять не только весь Дон с купающимися молодыми красивыми девушками, но и сколько их ни будь — тысячелетий всемирной истории.

* * *

«Земную жизнь пройдя до половины», —
Всем нам поэт означил грустный путь,
Коль грех от нас исходит — пламень льдины,
И с грешного пути нам не свернуть.

Но, может быть, в грядущей жизни нашей,
Коли пройти её всерьёз дано,
Нас отрезвит Всеискупленья Чаша,
Испитая Спасителем давно.

Старики и дети

Стариковские посохи длинным рядом стояли прислонённо к стене школы. Не сельской администрации, не сельской амбулатории, а именно — школы. Стариков не видно, были ли они вообще, трудно сказать. Может, эти посохи — как незримые послания тем юным, которые набирались знаний в классах большой, земских времён школы.

С древности род человеческий понимал, что развиваться, совершенствоваться он может тогда, когда старшие передают свой трудный опыт младшим. С другой стороны, древние и их религии наставляли молодых почитать отцам, всех, доживающих некроткий век на земле. Хотя и в древности всяко было: и сыновья, шедшие на отца, и отец, умертвляющий сыновей, — из-за власти ли, из-за богатства, из-за отсутствующего или утраченного кровно-родственного чувства. А в нынешний век? Наиболее ранимые и чуткие, о которых корыстные возглашатели новейших свобод отзываются как о замшелых архаистах, уже называют его сатанинским, антихристовым, глобально-капиталистическим, растлевающим и попирающим евангельские традиции, выстрадавшие порывы человека к высокому, справедливому. Какие мать и отец, если их отменяют и заменяют родитель номер один, родитель номер два, а в иных западных странах уже юридически запрещаются слова: мать, отец, Родина?!

Всемирная больница

На сорок седьмом году, под самый сочельник его выписали из давно выстроенной лечебницы — больницы большого города. Но и выписавшись, трудно было мыслями освободиться от здравоохранительных палат, где не только выздоравливают, а и помирают: перед глазами нет-нет да и возникала та суетливая, со снованьем врачей и медсестёр, жутковатая ночь,

когда его соседа по койке, вмиг скончавшегося от закупорки кровеносной жилки, уносили в покойницу.

Три года назад потерявший в роковом авиарейсе свою прекрасную жену и столь же прекрасную дочь, он не спешил обзаводиться новой семьёй, да и не уверен был, что когда-нибудь семейное гнездо склеится повторно.

В одинокой, не тревожимой родными голосами квартире он долго, бездумно лежал на диване, не зная, чем заняться.

Оставались недолгие часы до Нового года; он вытащил из антресоли картонный ящик с многоцветными игрушками и гирляндами, которых хватило бы на полдюжины домашних ёлок, и стал их перебирать, вспоминать... За каждой игрушкой были его дальние поездки, а по возвращении — сияющие от радости глаза ребёнка. Вспомнилась ему и его школьная ёлка после войны — бедно убранная, покрытая бумажными красными, жёлтыми, чёрными лентами, словно траурными лентами будущих обездоленных невест. У него ещё в детстве вызывали огорчение и даже боль поломанные кустарники и ветки, порубленные вязы и сосны, любые зелёные, вверх тянущиеся ростки природы. И однажды, уже в юности, он подумал, сколько же ёлок во всём мире рубят под Новый год, и увидел вдруг, как миллионы их, вырубаемых, убиенных, истекают слезами из-за преждевременной гибели; явственно и навсегда увидел, как они плачут. И когда появились искусственные ёлки, он, мало принимавший синтетическое, стал убеждать своих знакомых приобретать ёлки именно синтетические.

Уже темнело, когда он вызвал такси и отвёз ёлочные игрушки в детскую городскую больницу, заранее видя сияющие от радости глаза ребёнка, похожего на его дочь в детстве. В больнице игрушки приняли едва ли с удовольствием, сказав, что они ещё должны пройти санобработку, а потом, может, на старый Новый год ими порадуют больных детей.

Город готовился к празднику, всюду — в беге машин, в электрическом полыхании каменного, бетонного, железного, стеклянного мегаполиса чувствовалась большая сила человека и прогресса, часть которой в самый разгул праздника перейдёт в дурную силу, несущую беду.

И подумал, вернее почувствовал, а скорее — сполна отдался чувству, что весь мир, давно ли сошедший с ума, — большой мир. Больничный корпус даже там, где его нет. Всемирная больница, где никто никого не вылечит.

И только короткое спасение человечества и оправдание ему — сияющие от радости глаза ребёнка!

Время в песочном плену

За долгие годы друзьями и организациями подарены были ему десятки часов — и ручных, и настольных, и настенных. Многие так и валялись хламом. Его пятилетний внук очень

любит возиться с часами. «Игратья со временем», — называет он.

Игры эти нередко заканчиваются тем, что в очередных взятых им в руки часах ломаются или теряются стрелки. Внук смотрит невинно-повинными глазами и признаётся, что они оказались нечаянно сломанными — от трудного спора со стрелками. А дедушка, проживший жизнь человек, думает: нет, милый обожаемый внук, со временем не играют. Время проходит? Время вечное. А вот мы, сотни поколений, проходим, уходим в эту самую вечность.

А в последний год внук, уже семилетний, перешёл на песочные часы-десятиминутки. Внимательно, зачарованно, философски наблюдает, как сквозь теснину горлышка тихой струйкой истекает песок. И вдруг произносит: «Здесь время в плену. А вообще время идёт вразнос. Дедушка, мы спорили с тобой о гармонии и хаосе. Так вот мне кажется, что победил хаос».

Его ещё можно ласково обнять, переубедить, увести от томящего душу и бесплодного разговора о хаосе.

Срез тополя пирамидального

Убийство пирамидального тополя совершалось в осеннюю ночь на затравелой, дикоцветной, ничем не занятой полянке, примыкающей к хорошо освещённому стадиону. Прорвало трубы, над которыми тополь взрастал, и местная служба МЧС не задержалась в решении срезать под корень чреватое опасностью дерево.

С седьмого этажа старик, годами далеко за семьдесят, глядел на неумолимо меньшающий тополь, который более полувека рос на его глазах и более полувека радовал близживущих. Тяжело было видеть, как чёткие спецмашины сперва отпилили главные ветви и густо просыпались жёлто-зелёные листья, затем срезали верхнюю часть ствола, затем — нижнюю. Остался лишь прикорневой срез, могучий кряж, словно бы удивляющийся себе самому.

Старик глядел на необхватное голомя и думал, что был в молодости подобен тополю. Как ветви его вбирали солнце, дождь, снег, так и он вбирал и солнце, и радость общения с людьми, которых узнал и с которыми по-доброму общался и в родном селе, и в родном городе, и в великих мировых столицах. Сколько в жизни, слава Богу, было хорошего, прекрасного!.. Постигание реки детства, холмов, полей и лесов, где каждое деревце, каждый горлицвет или пион-воронец радовали его сердце сокровенным проявлением живой, естественной жизни! Каждая полянка — что вселенная!

Но верно молвится: жизнь прожить — не поле перейти; выпало много потерь, тьма зряшных растрат сердца, нервов, души. Он если не всё, то многое пережил, перестрадал

от недоброго. Нет, он не был так наглядно срезан, как этот вдохновенно устремлённый ввысь тополь; но всю жизнь он бился на стрежне волны, и кто из зависти, кто от природной злобы сокращали ему жизнь. Остервенелые лаи от неуёмной риелторши до маловоспитанной музейной сотрудницы или какого-нибудь легионера свободных профессий.

А в юбилейные дни, недели, годы особенно «везло»: всякого рода мужи творчества изощрались в эпистолах зависти и клеветы... Измучился он и от не сложившейся жизни дочери, сполна испытавшей злобы дня и наветничества двух сослуживиц; обжёгся и о предательство хороших знакомых, об интригантство нечаянных родственников, мелкую неприязнь холоднодушной, жёсткой племянницы с загребущим муженьком — всё это солью отложилось на сердце.

Самое же страшное (как только выдержал!) — он в один месяц похоронил дочь, мать, друга. После их смерти часто поступал невпопад, прежде снисходительный к людским слабостям, стал нетерпим, всё чаще бывал вспыльчив и раздражителен, не мог себя контролировать, то молчал, то взрывался, спровоцированный кем-то и чем-то, на крик отвечал криком, не владея собой.

А может, просто по возрасту, уже обременительному, он стал таким мрачным, совсем не благостным к близким и знакомым, ибо «и наблюдал людское племя и, наблюдая, восскорбил».

Как всё изменилось на перетоке тысячелетий; за малые полвека как за пять предыдущих веков, да нет — как за два тысячелетия, когда Евангелие пророчески возвестило будущее — апокалиптическое.

Он видел могучий сруб тополя, и сам, быть может, чувствовал себя подобно этому тополю, ветви которого увезли, и сиротски стлалась по встревоженной траве жёлто-зелёная россыпь листьев, их опад и сбой; и поляна вокруг была истоптана, как... не однажды истаптывалась его Родина. Что будет с нею на этот раз?

Тополи, дубы, вязы, клёны, ясени, липы, берёзы... Он знал, чувствовал почти все, на всех континентах растущие деревья, эти «лёгкие планеты», эти вселенные, он знал и помнил их дивные образы, иные уже погибшие, как библейский мамврийский дуб, или запорожский дуб на Хортице, или же стройной мачтовой вознесённости дуб в Шиповом лесу... И сколько же их, древесных пород, человек уничтожил — от России до Южной Америки, от Африки до Канады!

Он спускался с седьмого этажа и подходил к прикорневой глубине с видимыми, уходящими вглубь корнями. И лишь на третий раз заметил зелёные отростки возле пня и на самом пне; они давали надежду, и он неожиданно для себя стал тихо проговаривать песню о деревьях своей молодости.

Внуки, разделённые эпохами

Его родной дедушка сильно гребёт на стремнину реки, где зовёт на помощь тонущий подросток Петька. Дедушка поспевает на челноке и вытаскивает из воды не на шутку растерянного подростка. Дедушка вечно кого-нибудь да спасает, кому-нибудь да помогает. Река большая, мирная, синяя. Напуганный Петька успокаивается и, обычно драчун, обещает: «Юра, теперь я не буду с тобой драться, да и никого не буду обижать».

Скоро — первый класс школы, а пока — поливка капусты, да помогать на лугу и в поле, да пасти телёнка и водить на водопой гнедка, да в субботу навещать кладбище — вот и все тревоги-заботы-невзгоды его, семилетнего. Дедушка каждый день, каждый час ему помогает, мягко его наставляет. А дедушке под семьдесят, у него шрам на лице, белая борода. Дедушка для внука — и отец, и бабушка, и мать: все трое погибли при иноземном нашествии, в лето сорок второго, во время бомбёжки на донской переправе.

Перед сном дедушка рассказывает любимую обоими сказку «Морозко». А ещё они беседуют — о дружках, о реке, поле, овраге... О чём бы ни спрашивал дедушка и чего бы ни просил или мягко ни требовал, внук отвечал: «Хорошо!» И слово ширилось над разорённым войной селом, над кладбищем у околицы, над полями, над великой, разорённой лихолетьями родиной. «Хорошо!» — как надежда.

Прошло семьдесят лет. Воспитанный дедушкой в достоинстве, добре и силе, взрослым он многого достиг, бывал во славе, как бывал и в поругании и клевете. От душевой ли усталости давно уже потерял былое полноцветье жизни... Но есть росток наивного его бессмертия — семилетний внук, в его честь тоже названный Юрой. Внешне он похож на деда, подчас грустный, чаще неунывный, с нотками юмора, доверчивый, отзывчивый и пока послушный. Внук тоже отвечает на всё происходящее и на всё будущее — «Хорошо!» Только у него это благоприветное слово заменяется заполонившим весь мир словом «о'кей»! О'кей так о'кей, может, его внук видит дальше, чем когда он в его возрасте видел, — великую реку, великое поле, великие надежды; может, его внук видит не только обозримое, а и нечто ещё небывалое, и тоже — дающее надежды?

Долгая ночь

Ночь — как вода в озере. Сколько ещё до рассвета? Старик поднимается и зажигает рожок простенькой люстры. Третий час. Хотя изношенные ходики с потерявшей голос кукушкой и тикают, время будто не движется, будто и для него волей Творца определены остановка и даже сон. Ещё пять часов темноты. Ночь — как неделя. Ночь — как вечность.

Старик набрасывает на усохшие плечи тулупчик и выходит во двор. Поначалу темно. Но звёзды струят свой вечный свет, и глаза постепенно различают сначала ближнее, затем и дальнее: осоки на леваде, вытянутое по взгорью школьное здание, бугристое кладбище за ним. Тихо в селе. Раньше движок местной электростанции погромыхивал в ночные часы, теперь свет бесшумно поступает от единой энергосистемы. Тихо, лишь на залужном краю села одиноко лает собака, другие ей не отвечают.

Старик выходит со двора, медленно тянет шаги по утопанной вдоль забора тропинке. Почувствовав в теле холод, возвращается в дом, ложится. В соседней комнате спят внуки, в самой дальней — его сын и невестка. Спят непробудно, бык заревёт — не услышат.

А ему не спится. Почти пять часов до светанья! Тикают ходики — последнее, что осталось от довоенной поры. Как напоминание о его тогдашней силе, израсходованной на необозримых холмах войны.

Думает о том, сколь длинна стариковская ночь и сколь кратка нива-жизнь человеческая.

Ему хочется перевести ходики, немножко обмануть время, попасть в засветло, но... Долго тянется ночь. Как неделя. Как вечность. Пусть и не та, что скоро предстоит ему, но всё одно — уже мёртвая. А ходики тикают, их не остано́вишь, а если и остано́вишь — они всё равно не перестанут тикать в ушах. «Наверное, тикают и на том свете. Только Господь Бог в силах справиться с ними!»

С грохотом мчатся поезда и сходят с рельсов. Летят самолёты и низвергаются под ракетным огнём. Уходят на дно океанские корабли. Взрываются высотные здания. Гибель, гибель, гибель... И в тех миллиардах захороненных и захороненных — сколько погибших от крушений, завершивших свои земные дни не своей смертью!

И старик чувствует, как он приближается к тем, кто ушёл туда — примирённый или непримирённый. Он слышит: часы тикают, им нет дела ни до живых, ни до мёртвых.

* * *

Твоя ли жизнь — не клумба под цветами,
Твоя ли жизнь — под пёстрыми грехами...
Не спросит внук, по совести ли жил,
Не спросит внук, кому помог, кем был...
Себе, старик, ответь — ответ тяжёлый,
Что меч над неразумной головой.
Твоя ли жизнь — как будто град сожжённый —
Покрыта сплошь безрадостной золой.

Ты жизнь и смерть высокой мерой мерил,
Спешил помочь, трудился и любил,
Стремился жить по совести и вере.
И всё ж обманы века не избыл,

Коли плутал ты на дорогах ложных —
Напрасных, обезбоженных, корёжных!

Могилы мира

*Посох часто утягивает на кладбища, и бывал ты на многих.
В древнейшем и славнейшем среднеазиатском городе, знавшем ещё непобедимое войско Александра Македонского и упокоившего прах Тамерлана, ты ступал по некрополю разных племён, народов, религий, где в задумчивой примирённости, под плитами с истёртыми надписями на арабском, еврейском, русском и иных языках покоились некогда славные (или бесславные) родовитые воины, купцы, строители.*

Кладбища остужают желанье греха.

Матери и ушедшие сыновья

Мать, в промозглый мартовский день стоя у свежезасыпанной могилы сына, беззвучно повторяет: «Ему же там холодно! Ему же там холодно! Всегда мокро — снег растает, дождь пойдёт...»

И тысячи матерей в тот же час повторяют почти такие же слова. А дети их — кто погиб в горном бою, кто разбился в машине или самолёте, кто скончался от надрыва сердца, а надрываются сердца и от дурного, и от хорошего: от водки, наркотиков или же от полевой, устроительной, мозговой страды.

На городской окраине

Группа писателей из среднерусской полосы в спецавтобусе мчалась из одного кавказского города в другой. Вдвоём с другом они разместились на переднем сиденье. На выезде из города он увидел... он увидел... и... похолодел. Посреди встречного полотна дороги лежала лицом вверх маленькая девочка, похожая на большую куклу, и машины на бешеной скорости уворачивались от неё, не останавливаясь. Может, кукла? Он чувствовал, что это видел и его друг, но тот молчал.

— Ты видел?

— Это кукла, — коротко и внешне спокойно ответил друг.

Они приехали в большое селение. Когда-то он преподавал здесь, и вышли люди встречать их, вся школа встречала, и столько девчушек, а у него не выходило из памяти дорожное видение.

Когда возвращались назад, ничего на том месте не было. И машинный поток нёсся по-прежнему. Уже в гостинице, перед сном, друг сказал:

— Это была девочка!

Он так и не уснул в ту ночь. И много позже она являлась ему — то девочкой, то девушкой, то женщиной, одинаково красивой, кроткой, всепрощающей; она пыталась рассказать ему о чём-то, видимо, её тревожившем, но он ничего не мог разобрать; ей, быть может, требовалась помощь, но он ничем не мог ей помочь. Иногда она улыбалась, и это воспринималось им как великая радость, дарованная и ему, и всем страдающим людям на земле.

Аустерлиц

Когда-то близ Аустерлица не стал ты фотографироваться у «Могилы мира», вызвав недоумение и даже раздражение туристской писательской группы. Почему отказался? Да потому что никто из приезжих, и ты среди них, кровью не разделил той для кого-то славной, для кого-то позорной и для всех трагической битвы. Стыдно выставлять себя там, где всё ещё невидимая корчится скорбь.

А теперь? Ты не желаешь быть сфотографированным? Теперь тебя тысячекратно «запечатлеют» и нет возможности защитить своё нежелание, как вообще нет возможности защитить своё достоинство, своё имя от всевидящего, всеслышащего охотничества папарацци, от зависти, клеветы, интриги.

Без Новодевичьего кладбища?

Сон был совсем не из тех, какие видеть в радость. Перевозились останки раскопанных могил с Ваганьковского и Новодевичьего кладбищ на некий вселенский, великоостровной, аж в Северном Ледовитом океане человеческий могильник. Разрушали столичные кладбища. Что похороненные здесь Даль, Саврасов, что Булгаков, Твардовский, Шукшин, что великая классика века девятнадцатого! У кладбищ собрались толпы, вялые, вяло комментирующие. «Выкупили всё пространство новые богачи, нувориши-прохоркины...» — «Разрушают кладбища, говорите? Да что кладбища, когда страну разрушили!» Кто-то уточнил: «Страну рушат, когда память отнимают. Память отнимают, когда ломают дом, церковь и кладбище».

В болотах они, безымянные

Да, они безымянные. Отважные и робкие, добрые и недобрые, защищавшие Отечество и его тогдашний общественный строй по душевному волнению, надежде, вере в светлую справедливость, или обиженные послеимперской, революционной властью и гонимые на фронт государственной дланью. И если одних отряды памяти находят на холмах, в лесах, то как можно найти тех, кого утанули бездонные болотные глубины и вязи, тех отважных и робких, от которых ничего не осталось, кроме сопутствующего железа?!

* * *

Погосты сельские, кладбища городские...
Могилы братские, могилы одинокие...
Лежат чужие и лежат родные —
Весь мир изрыт могилами глубокими;
Не только на больших мемориалах —
На дне морей, болот, ущельных речек
Покоятся они, бойцы, — усталые
От бесконечной тяжбы человечьей.

Память

Посох, брошенный в реку детства, вдруг возмутит воды, и оттуда враз поднялась большая память — образы, картины, события, дороги, встречи — то, что произошло в твоей жизни и в жизни былых поколений и столетий, и ты увидишь происшедшее на всём земном шаре, и голова словно расколосилась от боли и радости увиденного и пережитого.

Солнечное затмение

Третий века назад, в детстве...

Утром разговоры старух о конце света, а в полдень — солнечное затмение. Старухи крестятся, а нам, пятиклассникам, учитель даёт закопчённые стёклышки, чтобы не обжечься глазами о «конец света». Мутный, пепельный диск, и всё видимое — в небе и на земле — как бы посыпанное пеплом, всё — призрачное, неживое. Поначалу жутковато. Но постепенно успокаиваемся, сквозь закопчённые стёклышки глядим на высветляющийся диск... Третий века назад, в детстве...

Пустыня

Уходят не только родные тебе люди. Родные поля и реки детства, заветные уклады и обычаи, великие книги всё быстрее уходят из того мира, на котором образовалась твоя жизнь. Уходят неудержимо, как весенние воды, уплывают необратимо, как загадочные облака детства. Уходят из твоей малой родины, из твоего Отечества, из Европы, когда-то чтимой тобой за духовные и художественные вершины её великой культуры, ныне тоже уходящей...

Мир стал иным, по-иному застроенным и заселённым, часто тебе чужим, непонятным, подчас даже — враждебным. Ты пытаешься взглянуть в него — разумеется, «о дивный новый мир»: вон в Придонье поднялся могучий химзавод — какие впечатляющие трубы, башни, геометрически выверенные (круглые, прямоугольные, пирамидальные) бетон, стекло и синтетика, кружева электрических линий! Здесь своя железная внеприродная красота и сила, и если бы ты увидел это в дет-

стве, наверное, воспринял химический гигант как образ малой родины, вернее, как неотменимую реальность малой родины.

Но тогда ты увидел иное — нерукотворное, природное и тяжёлое: зыбистые пески, грузные, горячие, бескрайние, открылись тебе на донском левобережье, на вдали истаивавшем Задонье, когда ты в раннем детстве впервые взойёл на высокий правобережный холм; ты впервые почувствовал дыхание пустыни, всепоглощающей, откуда, из каких закаспийских земель пришедшей пустыни.

Но тогда победила природа, жизнь, человеческое усердие: скоро по всему песчаному побережью поднялись густые волны лозняков, и уныло-жёлтое Задонье стало радующе-зелёным.

Что увидят будущие рода твоего и человечества — не жертвенные шлемоносцы, а осчастливленные чипоносцы?!

Музыка

Рядом с его девятиэтажным домом — музыкальная школа, и по вечерам он, стоя на балконе, видит, как сосредоточенно, степенно идут тоненькие дети, прижимая к груди большие футляры, в которых томится музыка. Сколько внутри красивых, отливающих медью, серебром и лаком духовых труб, скрипок, виолончелей!

И ему, средних лет городскому жителю, в юности оставившему сельский домишко, вспоминается детство и его самодельная балалайка, в которой было больше дребезга, нежели чистого звука; да ещё вспоминается лёгкая зависть, какую он испытывал к форсистому парню Пекарю, владельцу «хромки», единственной гармошки на всё село. А ещё вспоминается, как он однажды плыл по Дону на катерке, а на берегу стояли в одинаковых синих платьицах две девочки раннешкольных лет, может, сёстры-близнята. Одна держала на вытянутых ручонках раскрытые ноты, а другая играла на скрипке, и хотя он за гулом мотора не мог уловить мелодии, но он всё-таки слышал те наивные прекрасные звуки. Он их и годы спустя слышал.

Стоя на балконе, он, быть может, и сейчас их слышит, глядя, как маленькие дети несут музыку в больших футлярах.

Нет ничего лучше в жизни

Нет ничего лучше в земной жизни, когда по траве-мураве к песчаному берегу незаманитой речонки бежит смеющийся малыш, и счастливый отец подхватывает его у воды, и ребёнок смеётся так самозабвенно и широко, что, кажется, в тот миг умолкают все пушки и дразги грешного мира.

Нет ничего лучше, когда малыш чистыми глазами провожает табунок стригунков на зелёном лугу и глаза малыша становятся светло-зелёными, а сам он так тянет ручонки к убегающим жеребяткам, словно хочет обнять всю вселенную.

Нет ничего лучше, когда девочка-отроковица в притемнённой, скромными свечами зыбко освещаемой церковке самозабвенно молится перед образом Богородицы Всемилостивой, и сама ещё чиста, непорочна, безгрешна, словно осенённая благодатью Девы Марии, Пречистой Владычицы, Пресвятой Богоматери.

Нет ничего лучше, когда вишнёвые сады расцветают и их не терзают топор и пила, или когда нивы созревают и их не губят дожди и бури, или когда правый полк побеждает рать злых и никто его не бьёт вероломно, со спины.

Нет ничего лучше, когда трое внуков, выключив компьютер и не втягиваясь в жестокие виртуальные и реальные игры, слушают рассказы дедушки — они о страде и войне, о любви и доброте, они — устарелые — «о подвигах, о доблести, о славе»...

Блокнот-алфавит

Алфавитный блокнот выглядел как добротная книга: из плотной белой бумаги, в кожаном переплёте. Два-три листа на букву — от А до Я. Десятки фамилий. Словно дом, избыточно населённый.

Когда же владелец блокнота переехал в новый микрорайон, ему долго не могли установить квартирный телефон, и не было надобности листать удобный справочник. А когда, наконец, после долгожданной установки телефона снова открыл алфавитный блокнот — словно открыл книгу разлуки и скорби. Близкие друзья, случайные хорошие и нехорошие знакомые — сколь изменились они и их судьбы с той поры, как он занёс их в прочный, будто на века рассчитанный блокнот. Одни стали весьма известными, другие замечательными, хотя и не столь известными, третьим ни известности, ни замечательности не прибавилось.

С одними он давно ли дружески встречался, с другими рассорился, и пути их разошлись, третьих оставил и забыл. Но все они были здесь как бы уравнены и породнены, и эта уравниность и породнённость проистекали из одного грустного, чтоб не сказать — печального источника.

Что ни лист — резко ударяли по глазам имена, какие вышняя сила уже обвела траурной каймой; уже не было в живых многих, причём многих его сверстников, одногодков; уже в подшивках пылились газеты с некрологами, а иные ушли и вовсе без некрологов. Он чувствовал: настал час смирения, примирения и прощения. И — прощания!

Помнит природа

Многое из того, что происходило во всемирной жизни, тебе дано было почувствовать, едва ты стал себя осознавать. Может, счастливые географические просторы родины — страны детства, уходящие в загоризонтную даль, рождали в тебе это

чувствование. Дон (великая река твоего детства и великая река человечества — великая наполненностью не вод, но геологического и исторического бытия) навевал картины прошлого — переправы, сечи, мирные дни давно ушедших племён и народов. Но не только он. Дуб в поле, ворон на нём, давно погибшие в поле воин и его друг-конь — их память, словно в тебя переселённая, дышала вокруг, эта память давала тебе увидеть тысячи лиц, событий, трагических всполохов былого.

* * *

Дереву-дубу тысяча лет,
Образ былинный.
Памятью дышит, словно поэт,
Дуб исполинный.

Чёрному ворону — тысяча лет,
Материки облетает.
Карк — что из прошлых столетий ответ,
Память всетайных.

Синему Дону — какие века,
Ведал и мир, и войны.
Не полноводней других река...
Всё — до капельки — помнит!

Вышнему Небу — какая новь?!
Что ему — тьмы поколений?!
В нём наша вера, наша любовь,
Память Вселенной!

Пожары и потопа

У вод ли чистых Иордана... Водой Иордана был крещён Христос. И Духом святым. Его, Спасителя, как свидетельствует Евангелие от Иоанна, пронзают копьём, и истекают кровь и вода...

Кровью залит мир. Наводнениями-потопами залит мир. А ещё великими пожарами, потоками огненных лав, исторгнутых в разные времена сотнями вулканов, а ещё пожарами войн, набегов, бедствий, засух...

И грозно рдеют сполохи Конца, когда вселенские громы грянут, молнии пронзят Вселенную, и потопа зальют землю, равнодушные к векам и тысячелетиям человеческих страданий. (По-разному может произойти: человечество завершит свой путь от удара небесных камней-исполинов, от жестоких переохлаждений или потеплений на земле и в атмосфере, от поднявших бунт роботов, от водорослевых и зарослевых мировых бацилл, естественных и рукотворных вирусов...) Но за всем этим — неотвратимые пожары и потопа.

Мы их, разумеется, не увидим — последние пожары и воды. Может, это случится через тьмы и тьмы времён. А может, час уже близок. Осторожные футурологи ничего определённого не утверждают.

Но однажды (моления наши не замолят грехи наши?) взывают все старые и новые, материковые и островные, большие и малые, давно спящие или вечно погромыхивающие вулканы (Ключевская сопка, Этна, Везувий, Гекла, Кракатау, Килиманджаро, Орисаба, Йеллоустонская гряда...), сжигая прошлое и настоящее, в пепельный мрак погружая будущее.

Спаление Москвы

Горела Москва — полыхала, как до того ни одна столица мира не полыхала. Она сама себя сжигала, чтобы очиститься. Пусть даже на этот раз её поджигали французы или русские, но и без оных рано или поздно ей должно было сгореть. Так думал местный Савонарола, проповедник из старообрядческого рода, исхудалый, большебородый человек, истово веривший в земную совесть и небесную благодать.

Пожар Москвы доставлял ему невыносимую боль. Личную боль. В огне погибло его старинное Евангелие, погибла и его юная дочь — прекрасные проявления мира небесного и земного. Боль усугублялась тем, что он, православный человек, чувствовал и видел — словно бы его зрению открывалась вся полыхающая, задымленная Москва — великое множество в огне погибших людей, икон, книг...

Он молился за погибших и живых, за русских и французов, за разорённые деревни и разбитые столицы, и он чувствовал, что повсеместно грядут новые пожары — сполохи небесной кары.

Под берёзами Хатыни

Он стоял на большой поляне Хатыни, скромной, добронравной (всемирно известной) белорусской деревушки спустя пятьдесят лет, как она была сожжена, и мысленно видел сожжение. Он простоял, пробродил лунную летнюю ночь по плитам и под берёзами мемориала (берёзы-то снова поднялись!) и думал о человеческом жестоком ослеплении — о слепоте сжигающих и о прозрении сжигаемых.

Сожжение в церкви

Восточных полчищ, монгольских туменов лавины. Полыхают стольные церкви, а в них, под защитными образами, — уже не надеющиеся спастись женщины, дети, старики...

Православный раскол — сожжение и самосожжение верных древнему благочестию — старому православному обряду...

Фашистское нашествие — снова сожжение в церквях, в больших зданиях, сожжение разнородными карателями русских, западных русских деревень...

И всегда страдают люди и церкви. Недостойный смысл — обвинять прошлое, тем более народы — за их прошлое; прошлое, которое часто проступает через жестокость не лучших представителей народов.

В молодости ты был убеждён: через милосердие и сострадание человечество станет единым домом; наивно надеялся, что отчий дом не потеряется, как и отчий язык, отчая песня, отчая судьба на протяжении столетий.

Но иррациональные и злоумышленные силы дьяволиады нападают...

И что впереди? Глобальный дом, унифицирующий робот, и не останется у людей ни настоящего, ни прошлого, ни будущего — верно увиденных и оценённых?!

Горящее поле пшеницы

Юный комбайнер увидел, как у обочины поля вспыхнули языки пламени, устремились в глубь его, пожирая лоскуты тучно-колосой пшеницы. Выдался такой час, что на nive никого не было. Юноша лишь на миг растерялся, затем схватил брезент и кинулся в полымя.

В детстве он видел страду матери под сухменным солнцем — как она сеяла, и косила, и убирала поле, будь оно ржаное, ячменное, пшеничное. На домашний стол почти ничего не попадало: послевоенные, как и довоенные годы, — изнуряющие и полуголодные для крестьян: поднятие разрушенной войной страны ложилось более всего на крестьянские плечи.

Юный комбайнер тушил, ослабевая, задыхаясь... Упал. И не поднялся.

Твой сын, годами его помоложе, потрясённый, написал стихи о героическом и трагическом поступке, скорому нововременью оказавшемся ненужным.

Земля приняла и своего сына, пытавшегося сберечь хлеб, позже приняла и твоего сына, написавшего об этом. А хлеб (евангельское понятие!) в его первозданном виде, не генномодифицированном мировыми «Монсантами», теперь уже редкость; да и не хлеб ныне на уме у многих.

Музей и пепел

Художник, весьма ценимый книжными издательствами и не обделённый вниманием позитивной критики, далеко не старым вернулся в родную деревню и решил построить дом на дедовском подворье. Строил долго, зато выстроил — словно старинный искусный терем! Стал наполнять его своими и подаренными ему картинами, а также книгами с надписями подчас весьма известных авторов, и таким образом в деревне, может быть, единственный на всю Среднюю Россию, появился удивительный художественный музей, двери которого были открыты для всех местных и приезжих.

Он собирался картинную галерею подарить государству. Но случился пожар в доме, он кинулся спасать забредших в его дом-музей детишек, и пока их вывел из замысловатых коридоров картинной галереи, деревянный дом запылал и сгорел, словно спичечный коробок. Бизнесмен-коллекционер, который вынашивал честолюбивое: выстроить возле протекавшей через город реки нечто вроде гряды музеев Гугенхайма, узнав, сказал: «Слюнтяй он, мой знакомый художник. Надо было картины спасать... Музейное полотно — штучный товар!»

И поныне на подворье — обугленная пустыня. Был дом-алмаз, а теперь пепел. Неподметаемый, неизгонимый пепел. Сказывают, что по ночам здесь бродит одинокий человек — высокий и длиннородый художник, водит по воздуху руками, и в небе появляются очертания теремов, замков, городов, давно разрушенных и сожжённых.

Огонёк из детства

В детстве не выпадало знать более глубоких, умиротворяющих, «философских» мгновений, чем когда синими вечерами в глухом придонском селе, в притемнённой горнице послевоенной хатки мы с мамой растапливали печку-грубку. Сырые поленья удавалось разжечь не сразу. Исподволь разгораясь, они сипели, словно злились, истекая капельками и постепенно охватываясь синеватыми, оранжевыми, красно-багровыми язычками огня — всё ярче, сильнее, радостнее, а затем вся печурка начинала пылать.

И уже во взрослой жизни, когда отечественная муза дарила встречи с огнём на страницах книг (и являлись или «печальные огни дрожащих деревень», или искристый огонь от костра, который «в тумане светит», или же «скромный русский огонёк», дающий отчаявшемуся путнику надежду в зимнем ночном поле, или даже тот небесный огонь, что «просиял над целым Мирозданьем...»), не раз, бывало, вспоминал и огонь славянской печки, какой, разгораясь, весёлым гудом исходил в моём детстве.

Приходилось видеть и испытать тяжёлые огни-пожары (редко кому удаётся избежать их). Но дай Бог каждому, кто хотел бы этого, в последние часы вспомнить то детское состояние, когда ядерно полыхающие звёзды Млечного Пути казались приветливыми огоньками.

Приходя и уходя — любить

Не напрасна жизнь человека, когда он приходит в этот мир — любя и уходит — любя.

Только — сколь долго продержатся последние из могикан? Да и сам мир, в котором каждодневно расширяются территории сатанинства, не ускоряет ли бег семерых вестников Апокалипсиса и не приближает ли Второе Пришествие?

Младенец любит глаза и улыбку матери, а когда взрослеет и мир перед ним — ребёнком, мальчиком, отроком — открывается во всём богатстве природы, он тянется не только к лошадкам и ёжикам, кошкам и собакам, он тянется к каждому жучку, каждой травинке, каждой веточке и восторженно и заморожено часами наблюдает их видимо-невидимую жизнь. И здесь он научается чувству жалости: жалеет коня, израненного слепнями, собачонку с покалеченной лапой, раздавленного жука, сломленное деревце, срубленную ветку, сорванный листик, полевой цветок (а их взрослые набирают целые охапки, чтобы воронцам ли, василькам ли, теща чьи-то праздные глаза, день-другой постоять в вазе и увянуть).

И позже он научается любить подобных себе во всём многообразии их характеров, страстей, судеб. А злые, клеветущие, ненавидящие люди — разве и на них достанет его любви, разве всегда достанет выдержки и терпимости поступать согласно заповедям Отцов церкви: борись с явлением, а не с людьми, живущими в этом явлении. Нет, ты не раз, не два сорвёшься в праведном, а то и неправедном гневе, глядя на искажающих образ человеческий и несущих окружающим злобу дня сего.

Здесь главное — подойти к земному концу своему, всех простив. Всех, кто тебя обманул, предал, кто ненавидел тебя, на тебя клеветал, скрежеща зубами ждал огорчений и болезней твоих, кому ты сказал жёсткое справедливое слово. Но... невозвратно изменилась жизнь. Теперь разве главное в человеке — достоинство, совесть, сострадание, стыд от содеянного греховного? Где та с остатками патриархальности семья, в которой сын от отца перенимал не только косу, рубанок, перо, но и душевный, духовный наказ? Где чувство личной и государственной чести, терзаемое всё новыми и новыми интернетными новшествами, облаиваемое бесчисленными стаями агрессивных и лакейских ненавистников всего здорового и порядочного в мире? Где вера и уверенность человека, семьи и планеты? Прекрасное древо мировой жизни подтачивают, словно жучки-древоточцы, невидимые и видимые финансовые и политические упыри. Где нормальное рождение, образование и воспитание человека? Целые учёные корпорации денно и нощно трудятся над тем, как расчеловечить человека, обращаться с его генами, будто с забавными мушками, не по божественному, а по инженерному замыслу образовывать его физическое бытие; киборги здесь всегда будут сильнее и крепче, ежели только не превратит человека в сугубого киборга. Где его нормальные, не надутые имена, песни, книги? Вертуны свободных профессий плодят подмены за подменами. Чем кормят человека, помимо часто ядовитого выброса газет, телеэкрана и Интернета? Чем лечат? Ещё более ядовитыми транснациональными монсантами — пищевыми, фармацевтическими, бактериологическими и иными империями, перед

которыми прежние империи — образцы блага и милосердия. Напирает искусственное, вызывая природу на бунт всё новых потоков и пожаров, цунами и землетрясений. Человеческая жизнь теряет себя самоё, она необратимо превращается в нечто иное. Иночеловеческое. Внечеловеческое. (Или ты безнадежно наивен и архаичен, вопрошая и думая так?..)

И всё же... Прекрасна жизнь человека, ещё не расчеловеченного, когда он приходит в этот мир — любя и уходит — любя.

Взгляни на Млечный Путь

Чувствуя уход, огляди свои земные дороги, где работал, отдыхал, плакал, смеялся, грешил; вспомни всю свою жизнь в неотрывности от судеб близких, да и всего человечества, за будущее которого ты переживал, над былыми разнодорожьями которого постоянно (и часто горестно) размышлял. Погляди на землю — не для того чтобы уберечься от рытвин, а чтобы припасть к её подорожникам, троекратно и тысячекратно Родине поклониться. Ночью же взгляни на Млечный Путь. Холодный, он полыхает миллионами градусов своих зарниц, и нам ли обижаться на его бесконечное равнодушие к человеческим судьбам? Сколько перед ним прошло солнц, подобных нашему, не видимых нами звёзд, разрушительно блуждавших и блуждающих в Мироздании.

Взгляни на Млечный Путь, чтобы почувствовать величавую бесконечность Создателя-Зиждителя-Творца!

* * *

Хрупкой рябины — не погуби
И не бранись на тризне.
Ора эт лабора! Верь и люби!
В этом все смыслы жизни.

Эпилог

Итак, течёт вода, и утекает жизнь. (Твой семилетний внук настаивает, что вернее звучит: течёт вода, а утекает жизнь.) Как бы то ни было, не успеешь сделать и тысячной доли того, о чём мечтал и думал...

И если не болезнями, войнами, сетями рабства и вражды, то, скорей всего, вселенским огнём и пеплом накроет горстку твоих потомков и всех на земле живущих.

Но, Боже, отпусти им на земле ещё пожить, порадоваться, пострадать!

1988, 2015, 2017

ИМЕНА

Краткие эссе: века и авторы

Книги вечности и книги суеты

В бессонную ночь вдруг стали вспоминаться прочитанные или пролистанные книги. Причём великие книги человечества — древнеиндийские, древнекитайские, античные, Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес, русская классическая литература девятнадцатого века — процветали державным строем и скрылись в туманах вечности. А вот книги, которые не стоило брать в руки, — книги моды, книги злобы — злобы дня, мелкие по смыслу и художественному воплощению, сотнями, как живые, теснились перед глазами и не собирались уходить, словно дразня: «Думаешь, мы случайные забегальцы в твою жизнь? Да мы бессмертные во все века! Много чистокнижников, прочитав что-нибудь из подобного нами написанного, сетовало: на что время потрачено?! Но знай, никуда от нас не деться».

До полуночи лежишь с открытыми глазами, среди наплыва разного сокрушаясь и тому, сколь много времени отдано на ненужные страницы, и пытаясь убедить себя: «Разве ненужные? Разве не плохие книги исподволь подвигают нас к достойной жизни? Отталкиваясь от дурного, приходим к разумному».

Предательства на полях истории

Он долго подступался к книге о мировом предательстве. Прочитал горы старинных и новейших изданий, осмыслил множество мифов, исторических преданий и песен. Пришлось также вспомнить, как в молодости предавали его самого. Об этом, разумеется, живописать было ни к чему, а вот о крупных мировых фигурах-предателях должно рассказать в послыльных для человеческого ума и сердца истине и справедливости. Собрать их всех на страницах книги — как на Поле Суда.

Но... Кто явный предатель? Кто чуть-чуть предатель? Кто невольный предатель? Кто несправедливо объявленный предатель? Кто предатель, зачисленный в герои? Кто герой, зачисленный в предатели? Сотни крупных фигур... В рукописи мелькали разного достоинства имена...

Волею его, писателя исторического, был образован возвратно-исторический суд. И что же? Вскоре и в суде оказались свои предатели.

И тогда он на собственном садовом участке изорвал и сжёг рукопись — словно в больной, тщетной надежде, что вместе с уничтоженной рукописью уничтожится и мировое предательство.

И всё не выходило у него из головы строки самого, может быть, великого поэта, с самым безошибочным чувствованием всего, что происходит на земле: «На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник».

В таком триединстве (человек есть и тиран, и узник, и предатель) книга могла бы состояться. Но это бы уже была Судная Книга человечества. И, конечно, не земным умом и пером написанная.

Истинное и ложное

Сколь много в сегодняшнем мире ложного (третье тысячелетие от рождения Христова), которое не только всевозможными рупорами, экранами и каналами подаётся за истинное, но и само по себе имеет видимость истины.

А разве два тысячелетия назад было иначе? Не столь давно «услышанное» от Цицерона: «Мы не из тех, которым кажется, что нет ничего истинного, но мы из тех, которые утверждают, что ко всему истинному присоединено нечто ложное и притом настолько подобное истинному, что нет никакого признака для правильного суждения и принятия».

Будда и «Дхаммапада»

В юности нельзя было не увлечься человеком великим, звучание имени которого напоминало звучание твоей фамилии. Но насколько это было внешнее, поверхностное восприятие им изречённых и переданных в «Дхаммапада» изречений и духовно-физических состояний! К тому же сама суть его учения, его нирвана, отрешённость от суеты, медиативное сосредоточение шли в резкий контраст с беспокойными ритмами юности, жаждой непрерывных движений. «И вечный бой! Покой нам только снится...» — Блок твоим сверстникам был понятнее и созвучнее, нежели Будда. Цепь посмертных, иномирных перерождений? Да нам, счастливо рождённому на белый свет, достаточно было многообразно прожить эту жизнь, каждый год, каждый день заново рождаясь.

Но ближе к старости, испытав магию многих откровений человечества, вольно-неволью тянешься прочитать притчи, изречения и поучения великих, разумеется, и Будды. И неволью тебя пленяет образ царевича Гаутамы, блистательного принца, ушедшего из царского дома (а там и возможность обильных развлечений, и женитьба на красавице знатного рода, и рождение сына); ушедшего и ставшего проповедовать среди простых бесчисленных и безвестных мира сего. Он прожил восемьдесят лет, перед смертью обратясь к своим последо-

вателям — монахам и мирянам: «Теперь, о монахи, мне нечего больше сказать вам, кроме того, что всё возникшее обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению!»

Персидский царь, иранский шах, всемирные поэты

Среди легенд — якобы персидский царь Дарий, воюя со скифами, преследуя их, дотянулся со своим войском, в котором были слоны, аж до Дона в верхнем его течении; и здесь, близ нынешнего Воронежа, выпала битва, и много погибло слонов, поле битвы было усеяно костями слонов. А тысячелетия спустя здесь, неподалёку от Воронежа, в полусотне километров, образовались Костёнки — жемчужина палеолита.

Добирался ли до здешних мест Дарий или нет — едва ли теперь прояснится; но вот — пройдут века и тысячелетия — в Воронеже доподлинно побывает последний иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви с красавицей женой Фарах. Трудно в точности сказать, чем его заинтересовал именно наш город, но в точности персидский язык фарси в Воронеже звучал.

Это мимолётное пребывание отозвалось во мне обширными раздумьями о могущественной древней Персии и медленном её угасании, о средневековом и новом Иране, даже о нашем, корнях из Воронежа, атамане Степане Разине, который, прости Господи, бросил в волны Каспийского моря пленённую персидскую княжну, о прикаспийском, противоперсидском походе Петра Первого, убийстве русского посла поэта Грибоедова, о Тегеранской конференции на пике Второй мировой войны...

В привычном общественном мнении, сформированном ещё мнением антично-древним, победившим, Персия — сатрапия. Но только ли? Да и понятие «сатрапия» — не метафорическое ли позднейшее искажение сути былого? Не вернее ли — она подрубленная ветвь на мировом древе с до конца не понятыми историческими, философскими, поэтическими её проявлениями?

Заратустра, «Авеста», европейский философский отклик — «Так говорил Заратустра»... Поэтические волны фарси — Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям, Саади, Хафиз...

Толпе противостоящие

Степень своего отношения к толпе Аристофан, сатирик античности, выразил высоким лексическим слогом, смысл которого беспощадно ясен: «Толпа достойна умереть, прежде чем она родилась». Но, как показали века, именно толпа более остального бессмертна. В години смиренные — она дремлющая. В години потрясений — она буйная. Чернь, охлократия, слепая замороженная масса...

Русский поэт Некрасов, какие столетия спустя после древнегреческого сатирика отчаянно обратится к среде, в которой буйствует толпа: «Зачем меня на части рвёте, / Клеймите именем раба?... / Я от кости твоих и плоти / Остервенелая толпа».

Слышать толпу. Прийти в толпу. Слиться с толпой. Противостоять толпе. В час смуты — погибнуть, пытаясь преградить натиск-навал толпы. Последнее — подвиг!

Вергилий — поводырь Данте

Именно Вергилия, величавого римского поэта, берёт в поводыри Данте, погружаясь в круги ада в своей «Комедии» — «Божественной комедии». Впрочем, и в земной жизни он поводырь многих — не только поэтов. Его «Георгики» — своеобразная энциклопедия сельского хозяйства, и пахари, виноградари, пчеловоды и скотоводы могли найти здесь массу необходимых познаний и советов, даже не вслушиваясь в совершенство стихов. А его «Энеида» — своеобразный гимн римской родине, она заставляла радостно биться сердце любого увлечённого патриота как Римской империи, так и будущей Италии.

Простой люд Неаполя уже при жизни слагает о нём легенды: не самый великий император, а самый великий поэт, то есть Вергилий, спасает город Неаполь от нечисти — мух, комаров, пиявок и змей, прогоняет цикад с их мешающим спать ночным «грубым пением», он даже чудесным образом... затыкает грозящий извержением кратер Везувия.

Мифы, мифы, мифы...

Ли Бо, Ду Фу...

Двумя вышеназванными именами классическая китайская поэзия, разумеется, не исчерпывается. Один только восьмой век, в котором жили и творили Ли Бо и Ду Фу, — поистине роскошная оранжерея: Ван Вэй, Мэн Хао-жань, Гао Ши, Бо Цзюй-и, Цен Цань... Отечественному уху сами эти имена мало что говорят, а между тем за каждым из них — мысль и чувство, душа и дух китайского народа. Можем рассуждать, дескать, подвигала к поэтическому сама тогдашняя китайская реальность: государственный карьерный рост от будущих чиновников на экзаменах требовал умения писать стихи. Но умение писать стихи и быть по природе истинным поэтом — это, конечно же, разное.

«Бессмертные пьяницы», как Ли Бо и Ду Фу сами себя именовали, конечно же, не пристрастием к зеленозмийным напиткам остались в памяти человечества. Неповторимое, тончайшее чувствование души природы и слитность с нею, созерцание и воспевание природы у Ли Бо и Ду Фу тематически — не единственное: в их строках воины побеждают и терпят поражение, подрастают дети и угасают старики, в тягостных трудах длится жизнь простого народа. Потрясающие «Стихи о женщинах, собирающих хворост», за двенадцать столетий предвосхищают столь же потрясающие стихи Некрасова, Тютчева и Шевченко о славянских женщинах. Мир един, но разделение в нём человечества на овец и козлиц, сытых и голодающих,

гонителей и гонимых продлится, видно, до скончания века и, видно, усугубляясь, при внешне толерантных, обманчивых формах. К невинному угнетению вином за века добавилась масса искушений, соблазнов, свобод и насилий. «Опиумная война», подавление объединёнными европейскими силами «Боксёрского» восстания в Пекине — постыдные проявления силы и торгашеского духа континентальной Европы и островных англичан. А мир един...

Франческо Петрарка — через века

Петрарка. Далёкое послестуденческое прочтение. И хотя — в переводе (а помнится, св. Иероним сказал, что и самый красноречивый поэт в переводе становится зайкой), но красоту слога и силу чувства Петрарки чувствуешь и видишь с первых строк. Иногда — дивные строки. Гуманист? Разумеется. Но вот из его завещания: «Только тот свободен, кто умер; могила — скала, неприступная для каких бы то ни было прихотей судьбы. Это написал я, Франческо Петрарка; я составил бы иное завещание, если бы был таким богатым, каким считает меня безумное простонародье». Раздражение и неприязнь не к отдельному человеку, а целиком к «безумному простонародью» — родному, итальянскому, европейскому. Походя и наотмашь. Что тогда говорить об иных народах?

Поэт Юрий Кузнецов привёл пространное, едва ли не больше его сильного и резкого стиха, восприятие-размышление Петрарки из письма архиепископу Генуи, в котором прославленный гуманист и поэт сокрушается, видя, как Венецию — «прекраснейший город»... «нескончаемая вереница подневольного люда того и другого пола омрачает... скифскими чертами лица и беспорядочным разбродом, словно мутный поток чистейшую реку...»

Наверное, родственный потомок Петрарки, через века на берегах «скифского» Дона испытывавший не только ужас своего как захватчика разгрома, но и славянские сострадание и милосердие, не успел послать импульсы прозревшей души своему прославленному предку? Или тому уже снилось нынешнее полонение Италии и Европы, но не «скифами» омрачаемых, а и Ближним Востоком, и Африкой?

Житие протопопа Аввакума

«Та же с Нерчи-реки паки назад возвратилися к Русь. Пять недель по лду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающеса о лед. Страна варварская, иноземцы немирные, отстать от лошадей не смеем, а за лошедми идти не посеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет, бредет да и повалится... „Долго ли муки сея, протопоп, будет?“ И я говорю: „Марковна, до самыя до смерти“».

Среди великого материка литературы Древней Руси, столь обильной житиями, сказаниями, повестями, стихами, посланиями и челобитными, «Житие Аввакума» возникает, словно мощный утёс, словно криж, прочностью камню подобный; и кажется немислимым, как человеку дано выдержать крестный путь от Москвы до глубинной Сибири, вернуться, быть снова сосланным царевой властью в северный Пустозерск, пробыть годы в земляной темнице, сгореть на приговорном костре... Великая сила духа, великая любовь, великая вера даны были Аввакуму. Настолько неповторимы он и его житие, что Достоевский «Житие Аввакума» (наряду с творениями Пушкина!) считал невозможным переводить на европейские языки.

«... Чтущие и слушашии, не позрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет».

Но куда уходила непокорная мощь старообрядчества? Сколько чувства, ума, таланта сгорало в густом пламени непокорства! Только недавно, века спустя, состоялось воссоединение православия: церкви Московского патриархата, русской зарубежной церкви, и замирение с ними — старообрядческой.

Поморский край и Вселенная

Слово «первый» вне ошибки множество раз можно употребить применительно к такому явлению, как Ломоносов. Безусловное — дважды: Ломоносов — первый из русских, кто, испытав заграничной Европы, ещё более, чем в юности, почувствовал неповторимое значение России и свершил бесконечно многое во благо и славу её науки, культуры, родного слова; и первый из русских, кто поэтически и научно заглянул в бездны Вселенной («открылась бездна, звезд полна; / Звездам числа нет, бездне дна...»).

Около полувека назад, побывав на родине Ломоносова, автор этих строк поверил записной книжке нахлынувшее впечатление: «Родной край Ломоносова — много воды и неба. Курополка, Северная Двина, Белое море, наконец, Ледовитый океан. С этого клочка земли первый его интерес к окрестному. К человеку. К родине. К Вселенной. Разве не здесь волшебного и таинственно струились пазори — сполохи северного сияния? Разве не здесь впервые, ещё неотчётливо, задался он вопросами, годы спустя повторёнными в „Вечернем размышлении“: „Как молния без грозных туч / Стремится от земли в зенит?“ Не с этого ли косогора, откуда забирала неисходимая и неизмеримая даль земли и неба, мир предстал ему бесконечным и звал в бесконечность?»

Вдали, в тающей дымке чуть сиреновой, чуть пепельной белой ночи, — расплывчатый силуэт Холмогорского храма. Этот храм видел он. Эти воды, острова. Птиц, несметными стаями отдыхавших по весне; когда враз поднимались, раздавался тугой оглушающий звук, будто из пушки палили.. Этот край, что б там ни было, светил ему в детстве. И вдалеке, надо думать, тоже светил. Тогда ещё не было столь распространённого в нашем веке ностальгического слова-плача по родной стороне. О том говорят и сокрушаются, когда теряют. А его край оставался с ним. Но и мир — тоже! И Вселенная!»

Едва не через полвека возвращаясь на малую родину Ломоносова, думаю, что тогда нахлынувшее на меня впечатление не было ложным.

История не роман...

Мне выпало видеть два памятника Николаю Михайловичу Карамзину. Один — на его родине — в Симбирской губернии, другой — в подмосковной усадьбе Остафьево. По справедливости, их могло быть куда больше, но будь и сто их, они бы не могли совокупно сравниться с тем зримо-незримым величавым памятником, какой есть «История государства Российского», «Письма русского путешественника», «Бедная Лиза», трактат-записка «О древней и новой России», наконец, его буква Ё.

«История не роман, и мир не сад, где всё должно быть приятно...» — сказал он, самый, может быть, проникательный и благородный историк нашего Отечества, и сказанное не только лапидарно объясняет смысл истории всемирной, но и даёт некий ключ историкам разных стран к постижению истории как таковой.

Но должно ли было Карамзину проехать Западную Европу, увидеть жестокие следы французской революции, встретиться с Кантом, Гёте, Робеспьером, чтобы во всей глубине увидеть ход отечественной и мировой истории?

Гёте о себе

Гёте в восемьдесят два года, незадолго до смерти, когда мысль, благодаря движению пережитого, обретает свою окончательность, в беседе с женевским учёным-естествоиспытателем Фредериком Соре (не забудем, что великий немецкий поэт считал, что он более значим как естествоиспытатель, нежели поэт) сказал следующее: «Величайший гений не пошёл бы далеко, если бы посмел добывать всё из собственной почвы... Кто я? Что я создал? Я воспринял и усвоил всё то, что только слышал и наблюдал». (А пережитое своим сердцем и другими, чьё переживание настоящий поэт сполна принимает в своё сердце? — спросит читатель.) Поэт продолжил: «Мои труды насыщались тысячей существ, глупцов и мудрецов, светлых

голов и дураков. Часто я пожинал, что сеяли другие. Моё произведение — это труд коллективного существа, и оно носит имя Гёте».

Но коллективное существо, множество существ — это же традиция, однажды бывшая новаторской! И так бы могли сказать о себе тысячи выдающихся творцов. То есть, сколь ни неожиданно новаторство, оно — видимо иль невидимо — восходит к опыту индивидуальному, соборному, национальному, всемировому.

Солнце и сумрак-одиночество

Славянский философ Григорий Сковорода увещевал: «Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай на шаре земном, не броди по Иерусалимам. Воздух и солнце всегда с тобой». Почти два века спустя нечто подобное излагает Йозеф Кафка: «Нет необходимости выходить из дома. Оставайся со своим столом и прислушивайся. Даже не прислушивайся — жди. Даже не жди — будь неподвижен и одинок, и мир откроется тебе, он не может иначе». Ещё позже — Эжен Ионеско: «Одиночество и особенно тревога характеризуют основные условия существования человека».

Есть нечто общее у названных писателей-философов, но у Сковороды, бродячего философа, всё-таки — солнце над головой, и одинокий, он стремится в мир, а у Кафки и Ионеско — стена, замкнутое пространство одиночества, и сумрак, переходящий во мрак.

Русские душа и слово

На Ваганьковском кладбище, у могилы Владимира Ивановича Даля, под тяжёлой густолиственной кроной долго пребывал я в естественной скорби и в многоречивых, теснящих друг друга думах. Вот датчанин, иностранец, а он — из самых что ни на есть русских, ибо его сердце, вложенное в его страницы, его дела по собиранию сокровищ русского языка, русской песни и пословицы, являют неоспоримое тяготение к русскому духу и слову и деятельное их укрепление.

Уже в конце жизни Даль, давно подданный великой империи, принявший православие, сказал: «Ни призвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежащим к той или иной народности. Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежности его к тому или иному народу... Кто на каком языке думает, тот тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».

В Лугани (нынешнем Луганске, центре области, сограничной Воронежской), где Даль-отец как врач оставил о себе добрую память, в Лугани и родился будущий писатель, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир

Иванович Даль. Родился в счастливой семье для его будущих занятий: и отец, и мать знали по несколько языков, даже древних, а дома говорили по-русски. И сыздетства старший сын стал тянуться к сокровищам русского языка.

Когда началась очередная русско-турецкая война и армии потребовались врачи, Даль незамедлительно прибыл к Дунаю. А далее — бои, походный госпиталь, кровь, победные осады и штурмы, сражения и переходы. Вскоре русские войска подступили к Константинополю. Даль быстро и хорошо справлялся как лекарь, а ещё — жадно вслушивался в речь русского народа: шестьдесят губерний и областей Российской империи выставили своих воинов, и говор каждого, слово каждого — и музыка, и солнышко, и снег, и дождь, — как выдох души человеческой.

Под конец войны приключилось невероятное и... радостное. В военной суматохе затерялся верблюд с тюками, наполненными записями слов и пословиц, областных речений и выражений. «Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси, — вспоминает Даль, — доставила мне обильные запасы для изучения языка, и всё это погибло. К счастью, казаки подхватили где-то верблюда, с... записками и через неделю привели его в Адрианополь». Разумеется, спасибо туркам, которые не сожгли записи, спасибо казакам, которые отбили верблюда у неприятеля, но здесь мы видим самое главное: Даль настолько был пленён стихией русской народной речи от океана и до океана, настолько прикипел к собирательству и осмыслению языковых сокровищ в любых условиях войны и мира, что даже и случись утрата «верблюжьих запасов-драгоценностей», он бы не оставил любимой страды собирательства.

Волею судеб Даль оказался у предсмертного изголовья Пушкина, часами неотлучно находился у постели умирающего, и именно ему, Далю, поэт сказал загадочное, необъяснимое мистическое «Пойдём!».

И на веки вечные — Пушкин

Ещё с древних времён китайцам стало ясно: великий человек — всегда народное бедствие. Если речь о военных, государственных, политических деятелях — то действительно так. Сразу возникает необозримый ряд их — из разных племён, народов, стран. Аттила, Цезарь, Тамерлан, Пётр Первый, Наполеон...

А стяжатели на попроще культуры, литературы, искусства? Не говоря уже про мелких бесов в писательстве, музыке, живописи, о коих наш современник-поэт сказал, что «нетопырю даются крылья, болоту лилии даны», во все времена вызревают и подчас забирают человечество в плен художественные голиафы гибели, титаны дьяволиады, служители содома и гоморры — глобального сатанизма.

Но Пушкин — русская и мировая истина. Красота. Справедливость. И честь, достоинство. И великодушие. Не только, как выразился Белинский, «гений европейский, слава всемирная», но и «лелеющая душу гуманность».

Пятна на солнце

Наверное, Пушкин, Тютчев, Достоевский знавали недоброе, наверное, и на их биографии есть пятнышки-пятна, как и на солнце. Но что мне за дело до пятен, я читаю их строки, и они мне открывают высоты света небесного и бездны мрака inferнального. И главное в них: «Да здравствует солнце, да скроется мгла!»

Цитата

Великий поэт, равнодушный к своему творчеству... Кто он? Тютчев — дипломат, философ, пророк, равный Достоевскому, патриот, космист, наш современник, современник вечности? Всего лишь несколько строк, одна цитата из его историческо-философской статьи «Россия и революция» 1848 года:

«И когда ещё призвание России было более ясным и очевидным! Можно сказать, что Господь начертал огненными стрелами на помрачённых от бурь Небесах. Запад уходит со сцены, всё рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре — Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства, Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведённый до бессмыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода. А над всеми этими развалинами, ею же нагромождёнными, цивилизация, убивающая себя собственными руками...

И когда над столь громадным крушением мы видим ещё более громадную Империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу, кто дерзнёт сомневаться в её призвании, и нам ли, её детям, проявлять неверие и малодушие?...»

С холма родного обозреть весь мир

Сколько помнится, у английского поэта Блейка есть — «зажать в ладонях бесконечность». Поэтично? Эффектно? Грубо? Смехотворно? Лучше и вернее — увидеть в капле океан, с холма родного обозреть весь мир, у отчего порога почувствовать дыхание Вселенной.

Гоголь, Белинский и Отечество

Никогда я не мог принять грубое «Письмо Белинского к Гоголю» (ещё и не зная, что не приняли его и Тютчев, и славянофилы, и Блок); но, не говоря уже о великом вкладе Белинского в осознание русским обществом значения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, первооткрытии им Гончарова, Тургенева, Достоевского, всегда радовался «почвенническим» тяготениям его

сердца, очевидным в его высказываниях о русских берёзах, пересаженных на итальянскую почву и там усыхающих; или же в таком высказывании: «Всякая благородная личность глубоко сознаёт своё кровное родство, свои кровные связи с Отечеством».

Народ в тюрьме

«Заметки о погибшем народе» — так сам Достоевский назвал свои «Записки из Мёртвого дома». «Ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно». И хотя в самом начале «Записок» есть строки, могшие напрячь и либералов, и революционеров («Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные: порядки старые, крепкие, веками освящённые»), но даже либеральный Тургенев находил в «Записках...» картину «дантовскую», даже революционный Герцен видел в повествовании «фрески в духе Буонарроти». Ничего близкого к «Запискам из Мёртвого дома» ни русская, ни мировая литература не знали, хотя подобное поведенному о тюрьме века девятнадцатого знавали и другие века; и сколько разноплеменного народу через тюрьмы, через страшные кровы отверженных прошли за эти века — и до, и после Мёртвого дома!

Один двадцатый век, в одном только Союзе — Снесарев, Флоренский, Вавилов, Чайнов, Мандельштам, Лосев, Русланова, Волков, Солженицын, Шаламов... Известные имена. А неизвестные — их не сосчитать и не назвать? А и они — вселенные. А виновность или невиновность их окончательно рассудит Суд Вышний, Горний.

Три великих писателя

Отношения Тургенева и Достоевского. В «Братьях Карамазовых» экзальтированная госпожа Хохлакова восклицает: «Я выздоровела. Довольно. Как говорит Тургенев». Ядовито, хлётко. Право же, Тургенев говорил и кое-что позначительнее. Но и автор «Записок охотника» называл Достоевского «Маркизом де Садом русской литературы», словно пытаясь этой формулой исчерпать для европейского читателя необъятность творческого мира Достоевского, видевшего и горний свет, и жерло ада.

В известной мере успокаивают отношения Достоевского и Толстого. Автор «Войны и мира» не только повторял, помнится, Ипполита Тэна слова, что за одну страницу Достоевского он бы променял все писания французских романистов, он после смерти Достоевского называл его сам родным и близким, именно последний великий роман Достоевского он читал в ночь перед уходом из Ясной Поляны.

Не пожелал глядеть на Везувий...

Об Афанасии Фете, как и о всяком истинно талантливом человеке, столько наговорено всякой всячины, столько стрел-ехидн выпущено! И даже — не только из разnochинно-демократического лагеря. Вот благовоспитанный Боткин рассказывает о нём: «Вы удивляетесь бесчувственности нашего певца природы? Когда сей бородатый муж приехал в Неаполь, я снял ему комнату с видом на Неаполитанский залив и Везувий. И что вы думали? Он завесил окно плотной шторой и ни разу не отодвинул её».

Звучит как инвектива. А, право, здесь существует целая дюжина «может» или «может быть». Может, поэт пребывал под сильнейшим обаянием срединнорусского поля и не хотел жившее в нём впечатление-воспоминание разбавлять чужими красотами чужого залива? Может, он хотел отгородиться от Везувия — с античного часа вулкана-убийцы? Может, вдруг привиделась сгоревшая в пламени огня возлюбленная Мария Лазич? Может, ему почудился тот огонь, что «просиял над целым мирозданьем»?

Слово — оружие?

«Оружие свободных людей — свободное слово!» — сказал, помнится, Константин из славной семьи Аксаковых. Свободное, но не распоясавшееся. Грустно, что оно — «оружие», если только высказывание соответствует исторической истине. Когда слово зовёт на баррикады, в метафорические побоища, игорные, публичные дома, в ослепительный мрак, в обман, ложь, вседозволенность — избави нас Боже от такого свободного слова! О слове, его силе и слабости, его красоте и безобразии сказаны миллионы слов, но, видимо, истинней всего евангельское: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Красный мак

Больному человеку кажется, что всё зло мира (все войны, кровь, слёзы человечества) — в красных маках, растущих в больничном дворе. «Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие, росистые листья коснулись его тела, он побледнел, как смерть, и в ужасе широко раскрыл глаза...»

Когда заходит речь о Гаршине... Будто бы он на днепровском мосту увидел девушку, отчаявшуюся жить, готовую броситься с моста, и остановил её, и сказал ей что-то сокровенное — такое, что она ушла, успокоенная, в долгую жизнь. Гаршин через полгода выбросил себя в пролёт лестницы, как самоубойно ушли его старшие братья, как ушли в неизвестные живыми края тысячи и тысячи известных и неизвестных.

А мак стал действительно убийцей-наркотиком, бедствием земли. Мак скорби? Но и мак и радости, коль по весне — европейские красные маки Сопrotивления?

«Пётр Первый»

Неизвестно, что бы ещё сказал Лев Толстой о романе своего однофамильца Алексея Толстого «Пётр Первый». Автор «Войны и мира» тоже намеревался написать роман из эпохи Петра Первого, но — приводит его слова близкий ему воронежец Русанов: «Я не мог написать, потому что она, эпоха, слишком отдалена от нас, и я нашёл, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас».

Однако разумная эта требовательность к себе не есть ли заблуждение: сколько достаточно крепких писателей ныряли и в более ранние временные глубины?! Чапыгин — «Степан Разин», Ян (Янчевецкий) — «Чингис-хан», Кораблинов «Крещение Аполлона», Иванов — «Русь изначальная».

А Пётр Первый, увлékший даже Пушкина, естественно, будет притягивать к себе и поэтов, и политиков, и государственных мужей. Сервиллистские перья в недавнем реформаторе, главгоспьянице — первом российском президенте тщились обнаружить черты Петра Первого.

Глядя на сегодняшнюю жизнь, до сих пор не оправившуюся от ельцинско-семейного ломоустройства, невольно вспоминаю слова моего старшего сына об этом «гаранте», поразительно точные, жаль, не записанные.

Кровь Вельзунгов

Художественный рассказ Томаса Манна или переходящая из века в века реальность? Избранные и тривиальные. Об этом — зелёная моя тетрадь, какую едва ли найти...

Островок в Восточном океане

Среди стран, где мне хотелось побывать, в первом десятке — Япония. И хотел я увидеть Японию, прежде всего светло печалась по одному человеку — прекрасному поэту Исикаве Такубоку, покинувшему наш мир в юношеском, лермонтовском возрасте, но смогшему сказать этому миру нечто сокровенное. Кроме, может быть, революционных упований и заблуждений, всё мне в нём дорого: и его, крестьянского сына, любовь к родной деревне, и романтическое восприятие мира, и надежда на «зарю неистребимой жизни», и мужественная любовь к России, её литературе, её великим именам в те времена, когда Япония и Россия пребывали во взаимной войне и ненависти.

Я хотел бы побывать в его родной деревне Сибутами, постоять у памятника на морском побережье острова Хоккайдо,

перечитать — уже на памятнике — слова, невыразимо поэтические и трогательные даже в переводе: «На северном берегу, / Где ветер, дыша прибоем, / Летит над грядою дюн, / Цветёшь ли ты, как бывало, / Шиповник, и в этом году?»; и снова вспомнить дивно-неповторимую начальную танку из книги пятистиший «Горсть песка»: «На песчаном белом берегу / Островка / В Восточном океане / Я, не отирая влажных глаз, / С маленьким играю крабом».

«Те, которых мне не забыть» ...

Нивы жизни и кафедральные нивы

Дела твои, Господи! Точнее, дела наши, люди! Михаил Бахтин, глубокий учёный, серьёзный мыслитель, был всего лишь кандидат наук. Сколькими урядными, бесцветными докторами наук и даже академиками засеяна современная кафедральная нива, а настоящий учёный — вне должных быть званий и даже вне столичной среды (исследователь отечественного литературного мира Вадим Кожин добился того, чтобы он был переведён из Саранска в Москву) вынужден был обретаться и вне широкой научной среды.

Жребии и сроки

Считается, что большие цели определяют человеческое долголетие. Последний, по-настоящему великий русский мыслитель Алексей Лосев дожил до глубокой старости, пока не завершил фундаментальный, многих десятилетий труд «История античной эстетики». А испытал он многое, также и — Соловки. С Флоренским, Вавиловым, Чаяновым «Соловки» обошлись куда беспощадней.

Создать мир более совершенный

Рэй Бредбери в подтверждение своей мысли посчитал возможным призвать имя литературного персонажа из приключенческого французского романа: «Все мы подобны капитану Немо. Ему не нравилось, как устроен наш мир, поэтому, вместо того, чтобы его разрушить, он создаёт такой мир, какой нужен ему».

Или родственное наблюдение-соображение из глубин древности: «Не нравится тебе искривлённая линия (дорога)? Проведи рядом более совершенную!» Каждый художник пытается провести такую линию, выстроить параллельный мир — более приманчивый? Эгоистичный? Только для себя? Или добродетельный? Радующий других?

Мой словесный мир, существующий в мысли, картине и мелодии: с родного холма чувствовать и видеть необозримую Вселенную.

Одинокие листья на одинокой дороге

«...И их, бурые и зелёные листья, юности ветер уносит по одинокой дороге. Пусть исчезнут они, танцую», — это об осенних листьях пишет Шервуд Андерсен. Американец, а как-то по-русски. Запойное его прочтение, три ночи подряд читал-перечитывал, чем объяснить? Есть в этих строках что-то по-декадентски прощальное с жизнью.

Пусть прочтёт хотя бы один человек

Томас Вулф — сильный американский писатель — трагичен, народен, в чём-то хорошем — он русский. Да и фигура Френсиса Фицджеральда — автора грустного «Великого Гетсби» — столь же трагическая, как и автора романа «Взгляни на дом свой, ангел». И этот ранний уход из жизни обоих. Есть в Америке совесть, честь и стыд, запечатлённые в страницах не только вышеназванных авторов. Но много ли знаем о них? О них — близких, и всё же географически далёких, заокеанских? Пушкина, Достоевского, Толстого скоро перестанем читать. А на смену накатывает предельно упрощённое для души и тела.

А Томас Вулф признался: «Кто-то, надо полагать, пишет ради денег... Многие из нас пишут ради славы. Наверное, мы продолжали бы писать, если бы знали, что сочинённое нами прочтут два или три человека».

Ради денег? Пусть не каждый помнит всеобъемлющую оценку денег Аристотелем, дескать, «деньги бесплодны по своей сущности», но каждый, восходя или падая при силе их, понимает, что это так. Ради славы? Всегда, приближаясь к славе, отдаляешься от Бога. А вот ради того, чтобы твои строки прочитала хотя бы одна душа в мире, — это так!

Однажды позвонила молодая женщина (как в начале разговора выяснилось, прикованная к постели) и сказала, что моё «Молчание» помогает ей жить, хранится у неё под подушкой и перечитывается. И это признание было для меня важнее множества научных и литературных положительных статей, рецензий, откликов на мои книги.

Во времени и без времени

«Большинству наших молодых поэтов не хватает одного: их субъективное „я“ недостаточно значительно, а в объективном они не умеют находить материала», — так афористично и лаконично немецкий поэт («Разговоры с Гёте...» Эккермана) характеризовал состояние тогдашних поэтических натур; пожалуй, ничто не изменилось, хотя два столетия отделяют нас от той беседы. Современные, на перетоке тысячелетий молодые стихотворцы пытаются погрузиться в бесконечные вариации своих переживаний, но они не чувствуют, не видят грозных всполохов времени. Времени, решительно не похожего на все

прошедшие. Времени, в котором просвечивают апокалиптические, эсхатологические знаки Конца.

Над пропастью не во ржи

Или все упования и сомнения (славянофильские, панславистские, русофильские, православные — Пушкин, Хомяков, братья Киреевские, братья Аксаковы, Достоевский, Леонтьев, Данилевский, Панарин, Шафаревич...) приобретают в движении истории, а за последнее столетие — особенно грустный, во всей трагичности даже до конца не предугаданный исход — генетический, демографический, геополитический, социальный, языковой? Взгляды также западных философов, историков, писателей (Поль Валери, Кнут Гамсун, Рильке, Мориак, Томас Манн, Шпенглер...) в отношении славянского, русского мира, его культуры, его цивилизации справедливы по отношению к его теперь былому, но не будущему. С другой стороны, и вся мировая цивилизация — *над пропастью* (не во ржи), и последний час человечества, ведомый только Создателю, никто из живущих никогда не предскажет.

Сентенции директора Пробирной палаты

«Где начало того конца, которым оканчивается начало?» — философствовал Козьма Прутков, который во множестве преподносил образцы учёной мудрости в духе «Волга впадает в Каспийское море». Когда-то пишущему эти строки выпало быть редактором-издателем сочинений Козьмы Пруткова, — странное занятие, дававшее знать наизусть многие шутейно-банальные, с видом серьёзности, афоризмы: «Никто не обнимет необъятного»; «Смотри в корень»; «Небо, усеянное звёздами, всегда уподоблю груди заслуженного генерала»; «Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине»; «Если хочешь быть счастливым, будь им»; «Если на клетке слона прочтёшь надпись „буйвол“, не верь глазам своим»; «Не ходи по косогору, сапоги стопчешь!»; «И при железных дорогах лучше сохранять двуколку»; «Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части».

Судьбы братьев Жемчужниковых, Алексея Константиновича Толстого — реальных создателей сочинений вымышленного автора, директора Пробирной Палатки, сложились по-разному, скорее тихо, нежели громко: о братьях сейчас мало кто что скажет. А Алексей Константинович Толстой — одна из сильных и трагических фигур в отечественной литературе. Задыхаясь от астмы...

Несгораемое имя

В начале тридцатых прошлого века Михаил Афанасьевич Булгаков вовсе забедствовал: ни денег, ни работы, ни печатаний. Тогда друзьями был устроен договор на его тексты для

театральных клоунов. У самой кассы, где писателя ожидал аванс, Булгаков вдруг снял и отдал друзьям пиджак, сказав, что ему на миг надо отлучиться. Ни в миг, ни в час к кассе писатель не вернулся. Друзья нашли его дома, и на их недоумение он решительно воскликнул: «Я русский писатель. Я не буду в цирке работать!» То есть иными словами — не стану ублажать клоунов и толпу.

Мартовские иды

Рождённые по весне, в марте — Бах, Гайдн, Ганс Христиан Андерсен, Гоголь, Ван Гог, Генри Джеймс, Рахманинов...

Но мартовские иды... Заколотый кинжалами заговорщиков Цезарь. И неисчислимые множества сошедших с ума, погибших, умерших. И сожжённая карателями белорусская Хатынь... Вялый месяц или месяц страшных энергий? Очистительных или разрушительных?

Месяц, настоянный на противоборстве зимы и весны, смерти и жизни.

В марте умер мой отец — воин, пахарь и просветитель. В марте умер-погиб мой старший сын — воин и поэт. В марте умер мой друг — писатель русского мира.

В марте родился мой младший сын. И в марте родился его младший сын, мой младший внук.

Грустная сказка

Столь поздно, когда было уже за сорок, прочитан «Маленький принц»; разумеется, Сент-Экзюпери читал я и прежде, но — иное.

Хорошая и грустная сказка. Видишь: жизнь наша — перевёрнутая, искажённая, нездоровая. И притча о скорых поездах — в самую точку. Да и убийственное замечание Лиса по поводу рода человеческого: «У людей есть ружья. Это очень неудобно. И ещё они разводят кур. Только этим они и хороши!» Тот же Лис: «Зорко лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

Есть строки, даже не у самых великих, которые следовало бы повторять каждый день, может, как назидание ныне спешно живущим. Скажем, у того же Сент-Экзюпери, французского писателя, всё ещё летящего в мировом пространстве лётчика, находим такие строки: «Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо. Невыносимо жить без поэзии, без красок, без любви. Да стоит только послушать деревенские песни пятнадцатого века, чтобы измерить глубину нашего падения! Всё, что осталось, — это голос, которым вещает робот пропаганды. Два миллиарда ничего не слышат, кроме робота. И сами превращаются в роботов»; или: «Дураки очень опасны. И ещё интеллигентные люди, когда они собираются группой. Интеллигентность — это

дорога. А сто дорог разом — уже рыночная площадь. Это уже теряет смысл. Приводит в отчаяние».

Искусство и толкователи искусства

«Теории искусства плодятся там, где само искусство плохо себя чувствует». Хайдеггер — а вышеприведённое высказывание принадлежит ему — не из тех мыслителей, кто бы смог произнести что-либо ради красного словца. Он во всем серьёзен и ответственен. И всё же для полноты истины, быть может, в высказывании недостаёт двусловия — чаще всего. При всём при том насколько мысль немецкого философа выгодно отличается от «игрового» пассажа его же современника, близкого и территориально (Эрнст Фишер): «Искусство, конечно, необходимо. Вот только я хотел бы знать — для чего».

Маяк ли — Маяковский?

Маяковский, его (или чей?) лирический герой (или антигерой) любит наблюдать, «как умирают дети», он готов отцов «облить керосином и пустить по городу для иллюминаций», он готов «пулями по музеям тенькать», он готов жить «без России, без Латвий — единым человечьим общежитьем». Такой Маяковский с его так называемым лирическим героем мною более чем неприемлем (допускаю, что моё восприятие исходит от деревенской, народной почвы, на которой едва ли прельщают маложивотворные формулы эстетической условности, толерантности, амбивалентности и прочая). Такой Маяковский — едва ли маяк для всякого мыслящего и совестливо чувствующего, сострадательного человека. Но надеюсь, был же и другой Маяковский — страдающий от неправды, соучастником которой и он был, от этих изящно ненавидящих всех и вся пустословных салонов и литгрупп, какие в революционные разломные времена плодятся особенно густо. Да, «не боимся буржуазного звону...»

Прошлое, переходящее в будущее

Нельзя жить с головой, повернутой назад. Всё так. Но и нельзя безоглядно, бездумно, беспамятно, сломя голову, устремляться вперёд, на своём пути сметая «лишнее», видя таковое в традиционно существующем. Во всём, по совету древних, требуется мера? Когда-то мчался ты за некоей синей птицей, не разбирая дороги, и ладно бы сам уколосил о кусты шиповника и забрызгал платье мочажинной грязью, но и зацепил, порушил птичье гнездо, растревожил муравейник, изломал налитую колосьями рожь и, в конце концов, отрезвляюще ударился о незримую стену тупика. Правда, и когда оглядывался назад, посвящая этому долгие дни, ты также не чувствовал полноты бытия. И всё же, в молодости авангардист, ты окончательно пришёл к признанию консер-

вативного, эволюционного, традиционного начала как самого органичного для человеческой жизни. Как полагала замечательная поэт-поэтесса (Ахматова), традиция — это прошлое, переходящее в будущее.

Не менее замечательный её современник (Пастернак) о разрушительной антитрадиции писал: «Очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом и общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой своей природной тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего».

Вообще о традиции и новации, консервативном и революционном в жизни и искусстве наговорены и написаны горы книг — то невозразимых, то спорных. Просто и невозразимо — у Шаляпина: «Я не могу себе представить беспорочного зачатия новых форм искусства... Если в них есть жизнь — плоть и дух, то эта жизнь должна обязательно иметь генеалогическую связь с прошлым».

Поэт

Мне снилась осень в полусвете окон,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе.
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

В семнадцать лет часто повторял эти поразившие меня строки. Через три года посвятил поэту стихи... (Как и многим — и живым, и ушедшим, стихи, письма, инвективы. Потом — изорвал и выбросил: пустое занятие).

А позже любил перечитывать у поэта иное — стихи из «Доктора Живаго». А ещё часто на память приходили строки из сорок первого года:

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Но это внепоэтическое — «перипетии»... Бррр! (Возможное — «Сквозь прошлого века лихие»? «Сквозь прошлого лучи косые»?) Хотя внепоэтическое слово — из лексикона древнегреческого, с которым через православие породнён язык русский.

«Солдат не судите чужих...»

А кончится битва —
Солдат не судите чужих.
Прошу, передайте:
Я с ними боролся за них.

Мой учитель прочитал на слух и сказал, что строки — поэта Василия Кубанёва. Я редактировал кубанёвский сборник, но не мог припомнить именно эти стихи. Если они кубанёвские — по его таланту, честности мысли и жизнеповедению они не являются чем-то удивительным; но неожиданным — являются; ведь юный поэт возрастал на большевистской, повсеместно в послереволюционной стране внедряемой схеме: кругом враг. Нет, невытравима в русской душе тяга и к милосердию, и к воспитанию — душевному пересозданию жестоких в милосердные, заблудших в зрячие, непросвещённых в просвещённые, обретающие катарсис.

И здесь — отец и сын...

Повесть Даниила Гранина об учёном — «Эта странная жизнь». И действительно — странная. Погибает на войне сын, а извещённый отец, герой повести, размеренно пишет-размышляет о немецких и иных почтенных мэтрах отвлечённых наук; а позже в составленной им таблице тяжко пережитого за десятки лет находим — и сломанную руку, и сильнейшую невростению, и «чуть не арестован в связи с кондратьевщиной», и сломанную шейку бедра... И ни слова о гибели сына на войне.

Вечная Москва

Шукшин в письме к брату Ивану не удержался сказать, что в Москве «немудрено протухнуть. Очень уж мало людей искренних». Пристрастное мнение, хотя, разумеется, правда в нём есть. Но и москвичи искренние тоже есть, как их столица ни перемалывает. О Москве — тьма книг, даже в названиях она: «Путешествие из Петербурга в Москву», «Сожжённая Москва», «Прошлое Москвы», «Москва и москвичи», «Далеко от Москвы» и т. д. Но ни одна книга не в силах передать историческое и мистическое движение Москвы, её удивительный дух... Разве что первые строители Москвы чувствовали её будущее.

В Москве, после небывалого атеистического церкворазрушительства, снова — густые перезвоны колоколов. Кажется, раскачивается небо, и земля колеблется под ногами. Но, может, и так: Москва не колокол, её не раскачаешь! Или раскачивается и она — раскачиваемая?

День и жизнь Сарьяна

Как не согласиться с Сарьяном, великим сыном Армении, великим художником! Когда его спросили, какой день в его жизни он считает самым счастливым, он ответил: «День своего рождения и все последующие за ним дни». Именно так: не один день своего рождения, но и все последующие дни, сколь бы ни тяжелы, ни горестны были иные из них; ибо только в разнообразии, в разноцветии, в разночувствовании, в противостоянии Добра и Зла — вся цельность, вся полнота жизни.

Больше, чем поэт?

Поэзия... Веневитинов, сам поэт, о чрезмерном национальном поэтическом страдничестве выразился резко, наотмашь: «Множество стихотворцев в стране есть признак легкомысленности нации». Древний грек Платон и вовсе предлагал избавляться от поэтов, а наш Толстой находил, что писать стихи, то есть переводить слово в искусственное «рифменное» состояние — как если бы пахарю танцевать за плугом. Но есть иное утверждение, дескать, по-настоящему благодатна страна, в которой много поэтов, и общественное мнение ставит их выше остального в культуре и общественной жизни. Для нас, русских, вернее всего: «Пушкин — наше всё». У афористически сказанного поэтом Аполлоном Григорьевым через век появился некий вариант, по сути своей лжеафористичный: «Поэт в России — больше, чем поэт». Здесь — претензия, ложная формула, ибо поэт — и не только в России — явление самодостаточное, объемлющее, он вселенная, вбирающая в себя множество вселенных, на его миссию не надо ещё чего-то привешивать.

Большие люди и малые слабости

У множества больших людей, о которых знаешь, судьба которых — не сторонняя в твоей судьбе, есть жизненные взгляды, импульсы и поступки, объясняемые их природными чертами души и характера, но мало соотносимыми с величием чести. (Бунин заявляет, что Достоевский и Тютчев для него необязательны; это вызывает улыбку, но, строго говоря, читатель тут же и отметит как пустячный этот, может, горделивый, может, ревнивый, а может, и непроизвольно вскользь брошенный выпад.)

Недобропристрастный писатель или читатель тут же вспомнит бунинские слабости, даже припомнит, как родные называли его, вспыльчивого, подчас нелестно: Судорожный; вспомнит и простительные человеческие слабости — просительные письма о присуждении ему Нобелевской премии, и его метания в трагическом и унижительном для него треугольнике (жена Вера Николаевна Муромцева, возлюбленная Галина Кузнецова, возлюбленная возлюбленной Марго Степун). Но что до этого человека, при чтении бунинской «Жизни Арсеньева» овеваемому красотой русского слова?

Насколько же точен Пушкин, наш вечный гений! Во всём — точен и благороден. Из письма (ноябрь 1825) Вяземскому: «Зачем жалеешь о потере записок Байрона?.. Мы знаем Байрона довольно... Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врёте, подлецы: он и мал, и мерзок — не так, как вы — иначе...»

Из породы Толстых

На стрежне перестройки (11 мая 1989) — весь день с навестившим Воронеж и мне «порученным» Никитой Ильичём Толстым, академиком-славистом, председателем фонда славянской письменности и культуры. Он правнук Льва Николаевича, и порода чувствуется в обширном уме, живом любопытстве, благовоспитанном, улыбчивом отношении к другим — (впечатление одного дня); а традиция — даже в уместно-представительной бороде, про которую академик, смеясь, заметил, что долго её не отпускал, не выращивал, и всё же решился: она принадлежность облика Божия. Разговор, разумеется, шёл не только про славянскую письменность и культуру, хотя мы побывали в соответственных местах: Воронежском университете, писательской организации, журнале «Подъём», но и в целом о культуре, об истории. Показал ему, чем славен Воронеж: подугорьем с былой воронежской верфью, чертой огненной обороны в летнее-осенне-зимние дни войны, уголками, связанными с именами Болховитинова, Кольцова, Афанасьева, Бунина, Платонова, Замятина... Не могли коротко обменяться мыслями и о новой центральной власти, всё более беспомощной. Высокий гость дал, на мой взгляд, убедительное объяснение: «Люди, подобные Горбачёву, всеми правдами и неправдами рвутся к власти, а до-рвавшись, не знают, что с нею делать; что делать с огромной страной, которая требует воли, ума и сердца верхосидящих?! Вот Ясная Поляна... Энтузиасты туристической жилки предлагают как можно больше заасфальтировать усадьбу. А зачем? А энтузиасты-туристы во власти, может, не прочь всю страну заасфальтировать? Забетонировать? И разумеется, всюду репродукторы расставить: труби кто во что горазд. Свобода слова». И вдруг неожиданно закончил: «А вы видите, как сужается русское слово — красивейшее слово славянского мира!»

Поэты-пророки

«Так пророк ли поэт?» — кто-то вопрошает, кто-то отвечает. Подчас целые «умничающие» дискуссии разгораются — замкнутые, схоластические, кто-то скажет, выведенного яйца не стоящие. Мельком упоминаются Пушкин и Лермонтов с их одноназванными стихотворениями — «Пророк». А далее кому что видится, — кто же и как несёт бремя пророчеств: Маяковский и Хлебников, Гумилёв, Цветаева, Бальмонт, Заболоцкий, у которого волк пытается стать растением в поэме «Безумный волк», Александр Введенский, Аркадий Кутилов, Николай Рубцов...

Непонятно почему остаются в стороне и первоисточный Ветхий Завет, и Евангелие. А изначально верные ответы — там. «Кесарю — кесарево, Богу — Богово». Поэту — поэтическое,

пророку — пророческое. Соединяются ли они? Разумеется. Поэты обретают пророческое состояние, пророки — поэтическое. Причём есть поэты и пророки, обращённые в прошлое, есть поэты и пророки, обращённые в будущее. Тут добавочно (или — прежде всего) вспоминаются Боратынский, Хомяков, Тютчев... Истины давно-давние.

На подиуме — «шестидесятники»

«От женщин рольс-ройсы роятся, / Радиация...» Как ещё недавно мне это показалось искренним воплем века, так сейчас воспринимается условно метафорическим и поверхностным. Наверное, Андрей Вознесенский — линия наименьшего сопротивления, не без таланта и эпатажа проведённая. Он даёт не мир, а себя, экспериментирующего. Его строка всё же несёт ощущение нашего двадцатого века, весьма чреватого угрозами неслыханными. (Самое забавное или грустное, что и я, ещё до Вознесенского, ещё совсем молодой, уйдя от почвы и космоса на городские асфальты, тоже экспериментировал, — когда стихи являлись в виде кругов, ромбов, квадратов, пирамид, крестов, древесных листьев, птичьих крыльев и т. д.)

На первом курсе пролистав сборник Евгения Евтушенко, воскликнул, лишь чуть переиначив слова стихотворца: «О помощи мне, Гумиста, поэзия моя пуста!» Таким было первое впечатление от прочитанных его ранних стихов; а в более поздних — за немногими исключениями хороших строк — поверхностное всехватальчество, «темп вечной погони», искренняя фальшь-дерзость и часто невежество; но — даровит, плодовит. Разумеется, яростные почитатели, шлейф из надувающих шариков.

Между тем в каком-то коротком ослеплении-затемнении адресовал шестидесятникам некие хвалительные строки — гимназическое, ненужное...

Два голоса и два слушателя

Слушатели были друзьями и, крепко выпивши, слушали на магнитофоне (дело было в конце шестидесятых) песни В. и стихи Е. Чувствовалось, что у одного — из сердца рвётся (этот нажим на согласные «р», «н», его впервые применил Шаляпин, пробирает так, что подчас мороз по коже); а другой имитирует, что якобы сердце рвёт, между тем заученно повышает, понижает голос, весь изгибается, по всему видно: у зеркала не один час покрутился, искусству эстрады научаемый.

И вот два друга заспорили.

— «И лезут в соколы ужи, сменив с учётом современности / Приспособление ко лжи / Приспособлением ко смелости». Разве не поэт? Да ещё гражданский, да ещё протестный!

— Знакомы нам эти протесты против власти с похвалами ей же через час.

— У поэта, как ты его называешь, эстрадного — десять книг и мировая популярность, а у твоего барда — ни книжонки.

— У «моего барда» любовь народная. А книги у него ещё будут. Только такие, как твой шумный стихотворец, попомни мои слова, не возьмутся помочь ему в издании хотя бы малого сборника. Может, от зависти, от ревности... Да и самим надо всюду поспевать, издаваться, заказывать рецензии и гостевые столы по случаю, по случаю, по случаю...

Против стреляющих

«Монолог» Владимира Высоцкого — запись на Центральном телевидении в январе 1980 года. Через несколько месяцев его не станет.

Первый сборник его стихов выйдет не сразу после смерти, предисловие напишет Роберт Рождественский, поэт и большой литературный начальник, и в том сборнике весомые слова из песни «Я не люблю...» Высоцкого окажутся разительно искажёнными:

«Я не люблю, когда стреляют в спину,
Но если надо, выстрелю в упор».

Не так это! Мысль передёрнутая, позиция неприглядная, ковбойская, и даже если Высоцкий однажды почувствовал, сказал, записал так, это минутное, это не главное его состояние, им же окончательно выраженное честно и недвусмысленно:

«Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор».

Против! Против! Против!

Премия и лауреаты

Нобелевская премия? В науке, может быть, она своей моральной ценности ещё не утратила, где политические страсти — не главное. Но премия мира — после жалко-незадачливого политика Михаила Горбачёва, или по литературе — после заурядной журналистки Светланы Алексиевич, прозападной, полной ненависти к восточнославянскому; и вообще мелкой и злобной, судя по её нездоровым словам об Олесе Бузине, честном и мужественном украинском писателе-публицисте, убитом отморозками после переворотного майдана? Премии такого свойства: из-за политических предпочтений — едва ли явятся индульгенциями на добрую память и славное будущее.

Или окончательно ушли послевоенные уровни, когда творчество претендента-нобелианта тщательно рассматривалось со всех сторон, тщательно взвешивалось? При присуждении премии Альберу Камю (сам он считал своего соотечественника Андре Мальро более достойным чести, тогда — ещё чести, быть

отмеченным) рассматривались также творческие значения и преимущества Сартра, Пастернака, Беккета, Сен-Жон Перса. Во всех смыслах — сильные имена! А ныне? При действительно выдающихся общественных деятелях и литераторах премии присуждаются чаще всего разновозрастным, разнонациональным, разнополым всё тем же горбачёвым и алексиевичам.

Женщины на поэтическом Олимпе

Кто так подумал, или многие так думают: «Женщина-писательница совершает двойной грех: она увеличивает число книг и уменьшает число женщин». Резко? Мужское высокомерие?

«Пусть женщины пишут. Но чего уж никак я не могу понять, когда мужчины пишут, как женщины», — саркастическое замечание Гёте, сразу задевающее и мужчин, и пишущих женщин. А как последние-то пишут? Неповторимо и прекрасно пишут! Ростопчина, Гиппиус, Цветаева и прежде других — Ахматова! Но вот проглядел, пролистал во всесоюзном молодёжном художественном журнале «Родословную»... Велики твои всякости, Господи! Вообще у немалого числа современных женщин-поэтесс (невольно вспомнишь бунинское: «Всё принца ждёт, которого всё нет, — / Глядит с мольбою, горестно и смутно: — / Пучков, прочтите новый триолет... / Скучна, беспола и распутна») целый монблан претензий, амбиций, новаций. Поди у каждой на уме вопрос госпожи де Сталь: «Сир, какая из женщин Европы видится Вам самой великой?» Резкий, как взмах меча, ответ Наполеона известен: «Та, что больше всех детей нарожала!»).

Поэты и жёны

Жигулин — его муза, его жена Ирина, верная и деятельная участница в подготовке и издании его стихов. Ей множество посвящений, из женщин — только ей! И вдруг Белла... И от странности их больничных отношений как-то неловко и грустно; или, может, поэтом в своём эссе взят тон неверный? Или, может, я, хорошо знавший высоту, искренность отношений поэта и его жены-музы, несправедливо резок, и разумеется, никто не вправе судить, поскольку не в силах понять неожиданные изломы человеческих судеб, выпадающие и вовсе не по нашей, человеческой воле.

Здесь целая тема: женщины и их забота о художественном наследии ушедших. Прасолов — о его наследии позаботились и былая возлюбленная, и последняя жена-вдова. Никулин — тоже издан стараниями прежде всего жены и дочери. Белокрылов — (грустное: ушедшая к другому первая жена; два десятка лет спустя после его гибели явилась искренняя хранительница его строки и памяти о нём, местный ангел из литературного мира. А Гордейчев? — на свалку выброшены книги его личной библиотеки с надписями выдающихся поэтов эпохи: жена

скончалась вслед за мужем и некому было сохранить редкостное собрание: нынешнему времени, ласкательному к олигархически-нуворишному слою, верхушечному, правящему, и вовсе малоласковому к «низам», к именам не бомонда, нет никакого дела до провинциальной культуры и литературы; а у местного писательского сообщества не находится средств издать избранное поэта или книгу памяти о нём.

Вдовы Пришвина, Платонова, Булгакова, родные Андрея Снесарева, Сергея Есенина, Бориса Корнилова, с которыми я встречался, были убеждены в значении и будущем признании своих мужей, братьев, сыновей. И что могли сохранить — бережно сохранили. Но немало потерялось при лихолетьях, переездах, пожарах, войнах. Разве что косвенные свидетельства, но они — именно косвенные.

Совсем не подарочные книги

Дорогие издания — не именно крупноформатные и непременно в кожаных переплётках, с золотым тиснением, богато иллюстрированные, с разными видами бумаги — от палевой до синей.

«Из-под глыб» — неказистая, в карман вмещаемая книжка, больше похожая на записную, на невзрачный блокнотик: в обложке, с грязно-зелёной ледериновой приклейкой. Бумага — папиросная, тонко-просвечивающая. Но серьёзная, сильная содержательно! Подаренная мне издателем Струве эта книжка с его надписью, с автографами Солженицына, Шафаревича — уже, разумеется, библиографическая редкость, для меня памятно-дорогая ещё и тем, что в подмосковных середниковских местах, где я бывал, правясь в лермонтовские уголки, Солженицын и Шафаревич совершали укромные, удалённые от нежеланных ушей и глаз прогулки, размышляя над будущей книгой «Из-под глыб» (Москва — Париж, 1974).

А поистине — бесценный подарок: «Бессмертный дар. Повесть о словах» — присланная мне из Барнаула книга человека трудной судьбы, из первой волны русской эмиграции Дмитрия Юрьевича Кобякова с его правками и вклейками, трудными для автора, если прочитать его, ослепшего, надпись: «Дорогому товарищу — Виктору Будакову шлёт дружеский притвет из далёкого Барнаула слепой автор этой книги Д. Кобяков. 11 апреля 1966».

Или малотиражный сборник ранних стихотворений Жигулина, подписанный одному известному поэту, скоро ушедшему из жизни, понятно, ему не вручённый и переподаренный мне долгие годы спустя. Тоже библиографическая редкость...

Увы, сколько подобных книг часто бесследно исчезает!

Боль и собрание сочинений

С удивлением взирал он, как благополучный писатель, преуспевающий и всюду поспевающий стихотворец, эссеист, сценарист, романист, записывал в блокнот всё, что попадалось на глаза, что слышали его уши, а главное, схватывал скорописью чью-то неисцелимую, торопящуюся выговориться боль, огромную человеческую боль, на ходу выливал её в флаконы своих эссе, сценариев и романов.

И хотел он крикнуть многоуспешливому мэтру: «Да не бывает настоящих искусства и литературы без своих кровоточащих ран! Или же прими чужие боли как свои и не делай из них чтива!»

Подлинного искусства без боли, верно, не бывает. Но собрания сочинений бывают.

Надпись на неотосланной книге

Известный писатель, автор на шумевшего исторического романа и дюжины книг разных жанров, не любивший раздавать автографы — свидетельства писательско-читательской суеты, но по неписаному закону вынужденный это делать, с неприязнью к себе и любителям автографов, всем знакомым и незнакомым подписывал книги одинаково, по трафарету: имярек такому-то — «с добрыми пожеланиями». Кто-то, думал он, будет за ценность выдавать, хвастаться своим знакомством с ним. Но, смех и глупость, какая ценность в этих беглых автографах, которые он в залах, где выступал, раздавал всем подряд... направо и налево, и правым, и левым?

Но однажды... «Надеясь, что, постигая многие и лучшие мелодии мира, ты не забудешь звуки отчего края — материнское и отцовское слово, плеск донской волны, шорох колосьев... всё, что в долгий путь дала тебе изначальная родина», — надписал он на своей книге юному земляку, поступившему в консерваторию и уезжавшему далеко. И, надписав, не то с недоумением, не то с горечью подумал, что и сам он далеко, давно уже далеко от отчих звуков, редко и коротко звучащих лишь в снах.

У критики есть ли Пегасы?

Критика? Да, ремесло не изначальное, не имеющее корневой жизни, — вторичное. Кажется, у Чехова есть мысль о том, что критик — это слепень на теле коня пахущего, коня, ведущего борозду. На литературу налетали полчища таких слепней, их имена, даже помня, неохота называть, а скольким великим — от Пушкина и Достоевского до Булгакова и Шолохова — они попортили крови и порвали нервных волокон!

Даже Белинский, критик-поэт, критик вдохновенный и интуитивно пронизательный, сразу объяснивший великое значение для России, Европы и мира Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Достоевского, Гончарова и Тургенева, даже он

кинулся во все тяжкие со своим тяжёлым кистенём-письмом к Гоголю, когда тот подвиг себя к высотам православным, где смирение, всечувствие и всепонимание лишают гордыню её художественных и иных проявлений.

Блок сокрушался тому, что поэт, называя всё привлечшее его в мире по имени, «отнимает аромат у живого цветка». Но каково же тогда критику, который не своё создаёт, но препарирует чужое?

И опять-таки: есть лирическая, поэтическая, историческая, философская критика, которая, отрываясь от конкретности, обретает самостоятельные крылья.

Лексиконы учёных

Язык учёных? Разумеется, учёный, скажем, лингвист другому учёному-лингвисту рознь, но неизбежно вырабатывается микроязык, понятный только данной учёной среде. Тут невольно вспоминается остроумное наблюдение Монтеня, давнее-давнее: «Вы слышите, как произносят слова метонимия, метафора, аллегория и другие грамматические наименования... А ведь они могут применяться и к болтовне вашей горничной».

Соавтор — телефонный справочник

Жил да был писатель-рассказчик, печатавшийся и в провинции, и в столице. А как писал рассказы? Брал телефонный справочник, листал алфавит, списывал оттуда или серьёзную, или смешливую фамилии, чаще на «Л», и в зависимости от этого гонял фамилию то на серьёзные многотравные пастбища, то на колкие косогоры, а то и на шумные городские улицы. И выпекался блин-рассказ — то задумчивый, то юмористический.

Повесть первая и последняя

Его повесть до последней строки родилась из пережитого им (за исключениями редчайшими, он никогда не записывал увиденного, тем более услышанного, чтобы не пользоваться чужим). Когда он писал повесть, позже никем не «надуваемую», но благодарно принятую читателями, он страдал — заново переживал пережитое, так что сердце болело и изнашивалось быстрее обычного. Он знал, что можно иначе: через пылкое воображение или спокойное бытописание, но он так не мог. Первая его повесть стала и последней.

А у его знакомого писателя из тех, что «ни дня без строчки», — спокойная безнаучно-научная гуманитарная кафедра, вальяжно-спокойный характер, сверхтолерантно-спокойный взгляд на жизнь обоих земных полушарий. Но и почти полностью вокниженное писание — спокойное, размеренное, холодно-рыбье.

Красное удостоверение

Двое пишущих якобы философские эссе и рассказы едут в полупустом троллейбусе, за неожиданной встречей на остановке позабыв приобрести билеты. Появляется кондуктор-контролёр. При его приближении один из пишущих небрежно вынимает красного коленкора удостоверение, жёстким жестом выбрасывает руку вверх, и «контродёр», увидев красные корочки, вполне удовлетворяется и проходит мимо них. Другой начинает гадать: «Что это у него за влиятельные красные корочки? Из какого ведомства?»

Через неделю, при условленной встрече, обладатель красных корочек вдруг предлагает: «Хочешь, я подарю тебе сюжет. Двое пишущих едут в полупустом троллейбусе...»

Нынче никого не удивить роскошными представительскими корочками, будь они хоть ведомственные, хоть правительственные, хоть из сфер небесной канцелярии: оные изготавливают едва не в каждом большом городе — из гаражей и подвалов выпархивают эти поддельные паспорта, дипломы, удостоверения...

По-разному пишется в молодости и старости

И рассказывал немолодой писатель. «Ныне сидишь и мучаешь себя за письменным столом. Предложение напишешь — и сомневаешься, абзац если — нередко весь перепишешь... Давит, угнетает сомнение, стыд, покаяние за прожитое. Да и здоровье никудышнее.

А когда-то в молодости: на глухой тёмной станции, возвращаясь из командировки, в ожидании поезда раскрыл большой, ещё незаполненный блокнот (я тогда журналистом был), и вдруг будто кто-то вложил в руки перо: стал наспех записывать, едва успевая за мыслью. Будто кто-то водит моим пером, стоит за спиной и водит. Ночь, в захолустном вокзале — полутемь, никого. Полблокнота исписал. Так увлёкся, что и поезд свой прозевал...»

Не удлиняет жизнь

О ком это он записал четверть века назад: «Она была чудо, филлида, взметнувшаяся миндальным деревом». Она, видимо, и сейчас хороша? Но почему же вопрос? Где она? И жива ли она? Книжное слово как сравнение или метафора не удлиняет человеческую жизнь.

Крутится-вертится шар голубой

Начало второй половины двадцатого века. Праздник весны. Море голубых шаров над головами проходящих колонн, море — в детских руках. «Крутится-вертится шар голубой».

Куда катится шар — голубой? Или уже и мир — яростно голубой? Какая у человека главная миссия на земле? Как ему

потянуться к Божественному, а не сатанинскому? Наверное, каждый за свою жизнь не в один час передумает об этом; многие и книги пишут, часто — вольно или невольно — обманывая себя или других.

Красивые сравнения

Как разнятся сравнения у поэтов — мужчин и женщин! Разумеется, не только сравнения. Стихи — узнаваемо мужские и узнаваемо женские.

Ахматова пишет: «Он только трогал грудь мою, / Как лиру трогают поэты». Изысканно, красиво, может, поэтично. И всё же... А вот — Лорка: «Испуганно бились бёдра, / Как пойманные форели». Тоже не без изыска, но сколь зримо, захватно!

И у прекрасных поэтов, будь они мужчины или женщины, случаются красоты, далёкие от красоты художественной.

Главный редактор

Женщина — главный редактор крупного издательства в советские времена. Жизнь её — благодарной книги достойная. Красивая женщина, когда-то деревенская девочка, голодное детство: родители жестоко пострадали от комбедовских реквизиций. Предвоенная юность, бессонная страда войны, частое донорство, скольким жизнь спасла, а сама падала от истощения, доставляя отцу-матери в деревню последние крохи. Сватались многие, а она сердце доверила мужественному, талантливо пишущему фронтовику, но искалеченному войной и вконец спившемуся. Сын в последний день армейской службы погиб, дочь — больная.

За год ей приходится прочитывать сотни рукописей и книг. Перед глазами — разное: радость, когда — и содержательное, и художественное (Владимир Кораблинов, Юрий Гончаров, Анатолий Жигулин, Алексей Прасолов, Василий Песков...); чаще же — заурядное, мелкое, без боли сердца и ума, без душевной сопереживательности.

Иногда она порывается доверить бумаге своё, но служебные и домашние заботы не дают и малой толики времени, чтобы начать и завершить рукопись. А ненаписанная повесть — настоящая, жизнестрадательная, искренняя!

Государственный заказ

Известный исторический писатель принимает заказ от властного и умного, думающего о благе народном правителя-государственника — написать историю Отечества, тысячелетняя история которого бессмертна идеями, победами, великими фамилиями. Даты смерти выдающихся людей (Александра Невского, Ломоносова, Суворова, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого...) не должны были обозначаться, словно они физически и ныне продолжают жить. Правитель был убеждён,

что так предки больше помогут живым в устройении страны, которую он, невзирая на Правительственный Совет и хладно-тёплых лево-правых советников, надеялся вывести на первое место в мире, дабы преподать миру исполненные традиционной нравственности и справедливости законы.

Писатель написал бумагу на дюжину дерев, отобразил половину истории, а далее захотел узнать, как его книга об отечественной истории сопрягается с общественным мнением и мнением Правительственного Совета. И он посоветовал практическое — собрать собор старых и малых. Созвали собор старых и малых, а с ним и расширенный Правительственный Совет. Один отрок сказал: «Нам наши предки и помогают, и, конечно, ещё помогут. Но вы-то сами не разворовывайте родину, не жадничайте, не живите в раздоре, а объединитесь. Живите без зависти, по совести и чести». Подростку бурно хлопали. Через месяц о его юном искреннем слове забыли.

А писатель так и не завершил свою рукопись — историю родной страны.

Цензура

О цензуре семидесятых годов прошлого века сделал запись: «Пусть государственные и военные тайны пребывают под бдительным оком цензуры. Но ведь каково рвание последней, подчас самодеятельное! Вычёркиваются строки о партийных и чиновных временщиках, о жестокостях революционных, о народоломающих издержках коллективизации, о голоде тридцатых во многих областях страны, о тяжёлом положении в послевоенной деревне, о гибели солдат в мирные дни». Как автор и как редактор не своих рукописей, пишущий эти строки сполна испытал литовской стражи, — благоглупостей, дури, неумоимости цензурных ножниц: словно недопущенная к печати, вневкижная бывшая или нынешняя реальность утрачивает своё историческое бытие; нет, она неизменно существует и больно отдаётся в сердцах не только переживших лихолетья, но и в наших сердцах.

Сказать и так: во все времена — свои табу. Даже в самые либеральные. И сколько их мы наблюдаем уже в нынешнем веке. Разве что компьютерные, интернетные, сетевые технологии не поддаются хотя бы мало-мальскому цензурированию. И через этот Интернет, через эти сайты, социальные сети и прочая сколько же грязи, зла, лжи изливается на страны, государства, народы и, конечно же, на достойных, порядочных людей, жизнь, творчество, образ действий которых ненавистны мелким, завистливым, лакейским, ничтожным искажителям образа Божьего и человеческого. И здесь невольно вспоминаешь ответственно-точные, как всегда, мысли Пушкина о том, что в благоустроенном государстве цензура необходима, поскольку она ограждает личную честь и честь отечества-государства.

Неблагозвучия

Не замечаемые в обыденной речи неблагозвучия режут слух в строке поэтической — случаются они даже у больших поэтов. Даже у Лермонтова — «Уж не жду от жизни ничего я...» (Эти стыки «Ж» отнюдь не аллитерационного свойства; то же самое у Есенина: «Уж не жалеют больше ни о ком»). Но здесь звуковое неблагозвучие сразу погашается красотой и глубиной чувства, трагизмом мысли, силой образа. А вот, например, звуковое обозначение России, во многих языках звучащее родственно (Россия, Руссия, Русия, Русланд или даже к латыни восходящая Рутения...) на английском звучит пренебрежительно-шипяще: «Раша». Словно и здесь — островитянка мутит, если заменить суровое суждение то ли Суворова, то ли более поздней знаменитости о совсем не джентльменском отношении Альбиона к России.

В переводе и без перевода

«На талии точёной двух Америк / Свирепые играют океаны»... Даже в переводе — как хорошо! Помнится — это Пабло Неруда. Или: «Я манговое дерево / В его неудержимом росте вверх»... Поэт явно африканский, имя затерялось в море иных имён, а строка вспоминается. Что же до русских строк — наплывают часто, понятно почему: родные они, и дышат они великими талантом и болью. И тут невольно думаешь: а сколько небесно высоких, океанически глубоких строк нам не дано услышать, — строк, не сказанными рано сгоревшими, рано ушедшими, рано погибшими поэтами разных эпох и народов.

Оригинальные люди

Кто-то приметил: «В России оригинальные люди от женщин не рождаются, — их выращивают литераторы». Примечание и достаточно язвительно-остроумное, и пустое, а главное, — неверное. Да, велики и оригинальны образы русской литературы — от гоголевской Руси-тройки до братьев Карамазовых Достоевского. Хвала и слава отечественной словесности — в её лонах действительно рождаются «оригинальные люди» — образы, известные всему миру: Онегин, Рудин, Обломов, Раскольников, Платон Каратаев, Самгин, Мелехов...

Но ведь и создатели этих образов — их не назовёшь неоригинальными. А множество известных «оригинальных» в сфере внелитературной?! А тысячи и тысячи неизвестных?!

День добра и век пошлости

Он шёл и видел, как, словно в калейдоскопе, сменялись день шахтёра, день писателя, день милиции, день строителя, день учителя — почему только день?

А не реальность ли день пошлости? День, переходящий в века? Столичные вывески: Академия ботинок. Академия

маникюра. Академия ногтей. Академия фаллоса. Академия надгробий. Иными словами — тотальная академия: как дурачить... Он чувствовал, что день добра не состоялся, зато ширится век пошлости и низости, где погребальные цветы выдаются за свадебные, а яркоцветные маски прячут самое лютое безобразие... А сколько бумаги потрачено на рекламу всего этого непотребства! Один автор даже накатал книжку «День резинок для женских трусиков»...

Региональные энциклопедии

Заменяв лишь одно слово в известном определении и не изменив тем его сути, можно повторить: «Всякая энциклопедия содержит всё, за исключением того, чего в ней нет». Особенно это касается региональных энциклопедий. Берёшь по надобности в руки в надежде найти искомое (имя, событие) и не находишь его. Здесь и естественная невозможность объять необъятное, и что печальнее, пристрастность автора или авторской группы. В подтверждение чему обнаруживаешь вдруг имена, ничтожно значащие, но по идеологическим позициям любезные соорудителям энциклопедий. Чаще всего засеянные поля энциклопедий — это лаборатории полуучёных копачкопачёвых, малодостаточных, чтоб не сказать резче, в научной объективности. И тем не менее — большой труд, усидчивость «безвдохновенных литературных сидельцев», как однажды тебе пришлось выразиться в диалоге с последними, корпоративная сплочённость и пробивной характер-успех. В итоге — многим помогающее обширное информационное издание.

Неологизмы

В молодости являлись слова-неологизмы — ненадуманые, произвольные, меня не спрашиваясь. Ещё с юности — локосы, то есть локоны и косы; и не спортсмен, а спортивник; и не бизнесмен, а делоделатель; и не спекулянт, а грошеухватчик; и не славянофил, а славянец (не смущаясь фонетически близким «словенец»).

В замену тяжеловатому слову «единомышленник» годилось, на мой взгляд, «единовзглядник» — более короткое слогами, правда, по-сербски набегают друг на друга согласные; всемирно навязчивой «партии» — звучащая по-старорусски «соборница» или даже «собранныца».

Неологизмы тогда шли, не спрашиваясь смысла, легко и весело, сами по себе... Зато в перестроечный иноязычный наплыв они, как и общепринятый, традиционный словарь, — уже более серьёзный протест против лексики-иностранщины. Целая гроздь русских синонимов: единственный, исключительный, необщий, особый, первосказанный, предпочтительный, сиюминутный и т. д... Но нагло и повсеместно вбивается трудновыговариваемое: эксклюзив.

Российская Академия наук или одинокий человек, богатый патриотическими чувствами и... деньгами, быть может, когда-нибудь издадут Словарь неологизмов? Новых слов, корневыми истоками, фонетически, интонационно органичных в движении языка? Большие отечественные фамилии, украсившие родной язык, сошлись бы в таковом словаре: Ломоносов, Карамзин, Пушкин, Даль, Лесков, Мельников (Печерский), Шолохов, Леонов, Солженицын, Распутин...

Корневые и залётные слова

Для мирового общения, может, и удобен был бы изначально единый язык, но сколько бы потеряла мировая культура, не будь многообразия и разнообразия их, подобным многоветию на широких полях бытия. Языки от века лексически перетекают друг в друга, дополняют, взаимно обогащают; органичнее всего — в неревOLUTIONные, неагрессивные эпохи.

Но... шопинг, ваучер, менеджмент, имиджмейкер, шоу... слова шипят, мяукают, сталкиваются звуками в неблагозвучии и трудновыговариваемости.

Откроешь далевский словарь русского языка — слова действительно живые, они — как начала песни, как звуки колокольчика и громы колокола, они пахнут лугами, реками, облаками.

Но всемирное человеческое общезитие принимает иные слова, всюду победно шествует язык-интервент; и вспоминается Наполеон, его высказывание о языке, на котором сподручно разговаривать с лошадьми; ныне — даже и не с ними, а с роботами, киборгам, умнейшими машинами.

Метафизический поиск

Перебирая горы книг и журналов домашней библиотеки (в поиске отнюдь не метафизическом, а вполне реальном: где-то таилась срочно потребовавшаяся книга Роже Гароди), наткнулся я на журнал «Новое книжное обозрение». Вспомнил, что в середине девяностых даже представлял от Воронежа в этом международном журнале — был собственным корреспондентом, хотя уже и не мог вспомнить, какие именно строки туда поставил. Стал перелистывать и сразу обратил внимание на беседу обозревателя журнала с Морисом Дрюоном, знаменитым своими историческими романами «Проклятые короли», бывшим министром культуры Франции, бессмертным членом Французской академии, корнями — русского. О его «русскости» естественный вопрос и соответственный ответ: «Да, это так. Но я дорожу прежде всего духовным родством с Россией. И ему я обязан прежде всего Льву Толстому... Я восхищаюсь его романом „Война и мир“... И когда я гулял по Москве, я видел, как люди проходят перед каким-либо домом, описанным в „Войне и мире“, я осознанно помнил: да,

Россия — это моя Родина. Но кроме этого, для меня существует ещё много важного — целая классическая литература. Должен сказать, что во время общения с русскими людьми в путешествиях по России я обнаруживаю одну и ту же тенденцию, одну и ту же характерную черту, подобную той, которая была ещё в Санкт-Петербурге во время Пушкина и Лермонтова: это какой-то постоянный, я бы сказал, метафизический поиск, свойственный именно русскому человеку».

Поиск верного слова? Поиск верного друга? Поиск родного пространства? «В поисках утерянного времени»? Поиск смысла жизни? Поиск правды и справедливости? Поиск Горнего?

Информация как среда лжи

В центре Москвы, в огромной квартире писателя-классика Леонида Максимовича Леонова зашёл у нас разговор о свободе и в частности о свободе информации, её разных формах и проявлениях. «Телевизор, — заметил классик, — опасная демократизация средств информации». Помолчал — и далее: «Да всякая информация, даже будь она перед глазами, как твои пальцы, может быть неточной, причёрнённой или прибелённой, прикрашенной, — всё зависит от значимости информации и значимости её передатчика в образе человеческом. Вот мемуары. Тоже информация, жанр, строго говоря, не могущий быть ясным. Я, скажем, знал Станиславского. Вспоминаю его. Станиславский, пишу, однажды сказал: „Есть Леонов, а вторым планом Шекспир“. Поди проверь, как именно сказал Станиславский».

Что эти наивные информационные жанры перед компьютерными технологиями, социальными сетями, где любая дичь, ложь, пошлость забирает в свои жернова миллионы так называемых пользователей. Здесь человека в его высоком значении нет! Есть пользователь, «глотатель пустот», раб всемирного блогера, жалкая поросль электората.

Последний разговор с Гончаровым

Познакомился я с Юрием Даниловичем Гончаровым в пору моей поздней «коммунаровской» молодости, когда принёс ему в журнал «Подъём», где он заведовал тогда отделом прозы, свой очерк-эссе «В том плодородном подстепье» — путешествие по бунинскому подстепью.

Очерк ему понравился, именитый писатель сам позвонил мне, начинающему, текст долго хвалил и вскоре напечатал. У нас установились добрые отношения. На его «Москвиче» мы дважды ездили по бунинским местам, часто встречались в Воронеже, я бывал у него дома, и мы вели долгие разговоры о литературе не только классической, но и местной. Случалось всякое, временно уводящее в недоразумения, но уважение оставалось взаимным и ненарушаемым.

Через полвека после нашей первой встречи он позвонил мне и после двух-трёх общих фраз, обычным неторопливо-раздельным голосом вдруг сказал: «Сердце болит за Россию. Знаю, и у вас болит: вы корневой, честный и глубокий писатель. Хочу вас попросить. Не оставляйте пера — пишите! Пишите: вы из последних — из настоящих. Это бы вам сказали и Бунин, и Чехов...» Я отшутился: «Они уже не скажут. Но мне достаточно и Юрия Даниловича Гончарова, его напутственного слова. Только если б вам оставить сказанное в записи, а так мои доброты-недруги едва ли поверят». Писатель ответил с какой-то захватывающей грустью: «Уходит моё последнее время. И ноги не идут, и руки дрожат. А вы — моложе, вы — пишите!»

Редактор против писателя?

Юрий Данилович Гончаров был неуступчив в работе с редакторами, отстаивал каждую, на редакторский глаз, сомнительную фразу, походил в этом на Шопенгауэра, требовавшего от издательств: «Урежьте мои луидоры, но не урежьте моих запятых». Были даже очевидные спорные строки, но... А вот Николай Алексеевич Задонский и Владимир Яковлевич Евтушенко легко шли на сокращения — могли поступаться абзацами и даже страницами. С кем проще было работать редактору?

Слова и хлебá

Жизнь посвятив литературному слову (создание-издание российски принятой книжной серии «Отчий край», многообразное увековечение и в родной стороне, и в стране фамилий Снесарева, Бунина, Платонова, Кораблинова, Прасолова, Жигулина, Пескова, три десятка собственных книг и собрание сочинений), понимая, что дело моей жизни согласуется с тезисом славянского философа Григория Сковороды о «сродстве» жизненного дела задаткам своим, я между тем нет-нет да и возвращаюсь к прежде часто томившему меня душевному настроению-чувствованию (возможность или предписанность разнороджий?) и мысли об органически-верном или ложном жизненном пути.

...Когда-то я вспахивал родные поля, когда-то убирал на нивах созревшие хлеба.

Редколлегия «Отчего края»

Пока ещё есть библиотеки — государственные и частные. Ещё хранятся в них и книги воронежского «Отчего края» — многотомной книжной серии, особенно: Боратынский, Фет, Лесков, Бунин, Замятин, Платонов. Пока ещё их читают.

Недавно мне ярко, как если бы вчера, вспомнилось одно из заседаний редколлегии «Отчего края». Присутствовали литераторы, объединяющее слово для которых незаурядные: Владимир Александрович Кораблинов, Анатолий Михайлович

Абрамов, Юрий Данилович Гончаров, Гавриил Николаевич Троепольский, Александра Фёдоровна Жигульская, Владимир Григорьевич Гордейчев, гости из Курска, Белгорода, Липецка, Тамбова. Каждого из присутствовавших я хорошо знал. Деловые вопросы порешались быстро, далее разговор о значении «Отчего края» в культурной жизни незаметно перекинулся на персоналии, дескать, кто значительнее: Боратынский или Фет? Бунин или Пришвин? Замятин или Платонов? Эдакое неожиданное занятие: обычно студентами определяемая, табель о рангах, восходящий по значимости список больших имён. Я перевёл разговор на другое: есть писатели так называемого второго-третьего ряда (Левитов Эртель, Недетовский) и хорошо, что им нашлось место в «Отчем крае». Все согласились. «А вот памятника никому из них и поныне нет», — заметил Гончаров. «Будут. Будут также и сидящим здесь», — как бы возразил Абрамов. Взоры некоторых присутствующих обратились на Кораблинова и Троепольского. Владимир Александрович, словно бы остужая добрые или не совсем добрые надежды на «бронзовое увековечение», глуховатым голосом произнёс: «Я за свою жизнь несколько раз видел, как памятники сбрасывали с пьедестала, а гипсовые бюсты крошили на черепки». Что-то, видно, хотел сказать Троепольский, но промолчал.

Что останется от их книг? Найдётся ли на них свой «Отчий край»? Через столетие, даже намного раньше завершится жизнь каждого из присутствовавших на встрече — неповторимой и подобной миллионам подобных. Что останется от их эпохи, от их надежд, тревог, заблуждений, потребуются ли будущему хотя бы в малом числе их строки? Наши строки? Строки нашего времени?!

Усадьба Веневитиновых, люди и книги

Давно перед разными аудиториями и в местной периодике говорил я о веневитиновском доме в селе Новоживотинное как о музее не только возможном, но и необходимом. Тогда в главном усадебном здании размещалась сельская школа, и шумный ученический гомон, далёкий от музейной степенности, отгонял мысль, что когда-то здесь будет музей. Теперь усадьба Веневитиновых — загородный филиал Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина.

Возглавив областной литературный музей, среди других начинаний (благоустройство парка, расчистка и озеленение усадебного партера, творческие встречи с жителями села и т. д.) я предложил сотрудникам веневитиновской усадьбы организовать постоянно действующую выставку-библиотечку «Военная страда». Новоживотинное в лето сорок второго — село на фронтовой линии, и для его старожиллов такая доступная музейная библиотечка, был уверен, не могла оказаться никчёмной, зряшной. И действительно, у неё образовался свой преданный

читатель. Музейному филиалу передал несколько сот военных изданий, а также книги, собранные отцом, который прошёл с боями долгие вёрсты и годы и понимал толк в книгах о войне, недаром ещё с фронтовой поры среди любимых его чтений были «Василий Тёркин» Александра Твардовского и «Одухотворённые люди» Андрея Платонова.

А впереди — то, что давно заботит меня, — «Воронежская литературная осень»: расширенные во времени и в именах Кольцовско-Никитинские дни литературы в статусе общероссийского праздника, Бунинский литературно-этнографический заповедник на территории Чернозёмного края, памятники Болховитинову, Афанасьеву, Снесареву, «Бунинская энциклопедия», «Веневитиновский энциклопедический словарь», «Платоновский энциклопедический словарь», «Славянский Дом», «Матица» — музей-библиотека книг, вышедших в Черноземье, а также где бы ни созданных полотен, симфоний, книг о выдающихся людях, событиях и памятниках Чернозёмного края.

Улицы, библиотеки имени...

В Воронеже давно уже — более тысячи улиц, и вот названия многих из них — наследие действительно уродливое. В послереволюционные времена на город, как и на всю страну, обрушилась эпидемия переименований. Со старинных улиц, площадей, парков как бы с кровью сдирали их исторические имена. А чуждоназванные — революционные, вожденосные, цифровые — звучали как кричащие свидетели смуты и подмен, атакуемого былого, убиваемой памяти. Не улица Девицкая, а Девятое января, не Большая Дворянская, а проспект Революции, Мясницкая обернулась улицей Володарского, Кадетский плац стал площадью Третьего Интернационала. Вместо начальных названий — случайные выскочки, вместо корневых фамилий — псевдонимы. И поныне мы ходим-спешим по улицам, названным или переназванным фамилиями, а то и псевдонимами обласканных большевистской властью террористов Желябова, Халтурина, Софьи Перовской, Каляева, «кристальных и пламенных»: Свердлова, Розалии Землячки, Урицкого... В конце восьмидесятых — начале девяностых говорил об этом в разных аудиториях, даже подготовил статью «Залётные названия улиц».

Писательскими фамилиями — Бунина, Кораблинова, Стукалина, Кубанёва, Прасолова... — многие библиотеки в Воронеже названы по моим ходатайствам, да и многие мемориальные доски также — бунинская, суворинская, кораблиновская, кубанёвская, прасоловская; на очереди давно принятая на комиссии по историко-культурному наследию веневитиновская и не только... Доски разного достоинства, но в любом

случае не бесполезные: незнающий или малознающий прохожий, скорей всего, остановится, прочтает, быть может, захочет узнать побольше про означенное имя.

А памятники? Близ давно изваянного в скорбной позе сидящего Никитина, в зелёном уголке на бывшей Садовой открыт памятник Высоцкому — сильному, мужественному нашему современнику, голос которого на разрыв звучал по стране. Ни Высоцкий, ни Есенин не бывали в Воронеже, но установленные им памятники, естественно, радуют. Иные чувство и мысль — есть ли нравственная неуязвимость в увековечении славного имени только частным, а не общественным, не государственным образом? То есть через пристрастия меценатов-толстосумов, разбогатевших известно как в мутном потоке перестройки. Хорошо, что Есенин и Высоцкий. А то в обход городской комиссии по историко-культурному наследию, против воли жителей, тогдашней городской властью была вбита глыбистая мемориальная доска депутат-даме из Государственной Думы, на сутки заглянувшей в Воронеж по своим партийно-политическим, финансово-экономическим надобностям.

А нет в городе памятников уроженцам воронежской земли, её истинно великим сыновьям — Болховитинову, Афанасьеву, Снесареву.

Давно думаю о чести и культуре нашей памяти, о вещественном увековечении — подчас условном, приблизительном, стороннем. Разве не подумаешь и об этом: как бы Высоцкий воспринял всё происходившее в горбачёвское и особенно ельцинское «временчко» с красноречивым о хорошем и частой реальностью дурного?.. «Я не люблю холодного цинизма...»; «Я не люблю уверенности сытой...»; «Я ненавижу сплетни в виде версий...»; «Я не люблю, когда стреляют в спину...».

Предательски — в спину выстрелили и твоей стране. Так бывало со многими и не раз. Но от того, что «со многими и не раз», никак не легче.

Свет излучавшие

Среди самого памятного в жизни — встречи, беседы, душевная близость с Валерией Дмитриевной Пришвиной, Марией Александровной Платоновой, Евгенией Андреевной Снесаревой... Нет, они не отсвечивали светом, отражённым от их великих родных, — они сами излучали свет. Столько душевного богатства, тонкости чувствований и пониманий, пронизательности, столько благородства, ума, добрых начал — сострадать и прощать! Нет, всё-таки есть милости судьбы!

Диалоги с Солженицыным

Диалоги с Александром Исаевичем Солженицыным — не только на старинных воронежских холмах, но именно там органичным был разговор исторический: о Воронеже —

порубежной крепости, о воронежских предках писателя, о пылающем городе в дни великой войны. Согласно ложился и разговор о тупиках мирового прогресса, о нарастающем угасании западной цивилизации.

Но зачем он дал предисловие к «Стремени „Тихого Дона“»? Зачем присоединился к хору мелких голосов и мелких перьев, оспаривающих авторство «Тихого Дона»? Зачем — на злобу ли дня — написал те слабые строки?

Имя и родина

В раннем детском времени обычно знаешь разве что соседствующие имена родных и близких. А великих и славных (чаще далёких во времени и пространстве) узнаёшь позже. Так что об одном из них, ставшем позже для меня дорогим, я тогда и слыхом не слыхивал: Андрей Платонович Климентов (Платонов); правда, отец, участник многомесячной обороны Севастополя, вскоре после войны прочитает мне платоновский рассказ «Одухотворённые люди» — именно о той обороне: от него я и узнаю, что писатель — мой земляк, что наши малые родины — в одной области, что воды его Воронежа впадают в мой Дон и далее текут неразделимо-родственно.

Дымилась послевоенная засуха, сорок шестой год истлевал — словно после недавних фронтовых пожаров. Ребёнком я впервые очутился на прибрежных меловых кручах. Былинно натягиваясь в синей луке, внизу величаво шёл Дон, и родина обнимала сердце — как высокая тайна; но и — как суровая явь: испятнанная окопами и землянками, изрезанная траншеями, тяжёлыми следами вражьего нашествия; на оставленных в спешке снарядах и минах мои младосверстники долго ещё будут раниться, а то и погибать. Широко расстилались поля — изнурённые, выжженные сушью бесхлебные нивы.

Я уже знал, что существует великий город — сказочная, всемирно и постоянно произносимая столица, что главные слова говорит она! Но в тот ранний час детства откуда было знать, что слова, как и люди, соседствуя, могут и тянуться, и отталкиваться друг от друга — любить и ненавидеть? Андрей Платонов жил в Москве и именно за написанные им и опубликованные в тот год слова на него обрушатся побивающие слова-каменя. За рассказ о возвращении с войны, в котором он честно молвил правду о драме победившего воина и народа, правду о моём славянском селе, не только победителе, но и побеждённом — физическим разореньем, душевным охолоданием, страшными, чуть не на каждый двор потерями мужчин-кормильцев; правду о моём сельчанине-фронтовике; правду о нас, детях и взрослых.

Ребёнку мог выпасть случай встретиться с ним — живым, но выпало иначе: много лет спустя после его смерти, в скорбно-светлых чувствах стоять у его могилы, склоняясь над которой,

его вдова, муза его, Мария Александровна разговаривала с ним как с живым, и словно был слышен единственно-неповторимый разговор двоих.

Но, ушедший, он уже разговаривал не только с родными. Но и с Отечеством. И со всем миром. Разговаривал словами, боль, сила, красота которых в немалом объёме заключались в неизданных рукописях, — они ещё ждали своего часа на родине.

О Родине своей, вобравшей трагическое многообразие прошлого, настоящего и будущего, он сказал так, как до него мало кто говорил; разумеется, о родине как части человечества, земли и вселенной. Ведь он много размышлял о бесконечности земных и небесных дорог, души и мира. А ещё — о сиротстве души и мира, тоже, казалось бы, бесконечном, тягостно-угрюмом, не будь любви и милосердия. Но любовь и милосердие, даже гонимые, даже в лиховеменья не покидают живущих, и он верил, что ими человечество сможет сохранить человеческий лик.

Двое из двадцатого века

Андрей Платонов и Михаил Шолохов. Несмотря на художественную, стилистическую разность (эпическая реальность Шолохова и часто фантазмагорическая реальность Платонова), оба в слове отобразили трагедийный путь России на её жесточайших революционных изломах. Мировые либеральные заумники уже кои лета тщатся развести их по разным берегам великой реки, по враждебным сторонам; автор «Тихого Дона» им неудобен, даже ненавистен своей величиною, народностью, мужественной правдой. Им, во тепле живущим, помнить хотя бы, что платоновского сына Платона из ледяного лагеря вызволил именно Шолохов, а не их идейные деды-соавители, и что именно он отправлял вождю опасные письма о необузданных перегибах в крестьянском новоустроении. Но, как и во все века, мелкие мелкословят о крупном.

А столь разные «Тихий Дон» и «Чевенгур» — из вершин отечественной литературы.

Кто мы?

Кто мы, не пошедшие в услужение тёмной силе мировых финансовых, информационных, политических верхушек — «Отверженные»? «Униженные и оскорблённые»? «Унесённые ветром»? «Рождённые бурей»? «Живые и мёртвые»? «Непокорённые»? «Вечно живые»?!

Мы — рекрутированные, реквизируемые, репрессированные; мы — заарканенные, израненные, излаемые; мы раздваиваемые, попираемые, убиваемые; мы — чувствующие, понимающие, верящие... Кто мы?

Улыбка человечества

Большая и малопрочитанная моя библиотека однажды смогла на стогнах родного града явить лучшее в... человечестве. Да, это был сон, добрый, странный сон! Книги русской и мировой классики тихо растворили стёкла библиотеки и устремились в раскрытое окно, там неожиданно превращаясь... в людей в красных одеждах.

Я ринулся вниз. На книгах, то есть на людях в красном, цвели улыбки. В тысячах книг живописуются улыбки героев художественных произведений. Я их, естественно, не вычленил из общего текста. И вот эти улыбки — добра, благодарности, доброжелательства, приязни, умиления, юмора, грусти, согласия, надежды, сочувствия, всепрощения. Разные улыбки — детские: солнечные, смеющиеся, ангелоподобные; женские — кроткие, дерзкие, томящие, скромные, лукавинки; стариковские — усталые, мудрые... И только — не язвительные, не саркастические, не брезгливые, не злобные, не издевательские, не наглые, не ядовитые, не сардонические, не подобоострастные...

Миллиарды живущих в улыбке. Улыбки переходят с лица на лицо... И мировой репродуктор: «Все книги об утопиях человечества — вздор. Вам дано жить так, чтобы улыбаться. А сколько вы проживёте в улыбке — зависит от вас».

Сожаление и благодарение

Предопределённости жизни: какие бы явления (событие, имя, предмет, книга) не обозначались как важные в жизни человека или всего человечества, они не могут быть до конца поняты и оценены даже во внешних знаках оценки и признания. Тем более, когда они — ушедшие. И разумеется, ты вправе не испытывать ответственности перед давно былым. Но почему же испытываешь? Твоё сожаление, твоё чувство виноватости, — если речь, разумеется, не о былых бедах, национальных и мировых, — со стороны покажется праздным, неболевым, пустячным. И впрямь: испытывать сожаление, горечь-досаду за подчас малоразумные поступки ушедших известных людей или даже за не прочитанные тобой страницы известных авторов? А сколько их, безвестных, чьи дела, мысли и образы растворились во вселенной? Разумеется, ты благодарен им, столь расширившим земные поля красоты, мысли, катарсиса; благодарен всем — известным и вовсе тебе не известным, а может, и никому не известным.

1965—2020

НЕБЕСА. ХОЛМЫ. РОДНИКИ

Студенческая тетрадь

Всё, что память сберечь мне старается,
Пропадает в безумных годах...

Александр Блок

Испытание воспоминаниями

И был дан тебе срок земной. И как ты им распорядился?

Давно друзья-единомышленники советовали мне заняться страницами воспоминаний: мол, многое повидал, со многими встречался, многое пережил. Возражать приходилось обычно без психологических углублений, чаще всего так: имярек политический деятель или стихотворец-эстрадник, певец-эстрадник, похватливый журналист-зарубежник побывали в сотне стран, перевидали сотни красот, событий, знаменитостей, шумно порассказали о том, но от поверхностных впечатлений и воспоминаний никому не становится ни панорамней, ни душевней.

И даже если бы я воспринимал воспоминание как прообраз безусловно необходимой и правдивой книги, как некий главный экзамен на избытке жизни, то одновременно записанному и частично сохранённому трудно соответствовать таким требованиям, а незаписанное — иное забылось, иное — как в тумане...

Остронацеленно, подобно кольям на засечной черте, во мне рано проросли возражения против публичных, обнажающе полных воспоминаний: не гламурная зала, но ухабистая дорога — жизнь, в ней события, встречи, человеческие отношения идут в чередовании светлого и тёмного; «воспоминательная» книга, повинувшись закону правды, должна отобразить и неприятное — и пусть бы только для тебя; но неприятное и для иных живущих или даже ушедших; «выявительные» страницы-высветки весьма нежеланны для иных эгоистически-комфортно живущих и, что не проще, и для памяти иных эгоистически, комфортно живших — ушедших. Невольно является целый сонм чувств, побуждающих на умолчания, запреты, следование нормам и преданиям самым разнообразным. Люди живут в атмосфере как разумных, так

и сомнительных табу, устоявшихся обыкновений, привычных согласий: общественное мнение не ошибается; традиция ставит палки в колёса истории; о мёртвых плохо не говорят и т. д. Разве что как возражение является другое: гуманизм или истина? Снисходительное умягчение былого и нынешнего или жёсткая правда?

Есть и христианские завет и опыт: изобличай явление, но не его соучастника. Отцы Церкви издревле согласно проповедуют, что против отдельного человека, носителя злых начал, способных вводить в заблуждение и соблазны, не следует обнажать меч, а бороться надо непосредственно с самим злом, его явлениями и проявлениями. Всё бы так, — говорят, может, не до конца воцерковлённые люди, — да злой, дурной человек что грязный ручеёк, а сотни, тысячи их образуют бурное течение.

Но насколько вообще в воспоминаниях удаётся если не полностью быть истинным, то хотя бы держаться близ истины; даже если ты в течении-повторении природном и не тот французский (да и только ли он?!) министр иностранных дел, который неизменно изловчался обманывать, врать, искажать действительное и который ни строки не написал без изворота и лжи.

Однажды мне попала на глаза книжка эссе-воспоминаний одного нетихого стихотворца. Так у него что ни абзац — громкое имя, встреча с известным человеком. И конечно, самое забавное, всякое имя благодарно автору за встречу, за разговор, за пирушку и т. п. Получается по известной литературной присказке — не «Пушкин и я» и даже не «я и Пушкин», а я, вырастающий в Я, эдакий тетеревино токующий нарцисс. Видно, и впрямь искушение немалое: приподнять себя до уровня значительного, превышающего обычный уровень живущих.

Воспоминания — не буквальная, разумеется, запись жизни. Да и буквенно записанный дневник не даёт доподлинности каждой строки в силу субъективности, пристрастности пишущего или неспособности его к панорамному видению.

Ко мне воспоминания пришли рано, едва начал осознавать, что я есть в мире; в мире, который заглядно многолик: прекрасен и безобразен, жесток и милосерден, светел и мрачен, безбожен и осенён Божественной благодатью. За десятилетие до моего рождения русским писателем Иваном Буниным завершена «Жизнь Арсеньева» — одна из лучших воспоминательных книг в мировой литературе, которую прочитаю не скоро, — в молодости. А мои начальные видения — потолок с рёбрами потолочин в хатке-крохотке, глиняный пол, часто покрытый зеленью-полянью, оконце с выгладом на улицу с такими же бедными послевоенными хатками, как и у моей семьи, но подобные воспоминания есть у каждого — сходные в главном, различные разве в штрихах.

Детство — целый мир. Юность — целый мир. Когда изошли они, я взялся за лирическую запись недавнего прошедшего. Эта запись-повесть (студенческая тетрадь) не могла быть насквозь лирически-осветлённой, поскольку в прожитом было всякое, случались поступки малоразумные, подчас стыдные: поступки-проступки. Строки о детстве и юности первоначально даже и озаглавил соответственно — «Суд идёт»; я их начал и завершил в студенчестве, на перетоке годов пятидесятих-шестидесятых прошлого века; реальные события, вехи, штрихи, увиденные собственными детскими, юношескими глазами или рассказанные родными, отягчались побочными «художествами», красотами, поверхностными оценками, а пропускалось вольно или невольно что-то важное, что понимаешь только на избытке жизни.

После студенческих лет записи хотя и долго продолжались, но не столь обстоятельно, от случая к случаю; и не только в блокнотах и тетрадках, а и на отдельных листках, клочках бумаги, — так наспех, обрывочно и сокращённо, что уже год-второй спустя мне самому трудно было в них разобраться.

В нынешнем двадцать первом веке, собрав уцелевшие записи, разная тональность и разные жанровые, содержательные, стилистические начала которых объяснимы соответственным эмоционально-душевым настроением, внутренним состоянием и восприятием разновременного текущего, я за редкими и малыми вкраплениями, изменениями-уточнениями не стал записи «совершенствовать», разве что собранное разбил на подглавки, добавил пояснения и размышления о давнем и недавнем (добавленное, чтобы был виден разновременный текст, даётся *курсивно*); таким образом, появилась некоторая хронологическая лента прожитого, в большей полноте событийно-содержательного, психологического, общественного... Однако многое, нередко существенное, осталось за бортами этой лодки воспоминаний, лишь частично отображённое в моих книгах, на жанрово иных страницах — от рассказов-притч, исторических повествований, лирических и публицистических эссе до стихотворных строк.

Воспоминания, по Достоевскому, равносильны страданию. Есть даже старинные молитвы о спасении от них. Воспоминания неотделимы от чувства Родины, народа, потрясений всемирных. Нередко увиденное мною вызывало чувства неожиданные: где-то и когда-то я всё это уже видел, переживал, пережил.

Радостно вспоминать? Горестно вспоминать? Больно вспоминать?

Грустно, — как сказал мой старший сын в своём последнем предсмертном стихотворении.

Река детства и юности 1940—1958

Славянское село и японская Хиросима

Август 1945 года. Над Хиросимой, над Японией, над земным шаром вырастает, клубится колоссальный ослепительный гриб... От взрыва первой в истории человечества атомной бомбы мгновенно погибают десятки тысяч человек. Море огня не мог наблюдать американский пилот Изерли, разведывательно пролетевший над Хиросимой двумя часами раньше. Но через годы он, всего лишь косвенный участник, терзаясь совестью, медленно сходя с ума, снова и снова будет видеть, как поднимается над Хиросимой ослепительный ядерный гриб.

Мне тогда было пять лет, я ничего не знал ни о Японии, ни о других больших странах, кроме Германии и Италии, ни о том, зачем они воюют против нас. Воюют страны друг против друга, люди друг против друга, а я выдался из тех, что рано начал воевать и с самим собою, со своими нелучшими началами, иногда побарывая их, чаще ими увлекаемый.

Через недолгие годы, при первом испытании водородной бомбы, я уже знал многое — тихоокеанские и атлантические острова, знаменитые реки и горы; знал, что Америка обложила нас военными базами, но «прогрессивное человечество» видит в нас свою надежду. Так писали газеты и учебники, у нас был всевеликий всеотец, он рулил (он ли?) и думал за всех нас; всё у нас было хорошо, но крестьянская часть России (и мой Дон — донской **Нижний Карабут**) перемогалась лебедой, соей, тяжёлыми желудёвыми хлебами, лепёшками из картофельных очисток, просяной шелухи, листьев вяза и на трудодень получила бумажные отметы-палочки... — *этими строками открывалась моя студенческая записная тетрадь и далее продолжалась до последнего моего месяца в стенах alma mater.*

На переднем крае войны

Нижний Карабут — это далеко от Германии, Италии, и многократно дальше от Японии. Это Средняя Россия, донское воронежское село.

Июль сорок второго года. Жарко, пыльно. Нашествие иноземцев, тарактеные мотоциклов, чужая речь. То ли на краешке младенческой памяти, то ли из дедушкиного рассказа: уже на третий день мы лишились коровы, нашей главной кормилицы; дедушка увидел, как Бурёнку итальянцы, ещё редкие в селе, левадами увели в неизвестном направлении, и поспешил к немецкому коменданту, жалостно объяснив ему, что без молока младенцу, то есть мне, не выжить. К вечеру, как велел немец, мы пришли в комендатуру, где во дворе просторного подворья наша Бурёнка мирно пощипывала травку. Дедушка долго благодарил коменданта, а тот, высокий, сильный и совсем

обычный человек, только в непривычной для повидавших стариковских глаз форме, чему-то улыбался и вдруг неожиданно на сносном русском сказал: «Преступление и наказание». Дедушка и много позже, не зная книжного первоисточника, нередко повторял эти слова.

*(Белая-белая **Россошь**... цветное восприятие из детства — светлое, поэтическое восприятие первого городка на жизненном пути; столь яркое и памятное, что много позже одну из своих книг я назвал «Белая моя Россошь», этим откровенно лирическим названием, разумеется, не исчерпывая объективной, многообразной полноты близкого к Дону райцентра.*

Но самая первая моя встреча с Россошью — младенчески беспамятная и жёсткая: месяцы в местном концлагере, правда, и не столь тяжёлом, как подворонезские, тем более — зарубежные. Сразу приходят на память Дахау, Майданек, Освенцим — о них и слышишь постоянно. А более давние — Талергоф, Терезин? Концлагеря Первой мировой войны, где австрийцами были изведены несосчитанные жизни русинов. А британские концлагеря, первые в мире, опробованные англичанами ещё во время англо-бурской войны?)

Солонцы — прелестный хуторок с редкими хатами жил посреди задумчивых полей в семи верстах от Нижнего Карабута. И там после концлагеря, в декабре сорок второго, у своей дочери, в тесноте, да не в обиде, поселились мои дедушка и бабушка, моя мама и я. На хуторе размещалась небольшая итальянская часть. Вели себя итальянцы спокойно, и всё бы ничего, да чем-то я, двухлетний смугленький младенец с огромными карими глазёнками, приглянулся младшему офицеру, и он с моими дедушкой и бабушкой затеял разговор, к которому стал возвращаться: дескать, увезёт русского малыша в Италию, к морю, там ему будет радостно расти, намного теплее, чем в холодной России. Дедушка сколотил ящик, утеплил его, закрепил на санках и велел маме: «Уезжай, дочь, к своим в Криничное, а то шутки с этим доброхотом плохи. Гляди, чего захотел: русского малыша итальянцем вырастить. Дурень думками богатеет: скоро наши начнут наступление, и ему самому не далее соседнего района ноги-руки укоротят!»

Глядя на ночь, мама тронулась в неблизкий путь. Было морозно, звёзды собрались миллионами и заглядывали в мою непривычную кроватку. Я, естественно, об этом не догадывался, но почти всю ночь не спал и несколько раз упрашивал: «Мама, я уже не хочу кататься. Хватит кататься!» Уснул я только при конце дороги, невдалеке от Криничного.

Криничное, краснокирпичное здание земством строенной школы, в котором расположился немецкий лазарет. Моя

болезнь — когда всё во мне выгорало, обезвоживалось, и я, палимый жаром, лежал уже без стога, с закрытыми глазами. Последняя надежда — вражеский лазарет в здании школы, где ещё не столь давно училась моя мать и учительствовал мой отец. Немецкий врач осмотрел меня, сделал укол, выдал матери порошок и сказал, что сын будет жить, а мать, верно, постарается вырастить из него доброго человека. Сказал — опять-таки на русском, пусть и ломаном.

А вскоре со стороны села Дерезоватое (Первомайское), с Осиянной горы скатились в Криничное прерывистые цепи советских солдат на лыжах, в белых маскхалатах, и были они — как белые ангелы возмездия; и не различали они, кто из оказавшихся здесь в тот час немцев и им союзных румын, итальянцев, финнов был лютее, а кто добрее, кто по принуждению, а кто по доброй воле добрался аж до придонских холмов и сёл. Все были нашественики, оккупанты, захватчики.

Но врач? Но врачи из вражеского стана, не стрелявшие в детей, стариков и женщин, а часто спасавшие их?!

А в Нижнем Карабуге, когда входили наши, один солдат, вскарабкавшись на верх дома, разжёл на крыше костёр-сигнал, и дедушкин дом, один из немногих уцелевших, один из лучших в селе, запольхал жадно, словно спеша встретиться с душами соседних хат, сожжённых ранее врагами. Кто же был этот советский, может, и русский-русский малый, не подумавший даже извиниться за уничтоженный кров, в сожжении которого не было никакой военной надобности.

Моим младенческим глазам родное село (нас с мамой через полмесяца из Криничного в Нижний счастливо привезли лошадкой, впряжённой в розвальни) предстало разрушенным, обгорелым, малолюдным, запомнилось больше женскими платками и юбками, нежели мужичьими пиджаками и шапками.

Весна. Вечер. Лежу на открытой веранде. Свисают акации. Они скоро зацветут, но они и так хороши. Мысли мои едва двигаются, может, словно акациевые тени, — не видимые, не слышимые... Идёт весна сорок пятого года. Я не знаю, что осталось семь дней до победы, — затихнут орудия и перестанут падать солдаты; ещё — семь бесконечно длинных дней до Победы! И погибают солдаты, ещё тысячами погибают они, но я не знаю этого и мечтаю о чём-то детском.

Вторая мировая, а для моей родины Великая Отечественная война, полгода нарезавшая окопы, полыхавшая в селе и его окрестностях (здесь, по донским берегам, пролегла линия фронта), три зимы как откатилась на запад, завершась тяжелой победой.

А окопы остались — словно вчера открытые. И мы, дети, продолжали воевать. Штурмами брали взятые нашими отцами вражеские траншеи. Часто с жертвами — целые арсеналы мин, снарядов, патронов остались брошенными, и едва ли какой поход моих сверстников обходился без того, чтобы у кого-нибудь не оторвало пальцы, кисть, часть рук, а то и вовсе одним ребёнком-человеком становилось меньше на земле.

И не тогда ли, томимый изглубинными токами совести, впервые спросил себя: почему именно тебе, а не твоему сверстнику-другу, раненному от нечаянно уцелевшей мины или погибшему при взрыве кинутого в костёр снаряда, дано идти по белосветной задумчивой, заманчивой дороге? Имеешь ли ты право жить, как живёшь, на тяжёлой от горя земле? Удивительно, что уже в детстве задумываешься над этим. Хотя, сказать и так: дети, узнавшие пал и грохот войны, не совсем дети, они рано взрослеют.

Грохот войны всё ещё звучит в моих ушах (и двадцать лет спустя). Иные эпизоды из того времени помнятся зыбко, но повторённо рассказанные родными, вживе стоят перед глазами. Как никогда не уйти из зримой памяти тому страшному, за крайними приоколичными хатами вдруг образованному островку погибших, которых женщины свезли с изрыбленного окопами и воронками поля, — «Погибшие неровными рядами / Лежали за околицей села, / За редкими от вырубков садами, / Уже вне силы Блага или Зла».

И на выжженном токе войны незабываемое — возвращение отца, неискалеченного и сильного, в офицерской форме, со многими орденами и медалями на груди, — и эта великая радость семьи; и моя, не осознающая всего трагического для села и для страны детская радость, необъяснимо для моих малых лет ставшая пригасать при виде дружков-сверстников, в бедные хатки которых (иные — в начале войны, иные — недавно), словно могильные кресты, вошли похоронки.

Дон и окрестности малой родины

Дон... Первое потрясение, когда с отцом вскоре после войны поднялся на придонские кручи и увидел не только Дон, Стародонье, Коловерть-лес, пойменные луга, пески, близкие загадочные сёла (противолежащие левобережные **Николаевка**, **Казинка**), задонские дали, но словно бы весь географический мир планеты благосклонно открылся мне. Потом на кручи всходил великое множество раз, и всякий раз — то было новое радостное открытие, узнавание, прозрение.

Поездки, а чаще хождения по родственникам в соседние хутора, деревни и сёла — их названия хочется повторять снова и снова, самим повторением названий будто возвращаясь туда: **Духовое**, **Семейки**, **Ясное**, **Солонцы**, **Топило**, **Крещатник**,

Кулаковка, Старая Калитва, Новая Калитва — эти хождения для меня были как откровение, сравнимое разве с чувствами моих предков-паломников, добредавших до Лавры на Днепре, а то и Святой земли. И что, спросить бы, могло взволновать детское сердце? Хутор Духовое, в глухом яру с боковиной, покрытым мелколесьем? (Казалось, оттуда не выбраться, но рядом протекали Дон и луг, по которому шла травяная дорога на Нижний Карабут.) Зелёный, в родниках и кустах красной смородины овраг на хуторе Солонцы? Подступавшее к его хатам поле с жёлто-золотистыми подсолнухами? У хутора Ясное ветхо-серая бревенчатая мельница, словно молчаливо укорявшая мимо проходящих за свою заброшенность.

Мы с отцом — на Нисолоновской круче. Перед нами Стародонье, а за островом мягкой тетивой, вдоль которого легла слобода Николаевка, загадочный Дон выворачивает к моему родному селу. И я вижу — реку, и Нижний Карабут, Николаевку, и тающие в сизом туманце необозримые поля, леса, холмы, сёла и слободы. Мирное, спокойное величие окрестного. Но оттого ли, что Нижний Карабут недавно сгорал на фронтовой черте, а Дон врагами не был здесь перейдён, а на прибрежных кручах германские, итальянские части окопались так, что окопам и траншеям и через полвека не засыпаться, и столько их открыто на донских берегах, сколько не открыто ни у одной реки за всю историю человечества, ушедшая война — ещё во мне. Необъяснимое состояние: мелькание откуда возникающих перед глазами картин, во мне оживают отцовские рассказы, мне видятся завоевательные походы европейского Запада, нашествия неудержимых орд Востока. И словно бы весь географический мир планеты вдруг открывается передо мною в былых, и будущих тревогах-ранах. Иначе отчего в детском сердце радость сменяется необъяснимой грустью и даже печалью?

Полдень после войны. Две эскадрильи высоко летят над моим родным селом. Наши летят, и у меня, семилетнего, холодок от гордости за военное могущество недавно победившей Родины. (Я ещё не знаю, через какие кровь, пот, лишения, великие тяготы, прежде всего крестьянства, добывалось это могущество, на конечном пределе — обманчивое.) А бабушка мелко крестится, прижимает меня к себе, словно пытаюсь вместе со мною спрятаться, на миг вжаться в землю. Или ей почудилось, что враждебные, завывающие стальные ястребы из дальних стран возвращаются?..

И село-то у нас небольшое, а двести сельчан с полей сражений не вернулись. На нашей улице пришедших с войны — всего двое. Сразу же по приходе назначен-выбран в председатели колхоза дядька Капитон. Недавний капитан-штабист, напыщенно-важный, как заморская птица, был он прямо-таки

увешан медалями. Но позже мы, ребятня, узнали от взрослых, что он не прошёл и тысячного отрезка того пехотного пути, какой преодолел сосед дядька Егорий, у которого была одна-единственная медаль «За отвагу».

Мне семь лет. Я бегу по лугу, полному трав и цветов. Молодые кони у кромки недалекого леса задумчиво глядят на мой бег. Птицы пролетают надо мною, а иногда они взмывают вверх, и тогда им оттуда, наверное, виден весь белый свет. Ещё не пала жара. Косари косят луг, среди них мой дедушка. Как ладно идут косари! Их всего семь, но они уже срезали-уложили приозёрную делянку луга. Рослые, сильные, идут так, будто стараются и за своих деревенских, на войне погибших.

В летние дни мы с дедушкой часто поднимаемся на придонские прибереговые кручи, а внизу мой любимый луг, и Дон, и заречные пески, лозы, близкие и далёкие сёла. Дедушка тихо умиляется: «Какой Божий мир!» А вслед за ним радостно вторю и я: «Как хорошо!»

Прошли десятилетия-века баснословные, а мне всё кажется, что я бегу по тому заветному лугу — незабытому лугу отчизны. Только всё медленнее, всё задышнее... и всё ещё восклицаю: «Как хорошо!»

Ушедшая война вдруг вернулась — в глухом овражке в первый сентябрьский день тысяча девятьсот сорок седьмого года раздался раскатистый взрыв.

Я и мой лучший друг, тремя года старше меня, возвращались из школы кружной заоколичной тропкой. У мостика через овраг он велел подождать: сказал, что нашёл в овраге и припрятал три обоймы патронов и противопехотную мину, что он сейчас вернётся. Прошло не знаю сколько времени, может, с четверть часа. Я уже собирался спуститься в овраг. Раздался обвально-раскатистый взрыв.

Оставшийся в живых, погиб и я, тогдашний. Погибли наши будущие совместные с ним дела, наши надежды, наивные детские планы на будущее: вырастить на земле вокруг нашего села такие сады, чтобы за яблоками приезжала вся Москва. Не стало моего друга, и для меня мир стал иным: что-то в нём надломилось, обеднело, сузилось.

С годами тяжёлый дым гибели ушёл, но хранимый памятью тяжёлый обвал взрыва нет-нет да и возвращает меня в тот день — для соседской семьи, для меня, для родины, а может, и для планеты трагический день.

В детстве, в далёкой, незапомненной книге потрясший меня рассказ о красноармейце, совсем молодом танкисте Юрии Смирнове, в бессознании пленённом, своих не выдавшем, распятом фашистами на стене блиндажа. О его страшном исходе

узнал прежде, чем узнал об Иисусе Христе распятом. Кто они были — распявшие? Фашисты-окультисты, язычники, антихристиане, недюди?

На дальнем поле, недалеко от хутора Ясного, на мягко очерченной бугровине с косогорными боковинами, однажды попали с мамой под дождь с такой грозой, какой я больше нигде и никогда не видел. Молнии били непрерывно, по косогору на колхозной бахче загорелся курень, мама растерялась и просила меня глядеть в небо и просить у Неба спасения, но я испуганно, неотрывно, доверчиво смотрел ей в глаза, желая весь погрузиться в них, будто только таким образом можно было спастись. Молнии били по всему бугру, как если бы прицельно били орудия по главному враждебному плацдарму. Иные змеились у наших ног.

Грозы в нашем селе и окрестье были частыми непрошенными гостями: Дон, высокие отроги приречной гряды, холмы в поле — молниепритягивающие, и многие побаивались гроз; иные из женщин и моих сверстников и сверстниц прятались в погребах, я тоже боялся грозы, но, чудом оставшись жив, несмотря на малый возраст, стал фаталистически воспринимать любые грозы и бури.

Страдал, когда мальчиком видел безобразие, жестокость окружающих и не мог помочь. Когда старший глумился над младшим. Когда однажды ватажка нас сидела в вечерний час у брошенных зимних саней, Пётр, по прозвищу Скаженный, принялся моститься на санях, все поняли: намеряюсь описать ухо соседского мальчика, прибывшего с Колымы, где отец его был надзирателем в лагере; и все с унижительным для себя любопытством наблюдали, что будет дальше. Скаженный вынул свой отросток, струя, как малый водопад, ударила прямо в ухо маленькому Толику, чей старший брат сидел тут же и не проронил ни слова. Почему? Семья только что вернулась из Магадана, но там отец их был конвойный, а не заключённый. Страх ли перед неуправляемой наглой силой Скаженного сковал его, или он повидал многое — и похлеще. Ночью я долго не мог уснуть.

Какие морозы били по селу! Какая жара учерняла село! Как Скаженный истязал пойманных кошек и птиц, терзал филинёнку, стегал вымученного пахотой савраску. Как пьяные гонялись за ёжиком, пока не раздавили его. Как рубили вербу на огороде. Я не всё живое любил, но полюбил коней, ёжиков, голубей, пчёл, муравьёв, божьих коровок, кроликов, оленей; меньше — собак и кошек, хотя и последние в детстве являлись полноправными, желанными, мною пестуемыми существами в доме и на подворье.

Моя боль и сочувствие к пленцу беззащитному, коню измученному, даже ветке сломанной передались младшему сыну и внукам.

Спуски на лыжах с круч. С высокой макушки холма мчусь в глубокий лог — называют его Провалье. И действительно, некий угрожающий провал. Приближается «стрыбалка» — естественный трамплин, весьма коварный. Падают взявшие первый разбег мои сверстники-соперники. Если удержусь, я сегодня победитель. Бабушка при мне наказывает матери: «Не отпускай ты его на лыжах в это Провалье, и в Медвежье, и на придонские кручи у Прорана. Расшибётся». Да и расшибусь, по ребячески-гордынно, мысленно отвечаю я. Но это ещё, понимаю, не скоро. И будут там другие трамплины и другие люди — отчего-то хотящие, чтобы я расшибся. Сегодня же я победитель. И, конечно, мне, маловозрастному, ещё не скоро придёт мысль, что любая победа — начало неизбежного поражения.

Лето после второго класса. Мой переплыв Стародонья и Дона. Незабываемый. И насколько продуманный старшими! Лодка подвигалась рядом со мною, а ближе к противоположному берегу приотсталала, будто давая понять, что сидящие на лодке верят в мои силы, мою храбрость, но один семнадцатилетний парень всё же плыл неподалёку позади на случай моей растерянности от судороги или ещё чего-нибудь непредвиденного.

У Стародонья шумят лозы. Летают птицы в десятках названий. И рвут ягоду-ожину девочки-сверстницы. Мальчонки их не замечают, перед ними они останутся оторопело и влюблённо позже, кто — через сколько немногих лет. А в тот воскресный день они, то есть мои сверстники и я, «тарзанам» — на верёвках, привязанных к верхним сильным ветвям осокоря, раскачиваемся вверх-вниз, не боясь удариться о трёхобхватный осокоревый ствол (трофейный фильм «Тарзан» толкал нас на эти мальчишеские опасные и ненужные подвиги). После купаемся, загораем на песке у Прорана — донской протоки за околицей села. Солнце на наших спинах, солнце далеко за Стародоньем. Оттуда, из-за белых меловых круч, надвигается гроза. Лиловая? Лаловая? Чёрная! Гром! Вот в такой, наверное, гром гибли мои далёкие родные в давние и недавние войны. Не пугайтесь, сверстники: молнии заняты не нами.

Но тут бы убавить высокий штиль. Молнии, положим, заняты не нами, а наши матери, среди трудов неженских, тягостных и праведных, находят-таки повод вспылчиво и по-старинному заняться нами. Однажды, в летне-праздничный

день, солнечный свет затмился быстро набежавшими чернильными тучами, засверкали молнии, загрохотал гром, а я, до грозы дав слово переплыть Стародонье туда-обратно, шагнул в воду. Ребята и девчонки пытались меня остановить, но мне не хотелось перед ними выставить свою слабину. Под грохот грозы, через высокие волны переплыв дался тяжело, но судьба миловала, и я, возвратясь, победительно, внутренне ликующе вышел на берег — тот был ребяче-девчачий и... странно молчаливый.

И только тут я увидел мать. Бледная как полотно, она резко подошла ко мне и с причитаниями трижды огрела меня хвостотиной. Было больно, сильнее же боли молчаливо кричали обида и унижение. Быстрыми шагами я стал подниматься по косогору, вошёл на стародонские кручи и оставался там дотемна. Когда пришёл домой, никто меня не бранил, не отчитывал, отец только и сказал: «Люди часто гибнут по глупости. Думай, когда что-либо собираешься сделать. Рисковать следует — спасая других, а не ради бахвальства. Не ради хвастовства».

А первое ощущение смерти явилось в шесть лет. Это случилось возле Кислички — глубокого оврага-яра, какой без малого отрезка соединял два дорогих моему детству леса — Коловерть-лес и Побишное. Там была молотьба новоурожайной пшеницы, там управлялись наши разгорячённые в страде матери, а я вскарабкался по приставленной лестнице на копну соломы, и наверху долго резвился, прыгал, дурачился, и вдруг мягко и неотвратимо провалился в непроницаемую темь (одна копна оказалась прислонённой к другой, их створ меня поглотил, сжал ознобом и страхом). Тут же я почувствовал землю, но темь была словно могильная. Впервые меня сковали чувства безысходности, тяжёлый панцирь страха, конца моей детской жизни. Потом не лихорадочно, а устало-медленно начал торкаться в сбитые пролежни соломы — в одну сторону, в другую, в третью. Третья — словно раздвинулась. Я пополз, пополз и вдруг вынырнул из западни. Сияло солнце, мир был широк и зовущ, но я уже был другим — не тем, что часом раньше. Я почувствовал неотвратимость земной смерти, и сколь ранней или сколь поздней она будет, уже не являлось главным.

Через три года, по весне, когда сошло половодье, потянуло меня с другом Витей Севрюковым побывать у родника, под стародонской кручей. Мы стояли у самой воды и бросали — кто дальше — сырые куски мела. С кручевой верховины сползала в Стародонье меловая шуга, иногда и большие камни — в десятке метров от нас. И вдруг меня оглушил нарастающий ослепительный грохот: мимо, не далее чем в метре, на огромной скорости низринулась в воду и обдала меня несметными брызгами огромная меловая глыбина. Подбежал мой дружок,

белый, как мел. Он бессловесно глядел на меня расширенными глазами, видать, не веря, что я жив.

(Не раз выдавались миги — на краю гибели, об этом — опасных приключениях детства — есть и в моём повествовании «Волны», один из эпизодов отобразён в рассказе-эссе «Нечаянно остаться в живых». Именно так, не погибнуть — нечаянно: на всех Милость Вышняя, которая не знает пределов во временах и пространствах.)

Поездка на катере вверх по Дону, в районный городок Павловск, и на палубе нечаянная встреча матери с непонятной мне отцовской симпатией — заезжей учительницей. Последняя — стройная, красивая, с холодными ироничными глазами. Мама не раз отзывалась о ней тоже иронически, мол, откуда взялась такая? Почувствовав мою не умеющую выразиться в слове неприязнь, она, учительница русского языка и литературы, внимательно взгляделась в меня, словно обнаруживая во мне неожиданное, небывалое, и произнесла: «Слишком бледный мальчик. Не болеет ли? И сразу видно — впечатлительный. Попомните, Мария Антоновна, моё слово: Виктор, ваш сын, прославит Нижний Карабут, да и весь Воронежский край!»

Школа в родном Нижнем Карабуте

В семь лет я пошёл в первый класс Нижне-Карабутской семилетней школы, в которой директорствовал мой отец, на недавней войне испытавший атаки и обороны, и плен, и глум, вырвавшийся из плена, добравшийся к своим аж от Западной Украины, прошедший фильтрационный в задонском Калаче лагерь и дальше выказавший ум и храбрость, представленный к званию Героя Советского Союза, семиорденоносный, единственный на весь район с орденом Ленина.

Над Доном редкие, не выжженные и не вырубленные войной сады. Вишнёвые, яблоневые, грушевые. Бело-розовый пламень. На холмах, за Белою дорогой, пламенно-жёлтые горлицы, алые воронцы-пионы, на высоких тоненьких ножках синие кисточки «бабок». А далее празелень придонских и задонских лесов, молодой озими на холмистых полях.

Школа — толстые кирпичные стены бывшей церкви. Три первых класса, в каждом — за сорок школьников. Почти все мы ранее встречались, теперь — постепенно обретаются друзья: Пётя Думин, Саша Сакардин, Ваня Колесников, Вася Кунахов, Витя Севрюков, Вася Носков...

Школа — слово, пришедшее из далёкой, наверное, прекрасной чужины. А сама послевоенная школа — не чужая: родная! Ею как бы преображены мои сверстники: в них вырабатывается собранность, чувство дружеского локтя, желание побольше знать.

Школьная библиотека — крохотка: читанные-перечитанные нами сказки Пушкина, да ещё книги о войне: «Сын полка», «Повесть о настоящем человеке», «Чайка», а следы войны — на каждом шагу: подняться от школы вверх, на кручи, там змеятся окопы, там брошенное оккупантами железо, там всё ещё опасно.

Детство тянется медленно — в нём, помимо школы, соби- рание колосков на дальнем поле, походы в лес за яблонями- дичками и желудями — спасение от бесхлебных дней и меся- цев в послевоенной засухе, зимняя ёлка в бедном бумажном наряде, летом проплывающие по Дону пассажирские паро- ходы, названные фамилиями Ватутина и Черняховского — полководцев из недавней войны, купание в Дону, «тарзаньи» полёты на верёвках, привязанных к прибрежным осокорям, и снова бедная сельская жизнь, и снова — надежды, снова солнце! И далёкий от детства фон — плакаты с портретами четверых всетрибунно великих вождей в ладной, казалось бы, неразрываемой последовательности, враждебная Америка, события в Корее, дружба нашей Родины с Китаем, Стокгольм- ское воззвание мира...

Дорога в школу, — когда не осенняя распутица или зимняя снежокрутица, после которой на дорогах, на огородах и косо- горах улёживается пышная сугробица, — хороша для глаз и сердца. Особенно по весне — за своротом улицы попадаешь на деревянный мосток через овраг, впадающий в Дон и по весне полный вешней воды, в которой взрослые подсаками ловят рыбицу самую разную; а позже приовражье цветёт одуван- чиками и зеленеет разнотравьем; а дальше — мимо сельского клуба и лавки — ещё один сворот дороги на подъём, наверх, где ждёт нас школа. Нравился этот подъём наверх, иногда казалось, что он выведет под самые облака. И даже дальше — в голубую солнечную высь.

Уже на первых месяцах первого класса нас стали приучать к ответственности: группами или в одиночку поручать какое- нибудь дело, «раздавать портфели». Я сызмальства не любил связанности чем-либо и кем-либо, а тут мне поручили быть санитаром класса с непременным условием носить повязку Красного Креста. Учительнице я запальчиво пообещал, что никаких повязок носить не буду. То же самое, чуть не плача, сказал и бабушке, а она стала утешать меня самым кротким образом, мол, не отказывайся, детка, так, глядишь, и началь- ником когда-нибудь станешь. Последнее бабушкино сообра- жение вызвало во мне затяжной плачущий гнев с обещаниями вообще бросить школу; и только вскоре пришедший отец успокоил довольно быстро. Сказал: «Сынок, ты школьник, и уже многое можешь понимать. Ну что тебе эта повязка? Ты

её через неделю снимешь, и никто о ней не вспомнит. А делу санитаря тебе подучиться надо. В войну санитарки и санитары, взрослые и совсем ещё мальчишки и девчухи, знаешь, скольких наших бойцов с поля боя вынесли? Тысячи солдат! Тысячи таких сёл, как Нижний Карабут».

(Повязок я не носил и в юности. В пединституте даже был вызываем на комитет комсомола за то, что не стягивал руку лентой дружинника, будучи на дежурстве. «Мне и без повязки приходилось защищать девушек от угрожавших им, и детей спасать, и старикам помогать. И думаю, так бы поступил каждый мужчина». Довод не заменял правило. Замсекретаря, худорослый, со стальным блеском в глазах, требовал от меня поступать как все. Я знал, что он всегда был активнее, наверное, рвался в «начальники», каких мне в детстве раскрашивала бабушка. Но институтский секретарь комсомола махнул рукой: «Дежурь и без повязки. Лишь бы порядок был».

А повязки, траурные повязки, всё-таки пришлось повязывать — позже, когда хоронил и близких, и большого чина усопших знакомых.)

Уроки, уроки, уроки... Правописание — среди любимых. Однажды заезжие родственники дали мне поглядеть книгу на старославянском. Они уехали, а мне долго ещё виделся этот диковинный, сказочный бег букв иц, и я мечтал, что когда-нибудь мне самому удастся не только читать книги на старославянском, но и исполнить эти сказочные, заветные буквы, строки, страницы.

На последнем уроке невыносимо захотел по малой нужде. А перед этим уже двое попросились в туалет — деревянная уборная гнездилась на заднике школьного двора. И учительница сказала: «Больше никого не пушу». Весь ужимаясь, я поднял руку, просясь выйти. «Сказала же — нет!» И медленно, врасстяжку, дважды повторила это для меня губительное «Нет!» Струйка, ударив в штанишки, аж на пол протекла. Никто ничего не заметил. Я поднялся и молча вышел, несмотря на окрик учительницы (вот и один из первых моих грехов — нелюбовь к первой учительнице). На второй день я пришёл в класс, всё шло обычным чередом, но заноза во мне долго продолжала ныть, — может, то запоздалая досада на запоздалое неповиновение?

Школа же доставляла мне радость едва не каждодневную, увеличивая моё начальное знание: учителя более старших классов, узнав о моём живом интересе к истории, географии, астрономии, нередко после уроков подпитывали меня сведениями из дисциплин-наук, к которым мои сверстники обратятся только через несколько лет.

За Нисолоновкой (Населёновкой), когда-то отдельной деревенькой, а теперь двурядной улицей Нижнего Карабута, тянущейся из степи к Дону или наоборот, за урывисто-глинистым Вихьярьем-логом с меловых круч спускаются к Стародонью глубокие, с отвесными боковинами ярки — «Стенки». Между ними по скосовой крутизне круч лепятся худенькие криворослые берёзки и сосны, как позже узнаю, реликтовые и в такой соединённости редчайшие в Европе. Нас же, младосверстников, притягивал по осени красно испятнанный барбарис, кислые удлинённые плоды которого до первой оскомины были для нас лучшим лакомством.

Потрясение. На стыке Дона и Стародонья утонул мой, двумя годами старше соклассник Егор с хутора Ясного. На фронте потерявший отца, меня он недолюбливал за моего отца — директора школы, который не только орденосцем вернулся с войны, но и был назначен на денежнооплачиваемую должность, за что соклассник меня даже однажды зло обозвал: «Жидёнок»; но, видя осуждение ребят, больше не повторялся. Его выловили на седьмой день, и было страшно на него взглянуть: весь синий, распухший и настолько далёкий от нас, что даже не хватило сил взглядеться в него. Утонувший не дал мне уснуть в первую ночь после похорон, и ещё несколько раз являлся — молчаливый, с протянутой к видимому Дону рукой. На какие-то недели даже родная река стала мне чужой.

А через месяц — новое потрясение. В раннесолнечный час из совхоза «Начало», где жили наши родственники, я и мой друг Витя Севрюков весело шагали в не столь далёкую, километрах в пяти Россошь, где нас ждала рыночная сутолока, пёстрый поток толпы, а главное — мороженое. И вдруг — в один миг оба остолбенели, попятились назад. На переднем дереве посадки у дороги, у тропинки вдоль посадки, на сильной ветке вяза затянутый верёвочной петлёй висел парень.

Поскольку был воскресный день, вскоре появились взрослые, идущие в Россошь на базар. Но мы были первые, увидевшие такую непонятную смерть. От подошедших посыпались догадки: то ли от несчастной любви он покончил с собою, то ли от тяжёлой болезни, то ли от измены матери, предавшей его отца, то ли даже не сам он повесился, а его повесили тёмные дружки. Мы поспешили уйти. Но от увиденного я избавился не скоро. Повесившийся или повешенный вдруг возникал перед глазами и словно силился что-то сказать.

(С того лета я стал часто думать о тайне жизни и смерти, жить с тем подчас спокойным, а подчас и томительным ощущением, которое, верно, пережито миллионами ушедших, сколь ни разных, но всех неизбежно наступаемым этим: и повинуюсь общему закону...)

Просветляет же пушкинское: «И сам, покорный общему закону, переменился я... Минувшее меня объемяет живо».

В воскресный осенний день мы, десятилетние мальчишки, малыши шажками входим в пещерный зев, прорубленный богомольцами-паломниками в глинисто-меловом слое. Пещер две — обе в «Стинках», то есть Стенках, названных так по крутизне оврагов, на отвесных боковинах которых густо пестрят тёмные норки галочьих гнёзд. Здесь целая века детства. Обвязавшись верёвками, мои сверстники скалолазничали по отвесным глинистым боковинам, выбирая из птичьих гнёзд маленьких галчат. Мама, узнав и о моём недобром соучастии в том разоре, сказала резко: «Вот, представь, тебя чужие люди выкрали из дома для забавы или ещё как, а нам, семье твоей, с ума сходить и слёзы лить. Вот так и у родителей этих галчат!» С той поры я птичьих гнёзд не тревожил, но сверстникам, носивших галчат на плече, до некоторой поры завидовал. Впрочем, уже вызревало во мне: мы ловим галок, а сами-то пойманы. Где? Когда? Кем?

В одну из пещер я входил сам, боясь, но проверяя себя на смелость. Пещера побольше ближнестеночной, но осталась явно недоконченной, незавершённой. Так же, наверное, и нам по-хорошему не завершить земной жизни.

Неожиданно для сентября затеялся снег. Тихий, добрый. Разве не так, неслышно и печально упадут на меня через десяток лет слова девушки в синем — как она чисто, тихо и неотразимо входила в мою жизнь! Или снег похож на меня, когда меня закружит и захлестнёт, да и кружит едва не с детства. Снегу грустно, мне ли грустно?

По воскресеньям подростки и ребятя Нижнего Карабута и Николаевки — двух слобод, разделённых Доном, выходят друг против друга, чтобы померяться силами и, как говорят старшие, испытать кулаки и честь. Может быть, эти еженедельные воскресные «ледовые побоища» — оскрёбыши войны, холодных и голодных годин, когда потаённые тёмные инстинкты ещё властвуют над взрослыми и малыши, толкают на несправедное. Действительно, через несколько лет сменившая нас молодёжь свою юношескую честь разрешала мирно, во встречах если не радушных, то и не во враждебных, вполне достойных.

А в этот ясный зимний день с гиканьем и свистом одна толпа гонит другую. Уже перебежали Дон. На песчаном спуске к реке полоска николаевских хат. И словно подстёгнутые этой близостью, наши противостоятели вдруг разворачиваются, а вослед им и мы, и они преследуют нас до самого нижне-карабутского берега. Потом наступаем мы, потом катится их возвратная

волна. И так длится едва не весь день. И когда, казалось, проглянула ничья (враждующие стороны устали и теперь на расстоянии полусотни метров языкасто перебранивались), предводитель Нижнего и Нисолоновки крупно зашагал вперёд и увлёк за собою остальных. Порыв был неудержимый, готовый смести и толпу, и лозы, и хаты. Николаевцы побежали, но их вожак, словно вмороженный в лёд, остался на месте. Я не знаю, какое чувство удержало его, после об этом часто думал. Быть может, это было чувство капитана, не покинувшего свой корабль.

Его набросились бить — кто кулаками, кто ветками, кто хворостяными палками. Подхваченный напором массы, я подбежал к нему с кизяком, непонятно где поднятым. Нечаянно, неожиданно он взглянул на меня — как-то грустно, понимающе, вне осуждения. Кизяк выпал из моей было замахнувшейся руки...

А поздно вечером весь я пылал то ли простудным, то ли нервным жаром. И за дни болезни не раз думал о том, что в Николаевке живут мои родственники (со-единые рода моего), что они вместе с моим отцом уходили на фронт, вместе воевали против действительного врага-захватчика. Это было первое чувствование рода, моего рода как единого целого, но разбросанного по земле. Таким образом, книжное знание про родовой, родо-племенной строй приобрело зримый образ.

Летом 1952 года как образцовый школьник я был премирован поездкой в Сталинград (перед тем мама подарила мне повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — хорошо изданную книгу, и она, бегло прочитанная, добавила мне желания побывать в знаменитом городе на Волге). Нам, группе отличников из разных сёл нашего района, возглавляемых двумя учителями из головной школы, выделили полуторку с жёсткими скамейками, с открытым, ничем, кроме бортовин, не защищённым кузовом. Было верхом безрассудства отправляться в столь дальнюю даль, минуя азбучные правила безопасности, но после недавней всеокрушительной войны подобное путешествие никому не виделось опасным. Проехали казачьи земли, и вот — окраина великого города. Впервые мною увиденный асфальт. Нет, я и не думал тогда, что он не даёт дышать земле, заглушает ростки трав и кустарников, не знал, что впервые асфальтовые лавы обнаружили у Мёртвого моря и в древности его называли иудейской смолой, подумал я об одном: как было бы хорошо, если бы такой асфальт вдруг да упал сизой дорожной лентой от Нижнего Карабута до Новой Калитвы, и путникам и подводам не страшна была бы грязь-распутица.

(Через полвека в моём повествовании «Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях войны и мира» в «эпilogе с вос-

поминаниями» такими предстанут памятные образы Сталинграда, Волги, Волго-Донского канала:

«Школьником побывал я на летних каникулах в Сталинграде. Город был ещё не весь восстановлен, дома зияли руинами. Долго стоял в подвале, где несколькими годами назад располагался штаб Паулюса. Прошёл и приречные уголки, красивый речной вокзал. Путешествовал по Волге, ступал и на противоположный, в песках, берег.

Мерно двигались баржи. Я ничего не знал про революционные страшные расстрельные баржи. Шедшие по Волге были мирного вида, везли лес, железо, камень. Иные стояли причаленными у берега и заменяли жилища. Не знал я и того, что на одной из таких барж несколькими годами назад жили кинематографисты, а с ними американский писатель Стейнбек, который, как и прежде англичанин Уэллс, видел Россию во мгле, в разрухе и бедности, но увидел и другое: наших девушек — опрятными, наш народ — выстоявшим и мужественным и рассказал об этом в „Русском дневнике“, найдя добрые слова о русских в самом начале холодной войны.

А затем наша школьная группа отправилась на Волго-Дон. У начала его воздымался монумент Сталину. Сколь он был огромен! В школьных поездках у меня образовалась привычка: приезжая в новый город, подходить к многоэтажному дому, глядеть наверх — дух захватывало поначалу даже при виде третьего этажа, а ещё выше!.. Но сколь высок был этот далеко глядящий монумент?!

Вождь стоял что рок. Наверно, он / Целостно мог видеть Волго-Дон / Как парад пилонов и колонн... / Был один пустак — тяжёлый стон...»

Огромный монумент у начала Волго-Донского канала заставляет почувствовать свою малость. Высокая, из камня и бронзы, одетая в тяжёлую шинель фигура словно давит окрестное: или чувствительному сердцу вдруг покажется, что сердце земли с перебоями бьётся?

В путеплавании по каналу меня снова и снова поражают колонны, пилоны, шлюзы — державное великолепие.

Возвращаясь, в сумерках подъехали к Хопру — впадающей в Дон тоже славной казачьей реке. Под пятью огромными дубами веселилась молодёжь. Две гармони старались, как баяны. И задалось так гуляно, что, казалось, вечными будут эти пять дубов и развесёлые девчата-казачки. Что останется вечным? Всё забывается, как ложный гимн.

По недавно прочитанному «Тихому Дону», пленившему даже строками о природе, в прежних книгах пробрасываемыми, знакомые станции — Мигулинская, Казанская и вот — Богучар, земля воронежская.

Две незабываемых летних рыбалки. Одна — у Стенок, на Стародонье, другая — на слиянии Стародонья и Дона. На первой — с отцом — до позднего вечера: хорошо ловилась шемая, у нас называемая шемайка, и когда мы, при уже взошедшей луне, сворачивали удочки, у нас было десятка три широких, ладонелопастых рыбин. А в Дону в тот год удивительно щедро двигалась чехонь, говорили, из Цимлянского моря, и вскоре я с двумя соседними ребятами пошёл попытать удачи. Чехонь ловилась на голый крючок, и мои дружки поймали по пятьсот рыбин, я же — пятьдесят три, но, прежде никогда столь щедро не ловивший, загорелся: попросил маму приготовить мне хлеба, повидла, воды и разбудить меня до рассвета. Уже в пять утра я был на донском берегу. Забросил удочку, всё во мне дрожало от ожидания. Прошёл час, другой, третий. Ни одной рыбины, ни одной рыбёшки. Я надломил удилице в знак обета далее вовсе не рыбачить и положил удочку на вербный пень: может кому повезёт. Я и впрямь больше не рыбачил. Правда, дед Семён, брат моего дедушки, бригадир рыболовецкой артели в Нижнем Карабуге, иногда снабжал нас донскими дарами: подчас — сазаном, судаком и даже стерлядью; да и отец увлёкся посильней моего, так что даже приобрёл сеть, занялся копчением шемайки, и она, копчённая на жару вишнёвых веток в летней печке на огороде, всегда у нас водилась, пока отца не направили на «повышение» в село за полсотни километров от родного Нижнего.

(Каждый день, беря в руки выписываемую отцом «Правду», начинал чтение с прогляда событий в Корее. Далёкая, неизвестная мною Корея волновала меня, как полуостров надежды. Эта, помнится, тридцать восьмая параллель стала для меня как бы одушевлённой, я просил её подвинуться на юг. Каждый день надеялся, как дальневосточная страна становится единой, то есть северокойские войска, китайские добровольцы потеснят лисынмановцев и американцев, сбросят в море. Я не хотел войны, но хотел победы. Многого не знал, так надеюсь.)

Пётр Думин, Иван Колесников, Александр Сакардин, Александр Кулинченко, Виктор Севрюков, Иван Толочков, Василий Кунахов, Василий Носков, Иван Семко, Валерий Горемыкин — мои друзья детства, с иными чаще встречаюсь, с другими — реже, безо всех детство было бы обеднённым, не столь полноцветным и душевно щедрым.

Пётр Думин — весёлый, сильный парень, с ним мы с третьего по пятый класс ранней осенью отправлялись на поиски патронов, в Провалье и Вихьярье, на придонские кручи, вскапывали песчано-глинистый или крейдианой почвенный верх, обычно находили немецкие и итальянские гильзы вроссыпь и патроны целыми обоймами, радовались, что мы их нашли,

а не они — наших отцов. От ещё таившихся на не столь давней фронтовой полосе мин и гранат Бог, как говорят, нас миловал.

Хатёнка Ивана Колесникова — напротив нашего дома, он сирота, а за мать ему — старшая сестра, а ещё сестёр — как луковиц в лукошке: то ли шесть, то ли семь, друг от друга мало отличимых, вечно друг на друга кричащих. Откуда-то Иван узнал о предводителе крестьянского восстания в соседней Старой Калитве и любил похвастаться, что он, Колесников Иван Сергеевич, внук того самого предводителя и носит не только его фамилию, но и имя, и отчество. Время было ещё сталинское, послевоенное, жёсткое, но никто из местновластных, по счастью, не заинтересовался биографическими похвалами-связями моего друга. С ним мы любили бывать в небольшом урочище Побитное, принося оттуда пазухи дичек-яблок, да ещё причудливо изогнутые ветви и корни — оба видели в них что-то живое, требовался только нож для отсечения лишнего.

Александр Кулинченко, мой троюродный брат, тремя годами моложе меня, — с ним часто бывали в нашем саду, охотясь за бабочками и шмелями.

Александр Сакардин учился в параллельном классе, в школе мы постоянно встречались, после школы не раз бывали в походах по окрестностям села, каждый раз открывая что-то новое, радующее или огорчающее.

Виктор Севрюков, Василий Носков были, как и я, любителями книг, шахмат, поклонниками футбольного «Спартак», и это нас объединяло, иногда за шахматами или за спорами о «Молодой гвардии» мы задерживались на поваленном дереве у донского берега допоздна, за что наши матери обычно выговаривали нам с разной степенью долготы и запальчивости.

Иван Семко пришёл в нашу школу (вместе с ним ещё трое ребят и три девчонки) из лесного хутора Топило, мы с ним быстро и накрепко подружились и позже утягивались в разные опасные «разведки».

Иван Толочков и Василий Кунахов живут на конце деревни, они держались несколько особняком, но глядеть на весенний ледоход или позднее на весенний духовской луг и наполнять сумки черемшой, козельками, щавелем мы отправлялись вместе, дружеской ватагой.

На лугу детских и раннеюношеских моих увлечений — три Нины: Василенкова, Обиух, Диканьская... Василенкова — поэзия и тайна детства. Обиух, соклассница, впечатляюще красивая дивчина, и это с нею — Дон, вечерняя Прорана, черёмуха, поэтичный роман — случайно и бездарно оборванный. А Диканьской, старше меня, прошедшей броды и воды, я даже наивно признавался в своём чувстве, после чего Пётр Пекарь, её первый возлюбленный, шутливо предупредил меня: «Нинка хоть и не донская глубь, а смотри, как бы не утонул!»

Весна. Мои первые стихи. Они не о девчонках, не о великих стройках — они о малой родине, о Нижнем Карабуте. О слободском селе, где каждая тропушка мной исхожена, а каждая яблонька мне родная, а каждому придонскому роднику я дал своё название — поэтическое. (Здесь стоит сказать, что поэтичны даже названия колхозов в селе — «Правда», «Красный луч»; и только третий колхоз, на нисолоновском ряду, именно там, где наше семейное жилище, носит название словно рычащее, жёсткое, вне лирических ассоциаций: «Прогресс». *Может, в этом, детском сердце трудно принято название — первопричина моего дальнейшего сдержанного, двойственного отношения к самому явлению Progressus.*)

Принимаюсь за некое историко-лирическое повествование о Нижнем Карабуте. Узнаю, что он основан выходцами из слободы Писаревская Харьковской губернии в 1760 году — почти сто лет спустя после разинского восстания. Узнанное огорчает. От стариков слышал, что здешние поселенцы поддержали плывшего вверх по Дону Фрола Разина, следовательно, и они были бунтарями. Оказывается, нет. А бунтари для юного возраста — в ореоле.

Название Нижний Карабут — от сотника Герасима Карабута, по цареву указу имевшего здесь свои угодья и льготы. А фамилия того Герасима — со следами восточных нашепствий. От них остались курганы, которые я, по неразумию, подговаривал сверстников раскопать. Пусть не до Батыя, но до какого-либо темника мы докопаемся: будем судить завоевателя! К тому же в курганах глубоко спят разные древности, такие загадочные, непонятные...

(Смерть Сталина. У Нижнего Карабута двойное отношение к земному концу главы государства. Иные женщины всплакнули, одна заплакала навзрыд. Кто-то оживился, сказав, что уже не будут колхозниц за горсть зерна морить в тюрьме; да и налоги отменяют на огородные яблони и живность, на учтённых-перечтённых хохлаток. Кто-то напомнил, что после страшной засухи сорок шестого селу не дали изойти в голоде, а ещё — про ежегодные уценки на самое первонеобходимое, не забыли даже про великий сталинский план преобразования природы. Нам же, учащимся, думалось, что теперь со дня на день начнётся война. Что было в этом предчувствии? Тяжесть от недавно пережитого несчастия? Жажда жизни не под бомбами, мы же, ещё дети, подписались под Стокгольмским воззванием мира. Разумеется, никто из нас ни сном ни духом не ведал о том, что у американских военных действительно имелись планы, как напасть на нас, какие армады бомбардировщиков выслать, чтобы разбомбить главные русские города. Не знали, что заморские воители не решались превратить планы в действие из-за многократного

подсчёта, по которому выходило, что при нападении треть американских пилотов не возвратилась бы, а для следующего окончательного разгрома остальные бы две трети в воздух не поднялись. Наши бы — полетели! Присяга Родине и бои вдалеке от родины? В истории не раз бывало и так.)

Пионерский лагерь в Павловске... В одно из июльских воскресений проходят спортивные соревнования лагеря, и я — победитель в беге на короткие дистанции, по речному заплыву, метанию копья. Странное чувство то ли гордости, то ли радости, но оно омрачается исходящими от других и на меня направленными, впервые по-настоящему мной почувствованными импульсами ревности, зависти, даже злобы.

А на следующей неделе — Белогорьевские пещеры... особый мир. Темнота, пугающая детство, и словно бы обморочные огоньки свечей, давно погасших.

После пионерского лагеря — Москва. Впервые собственными глазами увиденная столица Московской Руси, государства Российского, Советского Союза.

(Первое разочарование, а потом и раздумье-понимание — и поныне памятное. В ту пору перегруженный ежедневно читаемыми отцом газетами, книгами, разговорами о величии Москвы, я представлял увидеть её как некий большой остров-дворец, в котором не может быть ни грана окраинной безобразной застроенности, архитектурной разноголосицы. А когда после голоса диктора «Поезд прибывает в столицу нашей Родины город Москва» увидел хаотично застроенные, дикорослью заросшие, хламом заваленные окраины, испытал удивленье, недоуменье, разочарование. И не вдруг родилось понимание: в Москве, как и по всей России, идёт рабочая страда, а в мире родственно или враждебно всегда сосуществуют, соседствуют, подчас перетекают одно в другое величие и убожество, роскошь и сирость, красота и безобразие. Как соседствуют жизнь и смерть, добро и зло, небо и земля.

Родиться в Москве — всё равно что прежде родиться в княжеской семье: быть избранным. Так отчего же ты, понимая это, через десятки лет после первой встречи отвёл приглашение столицы, когда явилась возможность перебраться туда на родственную прежней службу, но на более статутную должность?

А Москва — она разная и в конце двадцатого века, и в начале двадцать первого. Кто в шесть утра просыпается — и на завод. А кто только возвращается с элитарно-салонной тусовки, и какой душ его (её) отмоет? Кто прокладывает широкие дороги, а кто, светская ли амёба-львица, пьяный ли отморозок, сбивают человека на этой дороге. Кто —

истинный государственный деятель, а кто — миллиардер мира. Созидатели и разрушители, помнящие и не помнящие... Москва — она разная.)

Поощрительная экскурсия длилась недели полторы. Нас разместили в Сокольниках, в одной из школ, в классе на четвёртом этаже, приспособленном под временное общежитие. Враз возникшая, меня опекающая дружба с Анатолием Жилевым из Новой Калитвы. Он постарше меня, наши кровати рядом, и мы подолгу, подчас до полуночи вели тихие беседы о малой родине, о Доне, о войне, которая огненной пилой разрежала наши близкие придонские сёла, о литературе и живописи. Именно он пробудил во мне внимание к русским передвижникам и французским импрессионистам, а в Третьяковской галерее стал моим гидом, рассказывая о знаменитых картинах так, словно ещё недавно водил здесь экскурсии.

Кремль, Красная площадь, метрополитен — галерея подземных дворцов, державные, со шпилями, здания-высотники, Химкинский речной вокзал и целый день плавание по каналу имени Москвы — на всю жизнь памятное.

(Близкие к моему роднику две донские Калитвы — две сестры, у которых труженнические судьбы, добрые вехи, честные имена: из Старой Калитвы — геополитик, учёный, педагог Андрей Снесарев, из Новой Калитвы — духовный писатель, митрополит Московский Леонтий (Лебединский). Имена славные и ныне всероссийски известны. А разве менее сущностны, значимы безвестные, которые — каждый по-своему — созидали, украшали придонский край?)

Вопрос о безвестных на земле — онтологический, по сути обойдённый мировой философией и литературой. Разве что фёдоровское учение о воскрешении ушедших едва ли не первооткрывательно вступает на неизмеримые пространства пажити безвестных. Прежде, разумеется, — Евангелие.)

В семилетней школе Нижнего Карабута зародилась моя любовь к русскому языку и отечественной литературе, а ещё — истории и географии. Горы, озёра, реки обеих земных полушарий я знал так, словно они располагались близ моего Нижнего. На карте по северному тундровому поясу, открытому студёным ветрам Ледовитого океана, вычерчивал опояску гор, чтобы теплее стране было...

А в моём континентальном краю (нравилось слово «континент»!) — и солнце, и снега. Горячее солнце и холодные снега, часто многомесячные...

(В бытность учёбы в семилетней школе родного села, постоянно думая о силе и богатстве Отечества, утыкал карту Союза значками железа, нефти, цветных руд, конечно,

не подозревая, что всё это через полсотни лет попадёт в руки ненародные и даже негосударственные.

О родном селе и его школе, о детских годах — мои стихи и публицистика, повесть «В Стародонное вода светла», повествование в коротких эссе «Волны», рассказы «Яблоки», «Миронова гора», «Колодец у Белой дороги», «Бакены на реке», «Зийшов мисяц над горою», «Вспомни дальний луг», «Долгие поля», «Читающий Евангелие от Иоанна»... Разумеется, рассказанное в строке — тысячная доля пережитого. Остальное написанное или затерялось при переездах, или пошло на выброс и в огонь, или же, незаписанное, истаяло невозвратно.)

Припадаешь к напоённому солнцем и полынной коркой земли горицвету — и в нём если не вся земная философия, то вся земная радость и грусть. И что может быть выше этой прекрасной сопричастности? Но уйдёшь в машинный мир, где на огромных скоростях спешат разбиться люди и поезда, и сам станешь суетливым. И только короткими снами будешь возвращаться в тот край, где впервые щеками коснулся горицвета, в те дни, когда ты, ребёнок, мальчик вглядывался в задонскую даль, открывая нечто и зыбкое, и верное в иных временах и пространствах.

(Много позже — как давно прочувствованное — прочитаю у Мигеля де Унамуну, испанского писателя-философа: «Можно пережить детство единожды и только в одной стране, и должно в этой стране в какой-то степени продолжать оставаться ребёнком, чтобы быть поэтом, ибо поэт — это человек, душа которого в наибольшей степени проникнута воспоминаниями детства».

*Всегда ли так — не знаю, но всякий раз, когда мне благо-
являлось поэтическое состояние, оно рождалось из воспоминаний и повторных переживаний именно детства, хотя в самом этом состоянии клокотала взрослая жизнь с её множественностью противоречий, взрослыми эмоциональными восприятиями мира, природы, Бога, человека...)*

Родник и Небо

В детстве узкой, притенённой ожинниками тропинкой, под береговой грядой меловых круч вдоль Стародонья — старого донского русла, часто навевался я к Белому роднику. Он пробивал сильно (позже, пройдя Дон от примосковского истока до азовских гирл, встречу не столь много подобных: напористо бьющих, с обжигающе-студёной первородной водой, вытекающей из каких доисторических глубин). Мне хотелось знать, что было здесь до меня и что будет после. Подолгу вслушиваясь в родник, я пытался увидеть его изначальные токи, понять его на всём протяжении; но, всегда загадочный,

разгадать себя он не давал и, не вытягиваясь в говорливый ручей, сразу устремлялся в Стародонье.

С кручевой гряды к старому руслу спускались ближняя и дальняя Стенки — глубокие лога с обрывными, почти отвесной крутизны ярками-оврагами.

Я поднимался на кручи. На седловине холма меж Стенками падал в травы и обращал взор небу. В сокровенно-потаённой для детского сердца небесной выси плыли облака. Волнистые, ватные, хлопьями, барашками, близко-далёкие, безразлично-равнодушные к тому, что творилось на земле, они, разные по цвету и очертаниям, постепенно оживлялись; когда тихо, когда убыстрённо кочуя-передвигаясь, они постепенно обретали вид медведей, овечьих отар, быков, иногда зданий, иногда летящих птиц; а чаще всего я видел, как по небу проплывали наполненные человеческими фигурами или вовсе безлюдные лодки, челноки, плоты... Всякий раз мне хотелось подняться в облака, уплыть с ними далеко-далеко — побывать в заморских краях. И однажды я увидел себя в лодке, плывущей в облачном поднебесье, обрадовался и... резко испугался от мысли, что, уплыв в далёкие чужие края, я на родные холмы никогда не вернусь; закрыл глаза, а когда открыл их, в тающих облаках ни лодки, ни меня уже не было.

(В детстве этот уголок земли был для меня самым сокровенным, самым заветным. Все стихии, определённые древними как главные, соединялись здесь: вода, земля, небо; разве что огонь — так и он давно ли полыхал на моей отчей родине, изрыгаемый орудийными и оружейными стволами в дни недавней великой войны.)

Тянущаяся вдоль Стародонья меловая гряда резко обрывалась, её венчал меловой кряж-мыс, похожий, быть может, на древний, с приподнятым носом корабль. По левую руку — небольшой лесок Коловерть, далее луг, а в ярах из-за круч выглядывали крайние хаты Духового, малого хуторка, и Семеек, большого села с таким ласковым названием; по правую сторону — изгиб старинного русла, зелёный остров, а за ним, за Доном — слобода Николаевка, одной длинной улицей вытянутая вдоль пологого песчаного берега.

Отсюда, с уреза прибрежной гряды, открывалась задонская бесконечность с уходящими за горизонт пространствами и веками.

Эта благословенная пядь была стократно исхожена мной и знаема до малых реликтовых берёз и сосенок. Именно здесь впервые почувствовал я живительные земные токи и ощутил величие и непостижимость Неба.

Тогда, разумеется, я не мог знать о том, как — религиозно, философски, исторически — «осваивались» небеса древнеиндийской, древнекитайской, ближневосточной, античной мудростью, не мог размышлять о Небе ни в духе мифа, ни

в духе науки, но тогдашнее моё первичное чувствование Горнего (восторженное и тихо-задумчивое) было самым большим и радостным переживанием-потрясением детства.

И, выпади мне в свой последний земной миг возможность быть на круче меж Стенками и вбирать уже неверными ногами токи земли, видеть небо с куда уплывающими облаками, я бы принял это как последнюю для меня земную милость Творца.)

Восьмой класс в Новой Калитве

Осень. Задонские леса. Учащиеся — не в поле, как в прежние года. Ясные дни, зелёный, всё ярче в разноцветье окрашиваемый полог пойменных дубрав и рощ. Учащиеся собирают жёлуди.

Новая Калитва — стык русского, малороссийского, казачьего. Три уклада, три мира, три песни... в сущности, единый славянский мир.

Два школьных здания. *(Со временем одно, ещё земское, без пригляда разрушится, в другом, где я учился, разместятся библиотеки, кружки, спортивные секции. Но и это здание, якобы или в действительности из-за ветхости оставленное людскими шагами и голосами, сиротливо будет ждать своей конечной участи.)*

Квартира новопостроившихся переселенцев из Дерезовки, подростковая девочка Маша с дюжиной записных книжечек. Однажды я попросил взглянуть. Сплошь — изречения великих: Данте, Петрарка, Сервантес, Гёте, Шиллер, Бальзак, Гюго, Байрон, Стендаль, Флобер, Диккенс... Почти все — о любви. Никого из русских, кроме Горького. Изречения такие классически-саморазумеющиеся, что, наверное, за долгую жизнь каждый сам может додуматься до них. Попросила и она мою записную тетрадь.

А я восьмиклассник, в те погоды-непогоды писал самонадеянный трактат о дружбе русских и украинцев. Дескать, единые корни, единая кровь, связка единящих событий, картин, имён. Наивное сочинение. Но жизненное. Мы какое столетие коренились рядом — «москаля» и «хохлы». Русская Буйловка, а через Дон — Украинская Буйловка. Сёла, слободы, хуторки — Семейки, Духовое, Нижний Карabut, Николаевка, Казинка, Старая и Новая Калитвы, Ольховатка, Гороховка, Дерезовка — в перемесе, перекличке, перезвоне родственных укладов. Моя мама — украинка, отец — русский, пращурными корнями из-под Ярославля; правда, в годы украинизации Воронежской области в конце двадцатых — начале тридцатых в свидетельства о рождении, браке и смерти всех подряд записывали в украинцы. По благоданному ли природному чувству, под влиянием ли прочитанного, мне верилось, что не только славянские единокорневые соседи, но все народы на

земле братски обнимутся в чайные вечной дружбы. Вот только североамериканцы перестали бы плодить свои военные базы и свою немирную политику, лукавую и враждебную многим доверчивым народам.

Маша быстро заскучала (не про любовь, не про страсти) и вернула мне запись-тетрадь, ничего не сказав. Видать, ей это интересно, как мёртвому статистика о живых. Милая мордашка, тоненькая фигурка, надеется стать то ли балериной, то ли искусствоведом по части балерин. Скорей всего, выскочит за офицера из похватливых, раздобреет от довольства, и забудутся все художественные идеалы и затеи.

(Январь 1954 года — трёхсотлетие Переяславской рады. Вскоре по воле Хрущёва, ретивого, не без природного «народного» ума, но крайне невежественного партийного «первача», лишённого чувства исторической перспективы, близорукого государственника, подменившего государство партией, — отдавание Крыма Украинской союзреспублике. Но Крым действительно город русской боли и славы. За него Российская империя после нападения на Крым соединённых англичан, французов, турок, сардинцев вернула Порте даже стратегически важнейший Карс, к слову заметить, дважды отвоеванный у османов нашим земляком, уроженцем Чернозёмного края Муравьёвым-Карским. Отец мой от первого до последнего дня оборонял Севастополь в Великой Отечественной. Вскоре после отшумевших празднований ему пришла небольшая, из тонких дощечек бандероль, внутри в слепленном полустлениии комсомольский билет, профсоюзный, три неотправленных письма, — это краеведы обнаружили документы, в каменистой почве битвы прикопанные последними защитниками Севастополя.)

Девочки и мальчики послевоенных школ, позже названные «дети войны». Как и наши предки, генетически готовые жизнь посвятить полю, страде, семье. Эти девочки с уже круглящими формами юнеющих тел, эти угловатые парни, многим из которых выпадет братья и за ручки плуга, и за автомат. За каждым из них — будущая судьба. Но сколько кому выпадет радостных, солнечных или горестных, тёмных годин — не дано знать. На уроке физкультуры мы, тридцать старшеклассников, сильных, хмельных от юности, сопричастных окрестным полям и сёлам, бежим трёхкилометровый кросс, верно, не задумываясь о том, что главный кросс — впереди.

А во мне нарастает, меня тревожит биологичность — томление и бунт плоти, ночные теловскрики, пронзительные накаты во сне чего-то сладостно-грехопадного, после чего просыпаешься с таким чувством, словно перед всеми вино-

ват. (Начальное детское знакомство — Нина Василенкова, постарше меня девчушка-девчонка, глазастая, кареглазая красавица, с которой мы были не разлей вода с семи моих лет; в нашем семейном саду, в густом терновнике, на полянке из бархатной травы баловались, сначала робко, а потом всё смелее обращаясь к потаённым, запретным уголкам друг друга; и всё же то было детское, любопытствующее, не грубоплотское.) Теперь же меня всерьёз просвещают старшеклассники, просвещение влекущее — и сладкое, и противное. На стене, напротив моей кровати — плакат, где молодая женщина с поднятым бюллетенем призывает всех к участию в выборах, и иногда, чудится мне, бросает на меня странный взгляд, дескать, подрасти, проголосуй, и ты узнаешь меня — не плакатную. Иногда мне хочется сорвать агитку со стены и даже изрезать её, как была полвека назад исполосована ножом репинская картина, чем-то меня и притягивающая, и отталкивающая: жестокое художественное воплощение династической трагедии отца и сына.

Осень, дождь. По Тупке, длинному яру от Нижнего Карабута до Старой Калитвы, долгие километры тащил велосипед, будучи уже больным. Оставил его в овраге, километра за два до села, и, весь в жару, еле добрёл домой. Отвальялся с полмесяца, пока крапивница не отступила. Выздоровев, поплёлся за велосипедом не без надежды, что его кто-нибудь уволок. Но велосипед преданно дожидался меня — на мою досаду: незадолго до школьных занятий в удалённом райцентре за неимением в магазине мужского отец взял женский, и это доставляло мне на людях неловкость: казалось, что все посмеиваются надо мной. Года через три не то что посмешки, а даже чьи-либо реальные знаки недоброты, зависти, злобы ко мне перестали меня занимать и тяготить, а тогда я на отца досадовал, словно он подсунул мне что-то стыдное.

Ползком по хрусткому ледовому панцирю Чёрной Калитвы, в полный рост по зимним разливному ледяным лугам-лукам... домой, домой! Мой товарищ Василий Носков ещё у моста, скрытого нашественными водами, засомневался, стоит ли по льду, тонкому, прогибному, при каждом нашем шаге дающему россыпь трещин, рисковать. Надо же: перед моими глазами вдруг возникла картина битвы на Чудском озере, проламывающие лёд и уходящие под воду в железных латах рыцари на конях... глупо, бесславно; могла бы история обойтись без этого побоища на льдах, если только там всё так, как в фильме «Александр Невский». Но сколь же глупее, провались двое ребят, рискующих только из-за того, что давно не видели своих матушек.

Я рассмеялся. «Ты чего?» — спросил товарищ. — «Да битва на Чудском озере привиделась».

А скоро под мартовско-апрельским солнцем истончённые льды с довременными гулами двинулись к морю, Дон весенне разлился, и я каждую субботу ночью (так приходил катерок) добирался до Нижнего Карабута, не зная лучших минут, когда в светлеющее предзорье безлюдной улицей шёл от пристани к родному дому. Нередко, не заходя в дом, подходил к спортивной площадке в конце двора, разминался на перекладине, исполняя «склёпку» и «солнце», затем десятка два-три толкал двухпудовку (последнюю через месяц отдам «в дар» моим товарищам по школе Борису Таранцову и Олегу Лещенко, которые приедут за нею на всё том же допотопном, всевыручательном катерке).

Книжный магазин. Небольшой домик под железной крышей на главной площади райцентра. Любил заглядывать туда, мог часами просматривать книжки, спасибо заведующей: видя моё пристрастие, она разрешила мне рыться в книжных полках. Там и приобрёл многое — от Пушкина и Лермонтова до только что вышедшего Есенина.

Первое доверчивое знакомство со старшим из братьев Жилияевых, Василием — талантливым в технике, живописи, пении, в написании и чтении со сцены стихов. Столь же доверчивый короткий расспросный разговор с учителем, журналистом, поэтом Алексеем Прасоловым, нечаянная и более основательная беседа с Василием Белокрыловым — он учится в параллельном классе, старше меня, пишет стихи.

Влюблённые девочки из Дерезовки и Самодуровки, их наивные письма, в которых они забавно признаются в своих чувствах, назначая свидание аж в Краснодоне.

А я любил бродить окрестностями Новой Калитвы, всходил на **Миронову гору**, бывал на Белой горе, где располагалось «Заготзерно», — таковых на протяжении Дона набиралось множество: с обрывных меловых круч пшеница и иные злаки по трубам и желобам сыпались прямо на причаленные баржи, и доставка зерна на далёкие расстояния обходилась дешевле, чем машинами и вагонами.

В Новой Калитве бывал я и раньше — в дни болезни или когда уезжал из райцентра в Сталинград и возвращался оттуда. Надписи на рублено-деревянном зернохранилище: «Мин нет», а ещё — «Опасно!» Так это «Опасно!» и осталось, не знаю, на сколь долгие годы.

В просторном зернохранилищном помещении нагружали пшеницу мои земляки, все девушки, и Галя Сидоренко, шестнадцатилетняя, заглядно красивая, смотрела на меня как на мальчика, который ей чем-то интересен, и у меня сложилась бессонная ночь с тревожными и радостными мыслями и необъ-

ясными надеждами... А Галя позже уедет в Донбасс и погибнет — попадёт в какой-то жидкий горячий котлован.

Год назад в Советском Союзе испытана водородная бомба, все за мир, а в мире идёт видимая и невидимая война.

Летние каникулы — без отцовского и материнского пригляда (родители уже в Криничном, вернее, соседски близкой, через луг видимой Григорьевке, куда отец как тридцатитысячник переведён председательствовать в колхозе). После кино с друзьями до полуночи играю в домино и карты; слава Богу, увлечение не из затяжных, скоро оставленное. Может, здесь сказались в раннем детстве услышанные рассказы бабушки о том, как в карты у побывавших в тюрьмах проигрываются человеческие души: играют в карты на жизнь человеческую; может, откуда-то узнанное, что поэт Вяземский «прокипятил» на картах огромное состояние; может, просто не смог меня взять в плен этот наипростейший, вязкий «игральный» наркотик. А домино — не раз ставил на ребро костяные пластинки, при щелчке по первой, ударяя друг друга, валились все до единой; и однажды подумал, что также на вселенских просторах сметаются люди, страны, времена.

Девятый класс — в Старой Калитве

Когда-то уездный, затем волостной городок. Слобода. Село. Многовёрстный лог Тупка. Земское двухэтажное здание школы.

Причудливое сочетание привязанностей, тяготений, вкусов. Зачитываюсь стихами Некрасова: «От ликующих, праздно болтающих, / Обагряющих руки в крови, — / Уведи меня в стан погибающих / За великое дело любви!» И между тем с Наташей Пожаровой, десятиклассницей, проницательной умницей, обсуждаю возможность печоринства в наши дни. Разумеется, разговоры при встречах с нею — и о более существенном — о хлебах и стихах.

Пластинки... Более всего — вальсы и марши. Русские и малороссийские народные песни. Ещё — Полонез Огинского. «Варшавянка». Последняя прямо-таки потрясает. В голове и сердце много непонятого. Пролетарии восстают против сытых мира сего. Но кто их ведёт, какие силы ведут?

Революционная «Варшавянка» — быстро схлынувшее. Но вскоре и на всю жизнь — разножанровое, для меня неугасаемо прекрасное: песня «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...», марш «Прощание славянки», всенародная песня от начала великой войны «Вставай, страна огромная!».

Кино под сводами церкви — странное ощущение: то ли кинофильмы не из хороших, то ли церковные стены обдают

холодом и дают знать, что не здесь бы грубоплотские или сме-
хаческие картины демонстрировать.

А я-то, я? По утрам кручу на перекладине «солнце», в при-
сутствии ребят, не умеющих это делать, но кручу не для них,
а для девочек, выходящих на школьный двор. Катя-милашка,
при встрече со мной всегда улыбающаяся. Оля — тревожные
мерцающие очи. Аня-кошка с зелёными зовущими глазами:
узнав, что я прихожу в школу задолго до уроков, в ранний час,
тоже стала следовать мне и признавалась в чувстве неумело
и отчаянно. Всё могло быть — ничего не могло быть.

Между тем (глупость юности!) приходится вступать в драки
с более сильными: вдвоём с Ваней Семко принимаем вызов
троих, постарше нас — и так или иначе все мы оказываемся
на земле, пылью перепачканные, с красно подбитыми щеками
и носами. На утренней поверке директор школы вызывает из
строя только нас двоих, причём стрелы летят мимо Вани; он
всего лишь соучастник, а главный злодей я. Директор прямо-
таки словесно избивает меня как нерадивого, строптивного,
задиристого (последним, то есть задиристым, никогда не
бывал!). Объяснение директорскому запалу, думаю, не слож-
ное: на прошлогоднем районном педагогическом совещании
он резко схлестнулся с моим отцом, есть отрада отыграться
на его сыне...

Литературный кружок. Иван Акимович Пахомов, Наташа
Пожарова и я. Иван Акимович — преподаватель военного дела,
я за пререкания умудряюсь схлопотать у него две двойки, пока
преподаватель не узнаёт, что я пишу стихи, и не прочитает их.
Стихи о Доне, отеческом крае, Родине, вечно вынужденной
воевать. И первые стихи моей кратковременной увлечённости
девушкой — далеко не лучшей из прежде мною встреченных.

Весна. Как украинно разбросаны белые мазанки в Старой
Калитве! Тополя и вязы смугло уходят к реке. Распускаются
почки. И мне кажется, что на весну похожа девушка из сосед-
него класса, приезжая, пригранично-городская панночка Алла
Чалая. Посвящаю ей длинные стихи... Она увлекается то ли
мною, то ли моими стихами, про которые Наташа Пожарова,
прочитав, сказала: «Стихи чистые, да не метал бы ты бисера
перед мелкой тварью: это надо же — „В сравнении с ними —
вы чудная ива пред дикой болотной лозой“. Да она хуже дур-
манной колючки! И месяца не потребуется, чтоб тебе самому
убедиться». Всё оказалось так...

Зацветают сады. Густоцветные белые вишенники и розова-
тые кроны яблонь — для меня едва ли не самое прекрасное, что
есть в природе. Часами готов наблюдать, как они, неотразимые
и недолговечные в своём цветении, словно бы воспаряют над
окружающим, словно бы тают в воздухе; как в густоте их вет-

вей неутомимо и сладкозвучно гудят пчѣлы, и видеть их усердное прикипание к нектарным доньшкам нежных соцветий — необъяснимая радость для души и глаз. Разумеется, я знаю, что ни мне, ни кому-то другому не вырастить такой яблони, которую я, годами назад, поливая в палисаднике робкие фруктовые саженцы-малолетки, мечтал увидеть: чтобы крона, не застя солнечный свет, вздымалась и расстилалась над родным селом и окрестными полями, одаряя красными плодами моих сверстников и взрослых со всех окрестных сѣл и деревень. Но теперь я знаю и другое: любая яблоня — чудо! Для кого-то она просто яблоня, для другого — цветущая ветвь-девушка; для одних — расцветающая надежда, для других — угасающая, осенние листья роняющая жизнь...

С неожиданного свидания со славной девушкой из заречной Ольховатки возвращаюсь мимо большого, давно усеянного могилами кладбища. Холодок в теле и душе — оттого что разное является на ум, когда прохожу мимо погоста: вдруг да восстанут из могил давно умершие и тысячеголосо станут просить хлеба, брачных лож и зрелищ. Всякая чертовщина в духе гоголевского «Вия». А однажды является скорбная, зато фаталистически успокаивающая мысль, что все мы идѣм через огромное кладбище земли.

На экзаменах — двойка по математике. Это значит — испорченное лето. И действительно, никак не мог взяться да подготовиться, всё откладывал, а мысль о пересдаче всякий раз первой являлась перед сном и после сна, нависала над моим душевным состоянием, как туча, и омрачала мои летние дни, пока я в конце августа не покончил с нелепой задолженностью.

Мой старший троюродный брат, придя со службы (матрос на Чѣрном море) ещё в прошлом году, подарил мне матросскую — от тельняшки до бескозырки — амуницию, теперь я стал в неё облачаться, скорей всего, чтобы покрасоваться перед девчонками; даже, не любитель фотографирований, с одной из юных землячек сфотографировался именно в «моряцком» облачении. Моя вдруг захватившая меня морская увлечѣнность наверняка — от отцовских рассказов: до войны он служил на том же Чѣрном море, на крейсере «Червона Украина», в войну с первого до последнего дня обороны защищал Севастополь. Воодушевлѣнный отцовской морской страдой, я даже подумывал о поступлении в мореходное училище.

(Помимо матросской формы, у меня оказался дорогостоящий, изготовленный несомненным умельцем плетѣный ремень с большой декоративной застѣжкой, главным украшением которой был якорь: и даже у этого ремня — «биографические» мытарства: отец, сдавшись на мои уговоры, приобрѣл

его у земляка — капитана дальнего плавания, и я всё лето щеголял, подпоясанный столь необычным ремнём; *через три года, уже в студенчестве, подарил его другу Ване Семко; после умыкнул его наш общий знакомец, но мой друг решительно сумел вернуть его себе; а через год ремень... исчез, пропал, как пропадают, теряются всякие вещи, к которым привыкаешь, которые становятся даже не частью твоего быта, но некоей частицей души.*)

Аттестат зрелости

Новая Калитва — не в новинку: бывал много раз в детстве, к тому же здесь начинал и оканчивал восьмой класс. Всюду знакомые — учащиеся, учителя. Школа — в двух зданиях двухэтажных, одно — ещё земских времён, но мой десятый «Б» — в другом.

Иван Иванович Ткаченко, историк. От него пусть бегло узнаю о Куфаеве, о Леонтии Лебединском, о Снесареве — земляках разных жизненных судеб, но равно достойных. Преподавал он также и советскую литературу. Когда спросил нас о «Тихом Доне», и установилось короткое молчание, я сказал: «Одна из лучших книг двадцатого века. Одна из вершинных. Жизнеравная. Эпос!»

«Ну что ж, — чуть помедлил учитель, — соглашусь. Действительно, из лучших, действительно, вершинная, действительно, жизнеравная, эпохальная».

(Однажды писали сочинение на вольную тему — получилось что-то вроде исповеди юного советского Печорина, который не знает, куда приложить свои силы и чувства, через военкомат надеется поучаствовать в арабо-израильском конфликте, но в военкомате только посмеялись. Иван Иванович, раздавая сочинения, сказал: «У Виктора, как всегда, пять». Однако когда я открыл тетрадку — в конце сочинения никакой оценки не увидел. Иван Иванович был обстоятельный, собранный человек, он не мог машинально отложить сочинение без оценки, и я впервые подумал о его осторожности, может, страхе. Его отец — из раскулаченных. А местный энкаведист годами раньше, сказывают, похвалялся, что историку Ткаченко, участнику битвы под Москвой, поможет сменить Калитву на Колыму. То же самое обещал и для моего отца и ещё нескольких видных фронтовиков района: энкаведист ни дня не был на войне и ненавидел воевавших. Разумеется, и энкаведист энкаведисту рознь. Было же: Воронеж летом сорок второго года на первой поре среди совсем немногих оборонял полк НКВД, почти полностью polegший. Так что едва ли по правде — о тяжёлом судить однолинейно и приговорно: никакое явление, событие, даже лицо не исчерпываются абсолютной оценкой — сплошь тёмной или сплошь высветленной.)

(1956 год — восстание в Венгрии. Сообщения в «Правде», естественно не могли дать полной картины недель, трагических и для Советского Союза, и для Венгрии. Задыхаются в подожжённых танках русские парни, гибнут от пуль и снарядных осколков восставшие венгры, и с какой стороны ни взглянуть — тяжело и больно. Новый глава Венгерской Республики Янош Кадар и тогдашний посол в Венгрии Юрий Андропов. Позже, в восьмидесятые годы, посол в Венгрии — Борис Стукалин. Его рассказ о Кадаре, единственном из руководителей восточного блока, чья могила не была осквернена во время горбачёвского, пусть и невольного — от невежества и геополитической близорукости — предательства советского лагеря. Венгры разных поколений приносят на могилу Кадара цветы. Выходит, полнота вопроса и ответа — не только в режиме, но и в человеке, которому история отпускает срок быть во главе страны.)

Издаю наезжие — не только кладези знаний... Пришлый учитель-химик, медоточивец да пришлый ответственный секретарь «районки», мастер газетного слова — с наклонностями для села небывалыми и осуждаемыми.

Всеядное чтение — журнальное, газетное, русской и мировой классики, Горького, а ещё — многопознавательные кружки и спортивные секции. Василий Белокрылов посмеивается над моими спортивными увлечениями, зато Борис Таранцов с завидной каждодневной постоянностью толкает ядро и штангу. Володя Звягинцев, Володя Хребтов, Ваня Бунеев, Рая Каменева, Таня Сергеева, Нина Будко, Егор Посвежинный, Ваня Виткалов, Вася Игнатущенко — мои товарищи, хотя, конечно, по всей школе их гораздо больше.

На велосипеде поездки в Криничное (чаще добирался велосипедом, но иногда отец, председатель соседнего с Криничным колхоза «Заря», подвозил меня на легковом газике с брезентовым верхом). Мои сверстники добирались в самые дальние сёла района пешком, и опять мне было неловко пользоваться председательским транспортом; а вот фронтовой путь отца, отмеченного многочисленными орденами и медалями, был мне дорог — я им гордился.

В начале десятого класса меня намеревались «готовить» на золотую медаль. Но предполагалось одарить ими и чиновновыделенных девушек, и мне не хотелось кого-либо обидеть: говорили, что медалей строго определённое число на район. Отец при моём намерении-отступлении сказал: «Знай, что без медали тебе любой институт будет устраивать конкурс». Я отшутился, мол, есть конкурсы поважнее, которые жизнь устраивает каждодневно. Должная быть суровой, но не ставшая таковой беседа со мной директора средней школы Павла Ивановича Жилиева после девичьего ученического комитета

(милые девушки из районно-чиновнических семей взяли нас «прорабатывать» за пропуска занятия, да так, что довели моего товарища до слёз, и мне пришлось дать им резкую отповедь, после чего милые девушки нажаловались школьному начальству); а тут ещё новые пропуска уроков — из-за разгрузки баржи с углём. Скоро меня вызвали к директору, и я был уверен, что в его кабинете меня ждёт большой разнос. Павел Иванович, ответив на моё «Здравствуйте!», пригласил сесть, расспросил о семье, об отце, с которым был хорошо знаком. И далее спросил: «Вам же не хочется огорчать отца?» — «Не хочется!» — грустно подтвердил я. Далее Павел Иванович расспросил о барже: велика ли она, сколько тонн угля пришлось разгрузить, сколь долго разгружали, сплочённой ли оказалась наша ученическая бригада? И под конец разговора: «С начальником пристани вы заранее договорились об оплате? Заплатили-то по-божески? Не обманули? И что же вы, если не тайна, приобрели за труды свои?» Я отвечал медленно, словно силясь припомнить, дескать, купил матери цветастую косынку, ещё томик Пушкина, авторучку, три общих тетради, ещё конфет для угощенья соклассниц, ещё (помявшись) бутылку красного вина. Павел Иванович покупки одобрил, кроме, естественно, последней. «Во всём вы верно поступили, вот только вино... конечно же, плохое, червивое? Да будь оно и распрекрасное заморское, надо его обходить. Вы многих больших людей — писателей, художников, поэтов — знаете и по учебникам, и по жизни, и скольких погубило дурное пристрастие! Алкоголь — не поддайтесь ему смолоду. Я ведь верю в вас. Скоро начнётся ваша внешкольная жизнь, так что поменьше соблазнов и ошибок. И в добрый путь!»

Мне выдают аттестат зрелости среди первых, среди медалистов. Это директорская приязнь ко мне или ошибочный расклад аттестатов в классных стопках?

Нечто вроде актового зала — раздвинутые перегородки двух классов. Сдвинутые столы. У наших учителей пиршественное настроение. Чуть грустное, столь же чуть весёлое. В большом зале — семьдесят юношей и девушек. Несколько — истинных красавиц. Иные, шутя и всерьёз, предлагали раньше себя в невесты по окончании десятилетки. У двух — улыбочиво-тревожное, робко-зовущее, кротко-дерзкое при обмене нашими взглядами. Но разве справедливо, чтобы две девушки в тебя влюбились, ты-то достоин ли нежного чувства хотя бы одной из них?

Учителя предлагают тосты. Поднимают бокалы, они выпивают не впервые, а вот мои сверстники и сверстницы пьют в первый раз — сначала пригубливают и... осушают до дна.

Выпускницы в зале такие лепестковые, такие светлые, словно троицины лучики; девушки, чьи глаза, чьи юные

тела радостно тревожно пробуждаются, зовут, влекут... как журавлиные клики? Попроще, попроще излагай, друг аттестованный!

И вдруг я чувствую, что моя нежность переходит в грусть, а грусть — в горечь, чувствую, что мне хочется одиночества. Когда молодая толпа дружно направляется к Дону, я, чтоб никого из двух не обидеть, ухожу один; вернее, какую-то часть пути с девчонкой, которой нравился (не из тех двух, уже недостижимых). Поднимаемся на Миронову гору, которую ощущаю как часть своей судьбы. Наступает рассвет.

Выпускной? Я давно уже выпущен в поле, какими цветами и сорняками заросшее?! Но разве не я словно бы стреножен, и больно оттого, что не понимаю: когда это случилось?!

Непоступление в Киевский университет

Мужское имя у матери городов русских — Киев. Тогда, выходит, отец — Великий Новгород, откуда начинал русское движение на юг князь Владимир, будущий креститель Руси. Я подал бумаги-документы на филологический факультет университета, который носит имя kobzаря — Тараса Шевченко.

Настаивался субботний вечерний час, до понедельника надо было где-то перекантоваться. С чемоданом, шаг от шагу тяжелевшим, плутая по близким к университету улицам, набрёл на переполненную полуподвальную ночлежку. Хозяин развёл руками, мол, «гостиница-люкс» забита до отказа, но сдался на уговоры якобы привыкшего к неприхотливости будущего студизуса: постелил суконное одеяло на трёх сдвинутых стульях. И сколь же крепок и сладок был мой сон после изнурительной долговагонной езды и накопившейся усталости, так что три сдвинутых деревянных стула воспринялись мною дороже двенадцати золотых! *(И эта нечаянная киевская ночлежка через долгие годы вспоминалась мне, когда я, на всяких житейских изломах потеряв нормальный сон, в просторной, к отдыху благорасполагающей квартире, ночью, переходя с удобной кровати на удобный диван, не мог уснуть, ворочаясь и так, и эдак, ложась на спину и на бок, взбивая и переворачивая подушку, подкладывая под неё руку, считая до ста и до тысячи, включая свет, надеясь при чтении тихо уйти в сон, пытаюсь, как советуют йоги, расслабляться, пытаюсь не думать ни о чём и думая обо всём.)*

С понедельника я обосновался на Соломенке, в университетском студенческом общежитии. Соединённые общей двадцатиквадратной площадью — забавный народ. Крестьянский паренёк из понизовий Днепра Витя Вовченко, писавший наивные чистые стихи и робевший их читать. Володя Сопрун, сильный, уважительный, добродушный. Лёня Козловский, за драку отчисленный из Минского университета и от скуки ли подавшийся в Киевский. Леон (фамилия скоро выпала

из памяти), рослый, пожалуй, красивый, холено-красивый, густокудрявый, слегка на Байрона похожий и всем довольный племянник то ли директора, то ли главного редактора Киевского издательства художественной литературы, где якобы готовилась к печати книга его стихов, — неужели тех, при чтении коих автором-байронистом нас всех троих тянуло сбежать подальше, хоть до самой границы, лишь бы не угнетал самодовольный, самоуверенный Леонов голос?!

К экзаменам не готовился, а все дни бродил в надднепровских парках. Во мне крепло желание подальше отпрянуть от новых наук, новых знакомств, я — словно в пустыне и опустынен. Стоял август, а меня октябрьило. Ещё не поступив в университет, я уже внутренне уходил от него.

Сочинение написал за час, а позже наскоро написал и для моих сопартниц, милейших дивчин, как выяснилось, родственниц-племянниц министра внутренних дел и министра сельского хозяйства Украины, которые, когда всем нам выставили самые высокие оценки, благодарно пригласили меня на чай. Я и устный русский сдал легко, даже заслужил похвалу. Но... вскоре пришёл взять документы, весьма удивив членов приёмной комиссии, которые заверяли меня в моём поступлении как решённом, поскольку главные пороги преодолены успешно.

Потёмкинская лестница в Одессе

Город лирический и героический, мореглазый, неунывный, славный разбойными шайками и стихотворцами... Одесса! Не знаю, кто кого более туда сманил — Лёня Козловский — меня или я — его, но мы устремились так, словно там ждали берега кисельные, а встречи — заветные. Первое разочарование: в мореходном училище, куда мы намеревались поступить, дабы после исходить-исплавать моря и океаны, вступительные экзамены завершились. Потёмкинская лестница. Ночеванье в фуникулёре. Безраздельно лунная ночь. Зашедший милиционер долго, невыносимо долго простоял, не двигаясь, затем развернулся и уже снаружи прикрыл дверь канатного трамвая. Видать, Бог его хранил. До того мы примостились в разных углах фуникулёра, и когда я подошёл к своему содорожнику, он всё ещё в руках держал нож. «Я ухожу», — сказал ему, потрясённый блестящей сталью, чудом не применённой. «Ну что ж, — миролюбиво отреагировал он, — твоя воля». Я ни разу не обернулся, он ни разу меня не окликнул.

Я вышел на Потёмкинскую лестницу, меньше всего думая о Потёмкине, тем более — броненосце с одноимённым названием, тем более — о фильме «Броненосец Потёмкин». Я был один-одинёхонек на этой удивительной лестнице, исхоженной миллионами ног, пытался прилечь и вздремнуть на каменном

прибрусе. Рассвет — неохотный, море — чужое, Приморский бульвар пустынен и словно пригнетён скорой осенью.

Одесса была оклеена объявлениями — молодых призывали на великие стройки коммунизма, на сибирский лесоповал, на городские благоустроительные месячники. Но по несовершенности мои руки нигде не требовались.

Деньги кончились, и тогда я кинулся в чахлый за вокзалом овражистый скверик. Вернее, туда меня увлёк смотрящий за привокзалем. На дне оврага — смуглокожие, крупноносые, бывалые. Сказать бы иначе — пробы некуда ставить. Тёмная компашка. И мои белоснежные рубашки. Их и потребовали показать. Главный, повертев в руках три новёхонькие, нераспакованные, брезгливо спросил: «Сколько за тряпки дать? Пятнадцать рублей?» — «Дай двадцать», — великодушно попросил приведший меня сюда. Билет мой из Одессы стоил сто двадцать. Я резко взял рубашки из рук слегка удивлённого главного, положил их в чемодан, захлопнул его и неспешно стал подниматься по склону. «Катись, проваливай, сопляк!» — понеслись мне вослед шики и крики. В том возрасте, когда и голой грудью бросаются на штык, я развернулся и сделал шаг в овраг — против наглых и сильных своей сплочённостью. «Стой, парень!» — резко остановил тот, что привёл меня сюда. — «Убирайся по добру-поздорову. Тебе ещё пожить надо!» И, словно ведомый невидимым спасителем, я бесповоротно зашагал вверх.

«Моя милиция меня бережёт», — вспомнил я неумеренное увлечение Маяковским в восьмом классе и, мысленно заручась его словами, как незримым мандатом, направился в ближайшее отделение милиции. Объяснил бедственное своё положение — без работы и без надежды на работу. Положил на стол часы и пакет с ненадёванной рубашкой. И попросил выдать мне денег на билет до Харькова, я их вышлю, как только возвращусь домой. Начальник отдела, подполковник, задумчиво и пронизательно, словно некий рентген, просветил меня насквозь, велел взять обратно часы и рубашку, вызвал сержанта, приказав оформить мне билет в простом вагоне.

Забавное испытание — ехали, наверное, муж и жена, молодые, беспечные, они оставили авоську яблок. И я (отцово воспитание) так и не взял ни единого, хотя есть хотел невыносимо, а яблоки эти вагонная проводница, верно, выбросила в мусорный накопитель.

И так я проехал через всю Украину, её прибранные поля и сёла и сошёл на перроне Харьковского вокзала.

Родные в Харькове

Мамин дядя Фёдор жил и служил в Харькове, и год назад я с троюродным братом побывал у него. И город был для меня добрым знакомцем. Более того, я уже прочитал и о старинном

Харькове, вернее, степных просторах будущей Харьковщины (половецкая степь, Шаркунь, крымские набеги, шляхи и нивы Слободской Украины, откуда родом предки моей мамы, пленительные песни, вишенники и дивчины Полтавщины), — ещё неведомая мне, но близкая даль.

Я был голоден, без копейки в кармане, и, взглянув на мой «студенческий» чемодан, кондукторша даже не стала с меня требовать трёх копеек за билет. Ранний трамвай поднимал на Холодную гору, знакомую мне по рассказам отца, когда рота в сорок третьем попала здесь в засаду, и он на полдня очутился в плену, из которого опасно, отчаянно выбрался. Найдя искомый дом и квартиру на втором этаже, нажал на звонок. Ни звука ответного. Я звонил в ранний час, и мне никто не отвечал; я уже отчаялся и обессиленно опустился на каменную ступень лестницы.

Тут вышла дядина невестка, милая молодая женщина-спасительница, мне по-родственному обрадовалась. И был я дядиной семьёй принят как неожиданный, но желанный гость. Весь день мы бродили городскими примечательными улицами, забредали в исторические уголки, даже фотографировались (хотя я с юности не любил фотографироваться) на главной площади у памятников Тарасу Шевченко и Ленину, показавшихся мне несуразно огромными: я не сразу вспомнил, что Харьков в первые годы большевистской власти являлся столицей Украинской Советской Республики, и его украшали памятниками соответственно — величаво-столично.

Дальше ехал уже радостью наполненный — в ожидании встречи с родными местами. Добрался до **Лисок**, пересел на пригородный до **Евдаково** и, сойдя, почувствовал дыхание Дона, Россоши, Нижнего Карабута.

Ростов, Мариуполь, Донецк...

Октябрь. «Хочу соединить в себе крестьянина, интеллигента и рабочего», — так я сказал отцу перед отъездом в **Ростов донской**. Не знаю, убедил ли его в дельности своего намерения, но денег он дал. Я действительно намеревался устроиться на «Россельмаш», где работал мой троюродный старший брат. Он жил в заводском общежитии, тридцатилетний, неженатый, приходила к нему его полюбовница, и я со своей просьбой пожить у него и устроиться на завод был ему совсем ненужной докукой. Прописать он меня не смог или не захотел, и тогда я решил податься в Мариуполь, на «Азовсталь».

Скоро **Таганрог**. Сажу в ресторане-буфете парохода, заказал две бутылки пива и слегка захмелел. На всём протяжении мелководного Азовского моря установлены бакены. Всё равно за кормой остаётся рыже-чёрная полоса ила... Как это прелестно, что нам везде расставляют бакены! Не заблудитесь, молодые и старые! Первое в моей жизни море — и такое не «моревое»...

В Мариуполе (Жданове) я успел поглядеть на могучие трубы и оранжево-пепельные дымы «Азовстали»; почти убеждённый, что в стальных цехах сам бы закалился, как сталь, я прощелся с грустью отверженного: так простудился на осенних ветрах Азовского моря, что едва хватило сил добраться до вокзала, где повезло взять билет на поезд «Мариуполь-Воронеж» перед самым его отбытием. Очнулся в Донецке — город показался прекрасным: широкий проспект шёл чуть на понижение, затем поднимался вверх и уводил в даль, казалось, недостижимую. Проехал ещё сколько времени, и вот Митрофановка, а отсюда десяток вёрст до Криничного. Первым мне встретился объезжавший поля отец, председатель из призыва тридцатитысячников, в 1955 году оставивший директорство школы в Нижнем Карабуге и направленный «поднимать» колхоз имени Молотова, вскоре переименованный в «Зарю». Он поздоровался шутливо: «Ну как, рабочий класс, вернулся шефствовать над селом?!» Моей одиссее от Киева, Одессы, Харькова до Ростова, Таганрога, Мариуполя настал конец.

Спутник Земли над Криничным

Проходит осень, идёт зима. Я работаю в колхозе «Заря» (деревня Григорьевка, иначе Бобровка, хутора Поддубновка, Новотроицк, Ильюшевка), успел отметить на всякого рода колхозных точках: куда затаскиваемые-перетаскиваемые тюки и брёвна, погрузка, разгрузка сена, соломы, зерна. В райцентр Ольховатка, более чем за полсотни вёрст, возим на трёхтонном «газоне» свёклу, обратно — жом; до Ольховатки ноги успевают промёрзнуть, но на обратном пути согревает взятый в котловинах сахарного завода горячий жом, отжатые клубни свёклы, моей матерью и матерями моих товарищей выпестованные на криничанских, калитвянских, росошанских и иных родных полях.

Пишет Вита Вовченко, друг из Украины. Сугубо крестьянский сын, вспоминает дни, проведённые вместе в Киевском университете и в общежитии на Соломенке как самые замечательные. Присылает стихи на русском и украинском.

Шахматный турнир в Криничном и Новой Калитве, я из нечаянных победителей, удостоенный высокого спортивного разряда и... портсигара с изображением памятника советскому воину в Трептов-парке. *(Нелепо — проиграть одну — выигрывать её! — шахматную партию из семи... а каково — проиграть жизнь? Двамя годами раньше я увлёкся было домино и картами, но скоро от наипростейшего игрального — картёжного — наркотика избавился: быть может, отозвались услышанные в раннем детстве рассказы бабушки о том, как у побывавших в тюрьмах в карты проигрываются человеческие души.)*

Первое похвальное упоминание моего имени в печати, пусть и районной: пустое...

В редакции районного «Красного знамени» встречи с Белокрыловым, Пожаровой, Каменевой, Прасоловым — короткие: жизнь, видать, уводит нас разными путями-предначертаниями.

Вечерами много читаю. Отец по моей просьбе выписал через «Книгу — почтой» четырёхтомный «Словарь русского языка», а на почте приобрёл пятитомник Бунина в голубом коленкоре. Одиночество моё усиливается. Растёт раздвоенность. Плохо. Иногда — как Буриданов осёл. Всё во имя корпорации, а я не корпоративен. Однажды прочитал строки Ницше: «Всякое одиночество — грех, — говорит стадо... И когда ты скажешь: „У меня не единая с вами совесть“, это будет жалобой и тоской» — строки меня притягивают, хотя, чувствую, есть в них некая гордыня, некая неправда и немочь.

Целительна нераздельность с природой. Часто ухожу на луг или в поле... Затеваается первый снег, светлый, робкий, обволакивающий.

Стал бывать в криничанском клубе. Тихо и незаметно влюбился в местную красивую дивчину — Зину Глущенко; внешне она похожа на актрису Элину Быстрицкую, но только более застенчивая, кроткая, нежели Аксинья в «донском» фильме. И было-то проявленного чувства — месяцы, а словно на долгие годы. Мы бродили по заснеженному лугу, и зелёной точкой пульсировал в своём околоземном кружении первый в мире спутник — советский. Впервые по-настоящему поцеловались. Впервые, впервые...

И первая настоящая драка. Как если бы олени изготовились к свадебной драке. Но там противоборство один на один, а здесь... Умолк вальс, ко мне подошли двое (а за ними стояли ещё двое крепко сбитых, по осени вернувшихся из армии). От них разило водкой. «Ты к Зине больше не подходи!» — сказал самый молодой, мой сверстник. — «Это решать ей!» — коротко, но резко ответил я. «Тогда выйдем из клуба!» — «Выйдем, сколько вас?»

Никто не обратил внимания, как пятеро покинули клубный зал. Я с детства был достаточно ловок в борениях и драках и с детства их не любил. Сбив соперника с ног, никогда не довершал победы: обычно ощущал ненужность, несправедность драки. Часто испытывал странное: лучше бы поверженный ударил меня сильнее, нежели мне ставить победную точку. Или во мне из глубин древности проступали, давали о себе знать импульсы негордынности, присущие безымянным раннего христианства? Четверо набросились на меня, и одного я легко

сбил, другого свалил, но тут третий подставил мне подножку, и я оказался на ледяной скользоте склона. Кинулись бить — кто руками, а кто и ногами, и мне бы защищать лицо, но подвернулась рука с недавно приобретёнными часами, и у меня одна колотилась мысль: как бы часы не разбились, не сломались стрелками и не остановились; словно вместе с разбитыми, остановленными часами могла сломаться, остановиться моя жизнь.

На той же неделе — колхозное комсомольское собрание, все ребята-комсомольцы и все участники возлеclubного «боя» были собраны, и сколько же я услышал резких слов в адрес рассупоненных молодцев и сколь добрых — в свой адрес; горячо говорили о чести, о достоинстве, резко осуждали удары неправедной силы из-за угла. Сохранится ли это — стремление к чести, достоинству, совести, справедливости — через четверть века, через полвека? Сохранятся ли эти молодые соборы-собрания в деревне, да и сохранятся ли сами деревни?

По весне я прицепщик, помощник тракториста. Трактор липецкого производства — высокий, как страус, и, мне показалось, малоустойчивый. Апрельская ночь. Боронование. Один на один с большим полем. Дремотно. Радость перебивает дремоту. Как далёк от меня Ницше! Да и все философы и философствующие! Мне радостно оттого, что я частичка общей народной судьбы, делаю необходимое; оттого, что завтра я вновь встречу с любимой, и будем мы долго бродить меж луговых верб, и буду целовать её чёрно-реснитчатые глаза, очи милой малороссиянки; хорошо на душе оттого, что я, надолго ли, ушёл от теории и практики одиночества и перестал жить умозрительно.

Моя родимая сторонка — среднерусская полоса, ещё недавно разорённая, бывшая небывалым полем войны. И далече — приказахская и семиреченски-казачья степь, ещё недавно девственная целина. И как избавиться русской сторонке от этого вечного обирательства? У отца, председателя-тридцатитысячника, сумевшего за два года вывести колхоз в передовые, две грузовых машины и комбайн взяли-«конфисковали» для целины. Отца, помимо целины и кукурузы, не радуют всякоохватные хрущёвские нововведения: разгром районных машинно-тракторных станций (МТС) — сосредоточенно-быстрой помощи колхозам, деление обкомов на городские и сельские (увеличение партийно-чиновного корпуса), затратная и чреватая последствиями перекройка республиканских территорий.

Завершается моя восемнадцатая весна. Зина — как верность и жизнь? Отчего же я донимаю, скорее, мучаю, её, понуждая

отказаться от любимых привязанностей и принять мои внежизненные схемопостроения? Недавно — дождливейшая ночь над Криничным, молнии освещали чуланчик. И я, зная, что она чиста, укорял её мелкими подозрениями на будущее (в настоящем не было и капельки повода), до тех пор, пока она не попросила уйти. И я не обиделся, а изобразил обиженного и ушёл. И как она меня догнала в этом насквозь мокрым ситцевом сарафанчике... Прожигают боль и стыд.

Позже, после пережитого в Криничном искреннего чувства любви, отдавая городские часы молодости неожиданным, пусть и приятным встречам с неожиданными, пусть и приятными девушками, не раз подумаешь: зачем эти праздные свидания, зачем целуешь нецелованных? Ты же не из одержимых охотников за юницами-милокрасавицами?!

Радость от примиряющей встречи с Зиной. Обещаю, что далее не расстанусь с нею. Но понимаю: обещания — всего лишь слабые слова, незримая подступающая жизнь может смести их как осенние листики. С недавней поры меня не покидает чувство какой-то неправды, словно во мраке сбился с верного пути. Не читаю, хотя есть и Пушкин, и Лермонтов, и Боратынский. Даже их — не читаю. Думаю поступить в педагогический институт — по стопам отца. Таким образом воспитать себя? Не поздно ли?

Милая девушка-дивчина, сердечно, душевно богатая, тебе преданная, тебя любящая. И куда не надо уезжать. Отчего же и куда влекут неведомые дороги?

За окнами Криничное — в вербах, в пыли, в силосе...

Пять лет в педагогическом 1958—1963

Заграничная поездка — Румыния

Перед поступлением в Воронежский государственный педагогический — поездка в Румынию. «Голубая Румыния, / Голубые Карпаты», как напишу вскоре, вкладывая в эпитет небесный тон, который возникал в Карпатах.

В годы войны (да всего-то шестнадцать лет назад) румынские воинские части, руменешти объявились в моих родных пределах и, может, позабыв, что они едины в потоке рода человеческого, видели в моих земляках своих врагов, соответственно и обходились с ними: чаще всего — грубо, надменно, насмехаясь над разрухой донского края; да и земляки мои не испытывали к ним нежных чувств, словно и не желая знать, что многие из них — такие же, как они, крестьяне, горемыки,

вовсе не желавшие себя видеть на берегах Дона, да вынужденные сюда прийти по приказу полуфашистской власти.

Просторная, названием восходящая к древнеримскому, Румыния впечатляет своими долинами, горами и морем. Чёрное море — настоящее: праприродное, глубокое.

(Десятки лет спустя в одной из книжек годины украинского помрачения — вирусами нацистского смога, бандеровщины, прозападной внешнеародной властно угнездившейся клики — вычитаю, что Чёрное море есть рукотворное: оно якобы выкопано украми — древними предками нынешних украинцев. Поскольку в подобном, даже в детские головы вбиваемом «новознании», нет ни убедительных интуиций, ни исторической истины, то остаётся разве что пожелать: да пригортайте вы, исторически наши братья-малороссы, корнями единого восточно-славянского древа повитые, все славы древности, только в современности сбросьте приносное лукавое иго, не давайте себя морочить, зомбировать североамериканскому «сияющему граду на холме»: оттуда изрыгаемые ложь, наглость, пошлость, лицемерие, бесконечные комбинации-провокации, жажда лезть в ближние и дальние страны со своими правами и правилами, свободами и извращёнными хотениями залепляют глаза и уши, и, что страшнее, — сердце, и что ещё страшнее — разум!)

Стоишь в **Констанце** у памятника древнеримскому поэту Овидию, здесь, на окраине Римской империи, пребывавшему в ссылке, и невольно начинаешь думать, что человек уже при рождении обречён на ссылку: его могут лишить и часто лишают родины, и он часто незванный гость за её пределами, и тогда иные начинают чувствовать себя краткими и необязательными жильцами на планете Земля.

(Броненосец «Потёмкин», бросающий якорь покорности румынским властям, в большевистской трактовке — чуть ли не герой. А каково было бы видеть реальному Потёмкину это «геройство» названного его фамилией броненосца? И каково было тогдашней русской флотской чести видеть всё это — своих сотоварищей, то ли стихийно нарушающих присягу, то ли управляемых, выворачиваемых щупальцей мировых и внутренних разрушительных сил? Но таким вопросом задашься позже, а у румынского берега Чёрного моря твоё молодое восприятие — именно большевистское, благодарно воспринимающее бунт-мятеж. Даже вскоре напишутся посвящённые кораблю-мятежнику стихи. И кто бы тебе подсказал — о чести Андреевского флага?!)

Целый день — осмотр королевского дворца в Карпатах. Знаю, румынский король Михай награждён орденом Победы.

Его страна воевала против нас, а наши солдаты (разве что медаль «За отвагу»)... многие убиты пусть и не столь отважными румынскими солдатами. Орден Победы одинаково отсвечивает алмазами что у румынского короля, что у советского маршала. После придётся с горечью убеждаться, сколь часто не по справедливости оценивается всё на свете: солдатская отвага и кровь, маршальские высоты, политические личности и безликости, учёные труды, литературные страницы, социальные страсти.

Брожу, один из воронежцев, по ночному **Бухаресту** (*позже ночные знакомства с незнакомыми городами станут привычным тяготением*), наказ руководителя — прогуливаться вдвоём-втроём и неподалёку от гостиницы, никому не велено быть одиноком; я в туристской группе, составленной из разновозрастных славян чернозёмного града, соединённых с литовцами из Вильнюса и Каунаса. Не очень-то у нас, воронежцев, ладится с этими прибалтийскими товарищами. Пытаюсь понять их неприязнь, но они — как закрытые створки раковин.

Не найдётся разве сильной государственной русской личности, которая бы возвысилась над прошлым, даже над нашим тяжелейшим, в Северной войне великих жертв стоившем присоединением Прибалтики, и заявила: карты в руки, радуйтесь сланцам и шпротам, мелководному побережью. Живите своей жизнью!

Взбираемся на одну из вершин Карпат. Водопад бешено устремляется вниз, там разбросаны, как игрушечные, домики под красными черепичными крышами и шумит, и пенится речонка. Паровозик останавливается на выровненной площадке близ водопада, и немногие из нас устремляются под его ледяные струи. Паровозик пыхтит, поднимаясь всё выше и выше.

Отдых наш — в международном туристическом лагере на берегу Чёрного моря. Ряды брезентовых палаток с двухъярусными кроватями, песок горячий, не успевающий остыть и за ночь. Немцы, англичане, венгры, чехи, поляки — по первому впечатлению, все здесь — без камня за пазухой, без исторического злопамятства. Именно по первому впечатлению. Правда, чех, с которым я подружился, сказал мне о немцах: «Начнись война снова — они нас снова подомнут...»

Англичане — холены и по первогляду высокомерны. Поляки — разные. И думаешь, кто нас, Россия, любит? Даже внутри Союза? Будь моя воля, я бы присоветовал и позволил прибалтам, грузинам, да и западным (волынско-подольским, прикарпатским) пассионариям, исторически утратившим свою русскость и зачем только присоединённым к имперской короне, какие угодно плебисциты об отделении, но не дал бы им под эгидой и жертвенной защитой России злоязычить о России.

Наши споры о фильме «Летят журавли», о советском спутнике Земли. Болгарка с юными жадными глазами просит мой

адрес, словно не осознавая, что наш разговор — миг, который никак не скажется на наших судьбах. Более серьёзное. Кристина, милостивая умница из Парижа, дочь эмигрировавшего русского белого офицера и француженки. Наши многоговорящие диалоги: она — о Франции, я — о крестьянски-полевой России. Проработка меня за неразумное внимание к «белогвардейской дочери» одним идейным, старше годами воронежцем, и моя дерзость, мол, своих младших братий воспитывайте в духе политической благонадёжности.

Плоешти — нефтяная столица Румынии. Нефть когда-нибудь иссякнет, но жизнь-то здесь, надеюсь, продолжится; а что до памятников истории и культуры — не всюду они есть, и не на каждом прикарпатском высококовзгорье — дворец румынского короля, действительно впечатляющий.

В приморском городе **Констанца** в необъяснимых чувствах выстаивал у памятника древнеримскому поэту Овидию у самого Чёрного моря и вдруг почему-то вспоминал донские осокори. Вспоминал воронежское чернозёмное поле в хлебах. В короткие недели побывал я и в горах, и на море; купался, плавал на прогулочном пароходe, радуясь весёлым косякам дельфинов-умниц за кормой, и чувствовал, что с древних времён поэтами воспетые, действительно величавые горы и море — великие проявления Божественного геостроительства — не волнуют меня столь сокровенно-щемяще, как скромные хлебодающие поля, далеко уходящие за горизонт, когда смотришь на них с прибереговых холмов Дона.

Утром седьмого августа пятьдесят восьмого года я, взяв в руки родительский, разные грады и веси повидавший чемодан, легко ступил на перрон вокзала **Воронеж** и пешком направился в педагогический институт.

По договорённости обкома комсомола с ректором, точнее, директором сочинение писал вместе с абитуриентами факультета физического воспитания, не особенно тянувшимися к литературе, и на фоне их познаний моё сочинение удостоилось высших похвал. И остальные экзамены сдал на отлично.

После вступительной сессии на две недели приехал в Криничное, где вся семья от души радовалась, а отец не преминул пошутить: «Советский Ушинский (думаю, дотянешь до Ушинского) намного важнее, чем какой-нибудь буржуазный письменник — стихотворец или журналист». Отец не стал разъяснять, почему я мог стать именно «буржуазным письменником».

На велосипеде проехал родные места — будто прощался с ними. Побывал в Новой Калитве на Мироновой горе и у донского паромы, проехал мимо школы и зашёл во внутренний двор школы в Старой Калитве и, конечно, исходил весь

Нижний Карабут, взобрался на кручи, долго лежал на затравелой седловине меж Стенками, глядя в небо и ощущая его как вечность, и с грустью понимая, что этого простора вечности в городе мне уже не увидеть.

Начальный студенческий путь

Воронеж. Зрительное знакомство с городом: звонкие трамваи, ещё нечастые на улицах легковушки; на главной улице гастрономы, в их витринах пирамидками громоздятся консервные банки с печенью трески; утёс башни управления Юго-Восточной железной дороги; в лесах приметные здания центральных улиц — завершают восстановление их, в войну разрушенных. Первое впечатление — всё красивое: девушки и пожилые женщины, улицы и парки, открытые виды на заречное левобережье. И педагогический, своим фронтоном с коринфскими колоннами словно бы явивший в Воронеж античное, древнегреческое, архитектурно-классическое.

Какие чувства рождает город? Никогда сполна не узнать здешнее прошлое, а ещё — давно возникшее чувство вины перед ушедшими и живущими.

1958 год, первые числа сентября. Ещё не успев толком познакомиться, мы отбываем в колхоз. Весь институт — разбуженный улей. Первый курс филфака определяют в село **Синявка** (позже — **Утиное, Козловка, Красное...**). Сельское — мне родное, хорошо мною знакомое. С поля возим силос и зерно. В районной газете — мои первые беспомощные стихи.

Возвращаемся через месяц — начинаются лекции.

На квартире нас трое. Виталий Санников, начитанный, образованный, сын учителей старой формации. Юрий Минаков, золотой медалист, гонористый, обо всём рассуждающий, словно выпускник Всемирной универсальной Академии наук, а не тамбовской десятилетки. С Виталием мы подружились.

Лекция по истории Древнего мира. О походах Александра Македонского. Читает почтенный Антон Фёдорович Шоков. Внимаю, как и подобает ненабалованному первокурснику. Правда, отвлекаясь несколько раз приходят на память знаменитые слова великого полководца, узнавшего однажды, кажется, от Демокрита о множественности миров во Вселенной и воскликнувшего в горячем возмущении: «О боги, а я не покорил ещё и одного!» Думая об Александре, покорителе полумира, спрашиваю себя: какая в сущности разница между победителем и побеждённым? Человечество — единый пульсирующий комок осознавшей себя материи. Каждый — в каждом. И побеждая кого-то — побеждаешь себя.

Александр Македонский был счастлив в такой же мере, как и несчастен. Что такое счастье? Александру в зените славы явилась мысль, столь же добрая, сколь и тщеславная, — ода-

рить философа Диогена счастьем — суммой всяческих земных благ. Подошедшего к философу завоевателя Диоген попросил не мешать ему лицезреть солнце. Уважаемый нами преподаватель всё-таки достаточно вольно обходится с полководцем, словно не античный философ Аристотель, а он, преподаватель педагогического института, и есть наставник Македонского. Но исход, видимо, таков, каким видит его профессор: после вторжения в Индию в войске Александра Македонского женщин оказалось гораздо больше, чем воинов; они и стали причиной возвращения знаменитого грека поближе к родине.

Или чтобы понять, как мир пришёл к нынешнему опасному разладу, надо начинать с античных побед и поражений.

Профессор рассказывает о некоей, из дымки времён проглянувшей Аспазии, впрочем, полубожественной, а я на узкой подугорной воронежской улочке едва не столкнулся грудью в грудь с девушкой, которая милее, нет, прекрасней всяких аспазий, и пока сравнивал её с пепельной птицей, или синей кристаллинкой, она куда-то подевалась; а встретились мы в пединституте и улыбнулись, как давно знакомые, и разговорились...

Серьёзное и забавное явление — институт. Кто такие наши наставники? Профессор Тонков в лекционных чтениях так «увлекался», что я остыл даже к читаемым им древнерусской литературе и фольклору: он в скверной частушке ухитрился найти смысла не меньше, чем в роденовском «Мыслителе». Профессор Шепелев — занудный и скучный преподаватель-педант ранней отечественной истории, и мне не раз грустно и благодарно вспоминался сельский учитель-историк милостью Божьей. Декан-доцент — причудливое сочетание ума и лукавства, тщеславности и нравственной глухоты. В иное время он, пожалуй, мог быть фискалом, причём придумал бы теорию, по которой ему надо быть фискалом в интересах человечества. Говорю так, будучи свидетелем, как он выстаивал под дверьми аудитории, слушая в отсутствие преподавателя наши молодые мятежные дерзости, а потом врвался внутрь, аки барс рычащий, эдакий кнут карающий.

Необъятен советский бог на доброе для недобрых? Даже если бы и так — не мне и моим друзьям судить их, разных, и не нам рассуждать, кого там ждёт — не дождётся «ЖЗЛ», а кого — сатирический журнал: в оценочном суждении всегда обнаруживается ветвь неправды, поскольку всего человека не дано узнать и понять, даже долго зная его.

А есть в институте интересные люди (Князев, Латышев, Артёменко, Михайловская, Китина, Кретова), но они — словно бы в тени. Всеворонежски известен преподаватель общественных наук Степан Иосифович Батраченко — слепой, потерявший глаза на финской — «на той войне незначимой». Умён,

интересен, а ко мне и благожелателен директор (почему бы не ректор?!) Леонид Николаевич Талов.

С полгода проучась и, как мне казалось, вполне выяснив уровни дающих знание, иные лекции постепенно стал пропускать, но по большей части снисходительные преподаватели, в беседах со мной выяснив моё общее настроение, не ударялись в придирки. А у некоторых, набравшись студенческой наглостности, я даже умудрялся занимать деньги — пять, десять рублей до стипендии, и милейшие преподаватели русской литературы от века восемнадцатого и девятнадцатого Александра Дмитриевна Китина и Нина Дмитриевна Михайловская с улыбкой и пониманием одаривали «банкнотой», которую я в день стипендии час в час возвращал.

Против выпивок не всегда удаётся устоять, скорее — нет охоты устоять. А Виталий Санников, чуть позже Борис Соколов, считали даже некоей данью декадентской традиции — выпивки по всякому поводу и без повода. Виталий возглашает: «Когда-то были мы богами, а в нашем веке мы богема». Есть и более сильное, зовущее к «зелёному змию» как к некоему протесту против тривиальности омещаненной жизни — некоей юридически исписанной незримой клетке, в которой мы вынуждены обитать, кто тихо радуясь бытоустройству, кто гневно возмущаясь и погружаясь в своё протестное поражение-питие; «Ты будешь доволен своею женой, — / Своей конституцией куцей. / А вот у поэта всемирный запой, — / И мало ему конституций».

Притягивают французские декаденты, неужели «Цветы зла» прорастают в наших душах: Бодлер и ему равноподобные — словно демонские маяки? Мы размышляем, как декорировать частный «погребок гибели» и всеобщий «инфернальный огонь личности и мира». Выпивши, поздними вечерами создаём и тут же разрушаем философские традиции и новации. Незадолго до желанного дня стипендии бываем — и впроголодь. Чаще всего, изо дня в день — солянка, хлеб, замечательная селёдка с кориандровой посыпкой, килька, субпродукты, печень трески, которая пирамидами-горками желтоватых консервных банок громоздится в витринах едва не каждого воронежского гастронома.

Борис неизменно приглашал меня в гости к родным, и мы вечерним поездом по субботам ездили к его гостеприимным родителям в **Семилуки**; и досыта наедались жареной картошки с солёными бочечными огурцами, а затем пускались в прогулки по городу, главной достопримечательностью которого был горячий огнеупорный завод — детище первой советской пятилетки, как и сам городок, своим названием обязанный соседнему селу Семилуки.

(Позже на окраине Семилук, на придонском крутогорье будет воздвигнут памятник лётчикам Второй воздушной ар-

мии, в годы войны в здешних местах начинавшей боевой путь, а неподалёку начнутся археологические раскопки, которые выявят, по мнению причастных к раскопкам учёных, самый ранний Воронеж — задолго до монгольского нашествия.)

Дух мансарды, стиль богемы? В нас растёт отрицание. Но взамен старого идеала должен явиться новый, иначе жизнь теряет направление. Мы же чем ни больше читаем и умничаем, тем больше запутываемся. В таком состоянии, без крепкой веры и убеждённости, легко избрать обманчивые кривые тропки. Незаметно нарастает снобистское прекословие текущему, стремление во всём видеть злую волю и хаос.

Становимся поборниками «научной поэзии», поэт Брюсов вдруг ненадолго становится для нас чуть не вровень с Пушкиным. Чувствуем космические скорости или... печальные и бесчисленные осенне-зимние дожди? Да, уже осень, уже зима.

Кажется, изъяснялись бы на языке двадцать пятого века, если бы двадцатый век позволил. Мы небогаинники, небошественники, в преддверии богопознания...

Все эти полубредовые состояния чем объяснить? Утратой почвы? Подражанием приманчивому декадансу? Наивным социальным протестом. В библиотеке, державно именуемой Фундаментальная, началось основательное чтение Достоевского. Это — главное. Хотя и массу всего прочего — от некрасовского «Современника» до ницшевского «Так говорил Заратустра» — можно было прочитать. Так что книги — не одни только «Кавалеры Золотой Звезды», да горбатовские «Непокорённые», да павленковское «Счастье», и прежде чем трубить-возглашать «Ура!», они побуждают разобраться, имеет ли вообще смысл трубить «Ура!»

Взял билет в цирк-шапито в Первомайском парке. Вокруг волновалось море пересмешиков, непрофессиональных любителей клоунады (неразличимых завов и замов, председателей и секретарей, тружеников и гуляк, полупраздных вьюношей и девиц) и ждало клоунов профессиональных... Картинно, манерно выбегали арлекины и потешались над всем и всеми... Но вот на арене появились два белых медведя и бурый медведь. Скорее — медвежата. Закружились шары. И, наверное, цирк кружился. Шли минуты, а мне казалось, что годы. Кружились звери, и весь балаган кружился. И была в глазах у медвежат отрешённость такая, и боль такая, что хотелось заплакать. И совали им сахар. И катились в опилки медвежьих слёзы. И хотелось им, белым, белого льда. А бурому — бурой тайги... Их пронзали сотни электрических лучей, потоки огней, и дрессировщик, словно укротитель бушующего хаоса, метался по манежу. И под бравурный грохот медных тарелок гоготал амфитеатр. И бедные медвежата тупо исполняли заученные

комбинации. Их было трое, медведей-невольников. А я чувствовал себя тоже медведем — четвёртым, нет, вмещающим в себя тысячи несчастных.

В актовом зале педагогического выступают поэты. Гордейчев, Жигулин, Лутков... Иные стихи — крепкие, строгие, во всяком случае, их слова честнее и искренней, а может, не столь актёрствующие, как у недавно выступавшего здесь заезжего актёра-молодца Олега Табакова, на мой мимолётный взгляд, в пустячном — талантливом, в корневом — то ли притворяющемся пижонистым.

Фонотека на улице Мира. Тесноватая, душная, жёсткие наушники, но именно здесь я впервые прослушал (несколько раз) Первый концерт Чайковского, «Реквием» Моцарта, «Гибель богов» Вагнера, романсы Шуберта, многое из Глинки, Бородина, Римского-Корсакова. С удовольствием ставил пластинки с произведениями Верстовского, Калининкова, Рахманинова, ещё — Дебюсси, Сен-Санса, Равеля, особенно «Болеро»...

Городской парк культуры и отдыха, носивший в довоенные и послевоенные годы имя Лазаря Кагановича, и долго ещё после хрущёвского ловкого изгона с политической сцены антипартийной группы, в какую определены были некогда первые приближенцы к Сталину — Маленков, Молотов, Каганович, воронежцами обиходно назывался «Кагач». Незаменимый уголок отдыха и людей в годах и, естественно, молодых. Четверть века назад через парк проходила огнераздельная фронтовая полоса, всё ещё дававшая о себе знать то полузатравленным окопом, то полузасыпанным рвом, то осколком в коре дерева, но парк хранил мирное, даже некое патриархальное ощущение начальных лет его жизни. Парни с девушками гуляли до полуночи по низинным аллеям, травяным косогорам с кустарниками и островками былых дубрав — и никаких угроз, хулиганских нападений, во всяком случае, жизнь была менее опасной, чем дальнейшая, или таковою казалась молодым. Случалось и мне насквозь «прошивать» ночью весь парк — обходилось без приключений.

Зелёный мир, озерцо с тинной водой, скульптура незатейливого былинного богатыря, парашютная вышка, танцплощадка. Последняя являлась уголком, где копилась молодежь, сильная страсть, где завязывались встречи и скорые провожания, которые нередко уводили в свадьбы и семейную жизнь.

Духовой оркестр был музыкальным властителем танцплощадки, и надо сказать, что такие оркестры звучали едва не в каждом парке — парковая культура была и наивно явленной в некоторых гипсовых скульптурах вроде пионера, трубящего в горн, и достаточно высокой — музыкой и песнями, которые

содружно поздними летними вечерами доносились с зелёных оазисов в разных концах города — будь то горсад Первомайский, парк Дома офицеров или строителей, или — на месте бывшего Всесвятского кладбища, метко прозванный воронежцами Парк живых и мёртвых, или для краткости — ЖИМ.

Стадион «Динамо». Общеинститутские соревнования по лёгкой атлетике. Забег на стометровку, где я (какого восторга или страха ради) пробежал быстрее всех, обогнав даже двух явно спортивного вида парней с факультета физвоспитания. Тренер подошёл, спросил: «Хочешь бегать всерьёз?» Я отшутился: «Это в каком смысле: догонять или убегать?»

(В детстве и отрочестве я любил спорт, пусть и сельский, незамысловатый, прямодушный, бедный соответственным инвентарём; несколько раз становился чемпионом школ на родине — по бегу на лыжах (освобождаясь от верхней одежды, исходя паром и вмиг на ветру остывая, несколько раз заболел воспалением лёгких), прыжкам с местных спусков-трамплинов, был первым по метанию копья и гранаты, переплывал Дон туда-сюда на спор и приплывал первым.

В институте и позже я радовался победам Тамары Люхиной и Любови Бурды — воспитанниц гимнастической школы Юрия Эдуардовича Штукмана, взлёту воронежского футбольного «Факела», боксёрским победам Валерия Абаджяна.

Но в какой-то мере и некая полубогемная, нездоровая институтская среда утянула меня от спорта, а также аккордеона, мандолины, шахмат. Только раз-два, радуясь победным прыжкам в воду воронежца Дмитрия Саутина, вспомню позже, как я и мои ровесники сигали с обрывного, подмываемого берега Дона, — тоже прыжки в воду, в которых таилась опасность, а не победа. А может, уже в институте, где имелся факультет физвоспитания и честно сражались и побеждали наши, институтские, я предпочувствовал скорогрядущий трудноприемлемый здоровыми душой и рассудком спорт, который станет не всемирным поединком достойных и независимых, а чем угодно — политикой, бизнесом, допингом, плацдармом зависти и ненависти, продажно-прибыльным дельцем околоспортивных макларенов и родченковых, вовлечением женской стати в тяжесть штанги, жестокость боя без правил; словно бы уже слышал слова апостола Павла: «...заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения».

А может и ещё раньше... Нина Захаровна Шпилевая, условная, гражданская — вне церковной купели — крёстная мать, учительница в моём родном селе, хотела обратить на мои ранние спортивные успехи внимание своего родного брата —

инструктора ЦК, но иное существенное у всех нас помешало задуманной встрече.)

Парапютная вышка в городском парке и мой прыжок, далёкий от настоящего, как душевой дождик от дождя тучевого.

Новогодний праздник в общежитейской комнате. Славная, непорочная девушка из семьи военных, прибывшая в Воронеж из Сахалина, Лена Ткаченко, которой я, не знаю чем, робко нравился со дня первой сентябрьской встречи. После третьего тоста старшекурсники оставляют нас вдвоём; но я один, один на один со своим прошлым, своими тревогами, борьбой с самим собою, и не знаю, как ей об этом сказать; хотя, чувствую, она сама всё чувствует-понимает. О чём-то пустячном мы говорим, чтоб не молчать. Она улыбается мне и, отличница факультета иностранных языков, вдруг грустно прочитывает в подлиннике строфы Байрона. Мой друг недавними днями переводил их, и мне понятен их смысл. Я читаю на немецком знаменитое двустрофие о сосне и пальме. Обоим становится легче. Наши старшекурсники шумно возвращаются с улицы. Повернулось так, что после мы с нею почти не встречались. Только на пятом курсе проговорили вдосталь, уже легко: она освободилась от тиховосторженного чувства.

«Декаденты» второго курса

Подъезжаешь к Воронежу — средь берёз вздымается белосиняя церквушка. Как в «Грачах» у художника Саврасова. Эта церковь Казанской Божией Матери делает местность бесконечно родной, близкой.

Их в мои молодые годы и было-то — всего три действующих церкви на большой город. А в имперские времена — около тридцати, да ещё российски чтимые монастыри. Но революционно-атеистический погром и война разрушили под фундамент многие церкви; остальные — без накупольных крестов, да нередко и самих куполов, с выбитыми дверьми и окнами — являли зрелище тягостное.

(Много спустя в энциклопедическом издании «Воронеж. Культура и искусство» (2006) писал о том, что в годы своего студенчества и позже я не знал лучших и более грустных «путешествий», как забредать в эти духовные уголки; часами бродил бурьянным подворьем Алексеевского Акатова монастыря, вокруг восьмизонной звонницы — самой старой кирпичной кладки в Воронеже; часто бывал у приречной Успенской церкви; не однажды входил под своды Введенской церкви, притягиваемый её благородными формами. И всюду властвовали поругание и запустение, и даже небо, видимое в губительные проломы и пустые глазницы окон, не могло радовать: оно словно бы тоже скорбело над

разорением... Разумеется, порушенный храм — не мёртвый храм. Даже через века неслышно звонят его колокола, раздаются молитвы верующих, кресты незримо возносятся ввысь.)

В ночной Воронеж поднимаюсь с тобою, Люда, ласковая, доверчивая. Мы у самой речки, а над нами воронежские церкви, чудом не разрушенные, — Ильинская, Спасская. А над ними — звёзды. Но мы не видим ни церквей, ни звёзд. Смеюсь и радуясь, я легко поднимаю тебя и на руках по узкой улочке несу вверх. Ты загадала желание? Снег скрипит под ногами. «В любви любенеющий»? — слова Хлебникова, отражающие подобное состояние. Или всё же — любовь моя ждёт лучшей погоды, вernerее, свыше назначенного часа?!

Да, три воронежских действующих церкви, а было в начале века — около тридцати. То ли глядя на силуэты городских храмов, вдруг подумал о церкви Михаила Архангела в родном Нижнем Карабуте. Подумал с благодарностью, что она сохранилась. Могло же стать так, что, в атеистическое тяжколетье, вынужденно оставленная моими земляками, она бы год за годом, медленно саморазрушаясь под дождями и ветрами, сиротски сквозила выломанными дверьми и окнами или бы под её сводами разместилась тракторная мастерская, химический склад, иная неприглядная кладовка. Нет, на моё счастье, в ней открылась школа, в ней прошли семь моих, может, самых прекрасных искренних лет. Но что с нею будет дальше?

(Когда приехал в родное село позже, узнал, что в ней — детский сад. То есть, к счастью, всё — воспитывающее: детский садик, школа, церковь. Тогда мне, может быть, впервые по-настоящему сердечно явится: в этой церкви мои дедушка и бабушка бывали тысячи раз — в духовном доме своём; и они, мой дедушка, в каждовечерье у оконца родной хаты медленно и бережно читавший Евангелие, и бабушка, сокровенно ему внимавшая, когда-то венчались под сводами возведённой их предками церкви, и это венчание, пусть и в скромной церковке, но перед крестом, стало благодатным напутствием на их будущую жизнь, дало прожить до глубокой старости в добре, вере, помощи ближним. И сколько здесь венчалось их, моих молодых земляков-славян, — спасибо церкви за два века духовного служения, спасибо всем, кому она была истинной церковью, позже школой и детским садом!)

Словно омут — декаданс и упадочная философия. Засасывает — как болото. Возглашаем: *vanitas vanitatum et omnia vanitas* — всё персть, суета сует, бренность материи. Тогда — *quo vadis?*

(В начале шестидесятых мне часто выпадало бывать в Усмани, где жили отец и мать моего друга Виталия Санникова. По субботним вечерам пригородный на минуту-другую приостанавливался на станции Усмани, и волна приезжих стремглав мчалась, в толпе таких же мчащихся, чтобы на привокзальном пятачке втиснуться в допотопный автобусик, — единственный, который подавался к приходу пригородного и которым можно было добраться до городка. Автобус обычно ехал долго, целую вечность, гибельно подпрыгивая на ухабах. К главной площади стекались улицы, ещё сохранились на них старые, купеческие, добротные дома. Что было в тех домах? Чувствовалось, что в городке присутствует незримый дух особого, уездно-культурного уклада, но — что за ним?

Врубленом, из мощных вётел, глыбистом доме жили Санниковы — отец и мать моего друга — Павел Акимович и Клавдия Ивановна. Городок — позже узнаю — любил их: они были учителя, истинно народные интеллигенты, и едва не пол-Усмани набиралась у них ума-разума; были и грядущие знаменитости, как, например, Геннадий Басов, будущий нобелевский лауреат, физик, — он учился в первой школе и у преподававшей здесь Клавдии Ивановны был из наиспособнейших учеников. Павел Акимович до войны — в медицинском техникуме, какое-то время работал в Усмани просто учителем. В начале двадцатых он проходил курс химических, биологических наук в Воронежском университете, к слову сказать, хорошо знал там же набиравшегося знаний Павла Черенкова, ещё одного будущего нобелевского лауреата в области физики; в студенческие вечерние часы их не однажды можно было видеть склонёнными над шахматной доской. Павел Акимович являл собою кладёзь знаний обо всём, разумеется, и об Усмани — тоже. В разговоре какими-нибудь штрихами, сценами, именами, названиями часто выводил на Усмани. Заходила речь о музыке — к месту мог рассказать о певческой капелле Голицыных в Усманском уезде; затевался разговор о шекспировских трагедиях — извлекал из полузабытого имя рождённого на усманской земле выдающегося актёра-трагика Россова, глубоко и возвышенно воплотившего шекспировские образы на русской сцене; размышлял о науках — вдруг вспоминал ещё одного уроженца Усмани — незаурядного учёного-химика Флавицкого.

Усмани из рассказов учителя виднелась как культурный оазис, не со вчера существующий. И впрямь — уездное училище, открытое ещё в 1821 году, реальное училище, женская гимназия... И уже вовсе достопримечательность местной культурной жизни — Усманская общественная библиотека, успешной деятельности которой немало способствовали писатели Эртель и Засодимский.

Усмани — в немалой степени литературная. Павлу Акимовичу было что рассказать: дружа с проживавшим долгие годы в Усмани, в домике у горсада, писателем Завадовским, он встречался и с приезжавшими к нему литературными собратями Новиковым-Прибоем, Ширяевым, Панфёровым, был свидетелем и участником их живых бесед о море, земле, коне, да и о многом ещё, чем жила, чему радовалась и огорчалась родная страна.

Однажды учитель, обычно иронично-мудрый и не сетующий на жизнь, вдруг пожаловался, что Завадовского, писателя замечательного, мало знают; правда, тут же и добавил, что автора «Великой драги», «Песни седого волка» ещё издадут и переиздадут. Тогда мне действительно с трудом удалось раздобыть повести репрессированного писателя. Надежда учителя осталась во мне — как завет, и когда, четверть века спустя, мне выпало готовить к изданию книжную серию «Отчий край», в её проспект был включён и сборник произведений Завадовского.

В моей давно продуманной, но и поныне незавершённой книге «Отцы и дети» собраны исторические имена-фамилии, вплоть до старозаветных, их великое множество, они в разной степени известные. Изредка есть и безвестные, чаще всего люди одарённые, выдающиеся, но на заслуживающую их таланта известность не вышедшие: из-за слабой воли, тяжёлых тяготений, покорности обстоятельствам ушедшие в безвестность. Среди таковых выдающихся, но свой дар не высветивших, и мой друг — поэт, прозаик-юморист, знаток иностранных языков.)

«В октябре после дождя ударили большие морозы. Деревья, ещё зелёные, попали в хрустальный ледяной полон. Торопились по улицам люди, а в домах тепло мерцали телевизоры, но всё это казалось теперь неживым или инопланетным, и только тяжело жил лёд, умертвивший листву веток. Под ледяной тяжестью молодые тополи, вербы и акации надламывались. А ветви, феерические, как плети, унизанные кристаллами, свисали до самой земли. Словно огромные люстры, положенные на асфальты Воронежа. Или, быть может, они походили на пальмы... эфемерные северные пальмы. Через два дня, когда спала ледяная неволя, не стало ни пальм, ни люстр — стояли холодные тополи с тёмно-зелёными жёсткими листьями. Ветер рвал их и не мог сорвать: они были неживыми. И разве люди, прельщённые и утеснённые обещающими салютно-сверкающими режимами-доктринами, не такие же обледенелые листья?»

Это писал я в первую студенческую осень, сейчас перечитал. Высокопарность умертвляет всякую искренность. С самого детства чувствовал, что нельзя писать этим напыщенным слогом,

и почему-то с самого детства тянуло к нему. Я его называю мало-марлинизмом. Этот стиль как Лернейская гидра: чем больше от него стараюсь отпрянуть, тем больше он ко мне пристаёт, прорастает многочисленными зазывающими головами.

Цветы в магазине белые и немощные. Их никто не покупал. Дома записал о парниковых: «Цветы чем-то напоминали обречённых болеющих — что-то мертвенное было в них. Крупные, они пахли, но не резко. Трогательной была прелесть их белого бессилия. Парниковые цветы, взращённые на трижды удобренной почве и знающие солнце через стекло, — им нечем вдохновиться и некого вдохновить; и покупают их бледные девушки, страдающие бледной немочью и тоской по идеалам, которые стали смешны уже при первом зареве нового ядерного века...»

Недавно в письме к одной знакомой поучал: «Сам по себе высокий стиль ещё не вреден, но он может оборачиваться в псевдовысокий — это уже если не уродливость, то литературный кривопуток. Только в кажущемся простым словесном выражении — Пушкин. Он искренен, точен, органично художествен. А марлинизм — он напыщен, искреннее нередко сворачивает на ложное. Чувство и мысль сами по себе великие достояния человечества, и они не нуждаются в потоке велеречивых словес...» Письмо предостерегало от вульгарностей псевдокрасивого стиля, но само оно написано этим «красивым» стилем... Да и притягивание фамилии Бестужева (Марлинского) не безусловное, здесь соседствуют десятки подобных и, может, более уместных имён и псевдонимов из разных литератур.

Скорей всего — экспериментирование языковое, объяснимое тягой-любовью к русскому языку, что и подвигает на поиск неких особенных выражений. Со временем, надеюсь, ложное — отсеется, нужное — останется.

Если бы я был служитель слова в хорошем смысле! Помню, как восхищался «неразрешённостью разноречивой» Анненского...

В одно время мой активный словарь был наполнен лексикой: светлынь, инобытие, всесожжение, лучезарие, пустынножитель, безогненно, одесную, отринование, неисследимый, юнострастие, нетленен, венчально, иноческий, сомолитвенник, чаромутие, молебный, тайнобрачие... — и десятками подобных слов, почерпнутых из церковных и академических словарей, при чтении духовных стихотворений или услышанных в церкви и в поле.

Идёт зимняя сессия, мои сокурсницы, бедолажки милые, угорают в читальнях. А меня не отпускают строки Блока: / «Кто даст мне жизнь? Потомок дожа, / Купец, рыбак иль иерей / В грядущем мраке делит ложе / С грядущей матерью моей...»

Декаданс прилипчив. Хмелит? Отбивает от традиции, от истинного. Санников перечитал бездну англичан и американцев, кое-что перевёл из Шелли, Вордсворта и — пьёт. Соколов рисует шаржи в духе «капричос» и — пьёт. А может и не от спиртного пьянеют угарно...

И я накрепко связан декадентской лентой — интонационно, лексически, содержательно. Вот строки мои: «Волнующе сникли шелка / Волнующе белых наплечий...»; или: «И скорбен я, как летаргия, / Как литургия, скорбен я...»; или: «Здесь пригубленные бокалы хмелеют, / Здесь погубленные девушки молчат...»; или: «Полюбила меня, не каюсь, / Очарованная, колдуешь, / В тонкий сумрак, смеяшь, увлекаешь / И целуешь, целуешь...»

Какое-то биологическое и духовное угнетение, самим собою создаваемое. Не отвращение к жизни (*taedium vitae*), а странное желание инобытия. Или тоска по внеземному родилась в нас раньше, чем родились мы? Полусомнения, квазитонкие рефлексии и размышления. Наверное, походим на тех выучеников Ренана, которые, «доказав что-либо, тут же стремились и опровергнуть доказанное или, по крайней мере, подвергнуть сомнению». Договариваешься иногда до дефиниции души: «Душа есть безусловное условие всякого условия», данной когда-то малоизвестным университетским преподавателем.

Тоска небытия, или небытия, как подсказывает декадентский минор-словарь. Настигает: «Тайно сердце просит гибели», «Как тяжело ходить среди людей / И притворяться непогибшим», «Мы только стон у вечной грани, / Больные судороги рук», «Кому назначен тёмный жребий, / Над тем не властен хоровод», — сотни строк вызывают к губительному... усиливается необращённость к чувству радости. Останавливают и строки более вызывающе-надменные, программные: «А если грязь и низость только мука / По где-то там сияющей красе?!» Сколько здесь вариаций, дескать, невозможно высоко подняться, не изведав грязи; только падая, можно взлететь; и даже на религиозном поле встречаешь: «Не согрешив — не покаешься». Всё-таки здесь много от лукавого. Правда, реальность есть и таковая — ахматовская: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи...»

У Бодлера читаю: «Любовники пошлого сыты, / Их доля светла и легка. / А руки Икара разбиты / За дерзость обнять облака». Всё так. Хотя тоже, может быть, не бесспорное. Как не бесспорны, но сколь же притягательны строки Рембо, мятежные и колдовские строки, какими наполнен его «Пьяный корабль»: «Я запомнил свечение течений глубинных, / Пляску молний, сплетённую, как решето, / Вечера — восхитительней стай голубиных / И такое, чего не запомнил никто».

Это нас одаряют древнецарственные Нефертити и Клеопатра своими первыми объятиями, это мы беседуем с Абельяром и Фомой Аквинским о скоротечности человеческого, но не Божественного, это нас, словно сухие поленья, бросают в костёр за развенчание ложных всеильных доктрин... Мы сидим в затхлой прокуренной комнате на улице Октябрьской революции, не первый день впроголодь, не первый раз присылаемые родителями деньги тратя на хмельные, отабаченные ресторанные посиделки. Студิโอ́зы, схола́ры, краезнатцы...

Чистая, в белом платье, словно расцветшая акациевая гроздь, девушка! Целуешь губы твои, а они лилово отсвечивают радиацией. И под какие светлы и мраки, на какие нивы, в какие золочёные иль заржавленные клетки (видимые иль невидимые) попадёшь ты, вся акациевая, радиациевая? И куда поддается твоя грация под неожиданно тёмным и нелёгким платом жизни?

Поднимается ядерная пыль... в Сахаре или в Северном Ледовитом океане вырастают оранжевые грибы или всемирные гробы?! Бомбы рвутся далеко, но каждый раз я вскакиваю, словно чувствуя грохот копыт коней Апокалипсиса.

Пролегают проспекты и магистрали по планете во Вселенную. У интеллигенции идёт вымученный поиск утраченного времени. Мой Воронеж вдалеке от центральных проспектов и магистралей, но разве интеллектуал, живущий в Париже, к ним более близок? Да и есть ли они, эти магистрали по нашей земле во Вселенную? Чувствую, как зело умный парижанин, сиречь интеллектуал, чувствует неразрешённость личности, как неразрешённость Вселенной.

Нам тоскливо засыпать или тоскливо просыпаться? Мы рыбаки, вылавливающие самих себя, запутавшиеся в земных меридианах, как в сетях. Мы радары, ловящие тоскливые силуэты века. Идут вибрации по Вселенной, а небо над нами кажется плотной крышкой. Кажется... А на самом деле небо — высшее Боготворенье, великий простор Вселенной, лирическая купель поэтов, вечная тема мыслителей, компас ночных кораблей из глубин вечности. В десятом классе к моим любимым литературе, географии, истории добавилась астрономия, которая не как наука жила во мне с первого младенческого взгляда в ночное небо: «звёздный свод над нами» с детства волновал меня своей величавой тайной.

А наше всеземное человеческое здание — химера?! «Человек — мертвец в отпуску» (французское?.. Всемирное?)

Вернись, невозвратимое вчера, светлое или кажущееся таковым. Светло думал и светлого хотел. Может быть, и непо-

рочного, целомудренного. И это была не скопческая или монашеская треба, а искренность души и незнание ею мира идущего. И один ли ты виноват? Или виновато прошлое и будущее рода и отчества? И какой толк задаваться подобными вопросами? Что тяжелее: совершить грех или, осознав его лукавые мраки, мучительно помнить? И если мучение за грех тяжелее, чем сам грех? Странно сейчас подумать, как в отрочестве, ещё несколькими годами назад, тебе, будто немецким романтикам, стыдно было естественных человеческих отклонений. Фраза профессора Сальватора из «Человека-амфибии» имела для тебя смысл именно применимо к человеческому тракту-несовершенству. Биология борется с тобою. Женщина-плоть — из запретного. Сам запретил, как невольное уклонение от высшего. Есть светлая мама. И невестнички светлая та, которая — придёт ли?! Понимаешь (понимаешь ли и принимаешь ли?) Рахметова, Базарова, толстовского о. Сергия: для них главное — не представительницы пола слабого, прекрасного. Если же чтимый тобою человек всеядно искал женщин, ты придумывал ему другую жизнь, вне вольных или невольных соблазнительниц. С самым серьёзным видом уверял одну юную аспирантку, что Пушкин бежал от плотской любви, готовился в монастырь («Замыслил я побег...», «Отцы пустынноики и жены непорочны»...).

Мой знакомый говорит об интеллекте как форме чувственности. Я не возражаю: сам его этому зачем-то научил; он о женщинах говорит так, как словно все они прошли через его страсть, или, по крайней мере, как словно он первым был у Брижит Бардо. Может, и был. Правда, он никуда не выезжал из средней России, да и о самой Брижит едва ли слышал.

А за окнами исходят соками сирень и берёза, весенне продолжают жизнь птицы и звери, сторают звёзды, огненными россыпями скатываясь к земле и, по древним поверьям, обрывают чьи-то земные жизни. А вся земля за тысячи лет — под тяжёлым биологическим напряжением...

Больше года не видел Зину. Она выходит замуж. Как-то пустынно. И не забыто. И я не утешен даже своей теорией, суть которой: коль все мы происходим от первого белка, от первых немногих хомо сапиенс, — то я предопределён в каждом человеке, и, следовательно, целуя не меня, она целует всё-таки меня...

И покачиваются бокалы в ресторане, и смешались мысли в моём мозгу, словно мне остался час до гибели. Надо или казнить себя за такое жизнепроедание, или уходить к людям в живую жизнь и пытаться делать что-то доброе. Хмельно пытаюсь объяснить себе: ядерность, расщеплённый атом

привели меня к одиночеству, что-то более духовное уведёт меня в гражданственность...

Входы в книги, в рестораны, в реки. Мы бежим от жизни или мы ищем жизнь? Взрываются экспериментальные ядерные бомбы, атолл Бикини, штат Невада, вечные льды Новой Земли или семипалатинские пустыни. Всё, казалось бы, остаётся по-прежнему, но плывёт над планетой невидимый стронций. И тянутся друг к другу губы, уже заражённые радиактивностью.

Вдруг подумал вот о чём. Родное поле, которое я вспахивал, бороновал и засевал, совсем близкое — уже и бесконечно далёкое. Хорошо хоть, что моя жизнь протекает в Воронеже — городе до поры до времени традиционном. Окажись я в западноевропейском Париже-Лондоне или каком-нибудь заокеанском развлекательном Лас-Вегасе, смог бы ли я противиться потоку всякого рода соблазнов — авангардистских, художественно-антихудожественных, игровых, половых и прочая?

«Поругивают философов и поэтов. Смотря за что. Если за мятущийся поиск нового, за отрицание гранитно-догматического, — то я больше француз, чем сами французы. Мне чужда статичность в поэзии и искусстве, я за обострённую динамику, многоцветье, неожиданность — за Ван-Гога, за импрессионистов и футуристов, за малевичевского „Точильщика“, за „Красного коня“ Петрова — Водкина...»

(Так писал я на раннем курсе. Позже, прочитав о поисках нового в литературе и искусстве на Западе, обнаружил, что и мой поиск интуитивно шёл в том же направлении. Должно быть право писателей на поиски — честные поиски. Убеждён, что малоизвестные искатели не менее чутки к добру и злу, не менее гражданственны, чем привластные трубачи, и гражданские вопросы они стараются выразить палитрой остропсихоинтеллектуальной, соответствующей ядерной современности. Тогда же, на раннем курсе, я разрабатывал свой способ письма — сенс-комбинационный поток, последовательные чувства и впечатления дающий в одновременности. Между тем я и мои друзья не торопились на сцену размахивать руками и декламировать свои стихи, хотя новое время требовало новых имён, рукоплесканий, больших дискуссионных аудиторий. Но однажды мы «вышли на люди» своеобразным образом. Десятилетиями позже не без грустной улыбки я прочитал об этом в опубликованных воспоминаниях Виктора Костенко, автора хороших книг о военном и послевоенном Воронеже, — воспоминаниях, временно и меня возвративших в былое: «Буквально за несколько дней пришлось из суровых армейских буден попасть в весёлую студенческую среду Воронежского пединститута. Сдав вступительные экзамены,

с сотнями мне подобных счастливичков я ехал в студенческом поезде в Калачеевский район на уборку картофеля. Вот там-то, на калачеевских полях, на „ударных картофельных грядках“ мы встретились с Виктором Будаковым... Как-то так само собой получилось, что Виктор стал своеобразным центром и душой нашего небольшого сообщества — пишущих стихи студентов. Насмешливый полиглот Виталий Санников, прямодушный Борис Соколов, раздумчивый и неторопливый в суждениях Иван Расторгуев... Мы пробовали свои голоса... радовались творческим находкам и пытались печататься в областных и районных газетах. Вот тогда-то душа нашей компании Виктор Будаков и предложил: „Друзья, а не создать ли нам что-то вроде поэтического альманаха?“ Мы, как это бывает у студентов, с восторгом согласились и здесь же, в одной из аудиторий нашего историко-филологического факультета, принялись за дело. Кто-то печатал строки наших стихов, кто-то редактировал, кто-то придумывал шапку и заголовки. Название альманаху дали туманное и двусмысленное: „Почитайте нас!“ А утром пединститут гудел как растревоженный улей. Ещё бы! Вся стена напротив деканата была оклеена нашими стихами, и лучшие вузовские умы, профессора, аспиранты и студенты толпились около неё, вчитываясь в стихи, комментируя и критикуя их. А мы, гордые и смущённые, держались несколько в сторонке, радуясь успеху, вниманию самых уважаемых в институте людей и факультетских красавиц...»)

Крайне иронически смотрю на свою эрудицию. Сотни имён, событий, определений. Зачем мне это знать — всяческие монады и менады, интерполяции, ламентации и ауспиции?.. Сам я редко пользуюсь иностранными словами, находя в русском языке им полновесные замены. Иногда в себе нахожу их, скажем, в одном из стихов девичьи локоны и косы у меня соединяются в локоны.

Строго говоря, никакой эрудиции и нет. Читаешь — выхватываешь абзацы, мысли, иногда радуясь, что до некоторых дошёл своим умом. Но как мало прочитано! И чувствую, что прочитанное далеко не всё то, что надо. Русские религиозные философы не прочитаны, русская историческая и философская литература — тоже. Пытался осилить античные языки — древнегреческий, латынь, вглядывался в иврит. Нет, этому надо посвящать не месяцы, а годы. Хватаешься за латынь, а родной русский — словно наполненный сокровищами корабль, и к нему чем не ближе подплываешь, тем он дальше уходит за горизонт.

Перед моими глазами — фотография филологической половины нашего смешанного курса, на оборотной стороне

снимка старательным девичьим почерком — шутливая надпись: «И один в поле воин». Сверстники с курса ушли в истории, Эдуард Баранников, мой старший друг-товарищ, второй доблестный муж решительно немужской группы, вовсе оставил институт, и я, действительно, один в окружении двадцати семи сокурсниц. Сколь ни заманчиво-поэтично находиться в таком цветнике граций — будущих филологинь, всё же для меня существует здесь заметное неудобство: отсутствие на лекциях (а отсутствовать случается часто) сразу бросается в глаза, и иные преподаватели обещают в мой адрес особое благорасположение на экзамене. В сессию приходится дни и ночи напролёт просматривать горы книг, пухлые тетради сокурсниц с записями лекций, так что на экзаменах обычно всё разрешается вполне приемлемым образом. Хотя — и не без огорчительного, расплатного. Недавно даже двойку схлопотал. По глупости и самонадеянности, как бывает в таких случаях. После крепко отпразднованного дня рождения — весьма дружеской вечеринки, до утра затянувшейся, с угарной головной болью отважился идти на курсовой экзамен по русскому (был диктант), там тяжело и позабывчиво соображал, как — с одним или с двумя «н» — пишутся попадающие в исключение «деревянные, стеклянные, оловянные...» Всё моё малонаучное знание русского, все его правила смешались, диктант написан с тьмою ошибок; снова лето омрачённое: в подготовке к передаче диктанта; и, как далёкий свет, зовут сполна не прочитанные Пушкин, Боратынский, Достоевский.

Лето шестидесятого. Поездка в **Ленинград**. Белые ночи. Петропавловская крепость. Эрмитаж. Русский музей. Александр-Невская лавра. Могилы Достоевского, Карамзина, Римского-Корсакова... Одна из самых пышно-помпезных — министр финансов Витте: о человеческое тщеславие! Волково кладбище. «Литераторские мостки». Уже вечереет. Могила Блока, а рядом какого-то Штольца. Но почему — «какого-то»? Ведь и он человеческая вселенная. И вдруг — мысль: здесь у великих могил поцеловать любимую девушку и умереть. С первым ещё можно согласиться, но зачем же умирать?

Гатчина. Дворец и пруды. А ещё — долго брожу по **Петродворцу**, не понимая, трогает ли он меня. Слишком он какой-то версальский, нерусский.

Летние каникулы провожу в **Криничном**, редко заезжая в Нижний Карабут, где всё — родное и всё — словно бы чужое. Чужое не по душе, а по юридической бумаге: семья из села полностью выписана. Отчий угол перешёл в другие руки, вернее, его истаптывают другие ноги. Разумеется, ярки-овраги, подступающие к верхнему огороду, никуда не делись, как и колодец у ограды семейного сада, но на подворье нет сокро-

венной хатки детства (на её месте поднялся добротный чужой дом); нет и надворных послевоенных худостроений под единой соломенной крышей, куда я в отрочестве взлетал, применяя шест, словно готовясь к прыжкам в высоту на некоем серьёзном первенстве; нет и спортивной площадке, где я толкал великое множество раз двухпудовку, на перекладине крутил «солнце», а на осокоревом комле играл в шахматы с моими сверстниками-друзьями. И многого оставленного, другим не нужного. Где всё это: осколки, снарядные гильзы, штыки, палки-копья, глиняные ковшики и кувшины? А яблоньки, вязы, ясени, ещё в раннем детстве посаженные мной на заднем палисаднике, бережно поливаемые и с годами на глазах подраставшие, где они? Вырублено, выброшено за ненадобностью новыми хозяевами, по-соседски знакомыми мне с детства. Знакомые люди, изменяющаяся, незнакомая жизнь.

Как ожидали мы того дня, когда и в Воронеже появится троллейбус, ставший уже привычным в столице и крупнейших городах страны. И вот шестого ноября 1960 года троллейбусы покатали по главной улице города, где ещё недавно центровую полосу улицы занимала трамвайная рельсовая четырёхструнка. Первыми пассажирами троллейбуса стали строители и юные жители города — ученики воронежских школ.

(Трамваи, ничуть не мешая троллейбусам, имея почтенную летопись и разветвлённую карту движений, охватывавшую самые дальние концы города, продолжали ходить, весело позванивая на поворотах и перед остановками, в дождь осыпая всё вокруг зелёными искрами. Была в них не только житейская нужда, но и поэзия, недаром столько стихов о трамвае найдёшь в отечественной поэтической строке! И недаром крупнейшие города мира и поныне не отказываются от них. В европейских столицах они мягко погромыхивают и радуют. А у нас — как одна из гримас перестройки-постперестройки — вывороченные трамвайные рельсы для тёмных продаж, добротные трамваи, изломанные, пущенные на металлолом. И даже с музеем трамвая нас постигла неудача: на городской комиссии по историко-культурному наследию мы долго обсуждали, как оставить будущим воронежцам трамвай хотя бы как музей, подыскали и место на эстакаде Северного моста, где ещё сохранились трамвайные пути. Но поскольку нигде не предусматривались средства, чтобы охранять предполагаемый трамвай-музей и там бы попросту обосновался злачный угол, от музейной затеи пришлось отказаться.)

А что в стране и мире в этом выпуклом шестидесятом? «Год Африки» — за год в Африке образовалось семнадцать независимых государств. Каковы в реальности эти государства, будет ли мир между ними, едины ли они в отношении к Европе

и Америке, отнюдь, думаю, не восторженном, что нам Африка готовит через полвека, через век?

Наш первый секретарь Никита Сергеевич мобилен: поездки-визиты в Индию, Бирму, Индонезию, Францию. Над Уралом сбит ракетой американский самолёт-разведчик, его пилотировал лётчик Пауэрс, эдакий любопытствующий турист, до поры до времени внимательно разглядывавший и фотографировавший великие просторы Союза и схлопотавший за шпионские увлекательные службы неувлекательный зарешёченный срок. А наш первый секретарь, на ракетном эсминце прибыв в Нью-Йорк, на Генеральной Ассамблее ополчается по полной на западных капиталистов-колониалистов, в ход идёт даже «туфельный» эпатаж: Хрущёв при выступлении английского премьера Макмиллана применил новаторский политический приём — стучал обувью по столу, заглушая выступавшего.

А с Китаем — не знаю, насколько разумны и дальновидны наши шаги — но, думаю, ничего хорошего, коль из Поднебесной отзываются все советские специалисты, а в заявлении КПСС осуждается «догматизм» Мао Цзедуна. Между тем всемирные коммунистические совещания в Москве проводятся, и там якобы единодушие и уверенность сплочённых.

Гагаринский взлёт, весна в природе и стране

Осенний диктант я написал сносно, так что студенческое бытие продолжается: лекции, семинары, экзамены...

Нередкая пустота проходящих недель. Однажды перед сном задумался: чем я занял сегодняшний день? Была встреча с актёром — необязательная; взял в руки книгу (что за книга?) — слабая, полистал-полистал и отложил; лекция — пропущенная. Принялся за курсовую «О языке районных газет» — зачем мне эта тема? Газетный, журналистский язык — одна из угроз русскому языку? Может быть, но не из самых губительных. Те — впереди.

Ещё, видать, не знаю настоящей любви — любви к единственной из необозримого цветника девушек. Тогда зачем свидания, отнимающие часы и дни жизни, которая, верно же, Богом, природой, отцом и матерью дана для чего-то главного моего, важного и для других?

Но вот... Родной институт, фойе актового зала. Студенческий вечер даже не историко-филологического факультета, а географического. Пробираясь через карусель танцующих, заметил тоненькую, вдохновенной обаятельности девушку в дальнем углу обширного, со строем пилонов коридора-фойе, расширенного напротив стены актового зала выходом к большим фасадным окнам. Я подошёл, отвесил ей какую-то комплиментарную банальность, кружился и кружил вальс, я ей по-медвежьи отдал ноги, был непривычно неуклюж.

И как короткое озарение из будущего — сразу почувствовал, что она моя судьба, наречённая именем Элла, которое я тут же видоизменил в полдюжины иных, более нежных или исторически звучных: Эллада, Тростинка, Лина... А она? Она тихо и беззаветно-доверчиво пошла со мной в густую темь, по улице Садовой, где на квартире я взял плащ, чтобы проводить её. Стоял март 1961 года. Мы шли через весь город — через железнодорожные пути, слыша и не слыша гудки и пыхтенье маневровых локомотивов, мимо костёла (который позже разрушат: антирелигиозный натиск «Никиты-атеиста»?) — мимо жилой многоэтажной башни у Парка живых и мёртвых...

Я возвращался назад, благодарный студенческому вечеру, педагогическому институту, простенку знакомства у большого фасадного окна, равнодушно взиравшего на движение длинной, от окраины к центру протяжённой улицы.

(Полвека спустя. Приглашённый на встречу в пединститут, проходя мимо актового зала, я подойду к простенку юности, уголку нашего счастливого знакомства, и увижу большой стенд о родном крае. Фотографии сопровождалась стихами. Начал осматривать не с начальной, а с завершающей стороны, под фотографиями шли стихи Никитина, Гордейчева, Жигулина, а на начальной доске стенда благодарные библиотечные сотрудники поместили целых три моих стиха о Воронеже. Выпускнику и почётному профессору педагогического университета, мне ничего не оставалось, как грустно улыбнуться, мысленно видя перед глазами на месте импозантного стенда первый миг нашей с Эллой невозвратимой встречи.)

* * *

Небывзлетающий и, надеюсь, никогда не забываемый (если не миром, то русской памятью) апрель 1961 года. Космический взлёт Гагарина! Один небесный виток вокруг Земли на космическом корабле «Восток», один виток — миллионы надежд, тревог, сомнений, упований и... опасных развитий мирового межлагерного соперничества.

Как не пережить заново тот апрельский двенадцатый день! «Говорят все радиостанции Советского Союза!» Ликовала страна, цвёл радостными улыбками Воронеж, естественно, ликовал и мой родной педагогический институт. Начался торжественный митинг, и никого не надо было понуждать к присутствию на том студенчески-преподавательском «соборе»: сошлись в едином порыве наши радости, гордости, великие надежды.

В просторной, больше на актový зал похожей аудитории, вместился едва не весь историко-филологический факультет. От студенчества выступал я, не без волнения, не без пафосной

воодушевлённости произносил что-то высокое о Родине, прошедшей в трудах, жертвах и подвигах долгий путь, о поступи нашего Отечества, о судьбе России — не только о её трагически-горьком и великославном прошлом, но и с верой в её великославное будущее. «Какие сны, какие бури тебе, Россия, суждены!» — как тут было не вспомнить блоковские строки!

Ещё не осознавая полёта в космос как духовной проблемы (внебожественное техногенное устремление!), мы радовались и тому, что человек преодолел земное притяжение, и тому, что этот человек был наш соотечественник, — русский.

Когда не за горами, не за годами (в то же лето!) над Воронежем развернется небо и по городу не горошинами, а ледяными ядрами ударит град, ранит прохожих, повыбивает стекла жилых массивов, осколочно продырявит крыши зданий, иные из пожилых, в преддверии общественных потрясений ещё помнивших православное служение в десятках воронежских церквей, воспримут это как наказание Божие за дерзкий космический взлёт. Но мы были молоды и во дворцах культуры появлялись гораздо чаще, нежели под церковными сводами. Да, мы были молоды, и молодою, навечно сильною мнилась страна. И мнилось, что мы сможем много доброго, красивого и умного свершить на нашей земле.

Летняя практика в пионерском лагере. Близкая к Воронежу Дубовка — целая гнездовина пионерских лагерей. Меж дубов и сосен — десятки лагерных (в хорошем смысле) строений. Сотни и сотни детишек. Их детство отделено от моего детства всего-то десятком лет, а — будто столетием: иное развитие, иные интересы, иные песни. Да, «Куба — любовь моя...» Дети хороши, почти все — со светлыми, озорными глазами. У девочек и у мальчиков — разные миры, да и каждый мальчик или девочка — разные, поскольку разные у них семьи, улицы, друзья и подружки; а разная им предназначенная судьба проявляется уже здесь, в лагере, который за малые недели пытается образовать из них нечто единое.

Мне нравилось наблюдать их эмоциональные порывы, проявляемые душевные черты, взрослеющие характеры; они мне, пионервожатому, почти не доставляли хлопот, разве что хулиганистый мальчик Костя из Отрожки выбивался из строя, явно тяготясь коллективными песнями и чтениями книг, спортивными занятиями и постоянно затевая ссоры со сверстниками, то и дело просто так, беспричинно, от какой-то внутренней злости толкая девочек. Резкие отчитки, едва не ежечасно исторгаемые опытной воспитательницей Марией Михайловной Песковой, мало вразумляли сорванца, так что через неделю она, по договорённости с директором лагеря, решила поступить с малолетним возмутителем спокойствия простым приёмом: велела мне отвезти Костю в Отрожку и сдать

его на руки матери, благо путь был недалёкий. Когда я увидел барачного вида приземистое здание и далее когда открыл дверь и увидел изо всех углов выглядывавшую нищету, мне стало не по себе. От скамьи у дальней стены на меня вперились испуганные глаза — четыре испуганных глаза. То были Костины мать и старшая сестра. Выслушав моё сбивчивое объяснение, мать стала просить за сына: в пионерском лагере он поест досыта, чему-то доброму научится, а дома — гляди, втянется в воровскую шайку. Помня строгий наказ, повторил волю пионерлагерного начальства. И вдруг мать разрыдалась. И тогда я сказал: «Ладно, попробуем ещё раз», крепко взял за руку приговорённого к изгнанию, и пошли мы на платформу дожидаться первого пригородного. Когда возвратились в лагерь, воспитательница возмутилась, отбрила меня как следует, и направились мы с нею к директору лагеря. Реакция последнего оказалась более мягкой: «За две недели мы его, конечно, не воспитаем, но что-то хорошее, может, сумеем ему дать».

А так — весёлая детская разноголосица, щебетанье птиц, пологи лесных крон и солнечные поляны...

(И только через тридцать лет я узнаю горестную, травмами и официальным забвением скрытую явь внешне благодатного приворонежского уголка: не столь далеко от нашего пионерского лагеря до войны был устроен последний приют для «врагов народа» — и никогда до конца не узнать, скольких и кого приняла та братская могила...

Дубовка. «Как долго до братской могилы?» — / «Вполсилы добраться за час...» / Здесь метко стреляли и многих сгубили, / И, может быть, многих из нас. / Несчастных людей сосчитать ли останки? / Узнай, кто здесь был или есть, — / Священник? Крестыанский обоз? Гувернантка? / Иль воин — убитая честь?!)

Есть крепкий человек — друг из детства Ваня Семко. Он мог бы стать выдающимся спортсменом, но его редкостная способность бегать и плавать быстрее многих спортивно одарённых замедляется густыми житейскими нескладницами. Встречаемся часто, вспоминаем дни детства. Однажды он мельком сообщил, что трое из враждебного круга назначают ему объяснение в глухой части городского парка. Сказал ему — не ходи: в тот день я по скорбному звонку-известию уезжал к родным и не мог, как в школьные годы, встать с ним спина к спине. И в отъезде не находил себе места — словно случилось нечаянное предательство, с детства противное моей воле и душе. Вернулся — первым делом к нему. Ваня пошёл-таки в парк, но, слава Богу, обошлось: часа полтора прождал троих — те не объявились. Однако во мне заноза ещё долго давала о себе знать. Думал: а если бы... Если бы те

трое, из шайки, объявились, если бы случилось самое худшее. Пытался взглянуть с другого — древнеисторического берега, дескать, человек приходит в мир один и уходит один, так что никто никого никогда не спасёт... Но разве истинно так? Разве не спасают друг, семья, родные и близкие, родина, даже сама жизнь по милости Вышней? И снова возвращался к мысли о сущем в человеке и человечестве — о спасительной дружбе и спасительной соборности.

Выпускной вечер Эллиного медицинского курса — в краснокирпичном здании кафедры мединститута на улице Чайковского, где в революционные годы располагался клуб «Железное перо», где молодой пересоздатель Вселенной, поэт, публицист, не за горами автор «Ямской слободы» Андрей Платонов бывал не раз. Но в тот летний, давно послевоенный час двадцатого века он мало был известен Воронежу, не имел мемориальной доски ни здесь, ни в другом уголке города и тихо и несуетно ждал своего часа как один из четверых воронежских уроженцев, великих по части слова: Кольцов, Никитин, Бунин, Платонов.

Выпускной бал кружил молодых, им не было никакого дела до великих — на родине известных или неизвестных, признанных или ещё не признанных.

Какое это, наверное, счастье — не быть в узлах противоречий. Во многом раздвоен, а подчас и раздесятерён. Элла воспринимается моим сердцем как судьба, но это не препятствует мне обращать внимание и на иную молодость.

Тополиная (нежданная-негаданная) встреча с юной В. на берегу Дона, плавание за лилиями на противоположный берег. Дождь и молнии у старого тополя. Гроза — словно напоминание о моём грехе двоякости. А двоякость в жизненных поступках требует и философских обоснований — возможность двоякодopusимого истолкования чего-либо. Входит в привычку смотреть на событие, на человека со множества сторон. Выходит — множество истин. (Амбивалентность, толерантность, релятивизм — что-то лукавое несут эти учёные слова.) А в жизни одних спасает относительность, других — непреложность.

Рассказывают — убойный град в Воронеже, когда я был в Криничном.

А что в мире? В начале лета 1961 года в Вене встречаются Кеннеди и Хрущёв. Последний предлагает провести конференцию — заключить мирный договор с Германией и объявить Берлин свободным городом. Говорят о разоружении и прекращении ядерных испытаний. Американская сторона отвергает советские предложения. Идут дни, идут месяцы и годы — на

обоих полушариях много утопического и много жёстко-реального. Советские коммунисты, наверное, не без напора первого секретаря, на двадцать втором съезде обещают стране построить коммунизм к 1980 году. Куда быстрее, за сутки, восточными немцами возведена Берлинская стена — чтобы не было соблазна уходить к западным соотечественникам, живущим под сенью успешного капитала. Разъединение, отторжение, противоборство меж лагерями. Соединяют мосты, но никак не стены.

Россия, русское слово, русский мир

Четвёртый год учусь в институте. Иногда возникает чувство, что надо уходить из одного. Быть может, в деревню. К людям несуетным и без суеты. Жить просто и попроще.

По осени нас, студентов, направляют помогать колхозам — строить, грузить, помогать на хлебных и свекловичных полях. Только в деревне ощущаешь себя, свой пульс. Удаляясь от беготня и толкотня, от снобизма и цинизма, от косности под флёром модерности...

Солнечный осенний день, поле, спелая пшеница. И — случай нелепый, осадок крайне неприятный. Возили пшеницу с поля на зерноток, мой товарищ и водитель «Газона» задурили насыпать мешок зерна и сбросить в посадке, чтобы вечером доставить соседу, пообещавшему бутылку белоголовой. Машина остановилась, они взобрались на кузов и торопливо принялись в мешок насыпать зерно. Слово кем-то невидимым вытолкнутый из кабины, я зашагал прочь. В полукилометре, по главной дороге проезжала председателева «Волга». На миг приостановилась. А вечером председатель при студенческих активистах почём зря честил и кладовщика, и механика, и всех подряд водителей, — думаю, так бы поступил и мой отец-председатель, разве что без мата. А я не находил себе места. Каким-то образом связались осьмушка хлеба блокадного города и этот центнеровый мешок для хрюшек, увенчанный бутылкой водки.

В азартном ускорении иногда хотят перепрыгнуть природу, словно забывая, что мы выходим из природы и вновь войдём в неё... За деревню из сумерек попадаешь в прасумерки, наплывает великая тайна — непостижимое вечное прадрево... Сумеречьё.

Короткий июль. Чувство Родины. Ливни, проливни над Россией. Молнии её озаряют. Громы раскалывают самих себя. Но вдруг мне почудилась Родина тихой и вечерней... Ты устала, Россия, от вечных нашествий, войн, революций. Теперь тебя гонят на вороных космических и велеречиво возглашают, что тебе радостно... А ты вся аддолорато, даже аддолорандо, как

бы, наверное, сказала о тебе Италия в час своей печали и чувствования русской печали и судьбы.

Длинные ряды покосившихся соломенных хат. У колодца вороньим крылом чернеет очередь женщин. И все они потеряли на войне своих мужей. И плакать им некогда: день и ночь они гнутся на колхозной страде, за которую ни рубля ни копейки не получают.

А на дворе весна. Я в лес сейчас уйду, и берёзы меня напоят благодатным соком... да и Троица скоро, по дворам и в хатах набросают черноклёна, и будет светлоклённо...

Но надвигаются в глаза длинные ряды покосившихся соломенных хат, длинные ряды покосившихся скорбных женщин. И чёрная беда не проходит, и вороний над колодцами грай... Так началась во мне Россия.

Растут по оврагам чертополохи, и от тяжёлых рос холодеет плакун-трава; мокнут вербы при дороге и бредут по дорогам коровы — кормилицы и спасительницы нашего детства; мужики косят сено, и дородные женщины поливают из копанок левадные овощи; зарева городских огней и полусонные малолюдные хутора; как Онего твоё далеко от Сальских степей, твой путь из варяг в греки не доведёт до Урала, а Владимирка перекинулась и через Урал. И звенят кандалами нерчинские рудники. Ну зачем ты такая — моя жестокая, моя покорная, моя несчастная, моя прекрасная Россия?

Горячие восточно-ордынские кони попирают твои колокольни. И поляки тебя, белокаменную, не прочь изгубить. И всеевропейские полководцы и политики — шведский король, французский император, немецкий фюрер обрушивают на тебя военные силы Европы. Готовы сжить со свету финансовые и политические воротилы Северной Америки и европейского Альбиона. А внутри России — сколько всходов розни, вражды, ненависти русских к... русским!

Как тяжко давят имена. / И нас растили иль растлили? / Прости меня, прости меня, / Прости меня, моя Россия!..

Беспредельным кабальным морем назвал тебя однажды Салтыков-Щедрин. Но море есть море. И на нём бывают тайфуны и девятые валы... С другой стороны, писатель-сатирик и он же губернский начальник — всюду ли сын своего народа, своей страны? Не вернее ли некрасовское: «Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и могучая, / Ты и бессильная...»?! Можно добавить ещё — Русь Святая и Русь грешная...

О России злословят, воспринимают её поверхностно, с нею в недобрый час поступают по-чёрному, но сама она остаётся чистой. И не на её совести навязанные ей заблуждения, жестокости, несправедливости. Простим Европе, прости, Европа!

Что такое эта твоя любовь, восходящая из глубины, — когда хочется сбежать от уличной толпы, переполненных троллейбусов и автобусов и выйти в бесконечье полей, за которыми начинается бесконечье берёз, за которыми начинается бесконечье лесов. А в поля, и в берёзы, и в леса ниспадают и падают облака...

Я русский, с начальными словами младенчества — малороссийскими, украинскими. Русский — сердцем, душой, эмоционально и духовно. Но, разумеется, не русско-тоннельный. Скорее всего, надеюсь, чутко-народный. Народолюб. Всенародолюб. Моё убеждение: племена и народности тянутся к доброму, горнему; а дурные особи — они есть в каждом роду-племени, и, к сожалению, национальные и мировые правящие верхушки складываются в значительной степени из таких особей-временщиков, и наглость, локтерасталкивание, лицемерие, ложь, сытая любовь к себе и равнодушие к другим — их отличительные черты.

Разумеется, как и во всём человечестве, во мне перемешались крови всякие: древнерусские — кровеносные жилы (великорусские, малороссийские, белорусские), ещё — греческие, может быть, и татарские.

Моя восточная раскосость глаз... *Ex oriente lux*. Восток — могучий исполин, современный и древний. Иногда тоскливо, дымно является Русь времён восточных нашествий. И древнейшие философии, чтобы освящать море многоцветных тираний? И порох — чтобы подтверждать власть деспотическую?

Россия — пророческий синтез Азии и Европы. Она на стыке западного и восточного интеллекта, восточной властности и западной свободы личности. Достоевский утверждал мессианскую роль православного русского народа. Быть может, он близок к правде в своём утверждении, если рассматривать народ не в смысле качественных отличий от других, а в смысле исторического, подчас иррационального хода, может, свыше данного течения событий, необходимостей, причин и следствий.

Не могут не восхищать памятники старины. Пусть даже радуют небоскрёбы, но не хотел бы, чтобы они поднимались на месте деревянных теремов, как то случилось в Москве. Хотя нельзя одновременно иметь то, что есть, и то, что было.

Со смешанным чувством отношусь к тому энтузиазму, какой занялся в нас по выходе первого человека в космос — русского. Вспоминаю свою искреннюю институтскую речь, после шутил: хоть в космос — лишь бы подальше от земной гордыни.

Тяжёлое заблуждение о России продолжается. Исторический прогресс сбросит ли иго догмы, а там — другие заблуждения, лукавства и догмы...

Вам славно, вам недурственно живётся, пересмешики-мистификаторы, разносчики свободных профессий, барственно-праздные искажители живой жизни?! Пьём зелёные шартрезы, разгуливаем по зелёным курортам? А если так: и вам, привластным «художникам», тщеславным и забывчивым, далёким от сострадательности, явно и неявно предающим, уготован неотменимый Горний суд — за сытое самодовольство, за беспамятье и равнодушие к обречённым, невозвратно ушедшим полкам солдат, которые были чище и красивее вас, — они в братских могилах; за тех вдов, которые чище и красивее ваших жён и любовниц, — им не отпущено ни счастья, ни даже лёгкого быта; за те малые бедные избы и хаты, в которых не один год жила и живёт послевоенная моя родина?!

Россия — это новгородское вече и церкви владимирские, ярославские, Ростова и Суздаля, Новгорода Великого и Пскова, это Александр Невский и река Непрядва, это блокадный Ленинград и несломленный Сталинград, это великие победы и поражения, жертвы и подвиги. Это колосющаяся убывающая нива, зато прибывающие бездуховные небоскрёбы. Наконец, Россия — это я, и сотни, и тысячи таких, как я, которые любят тебя, болеют тобою, верят в тебя!

Живо ощущаю в себе расположение и к древним — грекам, персам, римлянам, и к молодым нациям — к сербам, французам, итальянцам... Если бы я был немцем, я всё равно уважал бы Россию и её народ, как уважали их Томас Манн, Рильке, Стефан Цвейг...

Поляки, ревниво и пылко обожая своё отечество, грозили далёкому, чужому для них отечеству: под дланью Наполеона ходили в атаки против испанцев на испанской земле.

Толстой говорил, что он всегда испытывает невольную боль при поражении русских.

«Слово о полку Игореве» глубже, поэтичнее, нежели «Песнь о Роланде», «Песнь о моём Сиде», выше иных эпосов и настолько содержательное и художественное, что действительно иногда на миг засомневаешься, в двенадцатом ли веке оно написано. И всё же скептики не убеждают. Как всегда, здесь веришь Пушкину, пусть и обманувшемуся мистификацией Мериме — его сербскими песнями. Но он, наш вечный гений, — поэт глубочайший, неповторимо пронизательный — едва ли мог ошибаться, полагая, что в восемнадцатом веке (якобы веке написания «Слова...») не было такой творческой

силы поэта, который бы мог создать этот дивный перл, «благоуханный цветок».

А какие глубинные светлы излучают русские былины, песни, поэтическая ветвь отечественного слова! В третьем классе я прочитал маленький томик стихотворений Лермонтова — с него и началась моя тяга к поэзии. Для меня стихотворения «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», «Когда волнуется желтеющая нива», «Выхожу один я на дорогу» навсегда останутся прекраснейшими. А Боратынский? А Тютчев? А Некрасов? Блок? И конечно, всегда Пушкин!

Крамской — это «Христос в пустыне». Но мне неизменно тяжело становится, как словно сам я Крамской, когда вглядываюсь в его «Хохот». Самое грустное, если искренне написанное художником в конечном итоге оказывается художественно неистинным. Но здесь конечный итог — иной меры, трагической: художник, переживший своих сыновей, падает замертво у своего мольберта. Честная подвижническая жизнь ранимо честного художника.

Что даёт право на писание? Ищущий талант, неотделимый от совести; от совести — крестной матери нравственного и эстетического стыда. Иначе всякое писание — пустое занятие, а то и грех. Об этом часто думаю... «Преступление и наказание» тревожит меня странно: словно чувствую себя родственником Раскольникова. О род мой — всемирный!

Величайшая вина человека в том, что он родился, — заявляет Кальдерон, добавляя, что жизнь есть сон. Быть может, вина ещё большая — продолжать себя самих детьми. Всесильные гены наследственности хищно сидят в нас, дети наследуют не только наши глаза и цвет наших волос, но и наши грязи и заблуждения...

Подлость и благородство соседствуют. Много думал о машинах, определяющих будущее человека. Ныне отживающую старческую жизнь не принято сбрасывать в некий Тайгет — пропастный провал, как водилось у спартанцев (если только афиняне и их союзники не возвели на них напраслину). Но, видимо, будет возможным при помощи электронно-кибернетических устройств заранее вычислить возможность появления человека человеческого или звериного; по крайней мере, перед рождением определять природные наклонности последнего и не допускать его в дальнейший рост.

В одном моём рассказе, где разрабатывается истинно нравственное и справедливое мироустройство, предполагается чуть ослабить и уравнять биологическую страсть homo sapiens. Мысль о таком делании человека высокодобрый похожа на суждение евнуха, однако и не он один мог думать так. Герой

Достоевского советовал: широк человек, сузить бы надо. Но вот как раз сужения человечество и не хочет. Да здравствует широта во всём! Бывает, человек затаённо любит себя своими подводными течениями. С каким, догадываюсь, грустным любопытством наблюдали Фрейд или Кафка подпольное, запрятанное второе «я» в человечестве...

Нередко захватывает тоска по Третьяковской галерее с великими картинами, по Ленинской библиотеке с великими книгами. Я бы послушал, как умные говорят о безумии... Они хотя также ничего не знают, но мысли их — в поиске. А я осуждён на импотентное болтанье со снобами, полагающими, что именно они со своими словесными извращениями, служебными креслами и спальнями определяют век двадцатый.

Во мне, быть может, томится тоска по Франции, реальной и придуманной, где интеллект перерос самого себя, а тонкости — многообразные: художественные, философские, парфюмерные. Только Франция — всё же иное, чем эти тонкости, и главное в ней не романы Дюма с его картинными мушкетёрами и даже не сильные страницы Стендаля, Бальзака, Флобера, Гюго, и не словесно-философские открытия Бергсона, Пруста, Сартра, а крестьяне — герои Аустерлица и Ватерлоо, загубленные полководческим честолюбием Наполеона.

А сильнее иного — тоска по деревенским соломенным хатам, по травам, сохнувшим от солнца, по осинам и берёзам в трёх верстах от Нижнего Карабута. Но, наверное, долго мне ещё жить в пыльном, заасфальтированном Воронеже...

Искусство — это болезнь? Гений — это болезнь, утверждает Томас Манн. И он, и Стефан Цвейг настаивают на неких демонических неотвратимостях в творчестве. Сказывают, существуют даже энциклопедии о гениальных сумасшедших, не могущих углядеть вокруг себя и в себе ни грана гармонии, отчего их слово, кисть, нота являют разрушительные свойства. Но в какой мере они гениальные и в какой мере исполнители демонического — сумасшедшие, самоубийцы, скорбные тени? Гёльдерлин, Клейст, Ницше...

Болезненный, страдающий мозг, идущий всегда непроторёнными путями, может, единственное, что устоит (если устоит только!) перед гениальными художественными комбинациями машины и создаст ещё более гениальное.

Электронных машин, наступательно осваивающих поля науки и искусства, подменяющих искусство, я, не лишённый тяги к авангардизму, тем не менее опасаясь, предвидя за ними победу искусственного над естественным. У них запрограммированные неограниченные возможности. Подстёгиваемый ими

и как бы в отместку им мой мозг даёт причудливые стиховые комбинации.

(Из них, тогдашних копьевидных, пирамидальных, ромбовидных, овальных крестовидных, круговых, квадратных и иных строколоманных и мыслеломанных стихов, — сборник «Тревожный глобус», лишь через полвека, не без моих колебаний, изданный.)

Миропорядок мрачен, как Гоголь, сжигающий в камине свои рукописи. Или то было просветление? Или ему казалось просветлением — освобождением от неверного слова?

В Китае я бы лучше писал, — то ли в шутку, то ли всерьёз говорил Достоевский. Он и в России писал неповторимо — для всего человечества, а вот как быть с бесчисленными стихотворцами, чтобы они получше писали или вовсе перестали ощущать тягу к графоманским опусам?

Просматриваю сборники поэтов — молодых. Много пустоты. Случайные люди возле печатной буквы. «Стихи к луне и деве кончились», — ещё когда заверял Валериан Майков. Нет, не кончились они. Пролистать нынешних стихотворцев — всякой всячины с избытком, а боли нет. Малодушно и малодуховно... Мелкое фронтёрство. Часто шумят об океанах, а сами любят аквариумы с золотыми рыбками. Шумят про бури на море, а их строки-претензии — бури в стакане воды. И неперменные фениксы, прекрасные в сказке, в строках стихотворцев столь часто используются, что, право, сказочным птицам уже никогда не возродиться из пепла. Фениксы, фикусы, фокусы... Ещё сомнительнее строки внеприродные — сконструированные, авангардные.

Ты не дорожишь собою, Россия! Рерих, Алёхин, Бунин, Шмелёв, Рахманинов, Сикорский, Зворыкин, Стравинский... Видимые и невидимые, знаменитые и безвестные твои гении разбрелись по всему миру, по всему белу свету.

Много лучшей России ушло от России — это полуроссиянскими сделало континенты. Трудно осудить ушедших и трудно их не судить, и здесь мне больше всего понятен и, быть может, больше всего непонятен Блок. Поэт, каждому движению которого веришь. Недавно Эренбург высказался о двух видах эмиграции: об эмигранте Герцене и об эмигранте Бунине. Но есть ещё внутренняя эмиграция. И как не вспоминать Блока — он ничем сердечным, духовным не поступился, он остался в России: властодержатели, властозахватчики и их доктрины проходят, а Россия остаётся.

Блок, несмотря на свои туманы и символы, весь светится. Его образ, муза и жизнь сказались на моём духовном становлении, если таковое происходит.

Стихи декадентов долго воздействовали на моё настроение: «И странно полюбил я мглу противоречий, / И жадно стал искать сплетений роковых...»

Может, от декадентов недалеко и до мускадентов... Зачем Зинаида Гиппиус слала проклятия Александру Блоку? Да, «Двенадцать»... Но какое трагическое восприятие мира! Да и судьба — трагическая.

Слово-книга... Но где же реальная жизнь? Хождение вокруг разрушенных церквей — так их не исходить. Встречи с девушками — так со всеми не перевстречаться. Ещё глупее — ходить на футбол, все матчи не пересмотреть.

Давняя болезнь горла — ангина. Оперирует, то есть удаляет гланды (перед тем доброжелательные, успокаивающие, улыбочивые слова) молодая, красивая, внимательная, видать, достойно воспитанная еврейка — хороший врач, которую я не успел отблагодарить, — внезапно она уехала из Воронежа. В одной женщине все женщины мира, во всех женщинах — одна, разве уришь и высветишь её истинный, сокровенный образ?

Каждое студенческое лето провожу в Криничном. Большое село двухвековой давности, просторный яр, на лугу вербы, криницы, левады: русски-малороссийский мир. Окрестности — меловые косогоры, заросшие цветотравьем овраги, стойкие запахи чебреца, душицы, полыни. Тучные чернозёмные поля ярко желтеют подсолнухами, поспевающими пшеничными, ячменными нивами. Часто бываю в полях, которые не столь давно возделывал. Чувство слитности с окрестным, с объемлемым всеземным полем и... космосом.

Скомканный, в преддверии пятого курса, летний день. Понадобился паспорт, сунул руку в карман пиджака, а паспорта там нет. Вывернул все карманы — всякая всячина; перетряс студенческий чемодан — увы! Перерыл полдома криничанского — паспорт как в воду канул. Понятно, что свидетельство личности — не сама личность, бумажка всего лишь... Но неделю-две жил с неприятным ощущением. Незадолго до утери услышал тяжёлую историю — о том, как один подонок в парке-леске на окраине райгородка изнасиловал и изувечил девушку и оставил на месте злодейства чужой документ — охотничий билет; так владельца охотничьего билета, невиновного человека, долго мытарили, куда добрались до истины. А тут — главный документ. Гербовый. Вдруг его подберёт очередной подонок-насильник и вздумает распорядиться им самым гнусным образом.

Осенью на районной комиссии пожурили меня, спросили, не во глубоком ли хмелю потерял паспорт. Отделался тремя руб-

лями штрафа и заполучил новый «молоткастый, серпастый». А через несколько месяцев обнаружился и старый — с пограничными метинами о поездке в Румынию. Он спокойно лежал в книжном шкафу — надо же! — в часто перечитываемом романе «Преступление и наказание».

Все студенческие лета навещаю сёла и деревни моего детства и ранней юности: Нижний Карабут, Кулаковку, Старую Калитву, Новую Калитву — придонские, правобережные. Да ещё забредаю в угасающие, но пока живые хуторки: Топило, Духовое, Солонцы, Крещатник, Зелёный Яр.

В Новой Калитве — отцово председательствование. Огромный колхоз «Завет Ленина» — тысячи и тысячи десятин земли, луга, лога, сёла, деревни, хутора: ещё недавно райцентр Новая Калитва, далее Ивановка, Голубая Криница, Новая Мельница, Зелёный Яр, Комарово, Липово, Андреевское...

В Старой Калитве — сады в Тупке, их и по лету видишь розово-белыми, кипенно-белыми, как в ранней юности. Яблоки юности и полуразрушенная колокольня здешней Успенской церкви. Грустно...

Час на малой родине, единящий трудовое-бытовое и некое философское: на леваде у друга Валеры Горемыкина роем малый колодец — «копанку», и, когда она достигает нашего роста, тихими струйками, а потом всё сильнее начинают бить родники, леденящая вода сводит до судорог в сандалии обутые ноги. Отворённые родники на левадах, вечные родники у самого берега Дона! Они не перестают подпитывать своими водами великую реку. Но уже перестали ходить (из-за человеческой бесхозяйственности и речной мелководности?) пассажирские пароходы детства: «Чапаев», «Ватутин», «Черняховский»...

И когда попадаю в сокровенные уголки своего детства, когда на нижнекарабутской или на нисолоновской круче вглядываюсь в задонскую даль, когда лежу на затравелой седловине меж Стенками, а травы — в пояс, а глаза схватывают близкие кусты боярышника, шиповника, а далее надолго втягиваются в небо, где пышные белые облака плывут сказочными кораблями, машут мельничными крыльями, пластаются полярными медведями, а то и принимают образы человеческие, и всё это движется, видоизменяется, куда-то девается и притом дышит вечностью, — тогда, чувствую, какими коренными крепкими силами напитываюсь: хватает тех корневых сил на долгие месяцы.

Узнал от земляков, живущих и работающих в Ростове и Новочеркасске, о расстреле народа, возмущённого не только ценовыми повышениями на хлеб и масло. Вот и мой любимый

месяц июнь: первого июня (в ряду как безвестных, так и творчески известных фамилий) появился на свет и я, а шестого июня родился Пушкин, наш вечный гений. И вот теперь меж этими числами солнечного пушкинского месяца — жестокая дата, мрачная тень, позорный для власти день. Мои возмущённые строки: «Я был самоуверен, / Я думал — с нами высь... / Новочеркасск расстрелян — / Расстрелян правый смысл... Я был самоуверен — Гагарин ввысь слетал; / Новочеркасск расстрелян, — / Обломан пьедестал».

А осенью — Карибский кризис. И надо же — в геологически и исторически роковой земно-морской части мира: здесь и Бермудский треугольник-кораблеглодатель, и огнедышащие вулканы, и открывальческое приплытие европейцев с их пушками, лошадьми и заразными болезнями; для индейцев — аборигенов благодатного материка — губительное приплытие.

Мир на грани атомной войны, на грани земного конца. Тьма строк об этом, зачем, спросить бы? Видится географическая, геополитическая, общественно-социальная опасность, но куда трагичней незримая духовная религиозно-апостасийная реальность. Не зависящая ни от протуберанцев на солнце, ни от межконтинентальных баллистических ракет на земле.

(Советские ракеты на Кубе, американские — в Турции. Карибский кризис — осенью 1962 года это выражение было на устах воронежцев, как и всей страны. Мир застыл на грани ядерной катастрофы, которой всё же удалось избежать. Но далёкая Куба стала надолго близкой для воронежцев — многие как военные оказались там в дни и месяцы конфликта, многие позже учительствовали в кубинских школах, врачевали в кубинских больницах.

Годы спустя Фидель Кастро побывал в Воронеже, который встречал его более чем радушно — восторженно; а ещё позже наш воронежец — бывший партийный руководитель области и будущий Председатель Совета министров РСФСР Виталий Воротников — станет послом на Кубе. И тысячи других нитей связывали когда-то великую державу и Остров Свободы.

Пройдёт полвека. Почти истаёт, дымкой покроется романтика подвига Фиделя Кастро и Че Гевары — молодых, отважно-дерзких борцов за свободу Кубы, которым в начале их окрылённого пути не страшны были ни Соединённые Штаты Америки, ни сама смерть. Но скоро и бесповоротно пути их, молодых, геройски озарённых, разойдутся. Че Гевара примет гибель на боливийской земле — в самой сердцеvine Южной Америки, а Фидель Кастро, пройдя через сотни покушений, доживёт до глубокой старости, и рокочущий его голос десятилетиями будет звучать над Кубой, слышимый и в ненавиздцем его «Граде на Холме».)

Вдруг вспомнишь, сколь спокойно, но впечатляюще грозно звучало и выглядело на первой полосе «Правды» заявление ТАСС о создании в Советском Союзе первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. ТАСС — одно из немногих сокращений, принимаемых мною как более или менее естественное, органичное, хотя оно и воспреемник Совинформбюро — тяжелозвучного, но в войну первозначимого.

Последние семестры в альма-матер

Пятый курс — это уже на выходе из студенческого ареала, из юности, чувствуешь дыхание ветра жёсткой, неугадываемой жизни.

Университет богаче пединститута книгами, а университетские эрудиты богаче прочитанным. Владимир Сисикин, Валерий Мартынов — среди первых. Оба знакомы с бездной книг, у самих личные библиотеки, оба пишут стихи, а Валерий — ещё и громогласно, раскатисто читает их на вечерах воронежской поэзии. Снисходительно-высокомерное отношение к местным поэтическим именам. Ироническое слово о стихотворце Павле Касаткине, дескать, последний — новоявленный Кольцов — похвалялся, что ни одной книги до конца не прочитал. Оба умны. Валерий, по-моему, более искренен, Владимир более закрыт и высокомерен. С последним выпивка в ресторане «Дон». Собеседник слегка удивляет, вдруг и как-то по-женски легко перейдя от одного столика к другому — от одной беседы к другой. Мелкое фронтёрство, молодой себялюбивый протест.

На последнем курсе короткие, трёхмесячные месяцы педагогической практики выдались значительными и незабываемыми. Село **Карпенково**, в полутора десятках верстах от Каменки (станция Евдаково) — обычное степное село с логами, прудами, широко разбросанными улицами — за короткое время стало для меня дорогим. Учащимся рассказывал, чем оно привлекает приезжающих и за что им, здешним уроженцам, должно любить родное село. Что же до названия... может, от обилия карпов в здешних прудах? Но пруды-то возводили первопоселенцы — из непоседливых жителей Острогожска, отбивших в степь вольную в восемнадцатом веке. Село же не могло быть безымянным, пока поселенцы разберутся с карпами; значит, названо оно, скорей всего, по фамилии одного их первых и чем-то особо значимых, деятельных поселенцев, и фамилия, скорей всего, Карпенков.

Преподавание в нескольких классах — от пятого до десятого. Скоро заслужил, особенно у старшеклассников, благодарное признание. Обычно я не готовил поурочного плана, но завуч Зинаида Петровна, послушав два-три моих урока, не стала требовать от меня подготовительных и отчётных бумаг, и я часто устремлялся в выси заоблачные. Оставлял с четверть

часа на «Тихий Дон», на стихи Пушкина, Лермонтова, Боро-
тынского. Самое радующее меня, что десятиклассники увлек-
лись отечественной классикой, к тому же, они, видя мою
эрудицию, достаточно условную, словно ребѣнки, забрасывали
меня массой вопросов. Приучил их бывать в сельской библио-
теке, весьма богатой.

Ученицы-десятиклассницы, как водится, влюбляются
в молодых учителей, так что и мне дано было испытывать
умиляющее светлое чувство от искренней доверчивости
десятиклассниц, от тихого сияния их тревожащих славян-
ских глаз, желания девушек-выпускниц узнать всё, что знал
я о мире, который для них был во многом ещё загадочен. Только
хотя я и был разделѣн с ними малой разницей в годах, но мои
сердце, разум, воображение давно уже, метафорически говоря,
бороздили далѣкие моря и океаны, и был я отделѣн от этих
доверчивых юных глаз тысячами вѣрст и тысячами тревог,
сомнений, искушений, влюблений.

Далее выяснилось, что с моим товарищем по педпрактике
Эдуардом Дружининским мы оказались не лишними и для
взрослых, с которыми у нас было нечто вроде одновременно
и бесед, и лекций, и они подолгу нас не отпускали, слушали
так, словно бы перед ними были почтенные лекторы общества
«Знание». И сознание, что селу есть в нас нужда, побуждало
быть строже и ответственной.

Каждодневное — уроки, уроки, уроки... Празднично-памят-
ное — трудная победа нашей хоккейной команды на чемпио-
нате мира в Стокгольме. А ещё...

В февральский метельный день приехала Элла. Была она
вся в пушистом меху, в снежинках на длиннющих ресницах.
Я встречал её в Каменке (Евдаково), она сошла с поезда, обя-
тельная, несказанно обаятельная, и на грузовой машине, кото-
рую нам выделил председатель колхоза, мы мчались в случай-
ное и не случайное для нас село, близкие, как единое молодое
деревце: заслоняя её от зимнего ветра, я распахнул пальто,
охватил им всю её, и мы стали словно бы единое целое, — на
всю жизнь, на всю жизнь! — благодарно, безмолвно восклицал
я. Незабываемые часы, проведѣнные с Эллой в Карпенково, да
будет долгою жизнь этого села!

Когда в апреле закончилась педпрактика и надо было уез-
жать, нас в знак благодарности чуть не в половину дороги до
Каменки провожали и взрослые, и дети — учителя, ученики,
их родители. Славные проводы до автотрассы и далее...

*(Позже на пути из Воронежа в Россошь часто придѣтся
ездить по острогожской трассе, по разные стороны от кото-
рой — Дегтярное, Коденцево, Ольхов Лог, Атамановка, иные
деревни, оттуда за знаниями шли в Карпенково юные умы.
У сворота на Карпенково я нередко приостанавливал свои «Жи-
гули», и недавнее, с годами всё более далѣкое, возвращалось...)*

Пиррон — скептик. Пиррон интуитивно чувствовал, как мы зыбки. И чем ни прочнее строим метрополитены и небоскрёбы, тем более мы зыбки и неустойчивы. Это расщепление ядра во имя смерти. Мы думаем, что постигли ядерность, нет — ядерность настигла нас.

Есть первые издания Данте и Достоевского, скульптуры Родена и Конёнкова, полотна Нестерова, Врубеля и Сурикова, есть Лувр, Эрмитаж, галерея Уффици... Но достаточно малой космической непредвиденности, разрушения сверхзвезды, и рентгеновский и радиоактивный ураган вырвет нашу землю из своей орбиты и бросит её в темноту, в пустоту, в небытие.

И что наша жизнь? Образовавшаяся где-то в одном из бесчисленных углов-тупиков бесконечной Вселенной разгульная стыдная дрожь материи и едва мерцающее сознание. Цепь ошибок каждого живущего. Снова зов тела и цепь ошибок. Следующий, следующий, следующий... Наука бьётся над тем, как вернуть человеку молодость, дать долголетие, и, может, скоро продлится молодость и жизнь — лишние полвека будет лихорадить сгусток материи, именуемый хомо сапиенс, лишние полвека будет мерцать сознание...

Экзистенциалисты говорят о пропастях, перед которыми стоит человек. У нас они в учёных кругах чуть не мракобесы, отчаявшиеся, утраченные диалектикой жизни. Где пристани? Начинаешь веровать в красное и белое, хочешь понять крайности. Или, может, действителен только мир чисел, и интеллект должен найти успокоение в себе самом и перестать стремиться в манящую и разрушительную бесконечность? Или... Или... И так, и эдак, а на душе неспокойно.

Однажды мы долго спорили с другом о пессимистическом, даже апокалиптическом восприятии мира. Таковое восприятие вытекает из тяжёлых общественных условий или трудной личной судьбы? Моё понимание — в недавнем письме к другу из Первопрестольной, предостаточном своей наивностью, выпренностью, но искреннем.

«„Отчего деревни стоят чёрные, отчего так печальны лица погорельцев, отчего дитё плачет?..“ Едва ли дословен текст, но, надеюсь, ты помнишь этот неотменимый вопрос в „Братьях Карамазовых“. И он, внешне несколько модернизированный, всегда или почти всегда не забывается мною. В особенности, когда идут вселенские праздники, и радостно тысячам и тысячам молодых и стареющих; только эта радость не есть всеохватная, доединая: сколько отыщешь в этот миг скорбящих и гибнущих!

И мне не должно быть удобственно, приятственно (жизнь в своё удовольствие). И, ощутив иногда светлые настойчивые чувства: радостям здравствовать! — я начинаю выхолащивать эти чувства таким потоком воспоминаний, исторических

погружений, рассуждений, поступков, действий, при котором они, чувства радости, воспринимаются как противоестественные, как противоестественно то, что деревни стоят чёрные.

А радость действительно окутывает: оттого что снег сыплется и сыплется, оттого что возле села моего — голубая криница, оттого что снова к лыжам моим как будто примагничены донской край и весь шар земной...

А было это давно, давно. „Когда-то были мы богами...“ Оказывается, что это „когда-то“ и есть детство, в нём мы были ещё ничем, но могли стать всем! Могли стать пусть маленькими светильниками, могли стать и пауками; так вот у меня иногда такое скверное ощущение, что у многих только разве паучьих липких лапок не хватает.

И не безгрешна их печаль — это у неканонических, кем и с каких мирских женщин писанных икон. Так и мой пессимизм — не безгрешен. Однако это уже оборачивается бурей в стакане воды. В самом деле, какая цена скептицизму и пессимизму, вырастающему оттого, что тебе не дали мятного пряника или ты его кому-то не дал. Вот ежели общественный скептицизм! Но нет места такому, ибо есть работающая на нас до ушей улыбающаяся объективная истина и пристёгнутое к ней светлое будущее. И если я сторонник сумеречных тонов, то не тенденциозно ли я подбираю „реальность“, подтверждающую моё восприятие.

Вот возмутительная параллель: умный Чаадаев в Россию не верит, и за сим — пофилософствовать ему в сумасшедшем доме. Зато не менее умный Белинский вещает: завидую внукам и правнукам нашим, коим предстоит жить в сороковые годы двадцатого века. Завидовать? Страшная война — в сороковые!

Конечно, идеал — это „скоро сказка сказывается...“, а мир всё-таки подвигается законами и неожиданностями прогресса, а прогресс — он спиралеобразен, а абсолютная истина приближается к своей истинности, как заявляют наши умники. Какая абсолютная истина? А чем наши лакировщики отличаются от зарубежных? — правовернее самого ватиканского клира, схоластичней мудрёных схоластов, далёких от подлинной жизни? Писания тех и других напоминают средневековую богословскую диссертацию — „О надписи на могиле Адама, предполагаемой на острове Ява“.

Право на пессимистическое чувствование и видение мира как мира трагического вытекает из того, что бесчисленные жертвы и заблуждения — оборотная сторона всякого революционно-спешащего пути».

Зреет на всех континентах такое, с чем однажды пораженчески столкнутся «цивилизованные» ядерные державы, мировые верхи. Даже издали видны исполины: Китай, Индия, Африка, мусульманский Восток; перед ними и американские

Соединённые Штаты, вместе с англичанами изловчившиеся ограбить и подмять большую часть земного шара, и Советский Союз с его победами и великими жертвами — малочисленны и неужели малобудущны? А русский путь вечно жертвенен.

Разумеется, да здравствуют все народы, и конечно, народы Африки, не для наших восторгов поднимающиеся во весь рост. Их если не убеждение, то чувство — определённое: коли ввергли их в века неволи и рабства, то и должны белые вернуть им долг великий, — так думают и вожди африканские, несмотря на их кембриджско-оксфордско-сорбоннское образование; в том же Кембридже или Гарварде, может, и успешных в поиске научных истин, едва ли научают справедливости, покаянному чувству тех же англо-американцев за исторические грехи отцов: перевозить тёмных африканских невольников из родного континента на чужой континент ради наживы-прибыли и удобства белых — эка ли провинность?!

(Потомки испанских, португальских конкистадоров на самой вершине горного утёса над Рио-де-Жанейро установят огромное изваяние — Христос с развёрстыми руками. Словно летящий, словно всех призывающий, словно всех готовый обнять. Христос искупил всеобщее человеческое заблуждение, испил чашу за грехи человеческие. Но последние снова и снова окутывают нездоровыми смогами все материки — нет границ новым грехам и заблуждениям человеческим.)

Что же до нас... Да здравствует Асуанская плотина! Верно, русские всегда — за помощь более слабым. Но помогать надо сначала России в России самой. За разумные связи, но не за лихое разбазаривание. Индонезийскому президенту захотелось, чтобы его столице подарили стадион. Не клинику, не приют для престарелых, не педагогический институт, а стадион. Как если бы собранные по копейке деньги, которые община предназначала на воздвижение церкви, пошли на строительство увеселительного дома. Любят у нас хороводиться с этими калифами на час. Скороспешные ориентации?

Впрочем, что нам до них, если нас такая райская жизнь ожидает? С самого утра все бегут по спирали в это обетованное строимое общество, бегут, покупают холодильники, диван-кровати, пылесосы... Сегодня 31 декабря, море вина и радостей. С самого утра идёт снег. А я выхожу из дому с «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Выхожу в снег и шлю мысленные слова холодильникам и диван-кроватям: «От зари и опять до зари — дикари и опять дикари...»

Лекции, студенческие работы-изыскания, конференции. И поездка в Новозыбково — на студенческий филологический форум...

(Позже с некоторым удивлением вспоминал едва ли понятные, скажем, для карьеры поступки: готовил студенческие работы и не приезжал на итоговые конференции; приглашали в аспирантуру — отказался напрочь; и далее: предлагалась должность зам. главного редактора молодёжной газеты в Великом Новгороде — не решился из-за отдалённости от стареющих отца и матери; после признания и высокой оценки книжного «Отчего края» звали на службу в Москву — не поехал. Действительно, я с молодости испытывал равнодушие ко всякого рода карьерному росту, спокойно уходил от маячивших впереди повышений и, с незапамятного лета живущий с необъяснимым чувством вины перед живущими и ушедшими, позже «успех ощущая как грех», едва ли бы когда мог душевно принять моё возможное официальное восхождение.)

Перед госэкзаменами поездка к Эллиной тёте Насте в **Пере­лётшино** — на стокилометровом удалении от Воронежа. Не столь сахарная, как местный сахарный завод, жизнь здешнего люда. Об этом узнаёшь по жизни одной, для Эллы родной семьи. В самом начале войны погибнет муж её тётки, вдова останется вдовой, поднимая двух дочурок, с утра до ночи избываясь на работах, не по-женски тяжких.

И моя великая радость, трагическая радость — кинокартины «Летят журавли» и «Баллада о солдате». Это, может быть, лучшие в мире фильмы. Народные фильмы. Фильмы на все времена, пока в мире есть чувство народного подвига, народной жертвы, беды и победы, пока есть красота, честь, совесть, любовь...

У меня холецистит, панкреатит, гастрит, бронхит, гайморит и прочие напасти, потому военкомат даёт временную отсрочку. Армия подождёт, но чего мне ждать? Были мозговые поиски — странные наслаждения интеллекта, приближённости девичьих глаз, прежде чем приблизиться обнимающим рукам. Опьянения всякого рода и отрезвления, и отрезвления... Что будет? — разве суд над собою...

А откуда моя головная правовисочная боль?

Сейчас перечитал свои записки, и сразу вспомнились известные слова о французском политическом деятеле, могшем недоговаривать или вовсе умалчивать о существенном, зато о незначительном, стороннем пустословить в любой обстановке — будь то дипломатическая встреча или дружеское застолье. Положительным, благообразным выхожу по этим запискам. Во мне же столько боролось и борется противочувствий, столько тьмы наплывало и наплывает на меня... И даже — пусть не главное — в разные лета встречи с девушками. Пусть

обычно и без физических реалий и последствий встречи. Но в них же не только взаимные свет и эмоциональная радость, а и горечь, и даже не только от наступающих расставаний... А огорчать никого не хочется: всегда помнишь — в историческом потоке отношений меж юными столько было их, девушек чистых и греховных, любящих и более всего страдающих!.. Страдающая девушка, страдающий ребёнок — предвестие будущего тотального опошления и ожесточения человечества.

Разнодорожье, раздвоенность, амбивалентность, релятивизм, ответвления от главного — часто форма лукавства, заблуждений или сознательных шагов в неправду, во всяком случае — разломцельной жизни, искривлённая тропа чувствований. И мои отношения с Э. и В. — моя неизгномимая вина. Э. — к ней глубокое искреннее чувство, она моя надежда, избранница, свыше данная муза, русская-русская; В. — малороссиянка, украинка, похожая на одну из древнегреческих, а скорее, еврейских красавиц, влюблённая с вдохновенно-жертвенной беззаветностью. А я? Вполне ли понимаю, отчего мне нехорошо? Противны всякие лжеразмышления, колебания и оправдания вокруг реального древа жизни двух юномладых девичьих сердец, любящих одного.

Кафкианский вариант... Недавно и нечаянно прочитанный рассказ. Человек превращается в нечто иное... Насекомое, инсект... Что здесь — авторская болезненная прихоть или пронизательность писателя, и человечество ждёт большие необратимые изменения? Во всём?!

Заканчивается моя малоразумная юность, заканчивается студенческая пора. Не приняв соблазна аспирантуры, выбрал я учительство, просветительство — выбрал Северный Кавказ!

Исписан последний лист — со строками о прожитых двадцати трёх годах. Закончена моя студенческая тетрадь.

(Ностальгический взгляд через годы. Удивительное, из детства вынесенное и на всю жизнь памятное впечатление. Вчерашний семиклассник, из дальнего донского села я впервые ехал в Москву. Перед Отрожкой поезд надолго остановился. По правобережным холмам тянулся Воронеж, и в нём ушедшая война руинами всё ещё напоминала о себе, даже, казалось, таила угрозу своего возврата. Но тут в вагонном окне я увидел, — и больше уже не мог глазами оторваться, — прекрасное белое здание с колоннами; на правобережной гряде, в окружении малых домишек, оно вздымалось словно в камне торжественное песнопение. Здание было — как из другого мира, как тайна, как недостижимость. «Хотя бы на миг побывать там, увидеть, что внутри!» Увидел — и не на

миг: через несколько лет я поступил учиться в Воронежский государственный педагогический институт, на историко-филологический факультет.

*Это светлое зданье — с колонным фасадом и крыльями —
Мне казалось прекрасным виденьем,
Когда, мальчик, я с Левого берега видел его,
Проезжая железной дорогой;
Как маняще вздымалось оно на прихолмье,
Словно белая тайна,
В окружении малых домишек,
После страшной войны понастроенных, —
Это светлое здание — педагогический...*

*А потом, дни за днями, пять долгих студенческих лет
Я входил в это зданье, попадая в привычный поток,
И привычными были портал и колонны, и крылья,
И прохладные аудитории,
Где читал и услышал бездну важного и ненужного.
Здесь на вечере с девушкой познакомился я,
И бродили мы долго по смолкшему зданью,
И в полуночный вышли Воронеж, и прошли его весь!
Я женился на ней, и у нас родились сыновья,
Что являлись счастливой надеждою, малые,
Отчего же так выросли быстро?*

*Архитектор, хвала и спасибо за пединститут,
И конечно, спасибо, строители, и конечно, преподаватели,
Да и те мои сверстники, что делили студенчества будни.
Скажут, зданье — не совершенство, и подобно подобным...
Но как вспомню, каким я увидел его
В первый раз, ещё в детстве далёком,
И как вспомню пять долгих студенческих лет,
Так зайдётся душа!*

Исподволь многое стало привычным, даже близким. А в начале всё было внове и захватывающе: учёный дух кафедр и лабораторий, торжественные встречи в актовом зале, и конечно же, зал спортивный, где институтская волейбольная сборная, одна из самых сильных в России, неотразимыми ударами вызывала наши молодые восторги. А фундаментальная библиотека! Какая торжественная основательность в самом названии! И хранилось столько научных и художественных изданий, что за пять студенческих лет невозможно было перечитать даже малую часть их. Разумеется, читать приходилось всякое — не только просвещающее, а и затемняющее, идеологически предписанное. Но зато — Достоевский впервые был прочитан здесь.

В ту пору ещё не ушедшего советского коллективизма, энтузиазма, шефства, — сказать по-русски: единоустремлен- ния, — принято было в начале учебного года, по ранней осени отправлять студенческие силы на помощь селу — убирать зерно, картофель, свёклу, помогать колхозам в поле и на стройке. Каждый вуз снаряжал многочисленное трудовое воинство своих питомцев. Обычно, к середине сентября молодые целыми составами уезжали вглубь области. В год моего поступления нашему институту выпали ещё суще- ствовавшие Абрамовский и Елань-Коленовский районы. Нас, первокурсников, определили в Синявку. Я тогда в каждом новом месте искал близкое, чем-то напоминавшие образ моей малой родины. И хотя ни моего Дона, ни придонских мело- вых кражей здесь не было, но село и по расположению, и по звучанию показалось поэтичным. Я даже стихи написал — строки, густо «выкрашенные» в синее: «Горизонты — синие линии, / Голубь сизый на синей воле.../ У Синявки в сумерки синие / Светом синим пылает поле, / Светом синим — глаза девычи, / И они — зарниц посинее! / Синий край во хлебах пшеничных, / Как тебя мне узнать вернее? / Видно, чёрное есть и серое / У Синявки под вздох осиновый.../ Но и в чёрный час всё же верю я / В поле синее, в небо синее!»

На стардном поле Синявки мы по-настоящему перезнако- мились, даже сдружились, узнали, кто чем крепок, кто что умеет, кроме того, как мешки таскать и шутивно пикиро- ваться с однокурсницами. Нашлись свои физики и лирики, выявились свои художники, — Борис Соколов и Иван Скога- рев снабдили рисунками тетрадь моих стихов, названную, к слову сказать, «Синими сумерками». Вернулись в инсти- тут — словно в дом родной.

Всё было — как во всякие студенческие времена: лекции, семинары, стихи, факультетские вечера; институт с утра до вечера — словно пёстрый шумный улей; поистине — цвет- ник юных созданий со всей страны (в двухтомнике «Стра- ницы воронежской прозы», в избранном «Времена и дороги» есть рассказ «Спроси у древних», в котором узнаются альма- матер и штрихи тех студенческих лет).

Нередко, разумеется, бывали досадно-грустные дни, бывали... И преподаватели подчас поступали более жёстко, чем хотелось бы беспечной молодости, и денег от стипендии до стипендии не всегда хватало, да и сами по себе перепады настроений молодости нередко погружали в душевные тре- воги. Но отчего же все тучевые мраки пробивал сильный свет, которым озарялась душа? Может, оттого, что главным в пе- ременчивых настроениях было всё-таки чувство надежды!

Было время нашей молодости и как бы возвращённой моло- дости нашей страны. Помню общую и неподдельную радость, когда в весенний день 1961 года корабль «Восток» с Юрием

Гагариным взмыл в космос. Тогда нам казалось, что всё под силу нашей родине. А значит — и нам!

Проучительствовал я недолго — три месяца в среднерусском селе Карпенково, полтора года на Северном Кавказе, в чеченском селении Валерик. И хотя дальнейшие годы были отданы журналистике, издательскому, литературному делу, но из «учительского состояния души» никогда не уходил. Я убеждён, что не может быть ни хорошего профессионала, ни хорошего руководителя без дара учительского — сопереживающего. Чувство учительства, просветительства в высоком, духовном смысле необходимо человеку, какую бы ни была сфера его деятельности. Поэтому, сын учителя и сам учитель по диплому, я всю жизнь так или иначе возвращаюсь в «педагогические воды» — в своих книгах обращаюсь к образам учителей, участвую как редактор в выпуске школьных книжных библиотечек, изданий для юношества, выступаю перед школьными, студенческими, преподавательскими аудиториями. И — как вчерашнее — часто вспоминаю учительствование на Кавказе, педпрактику в селе Карпенково, осенние выезды в районы области — Елань-Коленовский, Абрамовский, Таловский, Бобровский, Калачеевский, Новохопёрский... И, конечно же, студенческие будни и праздники в Воронежском педагогическом нередко являются мысленному взору, проходят чредою зримой, навсегда памятной.

В прожитой жизни бывал во многих студенческих «храмах науки» — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Иркутске, Бухаресте, Берлине, Варшаве, Праге, Падуе, Риме... И всякий раз невольно вспоминал Воронежский педагогический — свой родной институт.

И всякий раз, вспоминая, говорю мысленно «Спасибо» — преподавателям и всем пединститутским сотрудникам тех времён, моим сверстникам-студентам, новым поколениям будущего учительства и тем, кто, надеюсь, учит их знанию истины и чести.)

СНЫ У ВЕЛИКОЙ РЕКИ

Взволновавшее, передуманное, пережитое...

Краткий пролог

Есть сонники — целые книги о снах, есть гадалки и отгадчики снов. Есть некие сообщества и академии, погружённые в сны, их толкование, влияние на отдельную человеческую судьбу и судьбы мира. Едва ли найдётся человек, даже с равнодушной, железной психикой, кому бы хоть однажды да не приснился сон. Лишь крохотка снов лишь одной жизни — грустных и весёлых, радостных и печальных, терзающих и карающих, подчас трагических, и даже онейрических, учёными-литературоведами обнаруженных в моих книгах, мало что открывает в землетрясениях и душепотрясениях или в мирном течении жизни, но, быть может, что-то приоткрывает.

Происхождение их? Одни от реальных событий текущей жизни, другие — от далёкого, но исторически реального, мысленно увиденного и пережитого, передуманного, взволновавшего разум и сердце, — они то реалистичны, то сюрреалистичны. Сны детства отличаются от снов старости. А иногда — переплетаются. Сны приходят, не спрашивая.

Небесный полёт детства

Стою я (ты, он), семилетний, вместе с отцом на меловой круче, на прибереговом кряже, на обрывном спуске к Дону — древней реке Отечества и мира. И вдруг подлетает большая птица с сине-альными перьями и машет крыльями — словно зовёт. И я чувствую, и я вижу, как у меня за плечами вырастают трепетные крылья, и они поднимают меня вверх. Я успеваю взглянуть на отца, он молчит. И я улетаю от родных рук, за которые совсем недавно держался, и лечу над просторами своей малой родины, и как прекрасны эти просторы! И какие они многоцветные — сизая река, зелёный остров меж Доном и Стародоньем, жёлтые прибрежные пески, белые меловые кручи, синие, в дымке, далёкие леса! Так я летаю долго и безустально, пока внезапно крылья мои не срезаются, я стремительно низвергаюсь вниз и... просыпаюсь.

В раннюю пору своей жизни все дети, наверное, летают. Наверное, и сходное у всех чувство: новизны, страха, восторга. Разве что малые родины — у каждого своя, и летают дети над Волгой и Днепром, Рейном и Дунаем, Миссисипи и Амазонкой, летают как нечаянные ангелы — земные ангелы света.

Красный яблоневый сад

Приснилось мне, семилетнему, что угощаю сверстников краснобокими яблоками с одной-единственной в семейном саду яблоньки. Оборвал все яблоки, все раздал, но двум друзьям не хватило. Они по-детски готовы были расплакаться, но тут явился... нет, не Дед-Мороз, а похожий на него Дед-Август. Он громко, громкоподобно поздоровался с нами и тут же пообещал исполнить любое доброе наше желание. От волнения запинаясь, я попросил, чтобы в родном селе, и в соседних сёлах, и на всей земле появились сады с краснобокими яблоками. Дед-Август строго посмотрел на нас, чуть помедлил и воздел руки ввысь. И как будто поблизости зашелестели яблоневые кроны, и яблоневые сады на миг увиделись мною даже за океаном.

«А тебя я назначаю главным садовником на земле!»

С той поры прошло семьдесят лет, всякие сны снились, чаще грустные, бывало, и радостные. Этот — «яблоневый» — вспоминается мне как один из самых счастливых.

Сухие кустарники

Трижды на неделе снится один и тот же сон. Три моих семилетних дружка одновременно и смертельно подрываются на минах, брошенных на придонской круче отступавшими в январе сорок третьего немцами и итальянцами, и резко взмывают вверх три огненных красно-чёрных взрыва и тут же превращаются в сухие кустарники.

Те страшные взрывы я видел и в действительности, наяву, а вот безлистые кустарники с тысячами сухих стеблей... Может, те стебли — дети и внуки моих маленьких сверстников, не ставших отцами?!

Коровы хотят пить

Завтра нам с мамой рано подниматься: наш день пасти «череду», то есть коровье стадо: корову имеет каждое подворье на нашей сельской улице. Мне не нравится пастбищный день из-за укороченного ночного отдыха, беготни по травяным косогорам за строптивыми бурёнками, которых всякий раз тянет на близкое колхозное поле, усталости и неудобства от изнуряющего солнца или морозящего дождя; а главное, в этот день я разлучаюсь с Доном, который меня ежедневно ласкает своими волнами, в жарынь даёт телу испробовать холодящей воды, видеть осокоревый остров и проплывающие мимо баржи.

И вот я засыпаю, и мне снится, как мы выгоняем стадо за околицу, и коровы вдруг дружно, человеческими голосами заявляют: «Мы хотим пить! Мы поворачиваем к Дону!» Я так радуюсь возможности и в этот день побывать на всегда желанной реке, что даже не удивляюсь коровьим — человеческим — голосам.

Мама тормошит меня: «Пора, сынок, пора!», я просыпаюсь. За окном — рассветная полутьма и уже порёвывают бурёнки, привычно готовые идти на дальние травяные косогоры.

Георгин и мальва

Перед моими глазами возникают два крупных цветка: георгин и мальва. Они помахивают мне своими головками и лепестками, явственно приглашая следовать за ними. Иду за ними, быстро шагающими своими многочисленными корешками; они поднимаются в верх улицы, и вскоре я, увлекаемый ими, оказываюсь на кладбище; а георгин и мальва враз пропадают, словно незримо возносимые ввысь или провалившиеся сквозь землю.

Рассказываю сон маме, и она укорно и потерянно всплахиивается: «Надо же! Давно не была на погосте. Это Люда и Толя зовут. Надо завтра пойти, помянуть их, цветы на могилках полить».

Люда и Толя — старшие мои сестра, брат, вот уже пятнадцать лет, как их нет в живых: не пощадила дифтерия. Я отрочески молод, во мне мало тоски и печали, во мне рождаются неясные чувства и неясные стихи, и когда мы возвращаемся с кладбища, меня настигают бессмысленные рифмы: Анатолий, Капитолий, сон магнолий.

А два цветка — георгин и мальва — на улице больше не появляются и не зовут.

Улетевшая мать

Приснился в детстве сон, что мама пересела с телеги на машину, и та не поехала, а поднялась над землёй и полетела в край, откуда не возвращаются.

Трое в лодке на прудах Гатчины

Светлый июньский сон, притенённый вётрами. Плыву, семнадцатилетний, с девушкой из соседнего села, в меня влюблённой, и с нами семилетний братик девушки — мальчик с чистыми глазами и ещё совсем чистой, житейскими пеплами не испятнанной душой. Плывём не по стремнине родного Дона, а почему-то гатчинскими прудами, хотя я прежде в далёкой Гатчине не то что не бывал, а и думать о ней не думал. Каскад миротворных прудов, зелёные берега, синяя лодка, и мои вёсельные мягкие гребки по мягкой воде, и девушка смотрит на меня обожающими глазами. И вдруг, как в той сказке про рыбака и рыбку, враз наплывает густой белый туман, и я оказываюсь на берегу, и один, а девушку с братиком — словно унёс ковёр-самолёт.

Самое удивительное, что сон, почти точь-в-точь, через год сбылся. То есть я действительно побывал в Гатчине,

и в июньский день мы с девушкой, соседкой моей родственницы, и её племянником плывём на лодке гатчинскими прудами, и девушка смотрит на меня медленно влюбляющимися глазами. Мы обещаем переписываться, но, как часто бывает, ни я, ни она не получили даже малой весточки. Правда, мне, а может, и ей, долго вспоминался тот день, где трое катались в лодке на гатчинских прудах.

Сон из юности

Этот сон, право, можно было бы назвать отголоском пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Меня, юного, мечтающего о счастье своём и своих близких, овевает незримый голос мной чувствуемой всеисильной силы. Голос обещает исполнить главные мои просьбы-желания — числом четыре. По-юношески романтичный и от природы не эгоистичный, я прошу отстроить родное, разорённое после войны село и одарить радостями всех, живущих в нём; моё первое желание вмиг исполняется. Далее, волнуясь, я прошу благоустроить, вывести в лучшие мою большую, разорённую войной родину; второе мое желание также вмиг сбывается. Наконец, я прошу немислимое — сделать счастливыми все страны и народы, и (о чудо!) я чувствую, как на земле воцаряется всеобщее счастье. И тогда я прошу о сверхмерном: извести всё дурное на земле — от саранчи до людей розни: злобных, завистливых, жадных, способных клеветать и убивать.

Мои глаза ослепляет молния, которая ветвисто прошивает небосвод во все стороны света, а гром грохочет столь оглушительно, что я просыпаюсь. Выхожу в утреннюю рань, вижу родное село — оно хорошеет год от году. Там и мои труды — с ровесниками я по осени разбивал общий яблоневый сад, помогал крыть оцинкованным железом макушку местной школы, завозил брёвна и доски для нового зернотока.

А сегодня мне неисчислимыми зёрнами пшеницы засеивать Долгое поле.

Страсть и стыд

Тонкая ветвь — первой юности девушка, которую ты никогда прежде не видел, подошла и тихо молвила: «Я давно вас знаю. Пойдёмте со мной. У меня есть пустынный дом, а я ещё не испытала тепла». Обаяние не троганной юной молодости, беззаветность, жертвенность, совокупные страсть и стыдливость отражались в её огромных ждущих славянских глазах, сказать вернее — очах. Взялись за руки и пошли в её одинокий пустынный дом у донского берега. Почему же не было ни сомнений, ни размышлений, ни рассуждений о долге и ответственности, о грехе, о смысле совестной жизни? Горячий ослепительный сумрак, беспамятство, инобытие...

А проснулся — и живые муки стыда перед девушками, безответно тебя любившими, перед кроткой, преданной молодой женой и маленькими детьми, перед всем белым светом утянули в привычную боль; и в тебе, приходящем в себя, как, быть может, после падучей, занимались пушкинские, из православных палестин идущие строки: «Отцы пустынники и жены непорочны...»

Метель

Снилось: я, старшеклассник, возвращаюсь из соседнего села. Начинается метель, но до дома я успеваю добраться. Дом — он же сельский совет, в нём единственный на всё село телефон. Ночной звонок из района. Предписание: сутки никому никуда не выезжать, из подворий не выходить. Никто не выезжает, не выходит, но за сутки снега наносит выше соломенных стрех. Заснеженное село, в котором соседи пробивают ходы друг к другу. И кажется мне, что уже никогда и никуда не выбраться, и вся родина — под снегами, и весь мир — под снегами. Но обваливается рыхлая нерукотворная крыша, снеговые пещеры превращаются в узкие улицы, метель изошла, солнце сияет хоть и по-зимнему, но приветливо. Холодящее чувство бесконечности.

А много позже — читаная-перечитаная пушкинская «Метель». Многократ прослушанная свиридовская «Метель».

Дети-цветы-птицы

Семнадцатилетний, зачарованно вижу во сне, как на незатейливой клумбе в палисаднике соседские детишки превращаются в цветы, а затем цветы на глазах превращаются в птиц. Вообще-то я сдержанно отношусь ко всякого рода перевоплощениям и не только театрального свойства. А здесь необъяснимый тихий восторг занимается во мне, словно всем детям-цветам-птицам в их изменениях выпадет только счастье — неизменное счастье.

Утром вижу: цветы — на клумбе, детишки — на подворье, птицы — в небе. Я радуюсь ночному небывалому сну с хорошей концовкой, какие обычно бывают в сказках, а больше — тому, что это всего лишь сон: наяву же никаких сказочных, волшебных, колдовских, театральных, цирковых изменений, превращений и перевоплощений: соседские детишки играют на подворье, цветы пламенеют в палисаднике, птицы пронизывают воздух, как вчера, как тысячу лет назад.

Старшеклассники

Старшеклассник, в воскресные дни поднимался я с ребятами на овражистые, заросшие орешником и черноклёном придонские

холмы войны (на этих меловых холмах в лето сорок второго окопались докатившиеся сюда западноевропейские фашистские дивизии, и только Дон разделял непримиримые силы, изрыгавшие друг на друга миллионы снарядов, мин и пуль, осколки от которых всё ещё цеплялись о наши ноги). Уже прочитавший десятки книг про полководцев, я любил предводительствовать, выбирал выгодную для победы позицию, интуитивно грамотно расставлял сверстников и сам водил их в атаки.

А тут вдруг (это был сон) на давно ли немирных холмах оказался с девчонкой из соседнего класса, которая мне нравилась, и я не мог найти «позицию», как поестественней и попримитивней стать ближе к ней, даже — какие хорошие и особенные найти ей слова. Наутро в школе сказал: «Во сне мы были с тобой на придонском Белом холме. Пойдём туда!» Мы взошли, и я сказал: «В мире есть две прекрасных — птица и ты. Не улетай от меня, как птица». — «Хорошо», — согласилась она, теплея глазами.

После школы пути наши разошлись, и больше мы никогда не встретились. Лишь приснился через полвека сон, что мы, давно через загс узаконенные мужем и женой, всходим на придонский холм войны — гибели и любви.

Травы и юные женщины

И на косимых лугах мне, схваченному ранимым сном, травы с цветами (какие прекрасные макушки клевера лугового, лютика, одуванчика!) почудились девушками, юными женщинами — незнакомками из окрестных сёл, — их срезает коса, срезает недоля, срезает судьба.

Но днём мне надо проехать по ближним сёлам, встречаются местные юницы и молодые женщины, и сколь они милы и полны жизни и улыбок!

Видишь небо

Да, это необъятное чувство, уводящее в запредельность. На высоком холме, откуда открывается Дон и окрестное на десятки вёрст, лежу в глубокой траве, вижу только небо... и какой-то зыбкий диалог возникает у меня с проплывающими облаками, с мировой синевой небес, с высокими птицами. Боясь впасть в нирвану, заставляю себя проснуться.

Наутро поднимаюсь на холм, как поднимаюсь треть века подряд, и всегда набираюсь сил, чувствуя родную почву под ногами, родное небо над головой.

Зарничный дождь

Это было именно беспрерывное падение не звёзд, а именно зарниц — зарниц озаряющих; это был такой зарницепад, проливавшийся таким золотым дождём, словно Вселенная отказывалась от них, словно они в чём-то провинились перед

Вселенной. И, удивительно, они, почти погасшие, сказочно умалившиеся, приземлялись во сне вокруг и виновато толпились, как малые нашкодившие дети.

Встреча с берёзами

Юность. Первоиюньский день защиты детства. Ночью — божественно-природный, миротворящий, светло-зелёный сон. Нет, это не встреча с девушкой под берёзами. Это была встреча с самими берёзами. И — сколь славными! Воспетыми моими любимыми поэтами. Вот она — пушкинская, ещё зимняя: «Скоро ль у кудрявой у берёзы / Распустятся клейкие листочки»; далее берёза Вяземского — «словно от милой матери письмо»; а вот тютчевские весенние «...листьем молодым / стоят обвеяны берёзы»; а вот Лермонтов с сыновним чувством родины отмечает «...на холме средь жёлтой нивы — чету белеющих берёз».

Всякие берёзы собрались здесь, и все они живые, одушевлённые, и я их всех узнаю, как родных сестрёнок. А они разные: высокие и мелкие, прямоствольные и чуть искривлённые, весёлые и грустные, нарядные и нагие... У Фета — «печальная», у Никитина — «беззащитная», у Некрасова — «берёзонька с зелёною косой», у Бунина — «нарядная», у Блока — «тонкая», у Есенина — «белая», у Корнилова — «нежная»; у Заболоцкого березняк — «ряды серебряных стволов»; у Мусы Джалиля — «берёзки-друзья».

А откуда истоки сна? Через четверть века буду редактировать книгу «Свет-берёза», но куда раньше собранных в книге берёз интуитивно увидел их, залюбовался и сердечно укрепился ими: они, словно зелёные светофоры, светили мне в тусклые предзимние недели.

Ушедшее под воды времён

Пространственный сон. Гляжу с Мироновой горы (у впадения Чёрной Калитвы в Дон) и вижу: в широкой долине, на лугах-луках между Калитвами-слободами, — сплошное море воды. И местные мне объясняют: «Теперь здесь водохранилище». Водохранилище? Рукотворное море? Зачем, для каких благих нужд?

(Раньше, во времена моего детства и юности, по весне случались большие разливы, но к началу лета вода спадала, поднимались травы и лозы, обнажалась и оживала дорога, виды открывались первоприродно, перволандшафтно волнующие.)

Теперь — неужели навсегда, по крайней мере, на всю мою оставшуюся жизнь, эта серая, душехолодящая необозримость вод? И становится грустно, будто я что-то сокровенное не уберёг, — потерял. Нет, не будто... Я и вправду потерял... я незаметно и вдруг оставил детство и юность. Они скрылись под водами времён.

Всерусское поле скорби

Всемирное поле войны: все поля былых сражений собрались, как пожухлые, на поле Курской битвы, и оно на пол России раздвинулось иными полями.

И во сне моём погибшие — встают. Тысячи их, сотни тысяч, миллионы. Почему-то сначала гении — поэты художники, композиторы. То есть десять (может, и больше) едва не равных Пушкину, в том же примерно числе — Рафаэлю, столько же — Чайковскому. Труженики-подвижники! Грешники, но раскаявшиеся.

Невоскресимо остались лежать насильники, предатели, лжецы, клеветники, лстецы, гордынники, злозавистники, словоблудники...

И вдруг всё перемешалось. И кто где? И Божья милость или Божий гнев над всеми — праведно-жертвенными в войне, греховно-эгоистичными в миру?!

Детские ручонки и безлистые ветки

Летний день сорок второго, то есть второго года великой войны на великих пространствах России. На зелёном лесном разъезде между Воронежем и Борисоглебском — разбомблённый фашистами эшелон с детьми. Море огня. Женские, детские крики. Детские ручонки, которые удлиняются и превращаются в безлистые, но крупными каплями-слезами исходящие ветки. Тысячи плачущих веток — во сне моём. И крики, и плачи — весь день... всю мою без вины ль виноватую жизнь. Хочется чуда: если бы сон отменял летним днём сорок второго происшедшее наяву!

Сын и река

Выступаю перед старшеклассниками в незнакомой школе. Неожиданно мне сообщают, что в ней в гостях мой старший сын-выпускник. Школа недалеко от Дона. Позвали сына, и мы вышли на берег. Но какой это был непривычный Дон! Узкий, с водами жёлто-глинистыми, с крутыми берегами, по уступам которых лепились дома, похожие на рыбацкие хижины. А мы с сыном знали и переплывали другой Дон — широкий, пусть и долетит до другого берега редкая птица, но раздольно величавый, в наших местах широтой Днепру не уступающий. И вдруг сын, он всё время как в дымке, заявляет: «Папа, выпускные экзамены подождут, а мне надо к истоку Танаиса. А там недалеко и Стикс». И он отдаляется, словно уходит в вечность.

Красный телефон

Приснилось: разговариваю с другом по телефону. Друг живёт за двести километров, невесть какая даль, и прежде с ним мы часто встречались. А теперь телефон — основное

общение; сначала, как всегда, приветствия и незначащее — о том о сём. Далее — о важном для обоих. И когда заходит разговор о важном (друг сообщает о паводке, затопившем низовую часть родного села, и трое детишек...), слышимость вдруг резко ухудшается; слышимость едва-едва — как из глухих подземелий.

Враз — обрыв! Сколько ни кричу — не могу докричаться. Дёргаю провод, лихорадочно кручу туда-сюда шнур, вновь и вновь продуваю мембрану — лишь злое молчание, ни звука. Но молчание как бы и одушевлённое, подслушивающее. Швыряю телефонный аппарат об пол, он разбивается и на глазах, к оторопи моей, чёрный, становится красным.

Друг, что случилось на малой родине нашей? Что оборвалось в телефонной связи или в нас самих? Услышал ли ты мой сон?

Попа в Древний Египет

Снился Древний Египет: Нил, пески, пирамиды. Огромный храмовый зал, и в нём появляется Нефертити, женщина действительно красивая, даже прекрасная, царственно изукрашенная незримыми венками легенд; да и отзывчивая: я осмеливаюсь с нею заговорить, причём откуда-то мне явилось знание древнеегипетского языка, и Нефертити великодушно откликается. Но тут по всему огромному залу возникает тяжёлое угрожающее шипение будто тысяч потревоженных змей; и правда — тысячи змей откуда ни возьмись окружили нас, стоймя изготовились к броску. Прекрасная жена фараона тихо, глухо, наверное, на змеином языке, что-то сказала или приказала им, и они успокоились, нехотя разомкнули смертельное кольцо. Нефертити вывела меня из храма и на чистейшем русском посоветовала никогда больше не попадать в «истории» Древнего мира.

На горе Машук

На предкавказской горе Машук я оказался секундантом и сказал поэту резко, требовательно: «Дуэль надо отменить — иначе гибель!» Поэт ответил: «Я давно погибший». Самый короткий разговор в моей жизни — во сне.

Встреча с Толстым

Сон литературный. Ты, молодой писатель, встречаешься в Ясной Поляне со Львом Николаевичем Толстым, — это происходит незадолго до смерти создателя «Войны и мира». Ты сетуешь на механизацию жизни, яснополянский мудрец охотно поддерживает, и далее всё — на взаимопонимании в вашей беседе, всё складывается душевно: и ты, молодой, и великий старец из другого времени сходитесь в единомысленном неприятии человеческих тщеславия, суеты сует. Слово века сошлись. И вдруг при расставании ты просишь написать

несколько слов на «Севастопольских рассказах» — любимых тобою рассказах. Лев Николаевич смеряет тебя пронзительным взглядом, берёт книгу, пишет несколько слов...

Потом ты вдруг оказываешься на пароме через реку Дон и нечаянно роняешь книгу за борт. И даже не пытаешься выловить её из воды, видя испытующе-пронзительный взгляд.

Не каждый век Достоевские рождаются

Как ни талантлива Россия, но и в ней не каждый век Достоевские рождаются.

Почему-то несколько раз повторялась во сне эта фраза. А сон был про некий всемирный, все человеческие века вобравший литературный форум, на котором в огромном зале можно было увидеть Гомера, Вергилия, Данте, Шекспира, Сервантеса, Гёте, Пушкина и... весь секретариат Союза писателей СССР.

Автор «Спартака» и незнакомая писательница

Приснилась тебе (в среднерусском лесу, на покинутом кордоне, в окружении берёз и сосен) встреча с... Джованьоли, автором любимого в детстве романа «Спартак», и не успел ты толком поговорить с автором, как тот куда и подевался; а появилась красивая молодая женщина, тоже оказавшаяся писательницей, и обратилась к тебе со словами: «Что Спартак?! Да, герой. Но главный мой герой — вы! О вас будет моя лучшая книга».

Ты заставил себя проснуться и, поскольку был некрещёный, не стал креститься, а воскликнул: «Что за чертовщина!» Тут же включил свет, быстро нашёл в домашней библиотеке книгу детства, открыл её и захлопнул. И подумал: былое и миф о былом, страсть и любовь... В мире всё повторяется: герои, злодеи, негодяи... всегда были, есть и будут патриции и рабы. А во сне — все рабы. Да и не только во сне...

Чёрный нуль

Долго виделось во сне одно и то же: огромный чёрный нуль на синем фоне. И во сне подумалось: этот нуль — не предтеча ли «Чёрного квадрата»?

Опустелый ЦДЛ

Снилось непривычное: в ЦДЛ, то есть московском Центральном Доме литераторов, — ни души. Ты бродишь по его залам — ни одного голоса, ни одного звука. Никого даже в ресторане, где ты, провинциальный писатель, несколько раз сживал и всякий раз видывал, как там во мнозе захмелевает околиторатурная жуирующая публика. Впрочем, заявлялись в большой ресторанный зал и настоящие, уже в сединах мэтры литературы, иные из которых локтями, суетой, декларациями, манифестами крепко прописались в почтенном ареопаге,

и были на слуху, на виду, и были устойчивы, как лозунги во времена стабильности.

Пройдя оба безлюдных этажа, едва успев подумать, что Толстой в этот постоянно пополняемый архив тщеславия и полусветской суеты ни при какой погоде не пожаловал бы, ты нашёл объяснение безлюдности обычно шумного столичного уголка: во весь размах информационного стенда были приколплены листы с краснобуквенным сообщением: о том, что в городе начат судебный процесс над всеми авторами, издавшими любые (любые!) книги; а также о том, что писатель Булгаков, автор «Мастера и Маргариты», желает познакомиться с современными писателями, имея намерение запечатлеть их в новом романе, как запечатлел их предшественников, литературных грандов могучего ордена московских писателей с сокращённым названием МАССОЛИТ. Никто из современных берлиозов, латунских, желдыбиных, павиановых и богохульских почему-то не пожелал быть увековечену весёлым булгаковским пером.

Цусима

Снилось: море, крутой утёс, на котором юнги брали из огромного вороха книги и зашвыривали их далеко в море. Книга была — «Цусима». Удивлённый, ты спросил: «Зачем их в пучину?» — «А царь велел выбросить „Цусиму“ в Цусиму, чтоб никто не знал о Цусиме», — скаламбурил старший. — «Так от этого поражение не перестаёт быть поражением!» — «Про поражения поговорим на том свете. Там всё иначе!»

Потеря родины

Административный справочник районов, сёл, деревень, хуторов родной области пропал при переезде, и его утрату ты ощутил, словно утрату близкого существа. Долгие годы ты любил его просматривать, как просматривают одно из самых дорогих изданий. За поэзией названий (Берёзовка, Пчелиновка, Зарница, Бел-Колодезь, Синий стан, Ясное, Чистозвонное, Ангельское, Зеленолистое, Красное, Солнечное и сотен других) ты видел судьбу старинных и молодых поселений, тебе легко открывались картины, эпизоды, люди, и это было столь явственно, как на экране.

И вот во сне ты извлекаешь из памяти, воссоздаешь наполненный музыкой и былой жизнью перечень, а список трудно даётся, и слышишь чугунный голос: «Что ты их вспоминаешь, их давно уже нет ни на карте, ни на земле. Твоя родина сохранилась только в сердцах немногих».

В избах покинутых деревень

Верно: о чём много думаешь, то и снится. Часто видишь во сне одно и то же: быстро, как в сказке, перешагиваешь с холма

на холм, а в низинах, у больших и малых рек, — деревни со сплошь заколоченными избами, хатами. Заколоченные двери, заколоченные окна: слепой мир, ослеплёнными покинутый не в безрассудстве, а в безысходности. Окна закрытые, но словно на миг открываются, и читаешь укор в незримых лицах. Миллионы лиц, глядящих из миллионов изб покинутых деревень...

Странные кони на странных лугах

Снилось: бредут через летний топкий луг — запряженные в сани белые кони, а в санях — ни души человеческой, только ящики, на домовины похожие. Самое странное, необъяснимое: кони добредают до берега Дона и возвращаются — влекут сани через весь долгий долинный луг (а он весь не в белых одувачиках или жёлтых лютиках, привычных на лугах, а в чёрных розах), добредают до луговой закраины и снова возвращаются к Дону, и нет им ни отдыха, ни даже малого передыха.

Павелецкий вокзал столицы

Сон о Павелецком вокзале. Приехал — вышел, а вокзал на песчаном мысе, а вокруг глубокие, нагие — ни единой травинки — овраги, и ни души человеческой. И на многие километры — пустыня. Но где же Москва?

Шакалий круг

По всему горизонту, со всех четырёх сторон света: с юга, севера, запада, востока, словно пришлые от четырёх ветров, надвигались они — волки, которые, приближаясь, превращались в шакалов. Жуткий круг сужался. А в середине круга — незнакомая девушка с испуганными глазами, и с нею малыш, может, меньший брат, может, крестник, и я, который не знал, как спастись и как спасти их. И тут впереди бежавший шакал, наверное, самый главный, чуть замедлив бег, пролаял-провыл: «Ты можешь увести с собой только одного — или мальчика, или девицу — кого считаешь нужным. Вас двоих отпустим». Я прерывистым голосом умоляюще попросил: «Возьмите меня, а их не трогайте. Пусть они выйдут, пусть уйдут». — «Нет!» — пролаял-провыл главный шакал, и жуткий круг устремился на нас.

В ужасе я проснулся, весь в поту, словно только что из парилки. Освободи меня, Господи, от таких ночных поражений, разве мне недостаточно дневных потерь, мук, испытаний?!

Вече-съезд на Дону

Этот сон снился мне несколько раз. Собираются у Дона, а именно на Мироновой горе, воины, сыны Отечества, с Доном породнённые: князь Святослав, Александр Невский, Дмитрий Донской, Пётр Первый, маршал Жуков, геополитик Снесарев, философ Лосев, писатели Бунин, Замятин, Булгаков, Плато-

нов, Шолохов, поэты Кольцов, Никитин, Бехтеев, казацки атаманы Ермак, Платов, Каледин, Шкуро... (Разных веков завоеватели от монгольского Батыя до германских Паулюса и Манштейна — тоже здесь, но в сторонке, как отверженные, а близости от них Разин, Булавин, Пугачёв.) Сколько ума, силы, таланта, страсти у сынов Отечества разных столетий! Собеседуют, ведут диалоги, спорят, соглашаются, отвергают. Неповторимый был бы исторический роман — запись ими проговорённого. Но даже во сне понимаешь, что этим течением былой и грядущей Истории, как и течения близкого Дона, не изменить.

Достойные из армий разных стран

Повоевав, они покидают свои армии, увидев, что даже битвы за правое дело, завершаясь праведными победами, рождают легионы неправедных, пожинаящих плоды их побед, превращая их победы в поражения.

И они, самые достойные в былых своих армиях, образуют особую Армию Справедливости. Рано ли, поздно ли, восторженно провожаемые женщинами и странами, начинают они поход за всемирную справедливость, над ними оливковые ветви и лавровые венки, разящие мечи и лазерные лучи... А я, за время подготовки их к походу успеший превратиться из малыша во взрослого, недоумеваю, как они устроят мировую справедливость, как они отделят овец от козлиц, как они победят не явного, а невидимого врага. Медленно они уходят в туманы то ли прошлого, то ли будущего.

Во сне приснились достойные из армий разных стран. Но их победы — победы Армии Справедливости — так и не удалось увидеть. Хотя бы во сне...

День Отечества

Приснилось кошмарное: на главной улице — День Отечества, праздничное многолюдье и многоцветье, горожане фланируют, выкрикивают здравицы, поют песни и не видят... А ты видишь, как на их глазах на празднично-людной улице убивают человека, и вдруг чувствуешь, что это тебя убивают, и вдруг чувствуешь, что убивающий и убиваемый — это один человек, и этот человек — ты.

Счастливы люди, которым не снятся сны о праздниках родины и мира: праздничные дни часто оборачиваются днями поражений, розни и скорби.

Старший сын на уплывающей льдине

Сердце, казалось, выпрыгнет из грудной клетки. Сокрушающий сон приснился отцу. Они плывут со старшим десятилетним сыном по весеннему, сбросившему ледяную закованность, непривычно широкому Дону на большой льдине, и вдруг она

трещит, с грохотом разламывается, и сын оказывается на меньшей её части, чуть шире обычной лодки; сын не кричит испуганно, не зовёт на помощь, а поворачивается в сторону далёкого моря; и льдину с сыном словно подхватывает сильным стремительным течением, и она уплывает с разгонной скоростью и скрывается за первой излучкой.

Этот сон, вспоминаясь часто, окатывая всего ледяной дрожью, выпал пророческим: через треть века в далёких — не донских — льдах сломалась и ушла на дно сыновья жизнь.

На главной улице

Сон. Стоит девочка (необъяснимо как, но сразу угадываю её имя: Вера) у истока главной улицы большого города, близкого к большой реке, держит в руках букет из полевых васильков и предлагает прохожим; далее на середине улицы девушка, наверное, одна из самых красивых в России, явно кого-то ожидает, может, возлюбленного, которого, может, и не дожждётся, если он погиб на далёкой войне. А в конце главной улицы, у впадения её в главную городскую площадь, на самой её середине, словно влитая в асфальт, немолодая женщина опирается на пышный погребальный веночек. Откуда взявшиеся машины и люди объезжают, обходят её, образуя два потока.

Тогда я возвращаюсь назад и, минуя одну из самых красивых девушек России, подступаю к девочке по имени Вера и принимаю протягиваемый ею синий цветок. На мой вопрос, откуда васильки, она по-детски чисто, доверчиво и по-взрослому серьёзно рассказывает, что она собрала их со всех ратных полей Отчизны, чтобы в людях всегда жила память: эти васильки побуждают помнить об ушедших поколениях.

Квартира на сотом этаже

Снилось, что мне выделили квартиру на сотом этаже элитного, со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами архитектурно совершенного дома, заселённого жителями окрестных сорока сороков деревень. Выдали ключи, я открыл дверь и обомлел: в квартире, представлявшей огромную залу, наполненную всякими дорогими излишествами, не было одной стены — внешней. Дом был выстроен среди чиста поля, подойдя поближе к обрывной черте, я увидел на сотни вёрст реки и холмы, автострады, исходящие всесуточными шумами, и большие города. Может, и хорошо, что нет стены, подумал я, иначе это была бы камера, в каких живут миллионы хомо сапиенс. Сделал ещё шаг, голова закружилась, меня резко утянуло вниз. Я попытался выправить своё тело и полететь, как во снах детства, но мельком увидел, что детство моё необременённым грехами мальчишкой стояло на придонском холме, недоверчиво и смущённо вглядывалось в меня, без радости

узнавая своё превращение во взрослого, отягчённого грехами прожитой жизни.

Высь и бездна

Повторяющийся сон. Будто я, боевой лётчик (в детстве мечтал стать им), излетающий заоблачные выси, с небесных высот видевший земной шар, а в небесах чувствовавший себя просторно, уверенно, радостно, я, непонятно кем подбитый, низринулся с десятикилометровой высоты, врезался в недалёкий от Дона холм, но чудом остался жив; и, уже без истребителя, стал медленно погружаться в огромную воронку, которая превращалась в исполинскую ямину — всеземную бездну; звёзды полыхали, как горящие, жаром исходящие исполинские лампы, а земля всё более разверзалась, обнажая пустоты от выкачанных недр, обнажая подземные города и трассы, грозя подземными землетрясениями, пожарами и потопами. И я чувствовал, даже видел, как вся ойкумена с её лесами, полями и горными хребтами погружалась вместе со мной в бездну, каким землетрясением или всечеловеческим грехопадением вызванную. Казалось даже, что не только наша малая планета, но вся Вселенная стекает в бездну, словно мерцающий пояс, сбросив вниз Млечный Путь, одновременно опаляющий и остужающий. Но зачем этот сон — повторяющийся?

Соль минор

Всю ночь снилось что-то хорошее, но трудно видимое, зыбкое — словно далёкие леса кружились под звуки неслышимого вальса. Звучали во сне моцартовские звуки. «Соль-минор» — это было столь прекрасно, будто подаренное Богом, Изначальным Творцом всего прекрасного. И мелодии Моцарта чередовались с нежными или суровыми мелодиями Шуберта, Бетховена, Вагнера, Чайковского, Римского-Корсакова...

А ты и во сне думал только о том, возьмёт ли расчеловеченный человек в иные космические миры эту божественную музыку, или те миры накроют своей не гармонической, а какофонической музыкой, поскольку подумают, слушая грохот последнего человеческого века на земле, что людям мил именно музыкальный бедлам.

Четыре солнца

В позднем детстве мне приснилось: на заокочичном холме, откуда открываются виды во все стороны света, и горизонты далеки, но чётко просматриваются, вижу я, как на западе солнце заходит (привычная каждодневная картина), а ещё одно солнце — на востоке тем же часом восходит: и это непривычное зрелище меня не удивляет: в раннем детстве мне хотелось и мечталось, чтобы было именно так, чтобы всем людям земли было тепло и ясно, чтобы был вечный день; и тут

же совсем необычное: вижу, как на севере солнце заходит, а другое — на юге восходит. И все четыре солнца не двигаются с привычной медлительностью, а быстро скользят, образуя некий незримый выпукло-вогнутый вселенский крест. Теперь всаду человечеству будет тепло и ясно, думаю я, и тут же озадачиваюсь: это обычное солнце — поделённое на четыре части, или же в каждом солнце — по прежнему солнцу? Чувствую, что это сон, что никогда так не будет, что неизгонимы ночь и тьма, но просыпаюсь с пушкинскими, только теперь по-настоящему оценёнными словами: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

Страда и сон матери

Твоей матери приснился сон — поутру рассказывает: «Чувствую: засиделась я на этом свете, стала смерть звать. Скорёхонько является. Крашенная, патлатая, на высоченных каблуках, ну... как та, что с утра до ночи в телевизоре ором исходит. Саблей размахивает, белыми зубами скалится, со смешком спрашивает: „Ты меня, старуха, звала“? Я перекрестилась, и миг патлатой как и не бывало, а сам архангел спускается...» — «Ты бы, мам, пореже в телевизор заглядывала, там их, крашенных, патлатых, молодящихся — хоть изгородь из них строй!» — «А и вправду, раньше, бывало, пол-огорода управишь за те часы, что у телевизора глаза рвёшь. Раньше я удалая-спорая была и в поле, и в песне: пела так, что три села заслушивались. Да теперь уже и в сёлах те песни давно не поют».

Стихи и стоны пытаемых

Приснилось, что я, едуци на откуда взявшемся американском легковом автомобиле, попал в свой же родной город, только не в своё время: десятилетиями более раннее — революционное, разломное, горластое. Судя по лозунгам, плакатам, объявлениям на оповещающих тумбах, стоял год девятнадцатый века двадцатого. Немедленно я был приглашён на поэтический вечер, где выступал знаменитый гастролирующий поэт, вернее, король поэтов, и состязались в громкой пламенности голосов и заявляемой верности революционному пламени местные стихосочинители. Они торопились на сцену музейного конференц-зала, расталкивая непродышную спайку возбуждённой толпы; было радостно-шумно, всюду сияли глаза и плакаты. Громкие голоса заглушали шум зала и улицы, но я... я вдруг услышал выстрелы, стоны, измученные стоны и вскрики, совсем близкие. Стихи звучали всё громче, стоны раздавались всё тише.

И только возвратясь в своё, Богом мне отпущенное время, полвека после кипящей поэтической читки в родном городе,

я узнал, что в музейном подвале, под художественной сценой, совершал свои читки-чистки революционный трибунал, и мне почудившиеся стоны были настоящими. Правда, в «документальных» изданиях ошибочно сообщалось, что в подвале действовал не красный трибунал, а суд белой контрразведки; последний тоже вершил скорый суд, но только месяцы спустя в здании напротив.

Маски и балаклавы

Ближе к ночи я читал лермонтовский «Маскарад», как вдруг в дверь резко, требовательно постучали. Не подумав взглянуть в глазок, открыл дверь, и в квартиру стремительно ворвались шестеро — на головы натянуты балаклавы, видны только глаза, одинаково чёрные, как угли. «Нам нужны бинты и ножи!» — жёстко потребовал высокорослый, видать, старший. «Вы террористы?» — тихо спросил я. «Убей его!» — велел старший. Раздалась приглушённая автоматная очередь.

Меня убили во сне, но наяву я продолжал жить, и — словно главная эмоциональная мысль — нередко являлось: кто в масках, кто без масок и балаклав (экое словцо!)... Во все века, при всех режимах врываются в дома ночные тати, террористы и спецюристы, для которых жизнь человеческая не более чем зеро.

Рожь на болотах

В этот год был недород, солнце иссушило полстраны, и только на болотах (откуда — на болотах?) выдалась густая крупноколосая рожь. Только как с нею управиться? Комбайн на болота не пустишь, человека — тоже. Тогда люди обращаются к голубям, и библейские птицы — мириады их — выклёвывают из колосьев зёрна, и вскоре на токах образуются вороха, и я купаюсь в ворохе зерна в родной деревне... а проснулся и тут же вспомнил, что деревня давно сошла с карты. А хорошие хлеба удались в Аравийской пустыне, там их его страна, видимо, и закупит.

Всё — впереди

Снилось: мне семнадцать лет. Всё — впереди. Я ещё не знаю, как сложится моя жизнь, не знаю, что у меня будут прекрасная жена и прекрасные дети, столь испытательно поломанные и измученные судьбинными годами; и вся жизнь моя выдастся в изломах, душевных ли, духовных ли испытаниях, семейных тревогах, утратах, служебных неурядицах, исподворотных лаях завистливых, испытывающих патологическую радость от своей пакости и клеветы; конечно, жизнь, как долгая река, преподносит разное — и разве не помянут карьерные и материальные возможности, от которых я резко откажусь, и будут

честные хлебы, будут и книги, которые доставят мне не только радость, но и печаль, и боль.

Я ещё так молод, что не чувствую, что уже прожил тысячи лет, я беспечно повторяю: «Всё впереди! Всё впереди!», конечно же, не подозревая, что однажды мне придётся прочитать искреннюю книгу «Всё — впереди», которую исколют перестроечными перьями, и среди наиболее злых окажутся литературные дамы из комсомольских начальниц-активисток да и всякие стрелки стреляные, очернённые страстью чернить черниченить недавнее прошлое.

Во дворе тюрьмы

Южный город, по богатству каштанов и плеску моря, скорей всего, Одесса. Зелёный просторный замкнутый двор четырёхугольник: казывается, замкнутый двор тюрьмы. И в нём я с молодой женщиной, бывшей сокурсницей, первой красавицей в большом северном городе. И ещё двое, как и мы, красивые и молодые, да вдобавок и счастливые: любящие друг друга. Всё мирно, спокойно, из окон тюрьмы выглядывают узники — молчаливо и вроде бы равнодушно; а одного выводит конвойный, он идёт медленно и вдруг бросается к идущей позади нас паре и в один миг срывает с женщины одежды, оставляя её в чём мать родила. И это — как знак: из сотен окон, отшвырнув решётки, сотни заключённых бросаются на нас.

Я просыпаюсь в холодном поту, один в доме, одинокий в мире, одинокий во Вселенной — так длится долго. Но вот за окнами раздаются детские голоса, и чувство одиночества медленно уходит, как сильный отогнанный зверь.

Запертые двери

Снилось, что я — журналист, командированный в тюрьму строгого режима, чтобы написать репортаж о заключённых. Осматриваю, расспрашиваю, в огромном красном уголке рассказываю о знаменитых преступниках, уже готов открыть «Мёртвый дом» Достоевского, как на меня угрожающе, с блескучими заточками стали надвигаться двое — словно посыльные от остальных, угрюмо продолжавших сидеть. Куда подевались начальник колонии и конвойные? Я резко встал и попятился к близкой двери, но она оказалась запертой. «Да неужели весь мир — эта камера?!» — успел воскликнуть. И — проснулся.

Тогда я исхлопотал разрешение побывать в настоящей тюрьме, которая располагалась в соседней области и считалась действительно строгой. И заключённые, собранные в красный уголок, задали много вопросов — таких, какие задают люди на воле. Я чувствовал, что досужее — узнать, почему они здесь,

а между тем не мог не чувствовать их недюжинные силы и ум. Но высокие стены, крепкие двери... Кто расскажет о них? Второй «Мёртвый дом» в нашем суетливом времени едва ли кем будет написан.

Пред иконой Богородицы

В большом придонском селе дед Никон (словно в насмешку над патриархом Никоном) был великим атеистом, ни Бога, ни дьявола не боявшимся. Он постоянно и громко-прилюдно изобличал то местное начальство, то областную власть, а то и столичную, а нередко и самого Вседержителя — как за суровость, так и за мягкость.

А однажды случилась беда: пятилетний внук Никона был растерзан откуда забжавшими в село бешеными псами. Дед затих, замолчал, долго не появлялся на людях. Лишь через месяц вышел из дому и непривычно-неверными шагами направился на кладбище; по дороге на погост упал на колени, долго молился, каялся, затем, шатаясь, сделал несколько шагов в густой у дороги татарник. И тут же раздался взрыв, вспыхнул в виде красно-чёрной рябиновой кроны, а над нею завис большой деревянный крест, проворачиваясь во все стороны, словно укоряя все людьми заселённые стороны, и успокоился только тогда, когда опустился и застыл на месте взрыва: дед Никон подорвался на mine, при оккупации установленной уже какие годы изощедшими врагами.

Видевший этот сон — недавнюю явь — местный отрок наутро поехал в районный городок, где была церковь, долго слушал непонятные молитвы, поставил свечи, своими словами помолился пред иконой Богородицы. Постепенно молитва и церковь вошли в его душу. Было это в самой середине Советской власти.

Пустынный город

Иду по главной городской улице и с удивлением, похожим на ужас, вижу: мчатся пустые автобусы — ни водителей, ни пассажиров. Между тем автобусы на остановках останавливаются, но из салона никто не выходит и туда никто не заходит, лишь, словно ставни под ветром, хлопают двери. И автобусы мчатся дальше. На улицах — ни души. Спешу домой и тотчас бросаюсь звонить друзьям, родственникам, знакомым на далёких друг от друга городских улицах, и будто бы снимаются телефонные трубки, но — повсюдное молчание. Тогда по справочнику набираю номера подряд, и, дойдя до буквы «В», начинаю понимать, что уже никому не дозвониться, и, липко холодея, догадываюсь, что уже никто в этом городе не поднимет трубки, не встретится на улице, не окликнет и не откликнется.

Вчера, университетский выпускник, праздновал я с друзьями завершение студенческой жизни, попутно отмечая поражение кого-то из них (то ли жена ушла к другому, то ли любовница), после крепкого застолья лёг поздно и уснул с тяжёлой, больной, вступившей несуразный сон головой, проснулся — с ещё более тяжёлой.

Откуда-то снизу раздавались голоса. Подошёл к окну, увидел играющих в мяч детишек и слабо улыбнулся, приходя в себя от чувства конца, чувства погибшей жизни на земле. Погибшая жизнь вновь возвращалась ко мне — живая!

Погибшие корабли

Приснилась картина, почти эсхатологическая: какая-то незримая могущественная сила все корабли человечества, погибшие в штормах и морских битвах, собрала на Чёрном море — словно на небывалом морском кладбище, и оно просвечивало до самых глубин; фрегаты, корветы, крейсера, тысячи разных судов бортами теснили друг друга, словно стянутые незримыми цепями, и великая армада терялась далеко за подводными горизонтами. Корабли, исходившие огненной пальбой и криками на протяжении тысячелетий: от римских времён до советских — давно покоились на морском дне, но самое удивительное, сражения на них не закончились; только теперь огнедышащие суда воевали не друг с другом, а раздавалась брань внутри самих кораблей: бывшие братья по оружию сражались друг против друга, полные ненависти и жажды победы.

Волки и люди

Снилось: гуляю на просторной поляне зимнего леса, и вдруг выбегает стая волков, и тут же появляются охотники, а где я стоял, образуется широкая стена с густыми бойницами, на широком верху которой я вдруг оказываюсь, а волки и люди приближаются к стене, словно готовясь к взаимосхватке. Я не понимаю, куда меня больше тянет, кто мне ближе — люди или волки, я словно чувствую далёкое родство с волками, прыгаю со стены в сторону близкой стаи и... просыпаюсь.

Долго лежу в постели, припоминая, у каких народов волк являлся священно-почитаемым, прародительным, и у меня самого рождаются строки о волчонке, вместе со старшими обложенном красной облавой и виноватом пока лишь в том, что он волк.

Электронный террор

Когда-то работал над книгой, на компьютере, и всё время лишался написанных глав — то забывал нажать кнопку сохранения, и в последний миг свет гас, смывая текст, то компьютер ломался, то блок сгорал. Так что дважды писал одну и ту же книгу.

Сон приснился соответственный. Захватила мой город какая-то зарубежная интеллектуальная гвардия, или ложа, или банда, и все горожане подлежали суду пришлых. Мне назначен приговор — из наилёгких: ежедневно набирать семь страниц осмысленного текста. Каждый день подолгу набирал. Стала повесть вырисовываться, а надзиратели к вечеру всё стирали. Сколько мог, запоминал предыдущее, запоминал и снова писал главу за главой, а надзиратели стирали.

Идущий из древности Сизифов труд выпадает во все века, а виды его случаются самые изошрённые.

Вертолёт над Воронежем

Вертолёт погранслужбы поднимается над нынешним Воронежем — городом конца двадцатого века. Я в нём — и историк, и фотокорреспондент, и редактор будущего альбома о родном городе. Вертолёт совершает круг за кругом, современный город — как на ладони. Чтобы заснять его — уходит несколько плёнок.

Дня через три мне снится сон, в котором всё тот же вертолёт поднимает меня над Воронежем; только временные границы раздвигаются, и я вижу холмистое, лесами заросшее надбережье ещё никем не названной реки, ещё безлюдной, без единого челнока, затем всё это миг стирается, и перед моими глазами — приграничная дубовая крепость, и тут же на Петровской речной верфи вырастают корабли, а проходит минута — и взору предстаёт униженный церквями, приглядный несуетливостью город начала двадцатого века; и вдруг родной город — в пожарах и дымах, руинах: это он на втором году великой войны. Наконец, я возвращаюсь в сегодняшний день, в современный город — областной центр приграничного, как и несколькими веками назад, порубежного края, не без грусти думая о границах и ограниченности человечества, так до конца, наверное, и не осознавшего безграничность Божьесотворённого мира.

Через полгода вышел в свет альбом «Воронеж», но разве он мог дать хотя бы малые истинные радостно-печальные токи сокровенной исторической души города?!

Часы на бесконечном поле

Вдалеке виднелся высокий холм, а так — бесконечное ровное поле, сплошь в напольных, настенных часах, больших и малых, и было их видимо-невидимо. Сон — жутковатый: всюду вокруг меня — громкое, разнобойное, холодное, равнодушное механическое тиканье, часы показывали разное время. Как всегда — невидимый голос: «Найди часы с верным временем, и тогда найдёшь выход отсюда».

Не знаю, сколько я выбирался из небывалого леса оглушающе тикающих чудищ — молотообразно бьющих по ушам,

заставляющих отчаянно торкаться в разные стороны, но когда проснулся, прежде всего почувствовал применимость сна к живой жизни. И впрямь: каждому из нас приходится искать выход из бесконечного житейского, да и бытийного (исторически, философски, эсхатологически) лабиринта, да, видно, в одиночку его не найти, а если сообща — на близком выходе не поджидает ли нас современный Минотавр?!

Затерянный мир

Когда-то прочитал ты книгу одного хорошего английского писателя, называлась она «Затерянный мир». Теперь (во сне) ты искал свой мир, ещё полвека назад, мнилось, непоручимый, с земной оси своей несдвигаемый; но он куда-то подевался, как старик, ушедшей на невозвратные пажиты своего детства; хотя, по беглому впечатлению, мир оставался прежним: прибоями и боями продолжали шуметь океаны и континенты, выкачивались из-под земли нефть и газ, небеса прочерчивались инверсионными следами в какие дали и грады устремлённых лайнеров. И, однако, привычного мира не стало. И не то что сменились уклады, режимы, увеличилось число полов и великих достижений книги Гиннеса, а тотальное обновление похоронило под своими дерзостями старомодные традиции, и окончательно утвердился авангард, который тоже когда-то превратится в арьергард... Твой мир за тысячи лет при своём движении оставался ровным, предсказуемым, за полвека же в скорости и изменении, потоке перемен прошумел сквозь годы — словно в один день; и стремительно катится он... куда катится он, о дивный новый мир?! О стремительный, упоительный, обольстительный! О пленяющий, увлекающий, разрушающий!

Деды и внуки

Тебе, дедушке, обожаемому внуками, возвращаются молодые силы, молодые точки опоры — ясность ума, быстрота решений, служебный статус, авторитет — и ты щедро растишь внуков: показываешь им лучшие музеи, библиотеки, студии родного города, отбываешь со внуками в далёкие путешествия, где они набираются заморских знаний и диковин, даришь им во всю жизнь пригодные подарки, разбилаешь на большой даче Сад внуков, полный цветов и вечнозелёных кустарников.

Это всё — во сне, это повторяется не раз, а когда просыпается — немощи гнетут, и давно продана богатая дача, и нет возможности побывать в далёких путешествиях, и... и... и...

Главная радость — встречи с друзьями-стариками, когда вспоминаются славные дни и битвы молодости. Главная радость — эти неверные слабосильные шаги и загляды в прошлое? О чём ты, старый? Гляди, с какой упоительной шаловливостью играют внуки, они ещё малые ростки, помоги выра-

сти им в чести и справедливости, помоги и поверить, и узреть Свет истинный.

Хлеб наш насущный

Едва не каждому трудящемуся прошлых поколений приходилось «проходить засеянными полями»... Засеянные, они нередко попадали под гнёт засухи, их палило пожарами, их заливало долгими дождями: и тогда пусты были риги, и голодали крестьянские народы. В молодости они тебе часто снились — в великой покорности, недоле и неволе. Может, неисповедимо тревожимый теми столетиями, ты, никогда не знавший бесхлебицы, выросший в потребительски достаточном и обезбоженном окружении, однажды услышал себя во сне, читающим главную молитву верующих во Святую Троицу, Богородицу и Спасителя: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»

Встречи со знаменитыми ушедшими

Я бы назвал их не великими, а известными, пусть даже знаменитыми. Все они: Кромвель, Фридрих Прусский, Нельсон — были помешаны на своих победах, и мне стоило немало труда (даже во сне) выразить им доказательный взгляд, что они не истинные победители, а истинные убийцы. Дважды во сне я встречался с ними, их оруженосцы приносили не оружие, а тысячи книг авторов разных веков, в которых прославлялись военный талант их сюзеренов, их воля и... революционность.

Позже я прочитал некоторые из тех книг и, пожалуй, подивился, сколь неистребима среди живущих апологетика ушедших, сколь перекошены взгляды на прошлое, сколь пламенно и даже яростно утверждаются мифы.

И книги взлетают, как птицы

Приснился сон: планета сотрясается, разламывается, её заливают потопаы, её сжирают пожары, трудно что-либо спасти; но лучшие книги человечества, словно обретя крылья, взлетают, как птицы, поднимаются в небеса, а там их, верно, ждут небесные читатели.

Мировые дороги радости и скорби

Мировые дороги радости и скорби. Однажды тебе дано было увидеть их все — от малых тропинок до великих автострад; и таким образом, во сне, увидеть миллионы человеческих судеб.

Мелодия невечная — вечная

То была прекрасная мелодия, идущая из детства и через всю жизнь, в ней — человеком созданная музыка любви; любви, разумеется, к женщине во всех её возрастах — матери, бабушке,

любимой девушке, сёстрам и племянницам; и всё же то была бесконечно большая любовь, чем любовь к женщине, — любовь к природно-божественному миру, любовь к Богу. Эту любовь подарил человеку сам Творец, Зиждитель, Бог Трисвятый.

И за короткий сон прошла вся твоя долгая жизнь — и всё под рефрен вечной, музыки исполненной любви, но она стала потихоньку затихать, и ты во сне взволновался: затихает только ли в тебе, уходящем, или дивно мелодичная музыка любви затихает во всём мире, поскольку мир становится иным. Ещё подумал, оставит ли Бог эту музыку человеческим душам и в иных мирах, где человек будет испытан не менее, чем на земле.

Не взятый на Ковчег

Сказали, чтобы ты торопился на вновь образуемый ковчег и взял самое для тебя дорогое из живых существ, помимо, разумеется, детей, женщин, стариков: они уже на ковчеге. Ты спросил: «Разместятся ли на ковчеге пчёлы, кони и деревья всех пород?» — «Пчёлы и кони — да, деревья — нет». — «Тогда я остаюсь с деревьями», — грустно рассудил ты, явственно видя перед глазами придонские леса своего детства. Воды неудержимо, древнепотопно надвигались, и не успел ты ни пожалеть, что не захотел спастись, ни изготавиться к гибельному концу, — как проснулся.

Кресты Европы

Сон. В огляде — вся Европа. И всюду — на полях, на холмах, в долинах, у берегов рек — густые кладбища, сплошное бесконечное кладбище. И тысячи, миллионы вращающихся крестов, жутко напоминающих кружение крыльев ветряных мельниц, оставленных людьми. Кресты кружатся, проворачиваются на все градусы, словно их кто из-под земли проворачивает.

Иного пути у истории нет

Индейцы не дали европейцам закрепиться в Америке — ни в Северной, ни в Южной; Трафальгар проигран англичанами; победная высадка наполеоновских войск в Англии состоялась; освоенное Российской империей западное побережье Северной Америки от Аляски до форт-Росса — вне бесчеловечной «золотой лихорадки Дикого Запада»; великие страны континента — Россия и Германия — объединились в Первой мировой войне и не дали заполыхать Второй мировой... Мир мог пойти именно таким путём, дав мировой истории более благородное, душевно и духовно притягательное лицо. А тебе, молодому скромному провинциальному историку, во сне был предоставлен невыносимый искус: нажать кнопки «за» или «против». Надо было решать быстро, но ты не нажал ни одну

из них. Всё осталось как прежде. Ты проснулся, скоро снова уснул и погиб в Третей мировой войне.

Всемирное увеселение

Весь шар земной, и западное, и восточное его полушария, территория ойкумены, стали необозримой площадкой всемирных соревнований, прежде невиданных: лыжники, взбивая пыль, терзают лыжи по косогорам летней, потрескавшейся земли, пловцы, привязанные верёвками к парящим над ними вертолётам, одолевают на скорость болотные топи, команды обладателей могучих лёгких жаркими выдохами растапливают макушки Эльбруса и Казбека, неисчислимые толпы состязаются, кто дальше плюнет, кто громче крикнет, кто быстрее съест мешок с крысами, кто скорее выпьет ведро бычьей крови, кто изгрызёт прикорневину берёзы так, чтобы она рухнула, как женщина, которую тоже сбивают в подобии игры в живые городки...

Голос невидимого во сне конферансье: «Было великое переселение народов. Прошли века, и сколь вырос и стал свободен человек: теперь — великое увеселение народов. Состязайтесь и веселитесь, свободные люди!»

Вся земля — родная!

Снились бесконечные множества сюжетов, картин, образов, лиц, больших городов и затерянных в полях, в горах деревушек, уличных шествий, горных восхождений, морских погружений, снились древняя Палестина и Мезоамерика, реки Нил, Ганг и Дон и сотни других, горы Кавказские, Карпатские, Альпы, Анды и сотни других, озёра Балатон, Байкал, Танганьика и сотни других, и всё это, словно в калейдоскопе, открывалось тебе в одну ночь, в один час, в один миг, и всё это было столь же прекрасное, как на твоей малой родине, и ты проснулся от своего громкого крика: «Вся земля — родная!» И на твой крик солидарно откликнулись неизвестные друзья в разных уголках земного шара, а некоторые из них написали книги с одинаковым названием: «Вся земля — родная!»

Огонь и вода

В детстве ты был очевидцем того, как твой с войны возвратившийся сосед, и в огне не сгоревший, и в воде не утонувший, вынес из горящей избы двух семилеток-близнецов, больших ногами. Изба загорелась, мать их была в поле, и ты спас, а сам сильно обгорел, потому что ещё выхватил, что на глаза попало, из бедного домашнего скарба.

А через треть века приснился сон, как ты и твои сынишки плывут на льдине, она разламывается на три части: на одной старший сын — десятилетний талант в математике, на другой — младший — одарённый скрипач, почему-то не к месту

подумал ты об их дарованиях. Льдина переворачивается, сыновья протягивают руки, они вдруг обращаются в крылья, сыновей вышняя сила спасает. Ты тоже протянул к ним руки, они в крылья не превратились.

А ещё через треть века никакие сны уже не могли сниться.

Осокори и встречи

Донской осокорь, на вершину которого взбираюсь в детстве, вдруг отрывается от земли — взлетает с корнями и уносит меня, превращаясь в «огромный тополь серебристый» на шахматовском подворье, где я, юноша, в великом благодарении судьбе знакомлюсь с Александром Александровичем Блоком; а затем тот тополь (недавний осокорь) доставляет меня на столичный Арбат, а здесь его сородич — столь же могучий тополь. Под его ветвями я счастливо встречаюсь с Алексеем Фёдоровичем Лосевым; узнаю: дом, в котором жил философ, при бомбёжке Москвы разрушен авиабомбой, все рукописи погибли, словно листья огромного дерева; а затем тополь (шахматовский, или арбатский, или изначально родной — донской осокорь) уносит меня на Дон, где встречаемся мы вчетвером — все донские: великий геополитик Снесарев, великий философ Лосев, великий писатель Шолохов; я вижу их, я разговариваю с ними, как равный с равными.

И вдруг к осокорю-тополю присоединяются сотни других осокорей и тополей, братски обнимающихся, как если бы богобоязненные и сердечно щедрые люди в дни больших испытаний. И Снесарев уверенно произносит: «Все эти тополя — погибшие русские люди с великими дарованиями». Лосев согласно кивает. И Шолохов — тоже. Вдруг они обращаются ко мне, мол, что я думаю про неожиданно появившиеся осокори и тополя. Я предположительно и почтительно: «Но, может, это будущие великие русские люди, на миг явленные нам в будущих осокорях и тополях?»

Наутро и целый день — под впечатлением сна, совершенно невозможного по жизни. Экая небывальщина, экая хаотичная картина! Хотя истоки сна понятны — я работал над книгой о Снесареве, который с Лосевым отбывал жестокие сроки на Соловках и который прочитал первые рассказы Шолохова, две первые книги «Тихого Дона»... А Блок — он из моих самых сокровенных поэтов...

И через десятки лет, приезжая на Дон и видя с детства родные осокори, я вспоминал этот многослойный литературный сон.

Сон о снах

...И часто снились сны о снах, в которых отражалась жизнь твоя, твоего века, жизнь иных веков и поколений, жизнь, о которой средневековый испанский драматург сказал, что она есть сон.

Апокалипсис

Леса горят — «третья часть деревьев сгорела и вся трава зелёная сгорела». Воды, словно потопные, заливают леса и поля, грады и веси. Рыбы выбрасываются на морские и океанические берега и, погибшие, образуют бесконечные креповые ленты. Птицы летят неисчислимые, кружатся над мегаполисами и камнегибельно падают на сакральные географические и человекоустроительные точки, а это: реки Нил, Ганг, Волга, московский Кремль, заокеанская Статуя свободы, германский бундестаг, пекинская площадь Тяньаньмэнь, города Иерусалим, Рим, Хиросима... Хищные звери рыщут стаями, огромными стаями, на бегу рожая всё новых и новых зверят-хищенят.

А люди, словно не понимая, что происходит: миллионы их — или на них похожих — по обоим земным полушариям, всюду и везде разложили лотки, что-то продают, что-то покупают.

А ты мечешься от континента к континенту, от страны к стране, пытаешься перекричать вселенский торг — базар, рынок, торжище, читая из большой огненно-красной книги: «...И пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губившим землю... И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную... И увидел я новое небо и землю новую, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...»

Открыл глаза, резко встал, от бега по множеству стран бешено колотилось сердце. На столе открытое Евангелие — именно на страницах Апокалипсиса. Вышел в ночь, вернее, в светлеющую предутреннюю рань. Небо со всех сторон было обложено тучами, волны и сети — гравитационные, магнитные, радиационные, социальные (ты их чувствовал и видел явственно) — пронизывали и опутывали...

На востоке мягко алело — скоро взойдёт солнце!

Умчавшийся поезд

Я — в церкви Покрова на Нерли, ещё атеистических времён, ещё с голыми серыми стенами, и немолодая женщина с тоской рассказывает мне, как десятилетия назад местные молодые активисты жгли иконы у реки и выплясывали вокруг костра; а затем — мгновенный временной и пространственный переброс, и я уже в Пиллау (Балтийск), откуда в Средиземное море, в загорающийся пламень арабо-израильского противоборства отправляется советская эскадра, а на пристанной площади — густая роща «берёзок» — жён и провожающих девушек в белых платьях; и тем же днём лета шестьдесят седьмого оказываюсь в Кёнигсберге, склоняю голову в главном соборе

у могилы Канта — и какой тут нравственный закон внутри нас, когда на гранитном надгробии мелом чья-то пошло-острословная размашистая надпись: «Теперь ты узнал, что такое исторический материализм?»; а мгновением позже я в Риме, в соборе святого Петра стою бесконечно долго у скорбной «Пьеты»; наконец, в Москве, в весенний праздничный день ступаю под своды храма Христа Спасителя, где в зале церковных соборов звучит духовная музыка на мои стихи «Ангелы летели над Россией». И вдруг... зелёный полустанок, откуда отходит поезд со всеми виноватыми на земле, и я, может, из самых виноватых, бросаюсь ему вдогонку, но он стремительно исчезает в разверзшейся бездне. Всё в этом сне — правда, всё в жизни было так. А поезд? Или он печальная метафора умчавшейся земной жизни?

Краткий эпилог

В детстве ко мне часто приходили цветные сны — принято думать, что они крайне редки. Позже наиболее яркие из них я попытался припомнить и записать, но уже было не вспомнить, где они — красные, где — синие, где — зелёные... и о чём они; и просто ли они — страхи и тревоги, мечты и надежды детства?

Меня никогда не тянуло читать сонники, беседовать с отгадчиками снов, как и не тянуло выслушивать тех, кто страдал сновидениями. Правда, когда читал «Дневники» Кафки, я находил нечто отдалённо родственное моим снам и бессонницам («Не могу спать. Одни сновидения, нет сна...»).

Зачем я предаю огласке пусть и в малом числе мои сны? Когда-то один духовный старец сказал: «Чужие сны не собирай. А свои собери: они как опавшие яблоки под деревом прожитой жизни. Может, они напомнят о твоих заблуждениях, ложных путях и через отрицание их помогут тебе и близким обрести Путь истинный и узреть Свет истинный».

ЛИСТЬЯ

Краткостишия

1

1

Всё в движении — столицы,
Звёзды, птицы, поезда.
Дон струится. Ветер мчится.
Торопливый мир... куда?

2

Младенец, отрок, взрослый,
Три жизни прожил я,
Где — Ныне, До и После —
Три грани бытия.

3

Память — неизбывное крещенье,
Без неё — что с ветки сбитый лист.
Память — это боль и возвращенье,
Память — это родина и жизнь.

4

Дождь... И радуге цвести!
И не лучшее ль наследство —
Как твоё взывает детство:
«Дождик, дождик, припусти!»

5

В окне темнела хмарь,
А мне светил букварь,
И буквы, словно санки,
Везли меня, подранка,
В недетский край...

6

В душе мерцали свечи, свечи, свечи...
Не раз, бывало, в детстве до утра
Мечтал я о всемирной братской встрече,
Исполненной и чести, и добра.

7

И весна, и осень — расти, душа,
И зима — бела мукомольня,
И по лету река течёт не спеша,
Синь стремнины от древних молний, —
Это малая родина, детства страна:
Велики просторы, глубоки времена!

8

Двое мы с матушкой в поле унылом,
Так далеко от родного села.
Тихо к лицу моему наклонилась,
Тихо слеза по лицу покатилась —
Детское сердце прожгла!

9

Чёрный голубь из детства —
Самолёт прилетит...
И никуда не деться —
Землю мою бомбит.

10

В виноградной долине иль на голой горе
Всем живущим единый удел:
Через отчий порог преступил на заре,
А вернёшься, а он — что сгорел...

11

И, оставив родительский кров —
Древний камень краеугольный,
В суету, словно в сеть, занырнёшь добровольно,
В окруженьё незримых оков.

12

Ищешь смысл, покидаешь отеческий дом...
Возвратись же, нашедши ответ!
Но соблазны-сирены воркуют кругом,
А ответа, как не было, — нет.

13

Ждут дома нас. А мы на час!
И ни к чему тот стол накрытый,
Скоблённый, начисто промытый, —
Вся эта песня не про нас...

14

На стрежне глухой непогоды
Скорбишь, словно мир без родни:
«Как быстро проносятся годы,
Как медленно тянутся дни!..»

15

Нигде никогда не моли о пустом!
Нет силы? Есть правда. Нет злата? Есть дом.
А жизнь... и бездельная жизнь хороша:
Найдутся хлеб-соль, будь живая душа.

16

И закрыты, открыты ли двери —
Сколько в мире тревог за дверьми!
Стало больше тепла в атмосфере,
Стало меньше тепла меж людьми...

17

Без любви и жена что вдова,
Без души и берёза — дрова,
Незабудки — всего лишь трава,
А слова — лишь слова...

18

И если два сердца остались
В надежде, добре и любви —
И это немалая малость
На краешке русской земли!

19

Живу не за двоих, не за троих,
Но в сердце — как сердец скорбящих рать:
Мне стыдно за себя и за других.
И больно жить. И больно — умирать.

20

Ущемилась памятью душа:
Жизнь была дурна иль хороша?

Отчий край, реки родную речь
Я, сколь мог, пытался уберечь!

21

Нижний Карабут, Семейки, Ясное,
Россошь, Солонцы, две Калитвы...
Не собрать мне родину прекрасную,
Детскую — радушную, ненастную:
Не собрать в снегах былой листвы.

22

Как тянутся ввысь тополя,
Вопросы вздымаются строго:
— Кто эти возделал поля?
— Кто эти изведал дороги?

23

И пусть ты не скажешь последнего слова,
Не скосишь последнюю рожь...
Утешь человека и словом, и кровом,
Иначе вся жизнь твоя — ложь.

2

1

Говорят, и на земле когда-то лад был,
Да враждою изошло земное царство.
Из земли теперь исходит холод кладбищ —
Там умерших и погибших государство.

2

Живём на землях погибших народов,
Под нами — кладбища погибших народов,
Над нами — души погибших народов,
С нами — память погибших народов.

3

Холод здесь, да и там никогда не теплее.
Пусть и чахлые рощи, где ещё наглядимся на них?
Только люди живут, ни себя, ни других не жалея.
Что же мучим себя, что мы губим себя и других?

4

Чумной заверчивает вихрь,
И мир — как будто перевёрнут:
Там не живые свозят мёртвых,
Там мёртвые влекут живых.

5

И боль томит, как тяжкий грех,
Что не поделишь на двоих:
Среди живых я вижу тех,
Кого не знают средь живых:
Тех, до рожденья убиенных, —
Вселенных...

6

Два города растут — какой быстрее?
Окраина вздымает этажи.
Невдалеке полгорода лежит,
И вороньё над кладбищем чернеет.

7

Покоится кто под крестами?
Что проку в расспросе твоём?
Смерть Божии нивы верстаёт,
А жизнь — молодым соловьём!

8

Идут сквозь мировой туман
И мальчик, и старик незрячий,
И видят мировой обман...
Эстрада скачет. Нива плачет.

9

А мир спешит по праху как по шляху,
Он весь в пути, и как ни назван путь,
Помеченный незримой тайной страха, —
Шоссе, тоннель, арена — не свернуть!

10

Нет скоростям погибельным преграды,
Куда цветной уносится поток?
И день и ночь сверкают автострады,
Где каждый — раб машины — одинок.

11

Над бездною и самолёт, и птица
В непримирённо-яростном соседстве.
И гулко бьётся маетное сердце,
И человек в какой Эдем стремится?

12

Ты проехал полсвета, и что же?
Всё стареет на новом ветру.
Много гладких дорог — к бездорожью.
Много слов о добре — не к добру!

13

Живём не в дому, а меж станций,
Спешим, забывая про храм.
Христос никогда не смеялся,
Пристало смеяться ли нам?

14

Промчался поезд мимо...
И сколько в жизни их —
Невстреченных родимых
И встреченных чужих!

15

Как странен безлюдный вокзал —
Где суетный гомон прощальный?
И кто и куда уезжал —
Навеки останется тайной.

16

Страждет мир под незримой косою
И — что лучше — едва разберёт:
Возвращаться, не глядя, в былое,
Безоглядно ли мчаться вперёд.

17

Судьбу не пытая впустую,
Любя и страдая, поймёшь
Ушедшего правду святую,
Ушедшего тёмную ложь.

18

Рассыпались избы и риги,
Мир прошлый идущим тесним.

Но прошлое — благо ли, иго —
Владычит над сердцем твоим.

19

Воитель древний полем крови плыл.
А брат его растил хлеба во поле
И жил без злобы, благодарный доле,
Пусть кто бы зло и золото не растил!

20

И копьё на копьё — две дружины, два стана,
Коли братья-князья, братья-вороги — врозь.
И курганы, и враны, и жгучие раны...
И польнь. И рябины кровавая гроздь.

21

На кургане обнимались двое юных,
И в кургане заворочался владыка,
Грозный вождь сарматов или гуннов,
И листва с берёз осыпалась от крика!

22

Мои предки — ушедшие волны.
Среди шумных живых, одинок,
Проживаю, о пращурах помня,
Век свой, может, кому-то в урок.

23

В пробеге светлых, тёмных ли годин
Народ и без войны — как на войне.
И я живу — один, но не один,
А словно целый род живёт во мне.

24

Былое явит метко
Без кисти и без слова:
Мой сын похож на предка,
Что пал на Куликовом...

25

Нашей родины выси и дали.
Дона кручи, долины Днепра ли...
И череда поколений, что знали
Век за веком мечи и орала.

26

Как листья непознанной ветки
На дереве вечной любви —
Весёлые, грустные предки,
Далёкие предки мои...

27

Когда живому больно — она кричит безмолвно,
Отчизна, что страдальцев своих не забывает.
Когда вскипают волны иль души подневольных,
Она те души-волны любовью овевает.

28

Твой отчий край — от поля и до звёзд,
Отец твой — Дон и Космос — твой отец,
Ты словно меж мирами зыбкий мост,
Ты двух миров нечаянный жилец.

29

Любая в мире пядь — всегда Отечество,
Рождается ребёнок — с ним человечество.

30

Народ времён не разрывает.
Течёт великая река
Из прошлого издавека,
Им будущее поверяя.

31

Колокола издревле на Руси
Спасали от разлада и от вьюги.
И сам себя, минутного, спроси:
В каком ты веке?
И в каком ты круге?

3

1

Земля есть родина и почва,
И от своих полей вдали
О чём, как муравьи, хлопочем,
Мы, дети неба и земли?

2

Забыв народные поверья,
Плутаем, как в лесу ночном.
И грустно чувствуют деревья,
Что мы несправедливо живём.

3

Разрушены шахтами глубины земли,
И горы крошет тротил.
Разъедены души. Куда корабли
Плывут *без руля и ветрил?*

4

Бедою белый день затмится?
Или судьба, что лебедица,
Даст детям белое перо,
Как счастье Золушке — Перро?

5

Кувшинки на протоке сонной,
Как слитки злата-серебра.
Цветы живут законом солнца,
А ты — надеждами добра.

6

Жизнь нас, вечно неразумных, учит,
Что природа — полноводь-река:
Мир не полон даже без колючки,
Без листка, травинки, мотылька.

7

А тюрем не творит природа-мать,
Подобна всеприемлющему дому.
Но тюрем на земле не сосчитать —
Их создал человек всему живому.

8

От Арктики до Антарктиды
Простор — незримая тюрьма,
Успешный бал справляет идол,
И застит свет глухая тьма.

Но у души свои просторы —
Она взмывает к миру горных.

9

Раскроешь летописи свиток...
Там битвы, там мечи сверкают,
Как пажить, воины сгорают...
Но вот звучит вне брани слово —
То жизнь налаживают снова!

10

Русь изначальная едина,
Народ один, язык один...
Но мать не в памяти у сына —
Творца негладанных краин,
Ужель покинет нас любовь,
Дав силу вечной рифме —
кровь?

11

И во градах томясь, как в оградах,
Всё надеюсь — к истоку вернусь,
Где на синих придонских левадах
Есть ещё триединая Русь.

12

То ли в Доне — воды как с ладони,
То ли в доме добра — не найти?
То ль не наши залётные кони,
Или наши, да сбились с пути?

13

Есть у Дона студёны ключи,
Родники есть у Дона такие:
В день холодный они горячи,
В день горячий они ледяные.
Так и люди иные...

14

Хватает воды у колодцев,
Воды недогубленных рек,
Криниц и озёр-приболотиц...
Но — жаждой томим человек!

15

И шорох тревожных озяблых осин,
И тихие тяжкие мысли...
Но пасынок грешных богатых долин
Провидит небесные выси.

16

Город — колокол высокий,
Город — дымный химзавод.
Сколь народу — в одиноких,
Коль не в храм идёт народ.

17

А в мой город финист прилетал,
Обронил перо он на перроне
И с высокой и безлистой кроны
Книгу подорожную читал.

18

Надречный свет зарниц,
Приманчивый от века.
Как много разных лиц
Бывает в человеке.

19

Летят слепнями на успех,
В нём отыскать стремясь свободу...
И сладок грех, и жалок грех
При всенародной непогоде.

20

Повстречались праведник и грешник.
Словно повстречались свет и мрак,
Справедливец и ухват-успешник —
Не расстаться, видно, им никак.
Видно, им навеки вместе быть,
Не друг друга — Божий мир любить.

21

Ростки восходят на предзимнем поле,
А за дождём мороз — словно удар!
Пускай не сгинут в ледяной неволе...
Зерно к зерну — соборный хлебодар.

22

И дома, и в дороге
Зачем просил о многом?
А люди сеют, косят,
И многого не просят
Села донского люди,
И пусть они пребудут!

23

Кто ходит в холе, кто — в недоле,
Кому — блажить, кому — тужить.
А мы добудем хлеба-соли
И, дети поля, будем жить!

24

Не останется чистого поля и хлеба?
Черноты же в умах и в сердцах не избыть?
Коли предали Небо покорители неба,
Землю вовсе недолго сгубить.

25

Забыв про корни, славно петь про листья,
Что на ветвях, как цепь золотых монет,
Петь про цветы, их сравнивать с монисто...
Но нет корней — и будущего нет!

4

1

Чувствую миг чувствую день
Здесь и далече
Чувствую год чувствую век
Чувствую вечность

2

Как в минутах узришь столетья,
Так в языцах рекома судьба
Мировая. В ней мраки-светы,
Клич свободы и цепь раба.

3

Все дороги уходят в вечность:
И грядущее — лишь былое.
И звезда, и земля конечны.
А героям грезится Троя.

4

Палестины пески желтеют —
Из времён библейских наследство...
Мрачен мир, словно бунт злодеев,
Светел мир, словно голос детства.

5

За веками живя нераскаян,
 Не сгоняя гордыни с лица,
 Расправляется с Авелем Каин...
 Без конца, без конца.

6

Сколь бы ни думал о родном,
 От боли не уйти вселенской:
 Был Крест, и был навечный стон,
 Оплавленный слезою женской...

Едина скорбь Отца и Сына
 О всех повинных и невинных.

7

Посланец Рима в Иудее,
 Пилат, имперски властный глас,
 Он мог спасти (будь посмелее?!),
 Но он Спасителя не спас.
Се праведник... Я умываю руки...
 Всем убоявшимся — наука.

8

Что ж, есть раскаянье Иуды,
 Но — не последышей-иуд:
 Словно забыв про Божий Суд,
 Они иудствуют повсюду.

9

Несётся времени река,
 И знаешь, что бывшее — будет,
 Что предадут Христа иуды
 За веком век, во все века.

10

А Тибра тяжёлые камни
 Штурмует вода без конца.
 И нового времени Каин
 И брата убьёт, и отца?!

11

Великие дороги славных римлян,
 Дороги-Виа мчат через века,
 И у дорог, словно у рек, есть имя
 И среди главных — Вечности Река.

12

От древней Америки до банковской ныне
Пройдут племена, всевеликие канут.
И где они, майя, ацтеки и инки?
И где делавары, и где могикане?
И где ирокезы, команчи, апачи?..
Не банки, не биржи — пустыни оплачут!

13

И Дона, и Рейна, и Нила —
Нить рек иль традиции нить?
Одежды столетий сменили,
И трудно ли — души сменить?!

14

Был сад, но вырублен под корень,
Он на земле неповторим.
Что сад! Коль медленно иль скоро
Проходит мир, как Древний Рим.

15

Руку древнему не подашь.
Но бессонная ночь различает:
Рим — державного права страж,
Или город, где бунт вызывает.

5

1

Любовь, страда, судьба Отчизны,
Течение времени и рек...
Познай «глаголы вечной жизни»,
В которых Бог и человек!

2

Свой у времени цвет.
Белые ветви, красные ветви...
На древо Родины тысячелетней
Падает тёмный свет.

3

И ветры, и ливни косые,
И чёрные крепы беды...

На скорбной дороге России
Легли роковые следы.

4

«Умом Россию не понять...»
Ум не верней добра, но — славы?
Господь, верни нам благодать:
Без справедливости нет права.

5

Когда начнёшь бедой Россию мерить,
Не увидеть ни края, ни конца.
А если созидать, любить и верить —
Взойдут большие души и сердца!

6

Ныне совы над страной не кычут,
Мировой машины — не свернуть.
Но судьба Руси — метафизична,
Русская судьба — и высь, и глубь.

7

Гибнут юные и пожилые жизни,
Верховодит право на бесправье...
Раз гордишься славою отчизны —
Будь ответствен за её бесславье,
Даже за былое будь ответствен!
Не бывает вечнославных песен.

8

*Кто виноват? Что с нами происходит?
Куда ж нам плыть? Что делать? Как обеты...*

Встают вопросы при большом походе,
Без Вышней помощи нам не найти ответы!

9

Сын на отца, отец на сыновей —
Извечная дорога в никуда...
Пошедшему сбивать кресты с церковей
Чертила путь багровая звезда.

10

Сжигали рощи, нивы и деревни,
Погосты хоронили под водой.

И измывались над глаголом древним,
Чтобы и в слове был ты сам не свой.

Всё реже рощи, нивы и деревни...

11

По сиротской зиме вечерами
Ветры-вьюги голосят в трубе.
И окна крестовидная рама —
Словно крест на мужицкой судьбе.

12

Кто же радость ушедшей деревне вернёт?
На подворьях бурьяны не косят,
Только ветер позёмкой тоскливо метёт,
Прошлогодние листья уносит.

13

Молчит оно, немолвленное слово,
Как будто бы замороженное в лёд,
Пока дурачат и шельмуют снова
Не завершивший крестный путь народ.

14

Как бушуют митинг и экран!
Отвернёшься — в жизни есть иное:
Тихий Дон и Тихий океан
В величавом подвиге покоя.

15

На митингах — тыщи и тыщи...
И крики, и злоба, и месть!
Но правда? Не здесь её ищут,
И час милосердный не здесь.

16

Бывает, хоть мало имеет — раздаст,
Прозящую руку жалея.
Богата в палатах надменная власть —
Не сыщешь душевно беднее.

17

Я испытал с ним лёгкие дуга,
А выпало идти в нелёгкий бой —

Он скоро проявился у врага,
Он стал его послушною дудой.

18

История — и кровью, и страдой.
Иные ж толкователи былого —
Что пиво варят, что бренчат уздой.
И, зло бичуя, злобствует их слово.

19

И то ли, это ли возьми,
Что нынче — правила бесспорные,
Коль не отменится людьми,
Отменится самой Историей.

20

Один берёт великую свободу,
Ответственность великую — другой.
Один шумит стихами о народе,
Другой живёт народною судьбой.

6

1

Не сопережить — и не изведать
Боль других как боль своей судьбы...
— Далеко ль до площади Победы?
— Дальше, чем до площади Беды!

2

Всем ушедшим Родина-солдатка
Машет на ветру, не уставая,
Крыльями израненными мельниц —
Осенняя, вечно вспоминая.

3

Чей-то подвиг, чьё-то преступленье,
Кровь солдат чужим не солона;
Гибли в отступленье, в наступленье,
И вдовой — родимая страна.

4

Безрукий, на тощей кобыле,
В победный, безрадостный час
Промолвил: «Врагов мы побили,
А сколько осталось от нас?»

5

Под пулями не лгут, конечно же, не лгут.
И сколько их свистело над страной!
Свивает ветер в жгут, и саван бесы ткут,
Палёной пахнет серой и вечною войной.

6

Он вышел из пекла атак — не из тыла.
Горят ордена на груди.
Спокойно сказал: «Мы врага победили,
Но главный наш враг — впереди!»

7

Когда с войны пришёл родной отец мой,
Накрыли стол, под стать войне суровой.
Под плачи вдов я уходил из детства,
Под песни их я возвращался снова...

8

Мне плохо оттого, что плохо мне,
Мне плохо, даже если хорошо, —
Я не был на погибельной войне,
Но путь войны будто стократ прошёл.

9

Война завершилась. Деревня без хлеба,
И снова: как выжить, как жить?
Как жить, если выстоять после победы
Не легче, чем победить?

10

Глухою ночью, словно обеззвученной,
Когда бы спать, златые видеть сны,
Душа болит... И кто там её мучает?
Несчастные — последней ли — войны?

11

И мирному дождюкu внемлешь,
Как тихо в родной стороне!..

И дождь ли уходит сквозь землю,
Иль слезы погибших в войне?

12

Обелиски — как вестники чести,
Как погибших последний наряд.
Нет отцов и сынов неизвестных —
Был и есть Неизвестный солдат.

13

У дома родного три брата прощаются
В году невозвратно далёком...
У дома родного три дуба вздымаются,
Три скорби, три воли высоких.

14

Где земля канонадой гремела —
Шум весенних журавушек-крыл...
Дарят сверстникам девушки в белом
Поцелуи близ братских могил.

15

Фронтовые звёзды по земле —
Памятью о той страде великой.
«Что так много пишут о войне —
Так недолго вновь её накликать!»

16

У погибших уже не отнимут
Их жилища, уравниенно тесные:
Поминальные звёзды над ними —
Днём — железные, ночью — небесные.

17

На просторах широких и дальних
Нескончаем в грядущее крик:
И тревожен, и скуп, и печален
Вдовьих плачей поминный язык.

18

Осколки в груди, ордена на груди
Участников гибельных войн — не экранных.
И прошлое в нынешнем скорбно гудит,
Врезаясь в сердца обелисковой гранью.

1

На стыке театра и дома, где зреет беда,
На стыке подмены и правды, прозреньё дарящей,
На стыке искусства и хлеба, где дышит страда,
Ты помнишь о вечном, и жалко тебе преходящих.

2

Мы напрямик через лога в бурьянах
Шли, говоря о вечном и высоком, —
О красоте в больших музейных рамах.
А нивы тихо наливались соком...

3

И ждут галереи полотен —
Отборно и тёмных, и ясных.
В природе уместны болота,
В искусстве болота опасны.

4

Нарисуешь реку — ну и что ж?
Стих напишешь о ней — ну и что же?
Неживая красивая ложь
Ранит сердце и душу тревожит...

5

Настоящая боль не кричит.
Тот, кто болью народной болеет,
О себе не шумит лотереей —
Как монах-ликописец, молчит.

6

Вот приезжий вещает слагатель.
Он — традиций ниспровергатель,
Он шумит, что не ноль он, а боль,
Что весь мир обнимает один...
Закипает адреналин!

7

Но как нарисовать его обман?
Речист и ловок, и во цвете лет

Он что цветок; только цветок — дурман,
Скорее не дурман, а пустоцвет!

8

От слова дела не прибудет...
Так не прибудет? Но взглядись:
«Войну и мир» читают люди,
Хотя война и мир — вся жизнь.

9

Всем ли сёстрам по серёжке?
Всем Серёжкам — по сестре?
Кому ножки бить по стёжке,
Кому — в злате-серебре?!

10

И ухали филины, плакали дети,
И воины строгий давали обет.
И некий философ винил всё на свете,
И некий поэт воспевал весь свет.

11

Да с ходу не берись за авторучку,
Строкою-памятью не возгордись, поэт:
Крыжовника тугая ветвь-колючка
Природе памятней на миллионы лет.

12

Поют соловьи, да поэты спились,
Лежит на столе пылью тронутый лист,
Часы на стене отбивают: «Тик-так...»
Но если бы так, не шумел бы кабак.

13

Картина роскошной Флориды —
Лазурного моря размах.
Но краше картины не видел,
Чем поле родное в хлебах.

14

Его стихи — другим Устав,
Но потаённая в них ложь:
Живую душу разменяв,
Живого слова не найдёшь.

15

И Блок — поэт. И тот гремит — поэт,
Стихи его блестят отменным лаком.
И солнце, и фонарь являют свет,
Да только свет от них не одинаков.

16

У наглости ни края, ни конца,
И спорить с ней — зелёный вязкий омут.
Зачем фонарный свет глазам слепца?
Иль музыка, не слышная глухому?

17

Злость унижает, словно плен.
Колонны злобных и завистных,
Умельцы сделок и подмен
Воюют против ясных истин.

18

Им не надо — и неба,
И чёрного хлеба.
Жёлтый шлягер да ребус
На потребу-с...

19

Светомузыка суеты
Или купол духовной жизни?
И не там собор доброты,
Где пируют оргия с тризной.

20

Мир безлюбый хаосы тревожат.
На поляне сказка замолчала.
Мир сошёл с ума. И Слово Божье
Заглушают гулы карнавала.

21

Поэты истины и без костра сгорают,
Стихи им лжепоэты посвящают,
О чём угодно резво рассусоливая,
Для них и гильотина — развесёлое.

22

Сребреник ныне — что брют,
Сребреники в цене:

Как много идей и друзей предают
В твоей великой стране.

23

Играем! И жизнь сочиняем,
Где пир от утра до утра,
И правду на кривду меняем.
И нами играет игра.

24

Что в расписанной сорочке
Поживаешь без креста —
И распутничаешь в строчке,
Жадно кормишься с листа.

25

Иные — как в пропасть ныряют,
Питая сердца свои лжой.
Кто песню родную теряет,
Фальшивит и в песне чужой.

26

Что шумим о сегодняшнем, если
Нас былое-грядущее мучит?
Растеряли все старые песни,
Новым песням судьба не научит.

27

Мелкота мельтешит на экране —
Муравьи на корявом стволе.
А большое — оно безымянно,
Как добротное семя в земле.

28

А так никогда не бывает,
Что подлые славно живут?
Убившего — убивают,
Предавшего — предадут!

29

И тешат их не верность, а кумир,
Не связь времён, а прерванная нить.
Лукаво совращают Божий мир,
Нацелясь синтетичным заменить.

30

Подмена, когда называют
Достойным — отпетого беса,
Вселюбым — безлюбу-повесу,
Бесчестного назначают,
Бесчестного восхваляют.

31

Экий славный легион!
Моськи лают в шалой пене,
И повыскочки-гиены,
Всякой злобной силы клон
Заправляют на арене,
Разум мира — что же он?

32

Бег быка, шажки лисицы...
Всезахватна суета!
И вползает на страницы
От станицы до столицы,
Как отравная трава,
Низость, зависть, клевета.
Не истрать на них слова!

33

Когда заходит спор,
В костёр размолвки
Всегда подбросит дров
Корыстно-ловкий.

34

Вершина ли, низина...
Где упадёшь — не знаешь.
Горька полынь-судьбина,
Да горечь исцеляет.

35

Люди осудят. Время рассудит.
Время умнеет быстрее, чем люди.
Только судимых вовек не будет:
Новые люди по-новому судят.

36

Есть дерзости, есть кротости пора,
Свои высоты не возьмёшь трубою.

И подвиг есть не громкое «Ура!»,
Но тихая победа над собою.

8

1

В одной душе — враждебных две столицы:
Любовь светла, а ненависть темна,
Две разные — из разных книг — страницы,
Но слитные в любые времена...

2

Любовь и ненависть, согласие и рознь,
Как волны, друг на друга набегают,
Они и губят, и они вздымают —
Любовь и ненависть, согласие и рознь!

3

Опять весна. И ночи молодеют.
И соловьи сердца от страсти рвут.
Черёмухи, как встарь, дымятся белым,
И облака в грядущее плывут.

4

Сегодня с нею мы вдвоём,
И счастье женское — что лира.
Но сколь не думай о своём,
А не уйти от боли мира.

5

Девочка, девушка, женщина,
Алое пламя в крови...
Сколько в ней страсти изменчивой,
Сколько в ней верной любви!

6

Сияло солнце радостно весь день,
Но вырастала на закате тень,
Непоправимо надвигалась ночь:
Отец не мог спасти родную дочь.

7

Сверкает свадьба — молодое счастье,
Мир прост и сложен:
Близка метель. И колокол в ненастье
Гудит тревожно.

8

Как в ночи заложен день,
А день превратится в ночь...
Словно любимой тень
Его любимая дочь.

9

И лес миллионами листьев
Поведает в осень о ней —
Прекрасной, греховной и чистой...
Изменчивей нет и верней.

10

Вновь возвратиться к девушке своей
После разрыва? Право, не берись,
Раз чувство вымел свей, как белый змей,
И не с былой, а с будущей простишься.

11

Открыть незабытую дверь?
Другие в том доме теперь.
Не надо туда заходить —
Опасно бывшее будить.

12

Случилась печали пора
И пела так тихо, так долго,
Что слышали даже у Волги,
Как пела она у Днепра.

13

Маги сцены или рыцари арены —
Всюду женолюбцев пёстрый рой...
Но не хочет женщина измены:
«Дорогой! Единственный! Родной!»

14

Короче путь меж счастьем и бедою,
Чем меж сердцами в городе твоём,

Вчера два сердца — как судьбой одною,
А нынче — одиночество вдвоём.

15

Зажгла свечу. И был неверен свет.
А верен был тяжёлый круг терзаний.
Но заживают все на свете раны:
Свеча погаснет — не погаснет Свет
Небогосподний, Горний...

16

Встречаясь, вечного не требуй!
Люблю тебя. Любим тобой.
Всё стихнет, как речной прибой,
А расставанье — общий жребий.

17

Ты говоришь, что будешь век любить,
Но даже век не может вечным быть!

18

Не прощает женщина отказа,
Откажи — и ты ей верный враг,
Ты — осколок от разбитой вазы,
Ты — враждебный стяг.

19

Вся она под стать самой природе,
Нераздельны в ней и ночь, и день.
Женщина — родная несвобода,
Верности изменчивая тень.

20

Что ж, отбродили и отцеловались,
Отговорили, отсмеялись, пронеслись.
Какая вечность и какая малость —
Как будто и не прожитая жизнь!

21

Здравствуй! Свет-любимая! Прощай!
День рожденья. Свадьба. День кончины.
Было всё — как будто невзначай,
Краткий сон — и радость, и кручина.

22

Тьмы от света в жизни не отъять,
Лунный диск то замутиён, то ясен...
Ты проснёшься, молодая мать,
Улыбнёшься: «Божий мир прекрасен!»

23

Храни тебя Господь
И днём, и ночью тёмной,
И в пустоте бездомной
Храни тебя Господь!

24

И он живёт, как в первую любовь, —
Любви последней в мире не бывает.
Вошла жена... Былым ли овевает,
И он живёт, в неё влюбляясь вновь.

25

Возлюбленной наобещают,
Подарят стихи по весне.
Жене и стихи посвящают,
И — жизнь посвящают жене.

26

Сколь травы в июнь колобродят
По синим лугам!
И девушки в песнях восходят —
Услышать бы нам!

27

«Налей вороному шампанского,
Чтоб мчал нас в провальную ночь!»
«Но мы же — не песня цыганская!»
О, чья она, юная дочь?

28

Надеялись, ждали, мечтали...
И ты, и она — без любви.
Устали и петь перестали
Твои и её соловьи.

29

Афина в Афинах,
София в Софии

Лелеют домашний уют.
Тоска ли в Тоскане,
Слеза ли в Сезанне
Ночами уснуть не дают.

30

Вода текла, да утекала жизнь,
Скворец запел, и что же он затих?
И встретились они и разошлись,
Как было миллионы раз до них.

31

Как цветок. Как музыка. Как свет.
Но сравненья, словно тени, мимо.
Женщина — ничто с ней не сравнимо,
В ней вопрос и неотвѣт-отвѣт.

32

В какой-то век (никто из нас не знает)
Цветеньем вишен ночь благоухает —
Весенняя воронежская ночька.
И, туфельки в сырую землю вонзая,
Зачем спешат под яркий свет вокзала
Три девушки, три дочери? Три точки...

33

Уже закат. И словно бы закончилась
Любви непознаваемая власть.
И в мире — ни столицы, ни обочины,
И жизнь твоя зарницей пронеслась.

34

Ночью птица в небе кружилась,
В свете лунном, позднем видна,
Ночью горькая песня сложилась,
Оттого, что птица кружилась,
Оттого, что была одна.

35

Конкурс красоты! А красоты всё меньше:
Суеде малёванной не бывать прекрасной.
Каталог не марок, а красивых женщин,
Для кого — красивых, для кого — несчастных!

1

На окраине века и тысячелетья
Тьмы старатели ловко орудуют сетью.
Да овеет крылами белых ангелов рать:
Под бесовские карты хлеба́ не убрать!

2

И жить бы вне горьких сомнений
На белом на солнечном свете,
Но каждый из нас — как монета
В незримом вселенском обмене.

3

Нету вернее цветов,
Чем у природы.
Нету обманнее слов,
Чем о свободе.

4

Средь непогодий и годин,
В снегах, дождях, потоках света
Живёт народ Земли-планеты,
Судьбы своей не господин.
Народ трагически великий,
Разноязыкий, разноликий,
В земном кружении — един.

5

Мрачной лестницы вежи —
Банки, фонды, успехи...
Не купить за червонцы
С-о-л-н-ц-е!

6

Мир глобальный, виртуальный,
В паутине явь и сон...
Дома ли, в дороге дальней
Ты просвечен, ты пленён.

7

Себя теряя, блуждать привыкли
Среди зеркал — разлом кривой...
Ночь разрезают шесть мотоциклов,
Куда же правит их рулевой?

8

Не будет прочным зданье на крови.
Ты песнь поёшь, но близко голошенье,
Ты строишь дом, но близко разрушенье.
Дом зиждется на жертвенной любви!

9

Есть одиночество — наполнил зал актив,
Есть одиночество безлюдных грустных нив.
Пусть тянется от зала к ниве нить,
Но не впадай в соблазны их сравнить.

10

Корабль, лодчонка утлая —
На чём ни плыть, но плыть!
А морю беломутному
Всегда одно — губить!

11

Не говори: «Несчастные — не мы!»
Железа на засовы не жалея,
Тюрьма — любых вериг потяжелее...
Уйти ли — от сумы да от тюрьмы?!

12

Или, может, армады великие
Механически чётких сердец
С ускорением гибельным тикают,
Предвещают всемирный конец.

13

На всём живущем — мертвенная мета,
Туманный призрак бездны всеземной.
Конец и веку, и тысячелетью...
А сад кипит вишнёвою весной!

1

«Имея веру и добрую совесть»,
Имея Благой Образец,
Творит человечество повесть:
Всему неизбежный конец.
Поправит ту повесть Творец?!

2

Пусть силы злобной тайны
Ждут ночи темнотень, —
Ты, гость земли случайный,
Верь в Божий светлый день!

3

Когда народ покается,
Тогда и Бог является.
Когда народ прозреет —
Всевышний пожалеет
И даст хоругви-стяги,
Подаст любви и блага!

4

Прожив свой век, да и века иные,
Познав их рознь и торжество измен,
Прочувствовав *минуты роковые*,
Не думаешь, что ими ты *блажен*...
Пусть воцарится лад среди народов,
О Боже, дай им мирные свободы!

5

На небе Бог, а бесы на земле.
И нам земля и мать, и колесница,
Где не живи — в деревне иль столице...
На небе Бог, а бесы на земле.

6

«Дети, храните себя от идолов»...
Тебя не услышат, евангелист Иоанн.
Вырос в столетьях идол невиданный,
Имя ему — золотой истукан.

7

«Где Дух Господень, там свобода», —
Апостол Павел возвещал.
Столетия пронеслись, что годы —
И в рабство мир себя отдал.

8

Уйдут последние святые.
В живущих среди розни, фальши
Всехристианский мир остынет.
И что же дальше?
Среди комфорта и позора
Не утвердись Содом-Гоморра!

9

Не уйти от подмены и глума,
Ложь и злоба на каждой версте.
Бесы «Бесов» цитируют шумно,
И Антихрист шумит о Христе.

10

Засыпаешь вечером:
О Боже!
Утром просыпаешься:
О Боже!

11

1

Рождаешься ты — и уже в западне!
Стремился наверх? Очутился на дне.
И кресло, и злато, и даже родня —
Везде тебя чёрная ждёт западня.
Быть может, свободны лишь звёзды одни —
У Бога высокие свечи они.

2

Видел в детстве убранный поле
И бредущих по стерне двоих —
Молодых, с чего же невесёлых?..
И в преклонный час я вижу их!

3

Вдруг захочешь, чтоб жизнь не кончалась,
Шла без горя, обид, укоризн.
Но промчится беспутная жизнь,
Жёстко спросишь: «Зачем начиналась?»

4

Будто листья, прожитые дни,
Падают безмолвно, безымянно.
Зори по-девически румяны,
Но спадают быстро и они.

5

Вечер в природе и вечер в душе,
Тихо и славно.
И Командор подступает уже —
Вечер твой главный.

6

Былое давно зарастает быльём...
Я был одинок. И мы были вдвоём.
И был я со всею землею един.
И снова на вечные веки один.

7

Как последние наступят дни
Уплывать в правечные туманы,
Не зови ни друга, ни родни:
Мужество ухода безобманно!

8

Зажжётся свечка, и погаснет свечка,
И взмахи чёрных крыл неумолимы.
Былое — вечность. Будущее — вечность.
А настоящее — лишь сон неуловимый.

9

И проходят века за веками,
И ужели вот так до конца:
Каждый день, каждый миг — что за кара! —
Убивает Авеля Каин...
Трагедийная вечность Отца.

10

Не возвращайтесь к любящим своим,
В былые времена не возвращайтесь:
Они и с вами, но они — как дым,
А дым поймать вовеки не пытайтесь!

11

Есть молитвы, есть и сказки.
Есть и лица, есть и маски...
Словно ложные кумиры,
Маски, маски правят в мире?!

12

Зарницы — всё гуще и гуще:
Вдыхает Млечный Путь.
И ты, на земле живущий,
Небесное не забудь!

13

Мир разный дано увидеть —
То в мутных, то в светлых красках.
За всё Миродержицу спасибо!

14

В стремительном коловращенье
Жизнь наций — земных планет.
Уходит твоё поколение,
Грядущим — да будет свет!

15

Осень?
Не с того ль у незримой черты
Человек, словно милости, просит
Правды, верности и доброты?
Осень!

16

Прощальный материнский взгляд,
Прощальный взгляд давно любимой...
Столетия и дороги — мимо,
А пред глазами — майский сад.

17

И где начала, где концы?
Всё перемешано на свете:

Чем ни порядочней отцы,
Тем непорядочнее дети?
Отцы и дети, дети и отцы...

18

Коль нет человека без боли,
Так нет и народа без боли.
Коль нет человека без воли,
Так нет и народа без воли.

19

Кружит нас пустою круговертью...
Сколько бы метелью ни мело,
Держит нас над суетой и смертью
Памяти высокое крыло.

20

Смех, слёзы, улыбка ребёнка —
Как нежно, и хрупко, и звонко!
Что в чистое сердце берёт
Ребёнок, в котором — народ?!

21

Вздых ли услышишь — горюет старик,
Жизнь завершается.
Лепет услышишь — то детский язык,
Жизнь начинается.

22

Отроки. Юноши...
Высь и пещеры. Свет и пустые сверканья.
Адреналин — под кожей.
Пусть и не праведных, но и не пагубных,
Не скорогиблых дерзаний
Дай им, Всеблагий Боже!

23

Дети — с углиц наших злострастей,
Как подранкам крылья болью вяжет!
Кораблям без мачт и без снастей
Где опасность — море не подскажет.

24

Холодная осень...
Свет мал и велик.
Был мальчик. Был взрослый.
Что скажешь, старик?

25

Любил он в детстве дарить
Луг да речку — такие малости...
Осталась привычка дарить,
Но что подарить, кроме старости?

26

Воронцы — славянские пионы,
Алым полыхает отчий край.
Позабыв тусовки и салоны,
Солнце безобманное встречай!

27

Позовёт калитвянский причал.
И, куда бы судьба ни метнулась,
Я к нему возвращусь, словно в юность,
Где когда-то рассветы встречал.

28

И я, как все живущие, изведал
И сумрак ночи, и сиянье дня.
Вас, земляки, в земле иной не предал,
И вы — моя навечная родня!

29

Я, помнящий ушедших и живущих,
И ближние, и дальние края,
Желаю в неугладчивом грядущем:
«Живи и здравствуй, Родина моя!»

30

Уходит время времени вослед,
Ни поражений, ни побед не зная,
Летит через века стрела сквозная,
Неотвратимо движется...
Конь Блед.

31

И праведно чистых, и ложных,
Играючи, время несёт —
Никто никому не поможет?
Никто никого не спасёт?

Спаситель-Отец, ему ведомы сроки.
Но мы под приглядом лукавого ока.

32

У времени вечнодвиженье разное —
Прерывистая цепь, стрела, поток, —
Идёт, бежит, летит, всегда неспящее,
И где исток, и где конечный срок?

33

Жёлтый свет на поля и на кущи.
Светит месяц — колосья видать.
Те колосья — как древняя рать,
Что поляжет в засаде грядущей...
А полям — колоситься опять.

34

Облака молчат. И молчит земля.
И печаль о душе и о хлебе.
А снега весь день идут на поля,
Как связные земли и неба.

1957—1967, 1977—2001



*Рисунок В. Криворучко, лауреата премии
преподобного Сергия Радонежского*

Биографическая страница

Виктор Викторович Будаков родился 1 июня 1940 года в донском селе Нижний Карабут Россошанского района Воронежской области в семье учителя. Семилетнюю школу окончил в родном селе в 1954 году. Учился в средней школе села Старая Калитва (девятый класс), в восьмом и десятом классах — в средней школе села Новая Калитва, которую окончил в 1957 году.

Работал механизатором в селе Криничном. В 1958—1963 — студент Воронежского педагогического института, историко-филологического факультета. По окончании учительствовал на Северном Кавказе, в чеченском селении Валерик, преподавал литературу и историю, русский и немецкий языки. В 1965—1969 — сотрудник воронежской областной газеты «Молодой коммунар». С 1966 — член Союза журналистов СССР.

В 1969—1986 годах — редактор Центрально-Чернозёмного книжного издательства. Разработал и осуществил выпуск тридцатитомной литературной серии «Отчий край». Были представлены избранные произведения писателей срединной России: сборники лучших страниц Бортнянского, Веневитинова, поэтов-декабристов, Фета, Лескова, Бунина, Платонова; увидели свет ранее не публиковавшиеся строки Милонова, Недетовского, Пришвина, Кубанёва; с «Отчего края» началось — впервые в стране — возвращение на родину произведений Замятина.

Редакторская работа В. В. Будакова отмечена присвоением ему звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»; его опыт по изданию книжной серии был рассмотрен в российском Министерстве печати, в Рославиздате и рекомендован издательствам России; по примеру воронежского «Отчего края» были выпущены подобные серии и в других регионах страны.

С 1979 года Виктор Будаков — член Союза писателей СССР. Автор более 30 книг, изданных в Воронеже, Москве, Тамбове, Костроме, и де-

сятитомного собрания сочинений. Автор многочисленных эссе, посвящённых писателям и подвижникам отечественной культуры, отдельных книг, посвящённых Бунину, Платонову, Кораблинову, Прасолову. Особенно большой резонанс в российском и зарубежном читающем мире вызвало фундаментальное повествование «Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях войны и мира».

Плодотворен опыт общественно-просветительской деятельности писателя: публицистические статьи и многочисленные выступления В. В. Будакова в молодёжных и административных аудиториях, перед вузовскими преподавателями, учителями, библиотекарями в защиту отечественной культуры, природы и истории содействовали воссозданию, сохранению, благоустройству памятных мест, культурных «гнезд», открытию в Чернозёмном крае новых музеев, экспозиций, мемориальных досок. По статье «Плацдармы памяти» было принято решение Воронежской городской власти об увековечении памяти тех, кто оборонял и освобождал Воронеж в дни Великой Отечественной войны.

Образ Воронежа, образ Дона, малой и большой Родины запечатлён на страницах как прозаических, так и поэтических произведений Виктора Будакова. Многие его стихи о Воронеже, Доне, родной земле положены на музыку. Духовная музыка на его стихи звучала в праздники Светлого Воскресения, Троицы, Победы в главном соборе России — храме Христа Спасителя, её исполняют детские хоры в стране и мире.

В 1994 году на основе содержательных разработок писателя в духовно-культурной сфере ассоциацией «Черноземье» был учреждён Центр духовного возрождения Чернозёмного края, и Виктор Будаков стал его первым директором и главным редактором (1994—1997). Вслед за тем, в 1997—2001 годах он возглавлял Воронежский областной литературный музей имени И. С. Никитина. Передал в дар музею и библиотекам города и области более пяти тысяч книг. Часть гонораров за свои книги автор направлял в фонды культуры, мира, помощи пострадавшим в Чернобыле, на восстановление храмов и старинных усадеб. Редактировал газету для детей и взрослых «БИМ» (1993), региональное издание «Труд-Черноземье» (2001).

В разные годы В. В. Будаков избирался депутатом Воронежского городского Совета, в Правление Союза писателей России, председателем Бунинского регионального комитета, председателем межобластного редакционно-издательского совета. Член правления Воронежской писательской организации, редколлегий ряда российских журналов, председатель комиссии по литературному наследию поэта Алексея Прасолова, член Воронежской городской комиссии по историко-культурному наследию, член Русского географического общества.

Лауреат всероссийских и региональных литературных премий — им. И. А. Бунина (Москва — Орёл, 1996), им. А. Т. Твардовского (Москва — Смоленск, 2004), им. Ф. И. Тютчева «Русский путь» (Москва — Брянск, 2007), Платоновской премии администрации Воронежской области (2001) и премии «Духовность» (2003), им. Э. Володина «Имперская культура» (Москва, 2003), премии Воронежского отделения Союза писателей России «В прекрасном и яростном мире» (2007), редакции журнала «Подъём» «Родная речь» (2015), Союза писателей России «Слово» (2018).

Член-корреспондент Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры (Москва), Международной Кирилло-

Мефодиевской академии славянского просвещения (Москва), академик Петровской Академии наук и искусств (Санкт-Петербург).

Почётный профессор Воронежского государственного педагогического университета. Почётный гражданин Россошанского района Воронежской области.

Перечень основных книг Виктора Будакова

Далёким недавним днём: страницы о родной земле, её людях, её памятниках, её лесах и полях славы, её песнях / предисл. В. Кораблинова. — Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1972. — 224 с.

Колодец у белой дороги : рассказы. — Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1975. — 192 с.

Дождаться осени : рассказы. — Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1978. — 232 с.

Миронова гора : рассказы / предисл. И. Акулова. — Москва : Современник, 1982. — 256 с.

Молчание : повести и рассказы. — Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1982. — 272 с.

Осокоревый круг : повесть, рассказы / худож. С. Косенков. — Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1985. — 272 с.

Судьба : стихи / худож. Л. Клочков. — Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1988. — 160 с.

Родине поклонитесь : лирические очерки. — Москва : Сов. Россия, 1989. — 368 с.

Долгие поля : повесть, рассказы, путевые заметки. — Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1991. — 320 с.

Отчий край Ивана Бунина: лирическое путешествие. — Тамбов : Кн. лавка писателя, 1996. — 32 с.

Отчий край Ивана Бунина. — Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2000. — 64 с.

У славянских криниц : сборник стихов / предисл. В. Пескова. — Воронеж : Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2000. — 120 с.

В стране Андрея Платонова: страницы жизни и творчества ; из встреч на платоновских перекрёстках ; стихи с автографами. — Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2001. — 112 с.

Великий Дон. Воронеж-град: волны памяти и судьбы. — Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 2002. — 448 с.

Одинокое сердце поэта. — Воронеж : Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2005. — 224 с.

Тревожный глобус: ранние стихи. — Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2005. — 224 с.

Великий Дон: волны памяти и судьбы. — Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2006. — 272 с.

Времена и дороги: избранное. Рассказы. Стихи. Литературные встречи. Публицистика. Исторические заметки. — Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2007. — 576 с.

Подвижники русского слова : очерки-эссе об отечественных писателях. — Воронеж : Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2007. — 484 с.

Белая моя Россошь: лирика отчому краю : эссе, стихи. — Воронеж : Молодой коммунар, 2007. — 240 с.

Свет на земле: воронежцы в отечественной литературе : очерки. — Воронеж : Река времени, 2008. — 64 с.

Родина и Вселенная: лирические страницы. Стихи разных лет / предисл. В. Распутина. — Москва : Зарницы, 2009. — 288 с.

Донская купель. Нижнему Карабуту — 250 лет : лирические очерки и стихи. — Воронеж : Науч. кн., 2010. — 140 с.

Путеводная нить: из книг разных лет. — Воронеж : Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2010. — 512 с.

Честь имею. Генерал Снесарев: на полях войны и мира. — Воронеж : Воронежский государственный университет, 2016. — 496 с.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 1. Рассказы / редкол.: Е. П. Белозерцев, В. В. Варава, А. Г. Гачева, В. И. Гусев, Е. Ю. Гуськова, В. В. Крупин, В. Г. Распутин, А. А. Скворцов ; сост., вст. статья, аналит. комментарий В. В. Стручковой. — Воронеж : Науч. кн., 2014. — 336 с.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 2. Короткие повести. — Воронеж : Науч. кн., 2014. — 420 с.

Генерал Снесарев на полях войны и мира. — Москва : Вече, 2014. — 512 с.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 3. Стихи разных лет. — Воронеж : Науч. кн., 2015. — 444 с.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 4. Великий Дон. Воронеж град. — Воронеж : Науч. кн., 2015. — 360 с.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 5. Отчий край Ивана Бунина. В стране Андрея Платонова. Летописец воронежского края. Подвижник эпохи советской. Одинокое сердце поэта. Певец родины малой и большой. Отечество и мир запечатлевший. — Воронеж : Науч. кн., 2015. — 500 с.

Волны. Повествование в коротких рассказах. — Воронеж : Науч. кн., 2015. — 272 с.

Воронежские литературные имена. — Тамбов : Тамбовский полиграфический союз, 2015. — 384 с.

Листья. Краткостишия. — Воронеж : Науч. кн., 2015. — 64 с.

Вёрсты-встречи. Эссе, стихи, рассказы, беседы. — Воронеж : Науч. кн., 2016. — 280 с.

Летописец Воронежского края. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2018. — 156 с.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 6. Честь имею. Генерал Снесарев: на полях войны и мира. — Воронеж : Науч. кн., 2018. — 576 с.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 7. Страницы об отечественных писателях. — Воронеж : Науч. кн., 2018. — 476 с.

Век неповторный. — Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2019. — 438 с.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 8. Публицистика, исторические страницы, путевые заметки. — Воронеж : Науч. кн., 2020. — 568 с.

Слово, просвещение, память / сост.: Т. В. Виткалова, М. А. Слинко. — Воронеж : Науч. кн., 2020.

Слово, просвещение, память / сост.: Т. В. Виткалова, М. А. Слинко. — 2-е изд., доп. — Воронеж : Науч. кн., 2021.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 9. Книга. Литература и жизнь. — Воронеж : Науч. кн., 2021.

Виктор Будаков. Собрание сочинений. Т. 10. Человек, семья, страна, человечество. — Воронеж : Науч. кн., 2021.

Великий Дон. Воронеж-град. Миронова гора / В. В. Будаков ; сост. В. В. Стручкова. — Кострома : Костромской печатный дом, 2021. — 572 с.

Ранимы жизни берега... / Виктор Будаков, Игорь Будаков, Олег Будаков ; сост. В. В. Стручкова. — Воронеж : Науч. кн., 2022. — 200 с.

Мир славянский, донской в строке Виктора Будакова / сост.: Т. Виткалова, С. Дядиченко, В. Стручкова. — Кострома : Костромской печатный дом, 2022. — 574 с.

Бытвы эпох и книг / Виктор Будаков. — Воронеж : Науч. кн., 2023. — 408 с.

Издания о жизненном и творческом пути писателя

Библиографические, биобиблиографические указатели

Виктор Викторович Будаков (2000, 2006, 2011).

Тематические сборники-пособия

Книга — река жизни. — Воронеж, 2007.

Имя в памяти нашей. Документально-художественное повествование Виктора Будакова «Геополитик Снесарев: на полях войны и мира...» в откликах общественности. — Воронеж, 2013.

Книги о жизненном и творческом пути писателя

Живущих и ушедших встретить. О творчестве и отчете крае писателя Виктора Будакова / Владимир Варава. — Воронеж, 2007.

Отчий край, реки родная речь... На дорогах времени: заметки о творчестве писателя Виктора Будакова / Валерий Баранов. — Воронеж, 2009.

Волны «Великого Дона». Традиции и новаторство в творчестве Виктора Будакова / Виктория Стручкова. — Москва, 2009.

Благодарение родине и миру. О творческом и просветительском пути писателя Виктора Будакова / Лилия Мартынова. — Воронеж, 2017.

Донской окоём / Сергей Луценко. — Воронеж, 2018.

На донской стремнине, или Вселенная Виктора Будакова / Иван Абросимский. — Воронеж, 2019.

Литературно-педагогическое наследие В. В. Будакова в контексте отечественного образования / Сергей Дыханов. — Воронеж, 2019.

Литературно-педагогическое наследие В. В. Будакова в профессиональной деятельности учителя / Екатерина Цыкалова. — Воронеж, 2022.

Сборники о жизни и творчестве писателя

Жить по совести. Литературный путь Виктора Будакова. Время и человек в письмах, откликах, исследованиях. — Воронеж, 2010.

Писатель и просветитель. Характеристика творчества Виктора Будакова в терминах «писатель» и «просветитель»... — Воронеж, 2018.

«Он голос родины своей...» (из посвящений Виктору Будакову). — Воронеж, 2019.

Слово, просвещение, память. Время читать Будакова. Пособие по литературному краеведению для основных, средних и высших образовательных учреждений. — Воронеж, 2021. — Изд. 2-е, доп.

«Он голос родины своей...» (из посвящений Виктору Будакову). — Воронеж, 2022. — Изд. 2-е.

СОДЕРЖАНИЕ

Волны. Повествование в кратких эссе	5
Красный гостинец.....	6
Двенадцатый день мира.....	6
Крест и алое солнце.....	8
Гранаты на земляничной поляне.....	8
Не одна во поле дороженька.....	9
Ежи на реке.....	10
Победа или стыд.....	10
Не чужие.....	11
Хрупкий лёд жизни.....	12
Неразряженный патрон.....	13
Железная дорога.....	14
Тонкая рябина.....	15
Горькие колосья.....	16
Райский уголок.....	17
Разорённые гнёзда.....	18
Приручённые галки.....	19
Филинёнок.....	19
Глубокое эхо колодца.....	20
Шапка Мономаха.....	21
Нечаянно остаться в живых.....	22
Убежать от молнии.....	24
Телеграфные провода детства.....	24
Пчёлка-мохнатка.....	25
Клён кудрявый.....	26
Погорельцы.....	27
Стихи в холодном классе.....	28
Кролики в голубой клетке.....	30
Рождество на снегу.....	31
Во саду цветущем.....	33
Июнь.....	33
Зелёная косовица.....	34
Звёзды падают.....	35
Августовский день.....	36
Ветряная мельница.....	37
Юное её лицо.....	38
На дне озера.....	39
Собирать жёлуди.....	40
Волки.....	41
Лыжня.....	42

Переплыви Дон	43
Азовского моря воды	45
У дальней родственницы ночь.....	45
Уезжаю не навсегда.....	47
Письма живых и погибших	47
Бандероль из Севастополя.....	48
Странный офицер из Дрездена	49
Глоток воды	49
Голубая кровь	51
Тополь на школьном дворе	52
Генерал за рулём.....	53
Пятьсот боевых вылетов	53
Агент-1947	54
Не сработались	55
Секретный документ	55
Ветки белая и красная	56
До будущей весны	57
Солёный сахар.....	58
Институтские экзамены.....	59
На реке моей молодости	60
Помоги замерзающему	61
Незнакомый брат.....	63
Свет скорой помощи.....	64
Имя сыну	64
Новогодний праздник.....	66
Диван царицы Тамары	67
Благослови их!	67
Где друзья твои?	68
После огня	69
Мать и дочь.....	69
Маки радости и беды	70
Свадьба-развод	71
Давно отснятые плёнки	71
Молчаливый рояль	72
Долгий век.....	73
Не каждому говоришь «здравствуй!»	74
Щенки счастливые и несчастливые	75
Метаморфозы не по Овидию	76
Ёлка на балконе.....	77
Улицу называют Коммунальная	77
В молодёжном городке.....	78
Вагоны печали и радости	78
Иванова улица	80

О сестры, сестры.....	81
Сигнал	81
Конь живой и конь стальной.....	82
Лошадь и люди	83
Отец доцента	84
Архитектор в гостях.....	85
Старухины страхи	86
Сельский голова	88
Крик на леваде	89
В избе — планета	89
Дождь — к счастью	90
Построить мост.....	90
Спасибо, мои родные!	91
Матерью собранный чемодан	92
Отчий дом.....	93
С высокого холма.....	95
Или круги на воде	95
Вершины и равнины	96
Где синяя высь	97
Человеку — верх!.....	97
Зимние родники	98
Пожар на погосте	98
Как зелёные волны	99
Камни суеты	100
Кони всего мира.....	100
Наступление	101
Кругозор — запредельный	102
Электричка в подвале больницы	103
В конце колоннадной аллеи.....	104
Слепые и зрячие	104
Сиротский дом	105
Круговорот	105
Контракт с Мефистофелем	106
Бояться чёрной кошки?	106
Материнские руки	107
Живая вода.....	108
Вечная — как она сама.....	109
Метрополитен и могилы	110
Коминтерновский сон.....	110
Крыло ангела смерти.....	111
Дуб на Терновой Поляне	112
На мосту славянского города	112
Затонувшие брёвна	113

Бессонница	114
Погибшие храмы — погибшие люди	115
Близнецы	116
Нерль, белая свеча	116
У Плещеева озера	117
Большая Волга	118
Реки твои — 2010	118
Прицел — Диканька?	119
Скорбные поля славы	120
Израненная земля — 1991.....	121
Нерождённые-2010	122
Вещунья.....	123
Что ответить сыну?	124
Жить и верить	125
Хлеба родины.....	125
На лугах юности	126
Пути-дороги.....	127

Течёт вода...

Публицистическая повесть-мозаика	129
Пролог	130
Тревоги детства	130
В мире тебя ещё нет.....	130
Глазами младенца.....	131
Маленький сын и космос.....	131
Нечаянно рождённый.....	132
В весёлом зимнем парке.....	133
Детская коляска	133
Отчий край и земной шар.....	134
Однажды в юности	135
Два дерева на горизонте	135
Письмо.....	135
В процедурном кабинете	136
Бритва для любимой	136
И больше её он не видел	137
За Гомера оценка «отлично».....	138
Ночное открытие	139
Природа	140
Небесный Ганг	140
Лейтенант и плотвичка.....	140
Родники и ручейки	141
Потеряна французская болонка	142
Конь и воин.....	142

Реликтовая роца	143
Рудник на вершине горы.....	143
Пустые дома в пустыне	144
Рудолазы в заповеднике.....	145
Птица летящая.....	145
Ёжики	146
Божьи коровки.....	146
Красная книга природы	147
Полуденное поле.....	147
Семья.....	148
Семья-Отечество в войне	149
Доживающие матери.....	150
Сыновья и невестки.....	151
Чёрный куст	152
Отец и сын-отец	153
Ушедшие отец и дочь.....	154
Статистика	155
Пятеро сыновей	155
И где семья твоя?	155
Родина	157
Что ждёт тебя, родина?	157
Народ подвига и жертвы	158
Воспитание архаичное и новоявленное.....	158
Спорят не только в телевизоре	159
Генсековские мемориальные доски	160
Пасынки офицерского корпуса	160
Поверженные памятники	161
Сон об отечественном пути	162
Народы и страны	164
Соседи.....	164
Зееловские высоты и «Сикстинская мадонна»...	166
Лучафэр	166
Полонез Огинского.....	166
На моравской земле	167
Луна и утреннее солнце	168
Народы прозревают.....	168
Последней войны не бывает.....	170
Ложный брат	170
Цветут осколки	170
Швейная машинка.....	171
Тарзан и дядька Стожар.....	171
Дон и Висла	172
Дети войны	173

Ненастье и несчастье	173
Косые строчки дождя	174
Богатырская застава	174
Люди и звери	175
В автобусах, в автобусах.....	176
Судебная ошибка	177
Вечности свеча	177
Семейное переселение	178
Чёрные маньяки.....	179
Зовущие смерть	179
Вечные женщины	181
Не тот дом.....	181
Подснежниковый лес	181
Снайперская пуля.....	182
Молодые землячки.....	182
Мать и сын — прощающие	183
Близкая жена и далёкая десятиклассница.....	183
Тройной грех редактора собственной жизни	184
На полотнах Мейссонье нет женщин.....	185
Эстрада и страда	187
Любовницы знаменитых	187
Целомудренные невесты	188
Цветочный тост на свадьбе	188
Литературные среды	190
«Друзья» великих.....	190
Помнить бы предостережение Будды	191
Пережитое и кабинетно-рассудочное	192
Прожитая жизнь на потерянном диске	193
Трагический рефрен.....	194
Где ты, где книга твоя?	195
Притяжение морских глубин.....	195
Мировое кострище из книг.....	196
Надуваемые и надутые	197
Пляшущая Саломея	198
Рекламы жёлтый смог	198
Злые бега повапленного	200
Пришедший век — на взгляд уходящего	201
Классик и новаторы в его городе	202
Щедрые меценаты	202
Губернские леди	203
О Достоевском и бесах	204
Турист по трагическим зонам	204
Музейная затейница	205

Концерт для малой аудитории	206
Нужная записная книжка.....	207
Объединитель человечества.....	207
В середине земного пути	208
Георгины в ночной комнате.....	209
Осыпаются нервные клетки.....	209
Часы без стрелок	210
Или близко от старости?	210
Стыдясь неожиданного чувства.....	211
Старики и дети	212
Всемирная больница	212
Время в песочном плену.....	213
Срез тополя пирамидального	214
Внуки, разделённые эпохами	216
Долгая ночь	216
Могилы мира	218
Матери и ушедшие сыновья	218
На городской окраине.....	218
Аустерлиц	219
Без Новодевичьего кладбища?	219
В болотах они, безымянные	219
Память.....	220
Солнечное затмение	220
Пустыня.....	220
Музыка	221
Нет ничего лучше в жизни	221
Блокнот-алфавит	222
Помнит природа	222
Пожары и потопы	223
Спаление Москвы	224
Под берёзами Хатыни.....	224
Сожжение в церкви.....	224
Горящее поле пшеницы	225
Музей и пепел	225
Огонёк из детства.....	226
Приходя и уходя — любить	226
Взгляни на Млечный Путь	228
Эпилог	228

Имена

Краткие эссе: века и авторы	229
Книги вечности и книги суеты	229
Предательства на полях истории	229

Истинное и ложное	230
Будда и «Дхаммапада»	230
Персидский царь, иранский шах, всемирные поэты	231
Толпе противостоящие	231
Вергилий — поводырь Данте	232
Ли Бо, Ду Фу... ..	232
Франческо Петрарка — через века	233
Житие протопопа Аввакума	233
Поморский край и Вселенная	234
История не роман... ..	235
Гёте о себе	235
Солнце и сумрак-одиночество	236
Русские душа и слово	236
И на веки вечные — Пушкин	237
Пятна на солнце	238
Цитата	238
С холма родного обозреть весь мир	238
Гоголь, Белинский и Отечество	238
Народ в тюрьме	239
Три великих писателя	239
Не пожелал глядеть на Везувий... ..	240
Слово — оружие?	240
Красный мак	240
«Пётр Первый»	241
Кровь Вельзунгов	241
Островок в Восточном океане.....	241
Нивы жизни и кафедральные нивы	242
Жребии и сроки.....	242
Создать мир более совершенный	242
Одинокие листья на одинокой дороге	243
Пусть прочтёт хотя бы один человек	243
Во времени и без времени	243
Над пропастью не во ржи	244
Сентенции директора Пробринной палаты	244
Несгораемое имя.....	244
Мартовские иды	245
Грустная сказка.....	245
Искусство и толкователи искусства	246
Маяк ли — Маяковский?	246
Прошлое, переходящее в будущее	246
Поэт.....	247
«Солдат не судите чужих...»	247

И здесь — отец и сын.....	248
Вечная Москва	248
День и жизнь Сарьяна	248
Больше, чем поэт?.....	249
Большие люди и малые слабости.....	249
Из породы Толстых	250
Поэты-пророки.....	250
На подиуме — «шестидесятники»	251
Два голоса и два слушателя	251
Против стреляющих.....	252
Премия и лауреаты	252
Женщины на поэтическом Олимпе.....	253
Поэты и жёны	253
Совсем не подарочные книги	254
Боль и собрание сочинений	255
Надпись на неотосланной книге	255
У критики есть ли Пегасы?	255
Лексиконы учёных	256
Соавтор — телефонный справочник.....	256
Повесть первая и последняя	256
Красное удостоверение	257
По-разному пишется в молодости и старости.....	257
Не удлинит жизнь	257
Крутится-вертится шар голубой.....	257
Красивые сравнения	258
Главный редактор.....	258
Государственный заказ	258
Цензура.....	259
Неблагозвучия	260
В переводе и без перевода	260
Оригинальные люди.....	260
День добра и век пошлости	260
Региональные энциклопедии.....	261
Неологизмы	261
Корневые и залётные слова	262
Метафизический поиск.....	262
Информация как среда лжи	263
Последний разговор с Гончаровым	263
Редактор против писателя?	264
Слова и хлебá	264
Редколлегия «Отчего края».....	264
Усадьба Веневитиновых, люди и книги	265
Улицы, библиотеки имени.....	266

Свет излучавшие	267
Диалоги с Солженицыным	267
Имя и родина	268
Двое из двадцатого века	269
Кто мы?	269
Улыбка человечества	270
Сожаление и благодарение	270

Небеса. Холмы. Родники

Студенческая тетрадь	271
Испытание воспоминаниями	271
Река детства и юности. 1940—1958	274
Славянское село и японская Хиросима	274
На переднем крае войны	274
Дон и окрестности малой родины	277
Школа в родном Нижнем Карабуте	283
Родник и Небо	295
Восьмой класс в Новой Калитве	297
Девятый класс — в Старой Калитве	301
Аттестат зрелости	304
Непоступление в Киевский университет	307
Потёмкинская лестница в Одессе	308
Родные в Харькове	309
Ростов, Мариуполь, Донецк... ..	310
Спутник Земли над Криничным	311
Пять лет в педагогическом. 1958—1963	314
Заграничная поездка — Румыния	314
Начальный студенческий путь	318
«Декаденты» второго курса	324
Гагаринский взлёт, весна в природе и стране ...	336
Россия, русское слово, русский мир	341
Последние семестры в альма-матер	351

Сны у великой реки

Взволновавшее, передуманное, пережитое... ..	361
Краткий пролог	361
Небесный полёт детства	361
Красный яблоневый сад	362
Сухие кустарники	362
Коровы хотят пить	362
Георгин и мальва	363
Улетевшая мать	363
Трое в лодке на прудах Гатчины	363

Сон из юности	364
Страсть и стыд.....	364
Метель	365
Дети-цветы-птицы	365
Старшеклассники	365
Травы и юные женщины	366
Видишь небо	366
Зарничный дождь	366
Встреча с берёзами	367
Ушедшее под воды времён.....	367
Всерусское поле скорби.....	368
Детские ручонки и безлистые ветки.....	368
Сын и река	368
Красный телефон	368
Попав в Древний Египет	369
На горе Машук	369
Встреча с Толстым	369
Не каждый век Достоевские рождаются.....	370
Автор «Спартака» и незнакомая писательница	370
Чёрный нуль	370
Опустельй ЦДЛ	370
Цусима.....	371
Потеря родины	371
В избах покинутых деревень.....	371
Странные кони на странных лугах	372
Павелецкий вокзал столицы.....	372
Шакалий круг	372
Вече-съезд на Дону.....	372
Достойные из армий разных стран	373
День Отечества	373
Старший сын на уплывающей льдине	373
На главной улице.....	374
Квартира на сотом этаже.....	374
Высь и бездна	375
Соль минор	375
Четыре солнца.....	375
Страда и сон матери	376
Стихи и стоны пытаемых	376
Маски и балаклавы	377
Рожь на болотах	377
Всё — впереди	377
Во дворе тюрьмы.....	378

Запертые двери	378
Пред иконой Богородицы.....	379
Пустынный город	379
Погибшие корабли	380
Волки и люди	380
Электронный террор	380
Вертолёт над Воронежем.....	381
Часы на бесконечном поле.....	381
Затерянный мир	382
Деды и внуки	382
Хлеб наш насущный.....	383
Встречи со знаменитыми ушедшими	383
И книги взлетают, как птицы	383
Мировые дороги радости и скорби	383
Мелодия невечная — вечная.....	383
Не взятый на Ковчег.....	384
Кресты Европы.....	384
Иного пути у истории нет	384
Всемирное увеселение	385
Вся земля — родная!	385
Огонь и вода.....	385
Осокори и встречи.....	386
Сон о снах	386
Апокалипсис.....	387
Умчавшийся поезд.....	387
Краткий эпилог	388
Листья	
Краткостишия.....	389
Биографическая страница.....	427

Литературно-художественное издание

Будаков Виктор Викторович

ТЕЧЁТ РЕКА...

Книга коротких текстов

Подписано в печать 01.06.2023. Формат 60х90/16

Усл. печ. л. 27,75. Тираж экз. Заказ